ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

11

1963

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

СУРОВЫЕ РИФМЫ (Стихи болгарских поэтов Вступление и примечания Веселина Андреева) — **СИМЕОН ВЕЛЧЕВ, ХРИСТО КОЗЛЕВ, ХРИСТО КЫРПАЧЕВ, КИРИЛ МАДЖАРОВ, АНТОН ПОПОВ, ЦВЕТАН СПАСОВ, ИВАН НИВЯНИН, АТАНАС МАНЧЕВ, МАРКО АНГЕЛОВ** . 4

РУДОЛЬФ ЯШИК — Мертвые не поют. (Роман. Продолжение) 17

БЕНДИЛИ МОЛОКВУ — Ветер Африки (Стихотворение) . . . 87

ПАУЛЬ ШАЛЛЮК — Энгельберт Рейнеке (Роман) 88

ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ — У нас дома (Роман. Окончание) 152

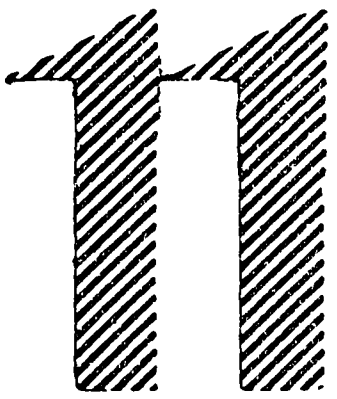
КРИТИКА

ФАРКАШ ЙОЖЕФ — Октябрь и венгерская литература 193

Л. СИМОНЯН — Трудные поиски 199

РОМАН, ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО

На встрече писателей Европы в Ленинграде 204



НОЯБРЬ

1963

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»

Москва

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

ХУАН МАРИНЕЛЬО — Кубинская революция в творчестве Хосе Вентурелли 253

КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ — Наш друг Али Сардар Джафри 258

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Лев Никулин — Назым Хикмет — певец человека 260

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Эберто Падилья — Сердце — с Кубой.◇ Ф Наркирьер — Книга в боевом строю.◇ Ел. Евнина «Поиски» Ива Берже 264

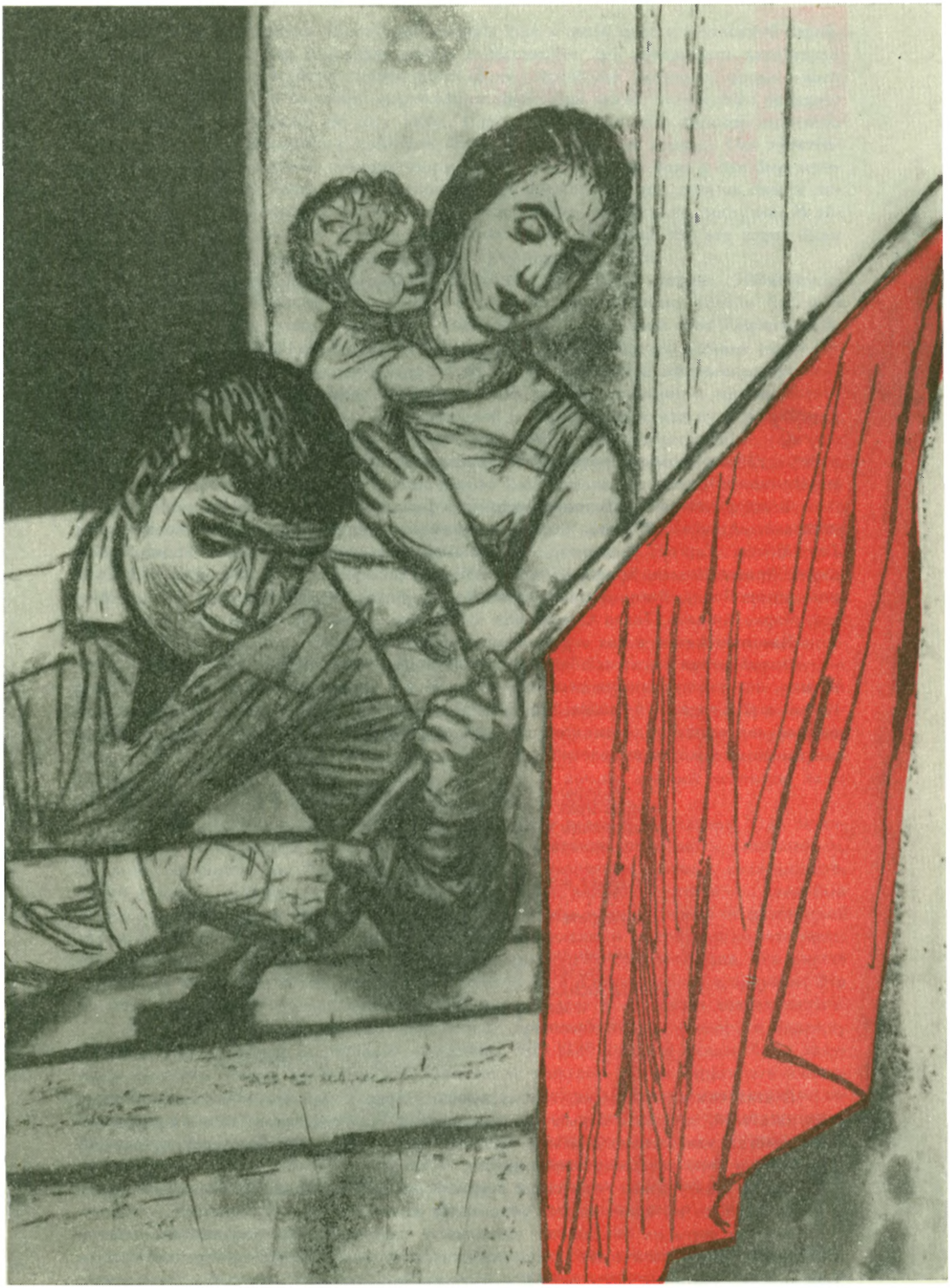
НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 270

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 272

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 288

На обложке: фрагмент фрески чилийского художника ХОСЕ ВЕНТУРЕЛЛИ, посвященной кубинской революции.



РУДОЛЬФ БЕРГАНДЕР (ГДР). Праздник

Суровые рифмы

Перевод с болгарского
Р. РОЖДЕСТВЕНСКОГО

ЧЕРЕЗ СМЕРТЬ — К БЕССМЕРТИЮ

Великая борьба народа всегда рождает своих героев и своих поэтов. И своих поэтов-героев.

В исторических боях против фашизма в Болгарии — с 1923 по 1944 год — погибли писатели: Арсени Йовков, Васил Карагьозов, Христо Ясенов, Никола Гинев, Гео Милев, Сергей Румянцев, Георги Шейтанов, Симеон Велчев, Никола Вапцаров, Христо Козлев, Христо Кырпачев, Марин Райчев, Кирил Маджаров, Иван Стоянов, Антон Попов, Васил Воденичарски, Цветан Спасов, Иван Нивянин, Атанас Манчев, Марко Ангелов, Тончо Стаевски...

Как много имен и как страшно их перечислять!

Целый отряд писателей-бойцов, сраженных, но непокорившихся, павших с недопетыми, но незаглушенными песнями, оставшихся в прошлом и шагнувших в будущее. Целый отряд писателей-бойцов, чьи произведения обладают особой силой: поэтический призыв подтвержден делом всей их жизни, поэтическое обещание борьбы, подвига, смерти во имя жизни выполнено.

И верю я:
сквозь мрак и ночь пройдем мы,
ломая льды могучими руками,
и солнце вновь на горизонте
темном
заблещет животворными лучами.
. . . . . .
Но умереть в тот час,
когда смывает
с себя земля
столетий яд и плесень,
когда мильоны
к жизни воскресают,
да, это будет
лучшая из песен!

(Перевод М. Павловой)

В этих самоотверженных, торжествующих строках Вапцарова мы слышим голос всех писателей, павших в борьбе против фашизма. Каждый сказал то же своими словами, иногда удивительно близкими стихам Вапцарова — не только по внутреннему замыслу, но и по внешнему выражению.

Поэты такие разные — по своей писательской манере, таланту, творческим достижениям,— и в то же время многое объединяет их и в жизни, и в гворчестве.

Прежде всего их объединяет преданность народу. Смерть каждого из них — не случайность, она — логическое завершение жизни, отданной борьбе за народное счастье. Они видели смерть как нечто реальное, что подкарауливает их на каждом шагу и каж-

дый миг может обрушиться, но они, не дрогнув, шли к своей цели с неугасимой верой, что такая смерть — песня, что такая смерть — бессмертие. Эта преданность характерна для тысяч героев, сложивших головы за свободу. Погибшие писатели, кроме своей жизни, жертвовали еще бо́льшим: своим творчеством. Они знали, что их перо обладает силой штыка, и придавали ему эту силу. Они знали также, что бывают моменты, когда перо нужно защищать с помощью оружия, и брались за оружие. Они чувствовали себя прежде всего революционерами и лишь потом поэтами. Ведь у них был великий пример — Христо Ботев, и они следовали ему, убежденные, что если не смогут достичь высот его поэтического гения, то его гражданская доблесть им доступна. И когда мы встречаем недостатки в их произведениях, мы не забываем, что эти поэты были безупречны в другом — в выполнении своего гражданского долга.

Они были писателями-изгнанниками на своей собственной родине. Избиваемые, преследуемые, поставленные вне закона и в конце концов — убитые. «Земля Ботева и Левского снова стала рабской землей»,— писал с горечью и гневом поэт Кырпачев. Но за зверствами и грабежами оккупантов и доморощенных фашистов вставал образ мученицы-родины, и писатели-герои воспевали мужество народа, его героическое прошлое, красоту родной земли. Их любовь к родине была особенно сильной и чистой, потому что крепла она в тяжелые годы, когда наградой за эту любовь стали пуля и виселица.

Неизбывная вера в победу, в будущую счастливую жизнь, в социализм — вот еще черта, объединяющая поэтов-борцов. Эта вера торжествует и в песнях Тончо Стаевского, написанных в канун свободы, и в стихах Васила Карагьозова далекого 1912 года. И это не удивительно: веру вдохнула в них партия, которая видела победу еще в день своего рождения. Не потому, что партия была тогда сильна, а потому, что она должна была стать сильной, не потому, что победа была близка, а потому, что она была неотвратима. Вера в победу пронизывает творения погибших. Она сильнее всего в самые страшные, можно сказать, в самые безнадежные дни. Для борцов ярость врага — предвестник его гибели. Чем более он жесток, тем ближе его гибель.

Эта вера придает мажорное звучание их творчеству — жизнеутверждающему, оптимистическому. Они были самыми земными реалистами и в то же время крылатыми романтиками. Их произведения — это художественные документы темной, страшной действительности, и все же они не пугают, а вселяют бодрость и надежды. В их произведениях веет свежий ветер светлого будущего. Ростки этого будущего они видели еще тогда, в те мрачные дни. Такими ростками были и они сами, их чистые души, большие человеческие сердца, их смелые мысли. Вот почему в своей исповеди, даже самой сокровенной, и в своих мечтах они раскрывали будущее.

В своих мечтах писатели-герои не только видели великий час победы. Они заглядывали и в сегодняшний день. Для них победа, связанная с кровью и разрушением, была не конечной целью, а началом строительства и творчества. Заводы, поля кооперативов и дома культуры, новые люди и здоровые дети, радостные стихи — в этом был смысл их жизни, хотя и нужно было отдать жизнь, чтобы очистить землю от фашистской чумы. Все они мечтали о том прекрасном, что мы сделали, и еще о многом, что предстоит совершить. Именно поэтому мы видим в них наших современников, они вместе с нами. Их творчество вросло не только в прошлое, но и в настоящее. И в будущее! Это их мечты осуществят грядущие поколения и тоже увидят в них своих современников.

Все они любили, так же как свою родину, советскую страну — опору и надежду нашей победы. Любили ее глубокой, преданной любовью, которую нельзя было заду-

шить ни полицейскими плетками, ни полицейской цензурой. Из их сердец эта любовь вливалась в их стихи. Христо Кырпачев посылает из тюрьмы приветы советским летчикам, перелетевшим через полюс. Христо Козлев пишет восторженное стихотворение о Владимире Ильиче Ленине. Симеон Велчев в поэме «История» воспевает Октябрьскую революцию и героизм советского народа в борьбе с фашизмом. В трудные дни 1941 года Антон Попов выражает свою боль по поводу трагических событий — и свою веру в победу. Из фашистского концлагеря Марко Ангелов посылает с птичьими стаями привет «победоносному народу»...

Гибель этого вдохновенного отряда поэтов — разящее обвинение против фашистских злодеев, которые отняли у нашего народа огромное духовное богатство. Большинство погибших были молоды, не издали еще своей первой книги, но они были талантли-

вы, им был присущ свой голос, своя манера. Какие поэтические ценности могли бы еще внести в нашу национальную социалистическую литературу Гео Милев и Христо Ясенов, Никола Вапцаров и Цветан Спасов, Васил Воденичарски и Христо Кырпачев, Атанас Манчев и Иван Нивянин!.. Самое тяжелое то, что эта потеря невозместима.

Иван Нивянин, скромный Нивянин, писал перед смертью:

«Пройдут дни — стройкой огромной народ наш будет занят, но он обо мне сохранит память, обо мне, молодом поэте!»

Они хотели немногого — только бы народ помнил о них! А главное, о чем они мечтали, было общее, великое —

Пускай нам
общим памятником будет
построенный
в боях
социализм.

Величие народа не измеряется численностью его населения. Наш народ мал, но пусть нам будет дозволена та законная гордость, которая не имеет ничего общего с шовинизмом,— считать творчество своих героев одним из свидетельств духовного и морального величия нашего народа.

Впрочем, погибшие поэты — не только наши герои. В большой битве за мир они на стороне жизни и созидания, с детьми и матерями, со всеми людьми доброй воли на земле. Вот почему сами их имена — отрицание фашизма и войны, империализма и атомной смерти. Имена некоторых из них менее известны. Но поэма «Сентябрь» Гео Милева вдохновляет тысячи и тысячи читателей различных национальностей, а Вапцаров, которому посмертно была присуждена почетная Международная премия мира, шествует по широкой земле, и его песни созвучны чувствам и полетам мечты всех честных людей.

Путь поэтов-борцов — свидетельство того, что смерть во имя жизни ведет к бессмертию.

Веселин Андреев

СИМЕОН ВЕЛЧЕВ

Из поэмы «История»

За датою — дата,
к числу — число.
Звучит над землею
бессмертная поступь.
И время
склоняет свое чело,
встречая солнца восход,
как подвиг.
Декабрь над кострами
сутулит плечи.
Голодный,
босой,
холодами объятый —
восстал в баррикадах,
в треске картечи
год
девятьсот
пятый!..

Зимний дворец
от штурма затрясся,

Временное
погасло внезапно.
Двери разбиты,
распахнуты разом
в новую эру,
в близкое завтра!
А завтра
винтовки в ладонях шершавых.
Навечно
в историю внесены
Орел,
Перекоп,
Царицын,
Варшава
средь пепла и дыма
гражданской войны...
. . . . . .
И снова сирены
воют с рассветом.
И снова дымом
покрылись дни,
и снова
враги!
И числа им нету!
На суше —
они.
И в небе —
они!
Чудовища-крепости
в черной броне.
Стервятники с бомбами
хищно кружатся.
Капает лава.
Земля в огне!
Капает лава
смерти и ужаса...
Слушай,
приказами
время прохвачено,
Говорит Москва,
говорит страна:
«Изгнать
фашистских захватчиков!
Отечественная война!»
Но до всяких приказов
против врагов
поднимаются люди,
поднимаются вместе,
поднимаются грозно
от плугов
и станков,
кулаки тяжелые
сжав
для мести!
Пехотинцы,
летчики,
моряки,

на машинах,
в вагонах —
на фронт,
на врагов!
Из Сибири,
с Украины,
с Волги-реки,
от жарких степей
и вечных снегов!
Бойцы-ветераны
и молодежь
поклялись:
«Погибнем,
а фашизм
не пройдет!»
Не погибнет Россия,
не покорится!
Они ее сердцем своим
прикроют...
Пройдут сквозь блокаду
и реки крови
и радость увидят
на гордых лицах.

■

ХРИСТО КОЗЛЕВ

Отклики

О угнетенная моя страна!
О братья! Почему вы все в тревоге
нахмурены с утра и дотемна?
Что вас волнует в этот час жестокий?
Каким огнем душа опалена?
Война.

Скажите мне: кто умереть спешит?
Скажите, братья: где конец страданьям?
Что камнем на душе у вас лежит?
Кто голодать и мерзнуть вас заставил?
Кто, братья, обесчестил вашу жизнь?
Фашизм.

В своей судьбе, где бесконечны зимы,
неужто вы бессильны, безутешны?
Неужто вам ни разу не светила,
не согревала вас звезда надежды?
Скажите, братья, что дает вам силы?
Россия.

О братья! Непокорная толпа.
Я вашею судьбой хочу гордиться.
Как выжечь навсегда поклон раба?
Скажите способ, как освободиться,
чтоб вечным счастьем полнилась судьба?
Борьба.

ХРИСТО КЫРПАЧЕВ

Путешествие мысли

Мне холод сковал уже
руки
и ноги.
Тюремная дверь
не пророчит житья.
Но мчится сквозь стены,
но снова в дороге
свободная,
вольная
дума моя...

В далеком селе
покосились домишки.
Средь темных обрывов
и серых полей
река
серебристою лентой
стремится,
старается мимо
пройти поскорей.

Кричат на волов
дровосеки натужно.
Волы на погонщиков
смотрят темно.
На улочках грязных,
корявых и тусклых
неровные крыши
курятников душных.
Все это
осенней печали
полно.

У дома,
крытого черепицей,
старуха усталая
с палкой в руке.
Седая, как старая зимняя птица.
И небо над нею
в дождливой
тоске.

К порогу
взъерошенный пес притулился,
как будто одет
в полинявший кожух.
Он тоже давненько
не ходит в счастливцах —
мир осени
к вою голодному
глух...

Далекие, горькие
воспоминанья
всплывают, толпятся,
уйти не хотят.
А мысли,
усталости давней не зная,
всех птиц обгоняя,
сквозь осень летят.

Печальное время.
Печальное детство.
Пастушечий голос
на жестком ветру.
Мне должность подпаска
досталась в наследство.
Нелегкая должность
и в снег, и в жару...

Но что это?
Звякнула цепь в коридоре.
Затихли шаги
у тяжелых дверей.
Я мысль возвращаю
из сумрачной дали.
В тюрьму
возвращаю ее поскорей.

■

КИРИЛ МАДЖАРОВ

Песня машиниста

Как солдат в ночном дозоре замечает все, не спит
и своим штыком встречает злую огненную жуть,
так и я, моя машина, черной копотью покрыт,
за тобой слежу, машина, за тобой слежу.

Подхожу к тебе я утром — ты покорна, ты понятна.
Чищу я тебя, машина, до последнего ребра.
Проверяю все до точки и иду в твои объятья,
я сажусь, и начинается у нас с тобой игра.

Плотно пригнаны друг к другу маслянистые колеса.
Будто шепчут мне о тайнах, говорок их очень скор.
Сколько раз, моя машина, то задумчиво, то грозно
мы вели с тобою долгий, откровенный разговор.

Мы стареем, мы стареем, мы с тобой стареем оба.
Мы с тобой уже давнишние, надежные друзья.
Ты блестишь не так, как раньше,— столько лет прошло,
еще бы!
И мое лицо желтеет — это ясно вижу я.

Кто высасывает силы, наши силы вместе с кровью,
будто клещ вцепился крепко в терпеливую овцу?
Где и кто от нас скрывает все, что мы даем с тобою,
и подводит нас обоих к невозможному концу?

Твой ответ уже я знаю: мы не дети, чтобы плакать.
Жизнь открыла нам с тобою сотни важных мелочей.
Мы друзья, моя машина. Дружба — гордая, как правда,
вместо злобы обессиленных манчестерских ткачей.

Без меня ты значишь мало, без тебя я значу мало.
Мы с тобой друзья, машина,— слово честное мое.
Это чувство нам знакомо. Это чувство как громада.
В нем — основа нашей воли. И величие ее.

Слушай же, моя машина! Ты рокочешь равномерно.
Завтра я с тобой расстанусь. И отправлюсь в дальний путь.
Мы должны освободиться непременно. Непременно!
Я хочу добыть свободу. Молодость себе вернуть!

АНТОН ПОПОВ

Осень, 1941

Душа моя будто вулкан.
Кровь
закипает
местью.
Досталось нам
крепко...
Осень сейчас.
Туманные,
серые
лежат предо мною поля —
штыками
исколотые
и проволокою
колючей.

Поникла,
белея,
неубранная кукуруза.
Однажды
в июле
пришли на поля машины
и плюнули пламенем
в хлеб
и плоды земли
вбили
обратно в землю...
И сегодня
еще дымят,
еще не погасли
пожары.
Деревья черные,
обезумевшие
спрашивают всем видом своим:
куда
исчезли машины?..
Осень сейчас.
Муторно
воет ветер
и гонит бурьян по степи.
Облака столкнулись.
Грянул гром.
И холодные капли
уронило небо
на землю...
Пожары,
злоба
и дым,
ржавый пепел
и лужи крови
на наших полях...
Но придут весенние воды!
На равнинах снова
ручьи забурлят,
зальют
окопы и рвы.
И вернутся
на Украину
комбайны!
Не знаю я,
где
границы колхоза
и сколько людей
осталось в живых.
Ты об этом не спрашивай,
только зубы
стисни...
Все равно,
будто алые розы,
расцветут
колхозы
по свету!

За советскую власть,
за колхозную власть
мы боролись.
И мы
победим!

ЦВЕТАН СПАСОВ

Рифмы

Я люблю суровые рифмы —
будто молот они, будто штык,
будто гул запрещенных митингов,
будто голос людей простых.

Эти рифмы вливаются в кровь мою
и, проникнув в сердце едва,
на моей сердечной мембране
высекают прямые слова.

И когда придавлены строки,
неожиданно зазвенев,
в них — придавленных — закипает
дерзновенный и гордый гнев.

Эти рифмы воюют с ложью
и без боя жить не хотят,
пахнут пóтом они и железом,
будто яркие искры блестят.

В них я слышу частые выстрелы,
топот конницы слышу я,
стон на площади, где под пулями
умирали мои друзья.

Я люблю суровые рифмы —
будто молот они, будто штык,
будто гул запрещенных митингов,
будто голос людей простых.

В такую ночь...

В такую вот ночь ты меня потеряешь.
Сова в темноте закричит, заплачет
после посвиста вражеской пули...

Груду цветов принесут на могилу
товарищи. Тихо заплачет мама,
воспоминанья ее обступят.

В саду расцветут махровые маки.
Наполнятся дни восторженной жизнью
Влюбленные оцепенеют в объятьях...

В последний раз ты приди на могилу
и расскажи, что сбылось на свете
все то, о чем я мечтал когда-то!..

В такую вот ночь ты меня потеряешь.
Сова в темноте закричит, заплачет.
И вновь станет тихо. Очень тихо.

Легенда, чудесная сказка

Христо Кырпачеву — военному командиру народных отрядов в Плевенском округе, павшему в бою 23 мая 1943 года.

Пройдут еще годы, пройдут они, горькие годы.
И новые люди в борьбе и труде закалятся.
И в маленьких домиках — темных и грязных сегодня —
засветится радость опять и послышатся песни.

Тогда о тебе обязательно сложат легенды,
чудесные сказки о жизни и смерти героя...
...В недавние годы, распухший от крови народной,
тиран бесновался, Болгарией повелевая.

Он рты затыкал нам ударами, в тюрьмах гноил нас,
он хлеб отнимал у детей, он над нами смеялся.
Он родину продал, он продал ее душегубу,
незваному гостю, жестокому злому тевтонцу.

В тревогах и страхах текли молчаливые ночи,
и только шаги палача по дорогам звучали...
Но весть разнеслась, что в лесах необъятных, дремучих
герои собрались. Герои готовятся к бою...

Кто их перечислит — жестокие, страшные битвы?!
Огромное солнце вставало в бескрайних пожарах.
И после коротких, кровавых, решительных стычек
смердящие трупы врагов оставались на поле.

Ты был командиром, ты вел в наступленье героев!
И Ботева песня звенела в прекраснейшем сердце.
Ты страха не ведал, ты к недругам был беспощаден.
Ты умер в сраженье, но даже тогда улыбался.

Пройдут еще годы, пройдут они, горькие годы.
И новые люди в борьбе и труде закалятся...
Тогда о тебе обязательно сложат легенды,
чудесные сказки о жизни и смерти героя!

ИВАН НИВЯНИН

О будущем

Будет солнце все так же вставать с рассветом,
все так же будут дожди нависать.
Но тогда — я в этом уверен — поэты
по-другому будут стихи писать.

За жизнью летящей, время таранящей,
помчится мысли солнечный свет...
Поэты, будущие товарищи,
примите мой боевой привет!

Расплещется время, расплещутся жизни,
свобода войдет в нашу кровь и плоть...
Враг и тогда, наверно, решится
силу разбуженную побороть.

Что ж, пусть попробует! Мы поднимемся,
встанем против огня и тьмы.
И перед бурями не склонимся —
мы и свобода. Свобода и мы!

Поэты, смелее шагайте дальше
в завтрашний век, в завтрашний день!..
Там солнце будет светить все так же,
но как изменятся судьбы людей!

Значит, и наши груды не напрасны.
Дорога вздымается круто вверх...
Он будет! Он скоро наступит — прекрасный
завтрашний день! Завтрашний век!

АТАНАС МАНЧЕВ

Ты встанешь

Ты поднимешься. Встанешь. Ты должен. Так надо.
Ты расправишь тяжелые плечи свои
и охватишь орлиным решительным взглядом
все места на земле, где грохочут бои.

Ты поднимешь кулак в молчаливом салюте
и спасибо великое скажешь судьбе.
Ты в сражении вновь! И да здравствуют люди —
те, которые рядом с тобою в борьбе!

Ты в дорогу возьми автомат неизменный.
Боевой патронташ до конца затяни.
Пусть узнают враги твою силу и смелость.
Пусть твой гнев на себе испытают они!

Ты поднимешься. Встанешь. Светло и отважно.
Смотрят пристально жерла опасных дорог.
Ты оружье берешь. И да здравствует схватка!
Страха нет! Перешагивай через порог!

Ты иди! Ты выходишь с огнем повстречаться.
Ты запомни печаль несмышленых детей.
Их грядущую радость, грядущее счастье
ты добыл своей кровью и жизнью своей.

МАРКО АНГЕЛОВ

Ой вы, птицы...

Ой вы, птицы, летящие к северу,
Ой вы, птицы, летящие с криками!
Отнесите огромный, весенний
привет народу великому.

Мой поклон передайте, птицы,
героической, гордой державе,
той, которая, будто орлица,
ураган встречает кровавый.

Устояла она! Устояла!
И сейчас — сильнее, чем раньше.
И шагает вперед с боями,
мир дивится такому бесстрашью!

Ой вы, птицы, спешите сквозь бури!
Я с надеждой гляжу вам вслед.
От Балкан, охваченных пламенем,
передайте Кремлю привет.

Вихри весенние

Погляди:
весенний ветер
разгоняет злые тучи,
пожирает глыбы снега.
К рекам,
полноводным рекам
по ручьям, крутясь, несется
прошлогодняя трава,
гулко трескаются
льдины.

У реки
столпились вербы.
Ветви их
в движенье, в шуме
извиваются, как змеи.
Весть принес нам
свежий ветер,
что морозы отступают,
что с полей весенних скоро
налетят
большие бури.

Что за бурями — победно —
ясноликое,
большое
распахнет объятья небо.

Торжествующие, вспыхнут
над землей огни,
и солнце
разольется
величаво
и теплом сердца́ согреет.

Входит в города и села
с буйной песней,
песней света
день победный.
И восторги миллионов
этот день
встречают всюду.
Над землею огнеструйной
шествует
победный ветер.

Погляди:
весенний ветер
разгоняет злые тучи,
пожирает глыбы снега.
Слышишь,
как ручьи смеются?!
С гулким хрустом
на кусочки
громко
трескаются
льдины!

Примечания

СИМЕОН ВЕЛЧЕВ (1902—1944). Комсомольский и партийный работник, учитель, архитектор. Был осужден на пять лет тюремного заключения. С 1931 по 1937 год — политэмигрант в СССР, работал по проектированию промышленных предприятий, проявил себя способным архитектором. После возвращения в Болгарию переводил произведения Маяковского. Более двух лет (1941—1943) провел в фашистском концлагере. Погиб как партизан бригады имени Чавдара.

ХРИСТО КОЗЛЕВ (1910—1944). Комсомольский, партийный и профсоюзный деятель. Четыре года провел в тюрьме. Когда началась война против Советского Союза, перешел на нелегальное положение, организовал партизанский отряд, погиб в бою.

ХРИСТО КЫРПАЧЕВ (1911—1943). Учитель. После окончания школы офицеров запаса во время стажировки создал в полку нелегальную организацию. Был разжалован и осужден на длительный срок тюремного заключения. Освобожденный через семь лет, работал секретарем нелегального партийного района. Будучи военным командиром, много сделал для создания и укрепления Ловешко-Троянского партизанского отряда. Погиб в бою с врагом.

КИРИЛ МАДЖАРОВ (1914—1944). Студент, работник типографии, журналист, деятельный участник борьбы народного студенчества. Мобилизованный в фашистскую армию, бежал из своей части и погиб в Югославии, сражаясь вместе с партизанами.

АНТОН ПОПОВ (1915—1942). Учитель служащий, журналист. Сотрудник военного сектора ЦК Болгарской коммунистической партии. Расстрелян 23 июля 1942 года вместе с Николой Вапцаровым и еще четырьмя видными партийными деятелями.

ЦВЕТАН СПАСОВ (1919—1944). Студент, активный участник молодежного движения, публицист. Секретарь окружного комитета Рабочего молодежного союза (РМС) в Плевене. Один из организаторов и комиссар первого партизанского отряда в Плевенском округе. Погиб в бою с многочисленными силами полицейских в Плевене.

ИВАН НИВЯНИН (1919—1944). Студент, активный участник студенческой прогрессивной борьбы, член РМС, литературный работник. Помощник комиссара отряда, член агитпропа при штабе отряда имени Гаврилы Генова. Погиб в сражении.

АТАНАС МАНЧЕВ (1921—1944). Студент софийского университета. В 1941 году был секретарем окружного комитета РМС в Бургасе, а в 1944 году стал политкомиссаром отряда имени Васила Левского. Погиб в бою, окруженный врагами на конспиративной квартире.

МАРКО АНГЕЛОВ (1921—1944). Студент, участник студенческих выступлений, укрывал нелегальных деятелей. В 1942 году был заключен в фашистский концлагерь. В 1944 году стал партизаном. Погиб в бою после продолжительной, упорной борьбы.

Избранные произведения этих поэтов были опубликованы посмертно в библиотеке «Писатели, павшие в борьбе против фашизма» издательства «Былгарски писател», а также в других издательствах.

РУДОЛЬФ ЯШИК

Мертвые не нюют

РОМАН

Перевод со словацкого
В. ЧЕШИХИНОЙ

МРАЧНОЕ УТРО

Если насчет своих солдат у надпоручика Гайнича и были какие-то иллюзии, то в это мрачное утро они рассеялись. Еще вчера, когда он дружески говорил с солдатами, ему казалось, что быть командиром батареи на переднем крае не так уж трудно. Нужно лишь уметь обращаться с подчиненными. Командиру перед боем не следует замечать мелкие неполадки и неловкие проявления солдатской удали.

Но сейчас он понимал, что, выдав солдатам ром, допустил непростительную ошибку.

«Теперь это видно каждому новобранцу, даже писарю из штаба. Батарея пьяным-пьяна, солдаты валяются на повозках, как бревна. Шестеро спят прямо на снегу, в грязи. В конце концов я мог и сам сообразить, что после продолжительных переходов при недостаточном питании они обессилели; их истощенный организм не мог перенести столько алкоголя. А как мне надо было поступить? Моим начальникам легко рассуждать: «Следи за дисциплиной!», «Держи солдат в ежовых рукавицах!» Мы не в казармах, господа! И я хочу, и вы хотите, чтобы солдаты сражались и умирали, ибо война есть война, но чем можно их воодушевить? Красивыми словами? «Патриотизм», «геройские подвиги», «защита христианства и цивилизации от большевизма»? Да солдаты смеются над такими словами. И не понимают, зачем они здесь. Никто в мире не объяснит им этого. Все они открыто клянут войну, зная, что хуже им не будет. Офицеров они ненавидят. Весьма неприятно. Меня все время не покидает ощущение, что я среди чужих, в стане врагов. Я знаю, что и меня высмеивают. Они считают, что эту войну затеяли офицеры. А я угрожаю им военно-полевым судом — его они еще, кажется, побаиваются. Но я не в силах придумать ничего лучшего. Сегодня ночью мне пришло в голову выдать им ром, и тут, извольте радоваться, началось безобразие. Один солдат чуть не проткнул штыком каптенармуса. А теперь все лежат мертвецки пьяные. Им все равно. Все нипочем, и я опасаюсь, что дальше будет еще хуже. А что будет, когда батарея вступит в бой, когда начнем нести потери? Черт побери, надо похоронить этих трех убитых. Да, да, но как поведут себя солдаты? Господа, вы там наверху ничего знать не хотите, думаете, что все здесь удивительно

Продолжение Начало в № 10.

просто. «Дисциплина! Держать в ежовых рукавицах!» Хорошо говорить об этом, сидя за столом!»

Испарина выступила на лбу надпоручика. Он вел этот разговор с самим собой в полной растерянности, точно его трясла лихорадка. Он оправдывался перед своей командирской совестью и перед невидимым, но важным полковым начальством.

Забрезжило утро.

Окружающее все зримее выступало из уходящего мрака, прятавшегося в густом кустарнике. Среди деревьев и повозок, у распряженных орудий поблескивали разбросанные котелки и белели лица шестерых спящих солдат. Они лежали как мертвые, и чем лучше видел их надпоручик, тем больше вскипал в нем бессильный гнев. Сам он даже не притронулся к рому, лег и тут же безмятежно уснул, думая, что теперь все пойдет как по маслу. Вторая ошибка! Но ведь он устал. Только что его разбудил часовой, которого никто не пришел сменить, и рассказал о каптенармусе и обо всем, что тут творилось ночью. Есть, оказывается, еще несколько человек, на которых можно положиться! Но чем дольше Гайнич смотрел на спящих солдат, тем сильнее было ощущение, что он скоро останется здесь в одиночестве. Эта мысль пугала, и, чтобы защититься от нее, Гайнич рявкнул во все горло:

— Поручик Кристек, ко мне!

Сонный Христосик явился немедленно. Он был без пояса, в расстегнутом кителе, растрепанный, но стоял, вытянувшись в струнку, руки по швам, как того требует устав.

— Дружище, вы трезвы?

— Я вообще не пью, пан надпоручик.

— Совсем?

— Совсем, пан надпоручик.

— Бросьте вы этого надпоручика.— Христосик вдруг предстал перед ним в другом свете, казался каким-то непонятным субъектом. О трезвенниках он, Гайнич, думал плохо.— Почему же? Вы больны, дружище?

Кристек выдержал его взгляд и ничего не ответил.

— Простите! — Гайнич опомнился и сказал с улыбкой:— Офицер на фронте — и трезвенник! Простите, но такого я еще не видывал.— Он пытался оправдаться и шуткой сгладить возникшую неловкость. Обоим стало не по себе, и это помешало надпоручику говорить повелительным тоном.— Поручик, посмотрите вокруг себя и скажите, что вы видите.

— Спящих солдат.

— Спящих? А вам не кажется, что они какие-то странные? А то, что они еще и облевались, этого вы не видите?

— Да, вижу. Извините.

— Так, так. Батарея перепилась, и я поздравлю себя, если здесь найдется десяток трезвых солдат. Приведите ко мне всех трезвых. Да побыстрее, потому что могут приехать из полка, и тогда нам не сдобровать.— Гайнич подумал и сказал со вздохом:— Бывало ли такое в истории войн? И почему это случилось именно у меня в части? Вы можете ответить мне на этот вопрос?

— Извините, не могу.

— Ступайте!

— Слушаюсь.

Поручик козырнул и отправился приводить себя в порядок. Вскоре он с каской в руках вышел из-за повозки. Только теперь Гайнич заметил, какая маленькая голова у Кристека.

— Батарея, подъем! Батарея, подъем! — хрипло кричал поручик.

Несколько сонных солдат на повозках приподняли головы. Разбудить удалось десятка полтора.

— К пану надпоручику! — приказал Кристек.

— Вы не перепились? — допытывался командир, подозрительно оглядывая каждого.

— Нет.

— Ваше счастье. Смотрите, ребята! Сейчас половина седьмого. В полдень батарея начнет пристрелку, а эти свиньи нализались до положения риз. Даю десять минут. Разбудить всех и поставить на ноги. Выполняйте!

Один из солдат усмехнулся. И все, весело припрыгивая, разбежались в разные стороны. Как пожар, разрастались в лесу крики, брань и смех. Из чащи выбрались вахмистр Чилина и каптенармус. Чилина прихватил хлыстик и стал безжалостно стегать спящих.

— Встанешь ты, антихрист? Помочь, может, прикажешь? — А когда солдат просыпался, вахмистр хохотал ему прямо в лицо:— Что глядишь, пьяная рожа? Вставай, не то еще разок вытяну!

Вахмистр мог себе позволить такое обращение. Он знал, что оно сойдет ему с рук. Сегодня солдаты готовы были простить это кому угодно, даже надпоручику, которого ненавидели больше всех остальных офицеров. С похмелья они не сразу могли понять, что происходит вокруг и где они находятся.

Тем временем надпоручик наслаждался, наблюдая за выполнением своего приказа.

— Ничего не поделаешь,— бормотал он себе под нос.— Слово командира есть слово командира, и оно им остается даже на этой злополучной батарее. Почему же злополучной? Нет, так нельзя говорить. Ведь это все-таки моя батарея!

Через шесть минут батарейцы построились по четыре в шеренге, лицом к лафету первого орудия, где восседал Гайнич. Вид у солдат был жалкий и дал командиру повод к мрачным думам. «Они спят. Совсем еще спят»,— вздыхал про себя Гайнич.

Христосик уже в десятый раз кричал одно и то же:

— Я не давал команды «вольно»! Пьяницы, кто вам разрешил стоять вольно? Смирно! Батарея, смирно! Равняйсь, не то я вам покажу!

Ничего, никаких возражений, но никто и не думает равняться, никто и ухом не ведет. Слышен только каркающий голос беспомощного поручика.

«Пусть помучается трезвенник! Довольно он бездельничал в штабе, пусть теперь помучается». Гайнич сочувствовал сонным солдатам и даже радовался, что они не слушаются Кристека. Он только подлил масла в огонь, иронически заметив:

— Вы, видно, и батарею построить не умеете? Да, да, кажется, вы и на это не способны!

— Черт вас возьми, не спите! Черт возьми, стойте смирно!

Кристек схватил за плечо ближайшего солдата. Тот раскрыл глаза, глупо ухмыльнулся и продолжал стоять «вольно».

Прошло минут десять.

— Хватит! — Надпоручик встал.— Солдаты! Вы вели себя недостойно. Вы злоупотребили моим доверием, а на фронте это тяжкое преступление. Сейчас шесть сорок. Раздать всем шанцевый инструмент! Копать без отдыха всем, кроме орудийных расчетов,— последним в девять ноль-ноль быть в полной боевой готовности! Унтер-офицеры, ко мне! Разойдись!.. Пан поручик, вам еще нужно привыкнуть ко многому.

Кристек молча снял каску и вытер лоб.

— С ними невозможно справиться!

— Нет, можно. Так и знайте! — резко ответил Гайнич и отвернулся.

Он был глубоко убежден, что с трезвенниками никакого дела тол-

ком не сделаешь, и таких людей мог только презирать. Гайнич влез в повозку и растянулся на черной попоне.

Солдаты рыли укрытия. Гайничу стало скучно.

Неожиданно тишину разогнал звонкий металлический вздох, донесшийся словно из отдаленной каменоломни.

■

Наконец взошло солнце. Оно засияло над лесистым горизонтом и смело поползло вверх по небу. «Так должна начинаться каждая весна. Так начинается она в хрестоматиях и по календарю. И благоухать она еще должна, ведь говорят, что весна благоуханна, что благоухают и распускающиеся деревья. Но я ничего не ощущаю. Я насквозь прокурен. Трезвенник Христосик может ощущать ее аромат, но он ничего не чувствует от страха. Страх грызет его душу, а боится он потому, что трезвенник. Правильно. Выпью-ка я рому!» На некоторое время ром разогнал скуку Гайнича.

Надпоручик тянул из фляжки и лениво поглядывал на работающих солдат. Они с остервенением всаживали лопаты в землю. Кто-то принес ведро воды. Его быстро опорожнили. Потом один из солдат ушел с пустым ведром и исчез в чаще, где были привязаны кони. Там, должно быть, находился колодец. Могла быть и речка. Гайнича некоторое время мучило любопытство. Но доставать карту не хотелось. Да он и не помнил, куда ее засунул. «Вода, может быть, отравлена!» Но вскоре это перестало его волновать. «Выпью. За здоровье командиров всех батарей! А им лучше, чем мне. Всем им лучше, чем мне». Гайнич приложился к фляжке и выпил ром до последней капли. «Надо сказать каптенармусу, пусть оставит мне литров пять. Впрочем, я сказал ему об этом еще вчера. И хорошо сделал. Без рому тут и минуты не прожить. Почему пять? Почему бы не шесть? Не четыре? Пять! Возьмем круглое число. Черт возьми! Пять это пять. Десять тоже круглое число. Не повредило бы, клянусь богом, не повредило бы...»

— Звонят с НП, пан надпоручик!

— Что им надо?

— Не знаю. Пан поручик Кляко...

— Кляко?!

Гайнич порывисто вскочил.

— Надпоручик Гайнич!.. Кляко? Здоро́во. Что нового? Не перепился?.. Нет?.. Серьезно? Так ты должен был сказать, что обо всем договорились... Но почему?.. Не может этого быть... Да не может этого быть. Я приду, жди меня!.. Кого?.. Это твой земляк? А я и не знал. Ну, ладно. Будь здоров.

Надпоручик положил трубку, выругался и сказал о немцах что-то такое, от чего телефонист сначала пришел в изумление, а потом расхохотался.

Гайнич, заметив это, строго спросил:

— Пьян?

— Никак нет.

— Не отпирайся. Думаешь, я не вижу? Глаза у тебя, как у ангорского кролика. Попробуй только засни, увидишь, что я из тебя сделаю.

— Пан надпоручик, разрешите спросить?

Они сидели рядом, и это придало солдату смелости.

— Ну?

— А туда ли мы пришли, пан надпоручик? Ведь немцы-то о нас ничего не знают. Не знают, что мы должны прибыть. С НП мне сказали, что наших там приняли за шпионов и хотели перестрелять. Вроде нам тут не положено быть?!

Не глядя на солдата, Гайнич тихо приказал:

— Вызовите ко мне поручика Кристека.

Поручик прибежал, придерживая каску.

— Предварительной пристрелки не будет. Я иду на НП. Ройте тут укрытия да следите, чтобы солдаты не били баклуши. Ни минуты передышки. Вы меня поняли?

— Понял, пан надпоручик.

— Вызовите сюда рядового Лукана. Он пойдет со мной. Когда вернусь, не знаю.

Он небрежно кивнул Кристеку и задумался.

■

Через десять минут надпоручик и солдат покинули батарею. Лукан шел впереди, в десяти шагах от него — Гайнич. Солдат держался телефонной линии. Она вела по опушке молодого лиственного леса, еще не пробудившегося от зимнего сна. Своим рыжеватым цветом лес напоминал линяющую овчарку. Широкая разъезженная дорога прихотливо вилась среди деревьев. Вдруг открылось странное, без единого деревца, обширное круглое поле. Гайнич и Лукан очутились в центре нижнего полукружия; до верхнего было километра два, не меньше. Оттуда и доносился сухой, отрывистый лай перестрелки.

Лесная опушка сворачивала влево, в ту же сторону убегала и телефонная линия. Выйти в открытое поле Лукан не решился. Какое-то шестое чувство подсказало ему, что это будет небезопасно. Поле было пустынно, и совсем неподалеку, прямо рукой подать, стоял обгоревший комбайн. Еще ближе виднелась развороченная полевая кухня, с которой свешивались тела двух убитых солдат в немецкой форме. Один труп был без головы. Шея превратилась в темно-красную шишку. Руки другого тянулись к земле. Мягкие светлые волосы, длинные, словно у женщины, придавали лицу мертвеца с открытым ртом неестественный вид.

Надпоручик Гайнич спросил себя, отчего у этого солдата такое длинное лицо. В это время порыв ветра шевельнул волосы убитого и принес тяжелый трупный запах. На живых он нагоняет страх, вселяет горестные думы. Дышать этим смрадом было невозможно, и Гайнич получил ясный ответ: «Так смердеть будешь и ты. Еще никто никогда по-другому не вонял, ибо смерть уравнивает всех и не знает исключений из правила». Следом возник и второй вопрос: «Когда же наша очередь?»

Гайнич содрогнулся.

Ветер стих. Немного погодя новый порыв ветра пронесся над ними и зашумел в рыжеватом лесу.

— Скорей! — подгонял Лукана Гайнич. Они шли друг за другом, что-то принуждало их держаться вместе.— Скорей! — Гайнич опасался, не обстреливают ли дорогу, но знал, что сбиться с пути они не могут, нужно только придерживаться опушки. В конце полукружия находился НП Кляко.

На желтовато-белом от тающего снега поле расползались большие острова черной вспаханной земли.

Неподалеку от опушки возвышалась груда розовеющих мертвых тел. Внезапно увидев их, Лукан остановился, и надпоручик ничего ему не сказал.

— Убитые.

Они, по-видимому, пролежали здесь всю зиму. Осенью кто-то раздел их и сложил штабелем. Потом наступили морозы, нанесло снегу. Теперь была весна, снег растаял и обнажил мертвецов. Они еще не были тронуты тленом — эти розовые, словно живые, тела, обмытые то леденящей, то прогретой солнцем талой водой.

Они еще не разложились — эти розовые, словно живые, тела. Вот

у того, что лежит совсем близко, внизу живота видна выжженная рана, напоминающая темно-красную розу. Других ран не заметно. Этот убитый одинаково пугает и Лукана и Гайнича, может быть потому, что тело лежит на боку в пяти-шести шагах от тропинки, в стороне от остальных.

Из розового штабеля торчит толстая нога, рядом высунулись три руки. Две словно о чем-то просят. Ладони их тянутся одна к другой, как будто желая соединиться в мольбе, скрестив пальцы в последней молитве.

Ни Гайнич, ни Лукан не видят лиц. По крайней мере, Лукан не видит, но знает, что мертвецы эти молоды, что они его сверстники. Они были молоды, когда полегли в этом безлесном круге. И их сложили в розовый штабель. Лукан даже не чувствует отвратительного привкуса рома во рту, и голова уже не болит. Все окружающее обрисовывается перед ним болезненно-четкими линиями, и потому ему жутко. Жутко и от того, что он не в силах шевельнуться, и от того, что он не может отвести глаз от розоватых рук и спин, и ему все кажется, что эти две руки о чем-то просят, хотят в последний раз помолиться. Они живые, и у них нет ничего общего с розовой грудой человеческого мяса.

— Это немцы или русские?

Никто не может ответить надпоручику. И именно сейчас, как случается порой, ему приходит в голову: «А что сказал бы об этом Кляко?» И он отвечает за него: «Мать честная, не видишь ты, что ли? Это швабы!» Гайничу становится не по себе, и он тянется к фляжке, которую ему наполнил денщик, а когда выпьет, то угостит, разумеется, и Лукана, словно близкого приятеля.

— На, выпей, Лукан! Глаза бы мои не глядели, до чего гнусно их бросили!

Близость убитых стерла грань между солдатом и офицером. Суровый Лукан взял фляжку, отпил и молча вернул ее Гайничу. Потом вытер губы и сказал:

— Много их тут лежит с осени. Видать, немцам не дешево это дело обошлось.— И, сказав так, пошел дальше.

— Почему ты думаешь, что это немцы?

— Почему? Чувствую.

— Тебе хочется, чтобы это были немцы. Ты очень этого хочешь, несчастный. В этом-то вся заковыка. Тебе это просто приятно.

— Я немцев знаю, пан надпоручик. Стали бы они возиться с русскими. Вали в яму — и ладно!

Гайнич не захотел спорить. Он выпил еще и закупорил фляжку.

— Посмотрим!

Гайнич и Лукан проходят мимо еще пяти розовых штабелей человеческого мяса. Они сложены на одинаковом расстоянии друг от друга. Это легко заметить. Но почему на поле, в центре круга, и дальше, куда бы ни посмотрел надпоручик в бинокль, больше нет ни одного штабеля?

В низинках стояла талая вода. Ручейки прогрызли в сугробах ледяные русла, бежали к рыжему лесу, где на рыхлом подтаявшем снегу виднелось множество следов. Больше всего их было вдоль красного телефонного провода. Тут Гайнич с Луканом и услыхали отдаленные. еле уловимые человеческие голоса. Потом звонкий металлический звук разорвал тишину желтовато-белого круга, и из рыжего леса вышел высокий немецкий солдат с винтовкой на плече. Он выжидательно остановился на дорожке.

— Фриц!

— Не обойдешь его! — прошипел Гайнич.

Солдат стоял на обледенелой тропинке, подбрасывая винтовку. Из-под каски выглядывала пилотка, натянутая на уши, и почерневшее.

обмороженное лицо. Он смотрел неприветливо, но внимательно, склонив голову набок и напоминая всем своим видом чем-то озадаченную собаку.

Пока Лукан и Гайнич приближались к немцу, напряжение росло. С каждым шагом усиливалось недоверие. Ни та, ни другая сторона не знала, как себя вести. Такие отношения были обычны в глубоком тылу.

Немец должен был видеть знаки различия на одежде Гайнича, должен был заметить, что перед ним офицер союзной армии. Все это могло ничего не значить для старого солдата, который наверняка самозабвенно приветствовал бы своих офицеров. Но тут было еще и другое, что следовало решить в ближайшие секунды: кто кому уступит дорогу? Стоять можно было только на обледенелой тропинке. По обе ее стороны лежал проваливающийся мокрый снег, струилась вода.

Лукан сделал шаг вправо, тогда и немецкий солдат шагнул в сторону от тропинки, улыбнулся и хрипло спросил:

— Ungarn?[1]

— Словаки.

— O, ich dachte...[2]

Немец подкинул винтовку и, когда Лукан проходил мимо, схватил его за рукав и пощупал толстое сукно.

— Gut, gut!..— произнес он, показывая на свою поношенную зимнюю шинель, и засмеялся.— Холот, сима, холот, сима niks gut, ich bin krank[3].

— Schnaps, ja?[4] — предложил Гайнич и медленно протянул немцу фляжку.

— O! — солдат, испуганно озираясь, отрицательно покачал головой.

Он боялся рыжего леса, боялся позолоченных офицерских звездочек и инстинктивно понял, что выход из этого сложного, немыслимого положения ему поможет найти солдат, сопровождающий офицера. Он повернул обмороженное лицо к Лукану, и тому стало жаль несчастного. Он сказал:

— Trink![5]

— Danke schön.[6] — Немец отдал честь Гайничу и, спрятавшись за спину Лукана, принялся пить огромными глотками.— Mein Gott, es ist aber wichtiger Rum! Danke schön, Herr Offizier![7]

Он вернул фляжку Гайничу и снова отдал честь.

— Front? — Надпоручик указал вперед.

— Jawhol, Herr Offizier! Iwan macht bum-bum![8]

— Бум-бум! — засмеялся Гайнич.

— Криг ист шайсе, нихт вар?[9] — спросил Лукан, угощая немца сигаретой.

Немец взял ее и отступил на шаг. Его глаза в ужасе полезли на лоб. Он покосился на офицера, и Лукан понял его взгляд. Солдат опасался офицерских петличек и, как всякий немецкий солдат, предпочитал молчать. Лукан понял, что немца не заставишь рта раскрыть даже в отсутствие надпоручика. Он знал немцев и именно потому никогда не мог их понять.

— Ауф видерзеен!

---

[1] Венгры *(нем.)*.
[2] О, а я-то подумал *(нем.)*.
[3] Плохо, я болен *(нем.)*.
[4] Шнапсу, да *(нем.)*.
[5] Пей *(нем.)*.
[6] Спасибо *(нем.)*.
[7] Боже мой, да ведь это превосходный ром! Спасибо, господин офицер *(нем.)*.
[8] Так точно, господин офицер. Иван палит бум-бум! *(нем.)*
[9] Krieg ist Scheiße, nicht wahr? *(нем.)* — Война — это дерьмо, верно?

— Auf Wiedersehen *.— Немец отдал честь каждому в отдельности.

Некоторое время словаки шли молча, потом Лукан заметил:

— Не все немцы одинаковы. Среди них встречаются и хорошие люди. Как вы думаете, пан надпоручик?

Гайнич ничего не ответил. Он рассматривал воронки от снарядов. Это «как вы думаете» оскорбляло его. Но в голове засел образ немца с почерневшим лицом. «Какой-то крестьянин». Это было сразу видно, и вдобавок надпоручик понял, что немец вызвал в нем те же чувства, что и штабель человеческих тел. Ему стало как-то жутко, возникло незнакомое ощущение собственного ничтожества. В нем словно что-то умирало, и не было сил воскресить в себе эго что-то. И Гайничу пришлось остановиться: он должен был, преодолевая отвращение — ведь фляжки касались черные, растрескавшиеся от лихорадки и ветра губы немецкого крестьянина,— хлебнуть рома. Это он, Гайнич, в порыве минутной слабости дал ему выпить. Впредь он так делать не будет. «Он все еще там стоит?» Гайнич оглянулся: немецкий солдат стоял на прежнем месте. Как-то непосредственно и радостно он махал им рукой, как машут дети на железнодорожной станции, прощаясь со своим отцом.

— Болван!

Надпоручик успокоился и отвернулся. Он не знал, да и как мог он знать, что немецкий солдат не только машет рукой, но и плачет при этом.

Завыл снаряд. Он разорвался с оглушительным грохотом в рыжем лесу, где-то совсем близко — кроны молодых дубков зашелестели.

— Нас обстреливают. Беги! — закричал Гайнич, бросаясь на землю. Отваги подняться и побежать у него самого не было. Под Гайничем текла ледяная вода. Когда просвистел второй снаряд, надпоручик зажмурил глаза и ему вспомнился конь, которого он оставил на батарее. Тут земля позади него содрогнулась, сверху что-то посыпалось. Это комья земли и лед, шлепаясь, падали в снег вокруг Гайнича.

Тишина.

Вода холодит тело.

В рыжем лесу все неподвижно.

Гайнич встал. С шинели капало. Лукан показывал на тропинку.

— В него попало. Кажется, ему нужно помочь.

— Ну, давай, живо!

Солдат с обмороженным лицом не шевелился. Он лежал на обледеневшей тропинке, а в трех шагах от него чернела новая воронка.

— В лепешку! Идем, Лукан!

По дороге Лукан вспомнил, что так говорит поручик Кляко. Почему все подражают Кляко?

— Убит наповал!

Таково было надгробное слово над телом неизвестного немецкого солдата, который за две минуты до смерти согрел свое нутро словацким ромом и за две минуты до смерти побоялся согласиться с тем, что война — это обыкновенное дерьмо. Слова «убит наповал» Лукан произнес на бегу, раздумывая над тем, что такого немца с почерневшим, обмороженным лицом жалко и что таким людям следовало бы уцелеть в этой войне. А то, что надпоручик дал немцу рому, достойно похвалы. И все же поступок Гайнича необъясним, потому что Гайнич вообще-то хам. «Если бы в него угодило, стало бы одним хамом меньше. Командиром назначили бы поручика Кляко. Кого же еще? Христосика? Нет, нет! С таким много не навоюешь».

— Пошевеливайся, черт возьми!

---

* До свидания *(нем.)*.

Они дошли до таблички, где стояло красными буквами: «Von Mallow» и стрелка, указывающая в лес. Оттуда вели две в свою очередь разветвлявшиеся тропинки. Лукану это ничего не говорило, но надпоручик воскликнул:

— Пришли!

Лукан понял, что они выходят на передний край. Блиндажи, замаскированные хворостом, из них торчат жестяные трубы. Ступеньки. Двери, завешенные пятнистым немецким брезентом. Блиндажи построены беспорядочно, где попало. Должно быть, их бросили — трубы не дымят. Лукану кажется, что они одни в лесу. Лес этот какой-то призрачный, нет, не настоящий это лес. Искалеченные, обгрызенные пулями и поваленные снарядами молодые деревца печально шевелят голыми ветвями, похожими на умоляюще протянутые руки из розовых штабелей, которые скоро начнут разлагаться под апрельским солнцем и распространять зловоние.

В одном блиндаже слышался невнятный говор. Кто-то засмеялся и сказал:

— Найн, найн, шмуцик...*

Еще одна табличка с красными буквами и стрелкой. На развилке надпоручик в растерянности остановился. Засвистели пули, одна клюнула дерево: тюк! Где-то впереди покашливал пулемет, и эхо выстрелов, словно туман, оседало в долине.

По средней тропинке они зашагали прямо на звуки. Блиндажей здесь не было. Всюду валялись пустые консервные банки, обрывки немецких газет. На свежеспиленном пеньке стояла нетронутая пол-литровая бутылка с пестрой этикеткой. Ба!.. Что-то французское! Гайнич не смог прочитать, но хорошо запомнил этикетку — девушка с корзинкой винограда. Простоволосая девушка в зеленой юбке.

Тропинка привела к окопу с мокрыми желтыми стенками. На дне лежали узкие доски. Гайнич и Лукан спрыгнули вниз. Окоп доходил им до плеч и был довольно широк. Надпоручику захотелось услышать собственный голос.

— Будь поосторожней, не высовывай голову. «Iwan macht bum-bum!» — усмехнулся он.

Лукан был слишком поглощен новизною обстановки и не понял сказанного Гайничем.

— Извините, что?

— Ничего.

Передний край разочаровал Лукана. Тут не было страшно, все только интересно. Наблюдательный пункт, где находился поручик Кляко, он не мог представить себе даже приблизительно.

Разочарован был и надпоручик. И встревожен. Всем! Тревога его началась с розового штабеля и усилилась после встречи с обмороженным немецким солдатом. Розовые штабели — крестьянин Лукан говорит, что это немцы. Теперь он, Гайнич, крадется по немецким окопам. Пока они не привлекли ничьего внимания, никто их не спросил: что вы здесь делаете? «Где эта знаменитая... что знаменитая?.. аккуратность, черт побери! Где она? У этих немцев... черт возьми, в окопах полно воды! Я бы со своими солдатами поддерживал здесь иной порядок!» Он громко выругался. Сапог соскользнул в густую, липкую грязь. Гайнич тяжело вздохнул и оглянулся — следует ли за ним Лукан.

Окоп внезапно раздвоился. Голоса! Эхо пулеметной стрельбы прошумело в ветвях и осело, словно туман, в долине, видимо, уже совсем близкой.

Тинь-тинь! — защелкали пули.

---

* Nein, nein, schmutzig *(нем.)* — нет, нет, грязный.

«Русские!» — эта мысль потянула надпоручика влево, к пулемету. Через окоп были перекинуты бревна, на них набросана земля. В темной дыре виднелись сапоги, заляпанные грязью, и пола немецкой шинели.

— Алло, алло!

Надпоручик приблизился к укрытию.

Показалась каска, молодое лицо. Глаза заморгали, открылись белые зубы, и голова снова исчезла. Потом послышался топот и крик: «Ганс, Ганс!» Голос заглушила стрельба, и кто-то воскликнул:

— Mein Gott!

— Черт возьми, что тут происходит?

Надпоручик рванул ремень. Он искал фляжку. Закричал, почуяв опасность:

— Алло, хир словакен.*

Опасность почувствовал и Лукан. «Нет, нет, не надо пригибаться, не надо прятаться. Дай-ка я лучше закурю!» Он закурил, подавляя в себе страх, который то захлестывал его, то отпускал.

Шаги.

Что-то зачмокало.

Наконец с той же стороны, откуда пришли они, появился немец в белом маскировочном халате. Белый капюшон был разорван над правым ухом. Без каски, с рыжеватой щетиной на подбородке, солдат остановился и тотчас вскинул автомат на изготовку.

Они долго глядели друг на друга, и Лукан не мог ничего решить. Он почувствовал, что молчать дольше опасно.

— Словакен. Беобахтен.**

Рыжий хлопнул себя по лбу, сказав:

— Ах, да!

После этого он улыбнулся и ушел. Позвонил кому-то:

— Herr Leutnant! Herr Leutnant!

— Пан надпоручик!

— Что такое? — Гайнич вышел из укрытия.

— Был тут один рыжий, мне показалось, он нас знает. Надо идти за ним, да побыстрее. Как-то все странно.

— Живо! Эти швабы трясутся от страха, будто зайцы. Перестреляют еще нас!

Они побежали рысью — скользили, толкались плечами в мокрые желтые стенки окопов.

Рыжий вышел навстречу словакам. Он поманил их рукой, повернулся и спокойно зашагал впереди. Время от времени он посмеивался и говорил: «Slovaken!» Неизвестно, что он думал при этом, но слово звучало так, будто он чему-то радовался.

— Кляко! — радостно воскликнул Гайнич.

Перед ними в окопе стоял поручик и, заложив руки за пояс, загадочно улыбался.

— Господа, я страшно вам рад. Но если у вас нет глоточка рома... поворот кругом, марш, и я не хочу вас знать до конца жизни. Мою порцию выпил этот рыжий дьявол. Я всегда утверждал, что рыжие — проклятие человеческого рода и порядочных поручиков в первую очередь.

Кляко был навеселе.

Рыжий, должно быть, почувствовал, что говорят о нем, потому что с лукавым видом поглядывал на Кляко.

— Кое-что найдется. Для тебя — всегда!

Лукану казалось, что надпоручик рад оказать услугу Кляко. Гайнич протянул ему фляжку и подмигнул рыжему.

— Могло быть и больше.— Кляко встряхнул фляжку и тоже в свою

---

* Hier Slowaken *(нем.)* — здесь словаки.

** Slowaken. Beobachten *(нем.)* — словаки. На НП.

очередь подмигнул рыжему.— И тебе оставить надо? Посмотрим.— Кляко долго пил.— Получай! Напейся и сгинь! Ты пугаешь сынов честных словацких мамаш. Господа хорошие, если бы вы знали, сколько на этом парне вшей, вы бы того...

— Gut, gut, Herr Leutnant. Danke schön! — подобострастно произнес немец.

— Конечно, «Danke schön», если я тебе, этакому паршивцу, делаю любезность. А ты гофоришь чешски? Варум не говоришь ничего чешски?

— Не говориль долго чешски, nur deutsch *. Сабиль.

— До тошноты надоел. Судетский немец, бывший кельнер, но за ром продаст и свой несчастный фатерланд.

— Ja, ja, Herr Leutnant. Im Vaterland** есть много рум.

— Слышите? С ним нужно говорить быстро, тогда он ни черта не поймет.

— Хватит разговоров, мы не на бал пришли! — заговорил Гайнич официальным тоном.— Объясни, что тут произошло?

— Ха-ха-ха! Не спеши, солнышко мое, не спеши. Рыжий должен исчезнуть. Или ты думаешь, что этот болван тут просто так, для пущей важности? Боже, ты еще совсем ребенок! Пан надпоручик Гайнич, ты неисправимый ребенок!

Кляко вошел в укрытие.

RITTERKREUTZ***

— Ты просто идиот,— говорит надпоручик Гайнич, выслушав рассказ Кляко.

— Допустим,— недовольно соглашается Кляко. Он озабочен.

— Ты допускаешь? — смеется Гайнич, и это избавляет его от упреков.

Разговор происходит при Лукане. Оба офицера забыли о нем. Или он им уже не мешает? «На переднем крае может быть всякое»,— думает Лукан, слушая разговор.

— Идиот не идиот, цена человеку здесь одна, не так ли? А если ты, герр командир, не согласен со мной, тогда... да, тогда надо установить, кто из нас больший идиот...

Но речь Кляко утратила обычную прелесть и своеобразие. Его слова не колют, не вызывают желчной злобы Гайнича.

— Черт его знает! — вздыхает тот и переходит с Кляко на «ты», как всегда, когда не знает, как поступить.— А твое мнение?

Офицеры сидят на пустом снарядном ящике, за выступом в углублении окопа. Они, словно близкие друзья, примостились рядышком.

— Ответь себе сам!

— Нам не доверяют.

Кляко становится смешно.

Он постоянно над всеми подтрунивает, всех оскорбляет и унижает, по всякому поводу заливисто хохочет. В этом смехе звучит и грусть — грусть по поводу участи Гайнича и своей, а может, и Лукана, его земляка, потому что, глядя на Лукана, он тоже хохочет, широко раскрывая красногубый рот.

Что же случилось? О чем рассказал Кляко Гайничу?

Немцы встретили наблюдателей-артиллеристов во главе с Кляко холодно и враждебно. Они обступили словаков; два унтер-офицера пригласили поручика следовать за ними и привели его в роскошный блиндаж, где был настлан пол и лежали ковры.

---

* Только по-немецки *(нем.)*.

** Да, да, господин лейтенант. На родине *(нем.)*.

*** Рыцарский крест, название немецкого военного ордена.

— ...на стенах, представь себе, фото женщин! Среди них две нагие красавицы,— причмокнул Кляко.— Эх, где те времена! За столом орал какой-то немецкий обер-лейтенант. Он кричал то в телефон, то на меня, то снова в телефон. «Болван,— подумал я,— скоро ты накричишься?» Я плюнул и стал разглядывать картинки. Плоть потрясающая! Воистину боги всесильны, если сумели сотворить таких великолепных бестий. Наконец этот болван опомнился. «Sprechen Sie Deutsch?»* Тут я сообразил, что он обращается ко мне. «Найн»,— говорю и продолжаю рассматривать голых баб. Я мог бы простоять так целый год, ей-богу. Когда-нибудь загляни туда — стоит того. Не знаю уж почему, но немец вдруг засмеялся. Разве их разберешь? Велел вызвать рыжего судетца. Герр командир, я после этого и о бабах забыл. Знаешь, что сказал обер-лейтенант рыжему? Я по-немецки ведь понимаю. Что пришли, мол, какие-то типы, дерьмовые словаки — запомни это, герр командир! — которые и пороху не нюхали. «Э! Да ты не просто болван, а круглый болван!» Разумеется, я только так подумал. Он сказал еще, что они нам доверять не могут и нам разрешается передвигаться только между блиндажами шесть и восемь. А в других, мол, местах он не может поручиться за нашу безопасность. «А может, этот словак вообще из евреев?» — сказал он. Пристреливать батарею мы и то не имеем права. Сегодня должен прибыть командир батальона, какой-то «фон» — «такой же паршивец, как и ты»,— подумал я,— тот решит, как быть дальше. «Переведите ему все это,— говорит по-немецки обер-лейтенант рыжему.— Только оскорбительные выражения выбросьте, все-таки он офицер. Что я думаю о словаках — это мое личное мнение, они ведь наши союзники». Рыжий унтер уже открыл было пасть — переводить собрался, а меня черт дернул за язык: «Спасибо»,— говорю ему по-немецки. Он прямо позеленел. «Извините за беспокойство, я все понял — и даже очень хорошо». Уверил его, что все запомню, и ушел. Но все-таки я разиня! Следовало бы еще сказать, чтобы он меня поцеловал в одно место. Здорово бы получилось!

Надпоручик Гайнич в заключение рассказа Кляко глубокомысленно произнес:

— Ты просто идиот!

Заливистый хохот Кляко не задел Гайнича. Надпоручик все видел как бы со стороны, и смех Кляко тек мимо него рекой. А он, Гайнич, стоял на ее берегу, чувствуя глубокое разочарование и все спрашивая себя: «Почему? Почему нам не доверяют?»

Молчал и Кляко. Сначала он никак не мог понять, отчего у него нет злобы на немецкого обер-лейтенанта. Попытка рассердиться выглядела смешно и фальшиво.

«Почему бы этому немецкому обер-лейтенанту и не кричать, раз пришла такая охота? В конце концов, ха-ха... Это один из отличительных признаков расы! И почему немецкий обер-лейтенант должен верить словакам и ausgerechnet ** мне? Это солдат. Не гнушаясь никакими средствами, он выполняет свой долг энергично и последовательно. И если все его заслуги ограничиваются тем, что в его командирском блиндаже висят фото голых баб, так этот малый в некотором смысле даже симпатичен, хотя во всем остальном — первостатейный болван!»

И все-таки Кляко был недоволен, недоволен и озабочен больше чем когда-либо. «Почему именно я стоял перед немецким обер-лейтенантом? Великолепный блиндаж с настоящим полом и коврами... О, это дурной признак! Признак? Чего?.. Я люблю женщин и предпочтительно нагих. Я, как хорошо отточенная коса, подсекаю всех и вся... А где? Где находится этот роскошный блиндаж с фотографиями? Где? Кляко, не будь

---

* Вы говорите по-немецки? *(нем.)*.

** Уж конечно *(нем.)*.

трусом и отвечай на вопрос! Ты принуждаешь себя к этому вот уже несколько часов, и все еще тебе не хватает духу прямо ответить на него. Вопрос, конечно, не из простых, одно только это тебя и оправдывает. Ведь ответив, ты должен вложить в рот пистолет и нажать курок. Нет, в одиночестве стреляться ты не станешь. Решено. Поэтому ты просил вызвать на НП Лукана, просил вызвать своего земляка, чтобы сказать ему несколько слов. Каких? И есть ли в них смысл? Есть. Передай, мол, привет моему отцу, это прекрасный человек. Передай привет матери и сестре. Все они лучше меня, и я должен думать о них в последнюю минуту перед смертью. Может быть, они и простят меня. Это все. Лукан, мой земляк, здесь, а я еще не сказал ему ни слова. Постепенно ты примиряешься с мыслью, что ничего ему не скажешь, просто высунешь голову из окопа, получишь пулю в лоб, и все будет кончено. И это хорошо, да? Ты должен сделать так потому, что тебе не хватает духу ответить на вопрос, где находится роскошный блиндаж и что ты тут делаешь. Что ты здесь делаешь? Старый, как мир, вопрос! Ты-то в первый раз поставил его перед собой... Кто его поставил первым? Не ты первый. Да, да, ты услышал его, когда батарея была на марше, торопясь на фронт. Справа высился молчаливый лес, слева — колхозная конюшня, двенадцать домов в ряд. Прямо у шоссе — развалины каменного здания. Там же — виселица. Ее сколотили незадолго до твоего прихода из еще совсем свежих сосновых бревен. Ветер рвал на повешенном незастегнутый пиджак. К груди мертвеца был приколот штыком кусок картона с четко написанными буквами: «Бандит».

Кляко встретился глазами с угасшим взором мертвеца, и тот вдруг заговорил: «Что ты здесь делаешь?» Потом этот вопрос Кляко задавал себе все чаще. Но разве мыслимо беспрестанно задавать себе один и тот же вопрос? «Что ты здесь делаешь?» Нет, это даже не вопрос. Он звучит грубо, повелительно. Звучит так, словно у того, кто спрашивал, не было желания повторять его много раз. Но для Кляко вопрос этот не стал чем-то привычным. Он не в силах услыхать его еще раз, потому что зашел слишком далеко. Он не имел права так далеко заходить и до сих пор вел себя легкомысленно, преступно, будто не верил, что в конце длинного перехода его ждет блиндаж с полом и коврами.

«Голые бабы здесь неуместны. Это дурацкое недоразумение. Всякое недоразумение выглядит в той или иной степени дурацким. Да, я не должен был допускать это, не должен был позволить себе попасть сюда. Конечно, я мог предполагать, что батарея в конце концов выйдет на свой огневой рубеж, не важно, в каком точно месте. Всюду одно и то же, и всюду меня преследовали бы укоры совести. Фронт велик, растянут на две тысячи километров. Мать честная, вот это цифра! И угораздило же меня родиться! Да, не повезло мне, братцы, чертовски не повезло! И давно не везет. Мой учитель математики сказал бы: «Чем длинней линия фронта, тем больше горя на земле — все это находится в пропорциональной зависимости». Пан учитель, теперь для меня это ничего не значит, я сыт всем этим по горло, вы увидите, что я найду более легкий выход. И немедленно! Теперь, после того как я побывал в роскошном блиндаже «Heimat» * и сижу с надпоручиком Гайничем на узеньком снарядном ящике,— теперь я обязан сделать *это*. Здесь Лукан, мой земляк, и я не смею сказать ему ни единого слова. Он в упор рассматривает меня. Совесть во мне пробудить хочет, что ли? Стоит мне только высунуть голову — и всему придет конец. Придет конец. Ведь нигде не написано, что без меня мир перестанет существовать. Человечество забыло написать такое изречение или сознательно не написало его и уже одним этим вынесло мне приговор. Я — нуль! По крайней мере не нужно ни у кого

---

* Родина *(нем.)*.

спрашиваться. Обо мне никто плакать не станет. Отец? Отец немножко всплакнет, но он знает, что такое война. Если бы я все ему объяснил, он понял бы меня. Он прекрасный человек. Вот мать будет плакать. А сестра — девчонка, такой ничего не объяснишь. Плакали бы женщины, которых я мог бы встретить и полюбить. Теоретически, конечно, потому что я никогда уже их не встречу. И даже не знаю, где они, как их зовут. Но они должны были бы плакать, женщины любят плакать. Кто мне сейчас же скажет, что такое теоретические слезы?.. Ну, быстро, потому что я тороплюсь. Поручик Кляко, офицер второй батареи словацкого артиллерийского полка, торопится, господа... Скорей! Итак, мы доигрались! Раз мы доигрались, вы все можете меня очень ласково и сладенько...»

Он вскочил, подпрыгнул и, цепляясь за корни, полез вверх на бруствер.

— Проклятие!

Его схватили сильные руки и потащили в окоп.

— Пусти меня, скотина! — закричал Кляко, отчаянно сопротивляясь.

Страх, что эти руки стащат его вниз, придал ему нечеловеческую силу. Он лягал надпоручика в грудь и сполз, но не отпустил корней. Вверх! Еще раз напрячь мышцы, потому что кругом липкая грязь. Грудью и животом он лежал на клочке земли, который выбрал себе. Подбросить ноги и... но на них повисло что-то тяжелое и стянуло его в яму.

Засвистели пули — пинь-пинь,— послышался звонкий удар металла.

— Скоты, скоты!..— шептал Кляко.

Он сидел в грязи, не глядя на окружающих, на бледном лице его выступил пот. Кляко прислонил голову к липкой стенке окопа, словно хотел заснуть.

— Пан поручик!

Кляко дрожал, будто испуганный чем-то.

Онемев, смотрел на него Гайнич.

— Пан поручик, у меня есть немного рому.

«Есть еще и Лукан на свете? И ром? Что такое ром?» — с недоумением вопрошали глаза Кляко. Но он выпил и после этого сказал Лукану:

— Что наши дома поделывают? Ты не знаешь, что они делают? Я-то не знаю — домой не пишу и письма получаю редко.

Лукан вместо ответа смотрел на Гайнича, ища у него поддержки.

— Вы думаете, я спятил? Для вас это было бы лучше.

Кляко ехидно засмеялся, и в его смехе не было больше ничего устрашающего.

— У тебя сдали нервы, поручик,— точно таким же смехом откликнулся Гайнич, тщетно пытаясь скрыть свой ужас.

— Нет, нет — душа. Нервы у меня в полном порядке,— печально сказал Кляко.

— А я говорю — нервы!

Кто-то подошел к ним.

— Herr Major von Mallow просит коспот офицер до бункер «Heimat»,— сказал рыжий судетец и помахал словакам рукой Засмеявшись, он подмигнул Лукану, который пристегивал фляжку к поясу.— Аа-ах! — вздохнул он и исчез.

— Пошли! — Гайнич побежал вслед за ним.

— А вы не пойдете, пан поручик? — обрадовался Лукан.

Кляко махнул рукой.

— Не любопытствую, Herr Major не лучше своего обер-лейтенанта. Дай еще немножко рому. Не бойся, отдам.

— Не надо. Я обойдусь.

— Не прислуживайся! Здесь всем надо пить. Я отдам. Офицеры получают особый паек. Ты что, об этом не знаешь?

— Слыхал.

— Гайнич велел каптеру припрятать для него целую бутыль, мне это известно, Лукан. Не болтай о том... о том, что ты здесь видел.

— За кого вы меня принимаете!

— Спасибо! — И Кляко добавил: — Я всю ночь думал, как мне застрелиться. Но человек слаб. Потом решил позвать на НП тебя. Скажу, мол, ему несколько слов, пусть передаст привет моим родителям и сестре. А когда ты пришел, даже не посмел взглянуть на тебя. Сам я не застрелюсь,— он ткнул пальцем в бруствер,— быть убитым ими мне показалось приличнее. Да не получилось.

— Я вас понимаю.

— Ты не можешь это понять.

— Во второй раз вы такого уже не сделаете.

— Не знаю. Вероятно, это будет трудно. Откуда ты знаешь?

— Сегодня ночью, когда выдавали ром, на меня напала такая тоска, такая тоска навалилась, что я и пить не стал. Такая тоска не повторится. А если и повторится, так ей уже не удивишься.

— Вот как? — Кляко был изумлен.

— Теперь мне уже все едино. Что бы там ни случилось.

— Что бы там ни случилось. Н-да, только так здесь и можно выдержать. Была у тебя дома милая? Была! Почему я говорю в прошедшем времени? Или мы и в самом деле обреченные?

Кляко уставился на переплетающиеся корни молодых дубков. Потом весело рассмеялся.

— Может, я лезу не в свое дело, Лукан. Есть у тебя дома девушка?

— Трудно сказать. Я и сам не знаю.

— «Я и сам не знаю»,— присвистнул Кляко.— У тебя должна быть милая! Только... ты, наверно, разборчив, а?

Кляко засмеялся. Лукан против воли присоединился к нему. Поручик ему нравился. Этот разговор их сблизил. Теперь они не понимали, как могли столько месяцев ходить рядом такие равнодушные, недоверчивые, в строгом соответствии со своими званиями.

— И у меня нет девушки. Были какие-то фифочки, этакие... ну, сам знаешь какие. А порядочной ни одной. Я, должно быть, не умею обращаться с женщинами. Они больше насчет свадьбы, а у меня духу не хватает на это. Я их боюсь. Все это как-то по-другому нужно. Как ты думаешь?.. Боже, сигарету!.. Такого со мной еще не бывало. Я не курил добрых полчаса.

Они закурили.

Солнце вырвалось из-за свинцовых туч, осветило призрачный дубовый лес. Обрубки замученных деревьев были черны и печальны. Порой ветру удавалось расшевелить и раскачать их, но от этого они становились еще печальней.

— Пан поручик! Я знаю вашу сестру!

— Ну! Впрочем, нет, лучше мне об этом не говори.

В глазах Кляко появилась тревога.

— Она на вас совсем не похожа.

— Еще бы! И может радоваться этому.

— Я хотел сказать — лицом.

— Ну! — Кляко со страхом ждал, что скажет Лукан, потому что любил сестру. Как это отвратительно — вдруг заговорить о сестре с чужим человеком, да еще в такой обстановке!

— Во дворе у вас есть колодец.

Поручик прищурился.

— Есть. Дальше! — резко торопил он Лукана.

— Когда не было работы...— Лукан ничего не заметил и продолжал чуть дрожащим голосом:—...я помогал отцу на дороге. Заделывать щеб-

нем выбоины, обкашивать кюветы, ну и прочее. Выбоину надо сначала засыпать, потом полить водой. Воду я всегда носил с ближайшего двора, потому что ручей там далеко, за садами. До него и не добраться. Разве только через заборы, украдкой...

— За садами. Верно,— сказал Кляко более спокойно.

— Вот я и зашел во двор школы. А ваша сестра закричала пани учительше: «Мама-а, сторожа дорожные пришли! И один спрашивает,— она назвала меня «один»,— можно ли взять воды. Можно?» — «Можно».— «Берите, да только и нам оставьте». И засмеялась. Я стал накачивать воду, а она смотрела. Она красивая.

— Да,— с гордостью сказал Кляко, но нахмурился. Весь этот разговор он считал неприличным. Какое право имеет Лукан говорить, что она красивая? Он смял недокуренную сигарету и закурил другую.— Не знаю, правда ли это, я в такие дела не вмешиваюсь, но слышал, что за ней серьезно ухаживает один учитель.

И Кляко бросил на Лукана быстрый пристальный взгляд.

— Какой?

— Это ее дело.

— Конечно.

Лукан слегка смутился, потому что поручик громко, как безумный, расхохотался. Лукан все понял. Ему и во сне-то не снилось мечтать о сестре поручика, но его рассказ — чистая правда. И разговорился-то он, думая сделать приятное поручику. У него у самого были братья, и если бы кто-нибудь — кто угодно — завел о них речь в этом окопе, Лукан был бы ему только благодарен.

Застрекотали пулеметы, и сразу весь фронт ожил.

Что-то зажужжало, прозвенело, ударило... Бум-м!

Грохот сливался со вздохами в долине, которая не успевала возвращать эхо. Она отдувалась, пыхтела, вот застонала по-человечьи. Два немецких солдата в длинных шинелях, заросшие, заляпанные грязью, пробежали по переднему окопу. Страх прижимал их к земле. Один выругался.

— Что-то случилось,— сказал Лукан.

— Да.

Кляко встал и перешел в первую линию окопов. Он не мог спокойно сидеть наедине с солдатом, не зная, что происходит и что ему ответить. Почему солдаты думают, что офицеру должно быть все известно? Откуда ему знать, что значило это звенящее жужжанье. Кляко никогда его не слышал.

Ррр... шрр... жж...

Кляко растянулся в грязи.

— Танки! — Навстречу Кляко бежал надпоручик Гайнич, опустив голову, как баран.— Будем пристреливать батарею! Где наши? Телефон! Живо!

Ррр... шрр... жж...

Рев моторов проникал до мозга костей. Гайнич сбил Кляко с ног. Обоих жарко обдало воздушной волной. Передняя стенка окопа стала медленно оседать. В воздухе замелькали листья, плавно, как осенью, они опускались на землю.

— Где телефон? — не своим голосом орал Гайнич.

Телефонисты оказались там же, где утром их оставил Кляко. Три скорчившиеся человеческие фигурки, оцепенев от страха, жались друг к другу, будто овцы перед грозой.

— Телефон! Где телефон? Те-ле-фон! — Голос Гайнича перекрыл адский грохот.

Солдат указал себе за спину.

— Связь есть, поганцы? Вы проверили? — Но солдаты упорно молчали. Гайнич пустил в ход пинки.— Я вам покажу, подлецы! Чтоб тебе сдохнуть!

Это были молчуны.

— Господи! — взвыл изумленный надпоручик, видя, как равнодушно отнеслись к его пинкам солдаты. Они даже не пошевелились! Тогда он сам подскочил к телефону, опустился на колени в грязь и принялся звонить.— Ирена, Ирена! Здесь Петер! Почему вы не отвечаете? — Неожиданно на переднем крае все стихло. Гайнич в ужасе замолчал. Что такое? Что происходит? Он беспокойно озирался, но так ничего и не прочел на удивленных лицах солдат.— Ничего, ничего,— крикнул он в трубку.— Я разговаривал. Слушаете? Вы меня слушаете?.. Батарее приготовиться к стрельбе! Сообщите об этом поручику Кристеку. Да, приготовиться к бою! Я лично буду вести пристрелку. Все.— И он положил трубку.

— Лично...

— Оставьте при себе свои замечания, поручик! — Взгляд Гайнича упал на молчунов.— Встать, сволочь, я вышвырну вас отсюда! Крысы безмозглые, трусливые бабы! — Гайнич вытер лоб и вдруг почувствовал облегчение. Он сел в грязь и, прикрыв глаза, тихонько сказал: — Поручик, достаньте, пожалуйста, карту из планшетки.— И пока Кляко вынимал карту, спросил:— Почему стало так тихо?

— Не знаю.

— Говорят, тишина на фронте хуже ураганного огня. Вы ничего не чувствуете, поручик?

— Ничего. Вот карта!

— Этот немецкий майор — интеллигентный человек. Он угостил меня коньяком. Жаль, что вас там не было. Почему вы не пришли? Был там и этот обер-лейтенант, с которым у вас вышла стычка. Ему пришлось оправдываться передо мной. Самомнение у него большое. Он просил передать вам, что придет мириться и что эта стычка была неприятным недоразумением. Он просит вас забыть о ней. Предлагаю вам сделать то же самое.

Кляко тем временем рассматривал Гайнича. Надпоручику было не больше тридцати лет, но лицо его, усталое и бледное, казалось гораздо старше. Под левым глазом виднелся шрамик, которого Кляко раньше никогда не замечал. Кожа на лбу и на носу была пористая, словно исколотая иглой. Нет, человеческое лицо вблизи вовсе не так уж привлекательно. В уголках рта белела пленка, словно у неоперившегося птенца. Кляко стало противно.

Молчуны подняли головы. Они все еще сидели скорчившись, пугаясь тишины. А она все нарастала и чудовищно сгущалась. Они уже жалели о ревущем аде. Они уверовали в безопасность места, которое им определил случай, и потому не шевелились, убежденные, что тут с ними ничего не случится.

— Не бойтесь, ребята! — подбодрил их Кляко.— Все кончилось, не будьте бабами! Закурите-ка лучше, коли есть что. Ну, подумаешь, немного трескотни! — Он поднялся.

Молчуны закопошились.

— Ты мне на ногу стал,— сказал один другому.

— Страшно тебе было? — обратился Кляко к заговорившему солдату.

— Страшно, пан поручик. Пробовал было молиться, да ничего не вышло. В голове хоть шаром покати.

— Убило кого-нибудь? — спросил другой с ужасом в голосе.

— Тебе хочется это знать?

Гайнич развернул карту.

■

Лукан заметил, что неподалеку находится прочно выстроенный блиндаж и что окоп там, выдаваясь вперед, заметно сужается. Его долбили в белом камне. Блиндаж был неглубокий. Немцев там не оказалось. Лукан вошел. Свет сюда падал через боковые входы и через небольшую прямоугольную амбразуру — блиндаж был достаточно хорошо освещен.

Где-то взвыл мотор.

Лукан подошел к стереотрубе. И сразу к нему приблизились пепельные и белые облака. В рваных, будто простреленных прогалинах виднелось синее и чистое, как дома над Планицей, прекрасное небо.

Лукан повернул черную рукоятку. Оптический прибор накренился. Из-под горизонта, как из воды, вынырнули далекие равнины, узкая полоска земли с черными черточками лесов. Потом появилась какая-то стальная башня, ослепительно отражающая солнце. Не было ни городов, ни деревень — мирный, дремотный пейзаж под небом, затянутым облаками. «Вот они, первые квадратные километры советской неоккупированной земли! Там бегут тропинки, шоссе, и ни один немецкий солдат еще не ходил по ним. Не прошла ни разу по ним и вторая батарея словацкого артиллерийского полка, а вместе с нею и я...»

Рукой подать до противоположного склона. Он весь в пятнах нерастаявшего снега. Мертвый склон. Чернеют стволы и ветви молодого леса. Долины не видно. Склон невысокий, но крутой. Над ним ровная местность, поросшая деревьями. Ее пересекают толстые кривые полосы. Окопы! Там есть такой же НП с оптическими приборами. И там стоит солдат и, может быть, смотрит как раз сюда, где...

Лукан повернул стереотрубу вправо, но там вид заслонили деревья, росшие поблизости.

Слева открывалась довольно широкая долина и пашня, совершенно черная, бесснежная. А вот и люди! Должно быть, убитые. Один, два... девять... Они черны, как земля, которая не чувствует их тяжести. У одного что-то белеет... Да это лицо! Оно белеет не резко, не как бумага. Лицо под цвет грязного снега. Убитый словно хочет перегородить долину своим телом. Остальные восемь шли или бежали в сторону стальной башни. Так они и полегли. Но трое из них бежали к востоку. Их мертвые руки, того и гляди, сольются с черной землей, а ветер принесет со стороны стальной башни их запах — их последний след. Идет апрель, зима кончается. Скоро растает последний грязный снег.

А там дальше, на пашне, никто уже не лежит, она совсем такая же, как планицкие поля, только земля здесь без камней и черная, словно сажа.

Все время где-то ревет мотор.

За пашней видна деревня, разбитая снарядами. Шесть домов. Широкий проселок ведет к отдаленному лесу, а по дороге громыхает танк. И километра, пожалуй, не будет. Лукан думает, что так и следует: люди должны сидеть в блиндажах, а танк может свободно разъезжать по полю. Тут кто-то оттолкнул Лукана.

— Покажи! — Поручик Кляко смотрит в стереотрубу.— Вот тебе и раз! Значит.... он просто здесь прогуливается. Ты видел?

— Ну, еще бы!

Кляко навел прибор на резкость.

— Знаешь, что мне пришло в голову, Лукан? Что эти немцы вроде как малость обеднели. У них здесь и орудий-то нет, ни одной пушчонки приличной! Ха-ха! Вот мы и должны их выручать. Ну, а надпоручик Гайнич, поручик Кляко и сопляк Христосик — три героя — справятся с этим делом! Видно, фатерланду — ха-ха! — приходится туго.— И поручик протянул певуче: — Да-а! Честное слово, по танку никто не стре-

ляет.— Потом крикнул: — Лукан! Из танка выскочил человек и копается в земле. Словно фасоль сажает.— И он рассмеялся от всего сердца.

Пулеметная очередь!

Долина отзывается эхом.

— Беги, черт тебя возьми! — кричит Кляко, глядя в стереотрубу.— А ведь он все еще копается в земле. Давай, давай! Теперь он поднял ногу. Уже стоит на танке. Ну и долговязый! Танк уже помчался к лесу. Клянусь богом, они издеваются над немцами.

— Пан поручик! Посмотрите, что осталось от деревни. Шесть домов.

— Фронт стоит здесь уже пять месяцев. Чего же ты хочешь? — Кляко повернул стереотрубу.— Ну вот, извольте! Деревья! Не видно ничего. Эта дыра как НП гроша ломаного не стоит. По крайней мере я так считаю...

Кляко принялся насвистывать.

Танк скрылся в лесу и, должно быть, покатил дальше, потому что рокот мотора не затихал. Пулеметы умолкли. Кляко посмотрел в стереотрубу и спокойно произнес:

— Ничейная земля. Как в кино. А эти девятеро и в самом деле убиты. Капут. Девять штук. Здесь, похоже, отдал жизнь за фюрера и мой Гальшке. Геройски отдал! За фюрера иначе не гибнут.

— Кто?

Кляко был слишком занят зрелищем.

— У него, наверно, была протекция! Его подобрали, а этих бросили. Девять штук. Ну что же! Для начала — отлично. Завтра там можем валяться и мы. А когда пригреет солнышко, будем геройски смердеть. Лукан! Ты боишься смерти?

— Был бы от этого толк, боялся бы еще больше.

— Я не понимаю, что с вами, ребята? Всякий норовит выслужиться. Вчера я троих спрашивал, и никто прямо не ответил. Боюсь, мол, и баста! А не какой-то там: «Был бы от этого толк, боялся бы еще больше». Ты думаешь, тебе и вправду это поможет? Наложил полные штаны, как я, и болтаешь жалкие слова.

— Что такое? — вмешался вошедший Гайнич с картой в руках. За ним следовал один из молчунов.

— А ты сам погляди и увидишь, что там такое. Да не трогай инструмент, он наведен точно.

Ухмыляясь, Кляко отступил от стереотрубы. Гайнич припал к окулярам.

— Восхитительно, герр командир? Ну, каково?

— Война требует жертв,— сухо ответил Гайнич.

— А я-то и забыл.— Кляко сплюнул.

Гайнич молча изучал местность, лицо его было строго. Он сверял ее с картой. Тем временем в блиндаж вошел второй молчун с полевым телефоном и сел в углу, позади надпоручика. Третий появился следом, закрепляя провода. В блиндаже стало тесно, и поручик Кляко вышел через другой ход. Было невыносимо смотреть на хладнокровное лицо надпоручика Гайнича, который все делал с таким видом, будто находится на полигоне.

— Гад, скотина! — бормотал Кляко, не заботясь о том, что его может услышать начальник.

— Слушай команду! — раздался голос Гайнича.

— Слушай команду! — повторил молчун в телефон.

■

Поручик Кляко шел, не оглядываясь, не в силах забыть шевелящиеся губы Гайнича. Лучше бы он расквасил их. Ему вспомнились пинки,

доставшиеся от Гайнича молчунам, его бешенство, вызванное их равнодушием. Кляко захохотал.

Навстречу Кляко попались двое немцев с носилками. Тот, кто лежал на них, очевидно, был очень тяжел, потому что солдаты пыхтели, еле переводя дух.

— Капут? — спросил Кляко.

Первый солдат бросил на Кляко дикий взгляд и что-то проворчал. Лицо убитого было прикрыто грязным носовым платком. С носилок свешивалась мясистая желтая рука. На рукаве виднелись ефрейторские нашивки.

Немцы свернули в боковой ход. Кляко остался на перекрестке — здесь было сухо. Он хотел побыть в одиночестве, но из блиндажа наблюдательного пункта донесся торжествующий голос Гайнича:

— Во имя святой Барбары, огонь! — Телефонист повторил эти слова.

В воздухе просвистели снаряды, выпущенные по команде Гайнича, и долина откликнулась оглушительным эхом. Снаряды разрывались совсем близко, то ли на противоположном склоне, то ли на пашне — среди убитых. «Сегодня вечером надпоручик уйдет, и я останусь один. Буду слушать эти свистящие звуки и курить еще больше, еще больше сыпать проклятьями, потому что это будут снаряды, посланные мной, я буду приказывать и давать команду». Кляко отбросил сигарету, хотел было выругаться, но что-то сдавило горло, и он не сказал ничего.

Надпоручик Гайнич вел пристрелку батареи. Он переносил огонь с места на место, словно ощупывал землю перед собой и проверял, где она тверже всего. Немецкие окопы ожили, сопровождая выкриками каждый залп. Солдаты находились здесь не первый день, знали, что, когда бьет собственная артиллерия, они как за каменной стеной. И эту стену сейчас возводил надпоручик Гайнич. Но не прошло и двух часов, как убило четверых. Под пули советских снайперов угодил и рыжий кельнер из Судет. Убитых немцы складывали в большую яму, а ночью, когда прибудет кухня и привезет обед, их отправят на кладбище, к Гальшке.

Надпоручик Гайнич приблизил заградительный огонь к разбитой деревне. Снаряды рвались среди обглоданных кирпичных стен. Неожиданно из-за самой высокой выскочил «виллис» и тем же самым путем, что и танк, помчался по широкому проселку к лесу. Гайнич не стал преследовать машину снарядами, хотя расстояние между кирпичной стеной и лесом было не больше полукилометра. Он положился на волю случая. Он увеличил дистанцию, и «виллис» влетел в фонтаны земли. Кто-то из него выскочил, автомобиль перевернулся вверх колесами. Взвилось пламя.

— Урра! — взревели немецкие окопы.

— Ritterkreutz! Ritterkreutz! — начало скандировать какое-то подразделение. Тут застрочили пулеметы, затрещали винтовочные выстрелы и даже взвились осветительные ракеты. Казалось, небо сейчас лопнет и рассыплется на кусочки. Долина застонала и завопила человеческим голосом. Только девятеро на черной пашне молчали, и трое из них все еще протягивали руки на восток, где сияла стальная башня.

Поручик Кляко ничего не понимал. Еще больше его изумил немецкий унтер-офицер, который бросился ему навстречу и заорал, улыбаясь во весь рот:

— Gut! Gut! Браво! — И тут же исчез.

Где-то заиграла гармоника, запели солдаты. В ответ на поющих посыпались мины. Они падали густо, бесшумно, словно летний дождь. Они не взрывались, не свистели, подкрадывались неслышно и рвались среди молодых деревцев. Гармоника фальшиво вскрикнула и смолкла.

Пение стихло. Почти оглохший, испуганный, поручик Кляко вбежал в блиндаж НП. Кто-то истошно вопил.

— А-а, вот и барин пожаловал! — холодно приветствовал поручика Гайнич, но вслед за тем дружески похлопал его по плечу.— Что скажешь, старина? Я им показал!

— Ничего не знаю.

— Я накрыл русскую автомашину, дружище! Прихлопнул на месте.

— Отстань! Мне так хочется выпить, что за каплю рома я готов отдать сапоги.

Пока Кляко стоял в окопе один, засияло солнце и лужа заблестела как стекло. Стекло! Бутылка! Ром! Эта навязчивая картина никак не покидала его. Теперь оставалась одна надежда на Лукана или на кого-нибудь из молчунов.

— Нет у меня ни капли. Вы весь изволили выпить, пан поручик,— огорченно сказал Лукан.

— Вот как? А у вас нет? — спросил он у молчунов.

— Из той малости, что нам выдали?

— Пол-литра! Много ли это для мужчины?

Молчуны выпили свою долю еще ночью, когда пришли на НП, но они так трусили, что незаметно было, пьяны они или нет.

— Хватит! — Кляко выругался.— Пусть весь мир катится к чертовой матери, раз мне нельзя достать чуточку рому!

— Сходим к майору. В худшем случае он нас выгонит,— предложил Гайнич.

— Блестящая идея! Просто здорово, герр командир. Ты догадлив.

— Ну, так пошли, старина!

Для Гайнича была важна не выпивка, ему просто хотелось видеть равных себе людей и свидетелей своего геройского подвига. Этот окончательно поглупевший Кляко ни черта не смыслил в таких делах.

— Идем! — Кляко. не задумываясь, вышел из блиндажа, но Гайнич ни на минуту не забывал, что он командир.

— Лукан! Ты будешь наблюдать за местностью, если что заметишь, позови меня. Послушай, Кляко! За полем в разбитой деревне есть высокая кирпичная стена, ты ее, конечно, видел. Так из-за этой самой стены вылетел автомобиль...

— Очень хорошо. Тебя сделают генералом. Ты — герой!

Кляко торопился. Когда они шли мимо немецкого дота, солдаты вскочили и вытянулись. «Браво, браво!» — воскликнули они, и Кляко услышал еще: «Mensch, Slowaken!» *

— Слыхал?

— Ты герой, я же говорю.

Кляко заметил командирский блиндаж и забыл о Гайниче. Внутрь их проводил часовой.

— А мы только что собирались к вам,— сказал майор, снимая шинель и доставая из всех карманов бутылки.

«Литр или семьсот граммов!» — мелькнуло в голове Кляко.

— Здравствуйте! Майор фон Маллов.

— Поручик Кляко! — И он пытливо посмотрел в лицо майору.

— А мы уже с вами знакомы, господин поручик,— сказал немецкий обер-лейтенант, выходя из-за занавески, и пожал руку Кляко.— Обер-лейтенант Виттнер,— представился он, глядя в глаза поручику.— Желал бы узнать, господин лейтенант, кто из вас этот счастливый герой?

— Господин обер-лейтенант Гайнич! — Кляко отступил в сторону.

— Поздравляю, от души поздравляю. Это был отлично сыгранный артиллерийский концерт. А машина — лучший его номер. Поздравляю!

---

* Гляди, словаки *(нем.)*.

Майор пожал руку Гайничу, то же самое сделал и обер-лейтенант Виттнер, сказав отрывисто и резко:

— Поздравляю!

Кляко переводил. Гайнич улыбался.

— Пожалуйста, господа, садитесь. Придется мне хозяйничать, моего связного полчаса назад убил русский снайпер. У них здесь много снайперов. Бедняга Вилли...

Обер-лейтенант налил всем.

— Ваше здоровье, господа!

Майор замер и слегка наклонил голову.

— Ваше здоровье!

— Превосходный коньяк, господин майор.

— Французский,— скупо улыбнулся фон Маллов и вытер белым платком уголки рта. В его душе шевельнулись какие-то приятные воспоминания.— Еще месяц назад я был в Париже.

— И вы не жалеете о такой... сказал бы я, внезапной перемене? — Кляко заставлял себя говорить вежливо.

— Нет, меньше всего.— Вопрос Кляко пришелся майору кстати. Опираясь на стол, сбитый из ящиков, он отрывисто приказал обер-лейтенанту: — Наливайте, прошу вас! — Потом доверительно обратился к Кляко: — Вы видели пашню, где лежат убитые? Неделю назад у нас с русскими произошел серьезный разговор.

— Видел, господин майор.

— Очень серьезный! — подчеркнул обер-лейтенант Виттнер.

— Пашня черная, как сажа,— продолжал майор, выкатив глаза.— И я буду недалек от истины, если скажу, что эту землю можно мазать на хлеб.

Он прошелся пальцами по открытой ладони.

Обер-лейтенант Виттнер стоял за словацкими офицерами. Наклонясь к Кляко, он громко зашептал над его ухом:

— Наш господин майор душой и телом земледелец. Пусть этот мундир не вводит вас в заблуждение.

— Вы не верите?

Обоих немцев забавляло удивленное лицо Кляко, и вдруг они оба громко рассмеялись, словно две мины, взорвавшиеся в точно установленную секунду. Этот смех был искреннее всего остального.

У надпоручика Гайнича, должно быть, подступала к горлу желчь. Он казался кислым и, судя по всему, пересиливал себя. Он ничего не понимал: никто им не интересовался. Говорили что-то о земледельцах, но какую связь это имело с тем, что здесь происходило, понять он не мог. То, что ему удалось подбить русский «виллис», ничего как будто не значило. Но разве майор не слышал скандирующих солдат? Может быть, во всем виноват Кляко — этот опустившийся человек? Не завидует ли Кляко ему и не старается ли всеми способами замолчать его геройский подвиг? Где он так научился говорить по-немецки? Он, Гайнич, тоже ходил в гимназию и целых восемь лет учил немецкий язык. Но это был необязательный предмет, и Гайнич хорошо помнил, как еще в седьмом классе кое-кто из его сверстников гордился тем, что не умел просклонять слово «Die Mutter».

Все чокнулись, и майор фон Маллов не преминул вытереть уголки рта белым платочком. Потом он пустился в рассуждения.

— Да, господа, в Мекленбурге у меня поместье. Но мои занятия земледелием не нужно понимать буквально. Господин обер-лейтенант Виттнер любит шутить, очень любит. У нас в Мекленбурге — и это традиция — солдат и земледелец одно и то же. Мы постоянно находимся в состоянии войны и никогда не отрекались от этого, но одновременно мы колонизируем завоеванное... Налейте, пожалуйста, господин обер-лейте-

нант! Французский коньяк так же превосходен, как головы в нашем генеральном штабе.— Он вызывающе рассмеялся.— Мы воюем, но при этом смотрим на страну глазами земледельца,— и он быстро поправился: — глазами немецкого земледельца. А если говорить откровенно, среди коллег, среди коллег по оружию, так и следует говорить: глазами мекленбургского земледельца. Поэтому я и спросил вас, видели ли вы уже эту пашню.

Майор поднял стопку и выпил, никого не дожидаясь.

— Наш господин майор — безнадежный Lokalpatriot*,— сказал надпоручику Виттнер, и это вызвало новый взрыв хохота.

Оба немца — между ними была огромная разница и в чине и в общественном положении — удивительно походили друг на друга, между ними существовала такая же связь, как между колесиками слаженного механизма, и даже не слишком наблюдательный человек мог прийти к выводу, что своими замечаниями Виттнер льстит фон Маллову, поддерживая его расположение к себе.

— Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли.— Уже достаточно подвыпивший майор налил себе и поставил бутылку перед Кляко, которого не надо было упрашивать.— Правильно поняли. Наливайте же! Коньяк на то и существует. Так вот, хочу, чтобы вы все правильно меня поняли. Господин обер-лейтенант Виттнер происходит из Кёппельна, из какой-то дыры в Шлезвиг-Гольштейне. Я никогда там не был и не жалею об этом. Море, рыба, сети и яхты. Я всегда говорю ему: мой милый, в ваших жилах течет пиратская кровь, кхе-кхе, ваши предки, кхе-кхе, грабили на морях, кхе-кхе,— майор просто задыхался от смеха.

— Совершенно с вами согласен, господин майор, кхе-кхе!

Немцы смеялись почти одинаково, словно покашливали.

Кляко налил себе, налил и Гайничу, который совсем стушевался и сидел молча — страдающий, пристыженный и жалкий.

Откупорили вторую бутылку и тотчас же ее начали.

— Должен вам пояснить, господин офицер, наш пират ничего не понимает в земле и смотрит на нее с таким же отвращением, как я на сардинки. Ненавижу сардинки. Сардинки и русских, кхе-кхе!

— Сардинки и русских! Кхе-кхе, превосходно! Боже мой! — Виттнер вытирал заслезившиеся глаза.

Каждый наливал себе сам. Бутылка переходила из рук в руки. В блиндаж не доносилось ни звука.

— Я был в Норвегии,— сказал майор, расстегнув мундир.— Господа! Это истинный рай для туристов. Построить там желто-красно-зеленый охотничий домик, а потом ловить в фиордах лососей... Вся Голландия — это маленький садик, а во Франции умеют делать только вино. Этакая Рейнская область номер два. А здесь? — указал майор под стол.— Здесь моя мекленбургская душа расцвела.

Он мечтательно посмотрел на дым, поднимавшийся от сигареты. Коньяк постепенно разбирал его, он то и дело прикладывал узкую ладонь ко рту, вытирая уголки губ.

Кляко все подливал себе и ужасался. Он не участвовал в разговоре, да его об этом и не просили. Немцы вполне довольствовались разговором между собой, и Кляко был им нужен, лишь как благоговеющий перед ними слушатель, ошеломленный зритель. Вполне возможно, что они намеревались предстать перед ним во всем своем величии. Но Кляко сидел здесь только из-за коньяка и так вошел во вкус, что, наверно, разрыдался бы, если бы кто-нибудь отнял у него коньяк и унес его за занавеску.

Разговор взлетел на головокружительную высоту, откуда Норвегия

---

* Патриот своего края *(нем.)*.

представлялась майору фон Маллову глухим, облсденевшим уголком земли, а Голландия — садиком, крохотным садиком с тюльпанами, где нельзя расставить ноги и как следует потянуться. И проживи Кляко хоть миллион лет, ему бы и в голову не пришло, что на свете существует такой майор фон Маллов с подобным образом мыслей.

— После этой войны здесь будет тоже Мекленбург. Великий Мекленбург без песков и сосен.

Фон Маллов уже видел его перед собой. Его пьяные глаза поблескивали даже в клубах табачного дыма.

— А Шлезвиг-Гольштейн, господин майор? — Это прозвучало отнюдь не льстиво.

— Пираты? Для пиратов мы отмерим кусок земли у Черного моря. Какие-нибудь кильки там найдутся.

— Нет, нет, господин майор, килек там нет,— грустно отозвался Виттнер.— Мне не до шуток.

— Не разочаровывайте меня!

— Там нет килек. Клянусь честью офицера! — заплакал обер-лейтенант.

— В самом деле? — Майор тоже опечалился. Он расстегнул рубашку и стал почесывать себе живот и бока. — Вши! Проклятые вши!

У Кляко внезапно заледенело лицо и лоб, лед сполз на грудь. Он с трудом пересиливал дрожь отвращения. Голос обер-лейтенанта Виттнера слышался где-то далеко-далеко.

— Шлезвиг-Гольштейн — это часть великого рейха. А что такое Дания? Это Шлезвиг-Гольштейн. Итак, Дания тоже часть великого рейха! Да, да, да! — стучал Виттнер кулаком по столу.

— Localpatriot! Localpatriot! — зааплодировал маїор.

— Мы установим новый порядок! Покажем русским! Уничтожим их, уничтожим! Ликвидируем, сотрем с лица земли! Уничтожим, а поляков и чехов переселим... Ликвидируем французов. После славян они самые опасные!.. Бельгийцы и голландцы могут остаться на своем месте. А Данию мы переименуем в великий Шлезвиг-Гольштейн.

— «Так, так, так, рвала мак...» — Майор восторженно хлопал в ладоши.— Да, мой милый. Бельгийцы и голландцы — это подлинные немцы, наши соплеменники, а ты — пират из Кёппельна.

— Да здравствует Кёппельн, мой родной город!

— Да здравствует великий Мекленбург! Выпьем за его блестящее будущее, господа!

Майор встал, пожелав чокнуться с Кляко. Рука у майора дрожала, расплескивая коньяк.

— Благодарю вас, господа. С меня достаточно. — Лед на груди Кляко растаял, ему стало жарко.

— Пейте, пейте! Как вы смеете отказываться! — заорал обер-лейтенант Виттнер.

— Потише! Не оскорбляйте моего гостя. Если ему достаточно, значит, достаточно. Вы доставили мне большое удовольствие, кхе-кхе! До свидания, волшебные стрелки, кхе-кхе!

— Кхе-кхе!

Виттнер вытер слезы.

Кляко вышел за Гайничем.

За дверью его начало рвать. Немецкий часовой отвернулся. А майор фон Маллов глядел из-за стола, хлопал в ладоши и кричал как полоумный:

— Ба-ба-ба-ба...

Гайнич был почти трезв. Он заметил, что штанина у Кляко на колене разорвана и стянута медной проволокой.

РАЗДЕЛЕННЫЙ ГОРОД

В Правно о Яне Мюних знали только, что ей около двадцати лет, что она высокая, рыжеватая и умеет превосходно вязать на ручной машине чулки и свитеры. Она выходила с матерью из дому раза два в месяц с белым узелком в руках. Они отправлялись продавать свой трикотажный товар по окрестным деревням. Домой они возвращались среди дня или под вечер.

Но в эту зиму пришла в упадок и торговля вразнос. Жена Киршнера, председательница Frauenschaft*, энергично занималась Winterhilfe**, и члены этой дамской организации завалили мастерскую Мюних заказами. Целыми днями Яна сидела за машиной и вязала, ее брат работал на второй машине, а по ночам красил и сушил мотки вискозной пряжи, развешивая ее на шестах столько, что нельзя было пройти через комнату. Старуха Мюних сшивала связанное, вела бухгалтерию в тетрадке, кроме того готовила обед, стирала, обшивала семью и убирала в доме.

Старый Мюних занимал в этом хозяйстве унизительно ничтожное место. Попросту он не играл в нем никакой роли. У него было единственное преимущество: он точно помнил, когда именно попал в такое положение.

— С тех пор, товарищи, как моя старая ведьма организовала капиталистическое производство.

Он имел в виду свою жену.

Мюних презирал порядки, воцарившиеся в доме: грохочущие машины, разноцветную шерсть на шестах. Если ему приходилось подлезать под эти пестрые гирлянды, он пытался протестовать:

— Когда-нибудь я все вышвырну, сожгу этот хлам, честное слово, так и будет! Сгорит в два счета, ведь все из дерева сделано. Дьяволы! Все дьяволы, убирайтесь в преисподнюю!

— Посмотрела бы я! Только попробуй! Повторяю: только попробуй — своих не узнаешь! Старый черт!

— Сама ты хуже черта!

И старый Мюних предпочитал удалиться.

Дома он ни к чему не прикасался, всю зиму, ожидая весны, радовался, что скоро она придет и он пустится странствовать по белу свету, будет работать. Ведь «инженеры-архитекторы» всюду требуются. Весна и правда приближалась. Шел уже февраль. Переждать еще март, а в апреле все правненские мастера разбредутся кто куда. В их числе уйдет из Правно и он. Близость весны придавала Мюниху смелости, и он придирался ко всему в доме.

— Недолго вам меня мучить. Буржуи! Бедноту грабить — вон что затеяли!

— Какую бедноту? На разных барынек работаем, пусть платят! Это же Winterhilfe, пустомеля!

Мюних не знал, что ответить, но не горевал по этому поводу. «Перетерплю еще месяц, пусть даже на кончике иглы сидеть придется»,— успокаивал он себя, отправляясь поглядеть, что делается на божьем свете, и повидать людей, которые там кое-как перебиваются. На улице он попадал в объятия такого же, как он, «инженера-архитектора», и уже через минуту они толковали о политике. Вечер заставал их у Домина, где они сидели до ночи. Расходились по домам только после двенадцати, когда Домин выгонял их вон.

---

* Нацистская женская организация.

** Зимняя помощь *(нем.)*.

Два раза в месяц Мюних позволял себе выпить пять кружек; со свойственной немцам пунктуальностью он точно соблюдал и этот срок и это количество. От выпитого пива ноги у него иной раз подкашивались, иной раз нет. Не подкашивались они в том случае, если жена кормила его обедом.

— Возьми там, в духовке. Лопай! И тарелку с ложкой не забудь сам помыть! Больше некому! А мне некогда.

— Только для эсплуатации время есть,— бормотал он, но исправно съедал обед, после которого ноги его от пяти кружек уже не подкашивались. Его тянуло выпить и шестую, но он справлялся с соблазном. И не мог удержаться, чтобы не похвастать на весь трактир:

— На свои пью. Будь я миллионером, и пил бы, как миллионер. Но я «инженер-архитектор», значит, и пить должен по-другому. Пять кружек! На шестую не хватает, весна еще не скоро. Моя старая ведьма завела капиталистическое производство, по комнате пройти нельзя. Вы только послушайте, товарищи! Моя старая ведьма накопила уже целый миллион! А зачем ей столько денег? В могилу, что ли, она их с собой возьмет?— Он хохотал, показывая свои два стальных зуба.— А возьмет, так они там ей ни к чему. В могиле не пьют, не едят, это давно доказано,— кричал он на весь трактир, но никто не слушал Мюниха, и голос его пропадал в оживленном гомоне.

Если он был сыт, то засыпал, допив пятую кружку. После полуночи его приходилось вытаскивать, вернее, выносить. Просыпался он на крыльце Домина. Там его оставляли друзья-приятели и товарищи «инженеры-архитекторы», проученные однажды: пьяного Мюниха как-то с трудом доволокли до дома, но «миллионерша» так набросилась на мужа, намереваясь избить его, что Мюниха едва вырвали из ее когтей. Чуть до драки дело не дошло. И она, похожая на привидение, в длинной белой ночной рубашке гналась за ними до самой площади. Лучше всего было оставлять Мюниха на крыльце у Домина.

Шел февраль тысяча девятьсот сорок второго года. У Мюнихов все катилось по наезженной колее. И тут Йозеф Мюних, девятнадцатилетний брат Яны, получил повестку из Deutsche Partei. В десятом часу он ушел в ратушу, а в половине двенадцатого вернулся весь в слезах.

— Там было шесть начальников, двоих я даже не знаю. Сперва они говорили, потом стали кричать, я и дал подписку. Меня забирают в войска СС. Когда — неизвестно. Это еще, мол, решится. Завтра надо пойти в ратушу, кто-то там из Братиславы приехал, поговорить со мной хочет. Вы не знаете, что ему, этому пану, от меня нужно?

За ним пришли впятером, шестым был жандарм. Словно они не верили, что он явится сам. А он уже собирался, допивал чашку, торопливо отхлебывая горячий кофе. Парень струсил — ведь все они были с пистолетами. Они сказали:

— Пошли!

Побледнев, он вышел вместе с ними. Яна проводила его через всю площадь, громко плача.

— Молодая Мюнихова воет,— смеялся мясник Пешко.

И старуха Мюних замолчала впервые в жизни. Весь день она ни к чему не прикоснулась, не плакала, сидела, словно каменная, либо неслышно, как призрак, бродила по кухне.

Сперва старый Мюних приглядывался ко всему этому со стороны, будто не его было дело. «Они — это они, а я — это я». Но когда Йозефа уводили и он вышел со двора, а потом зашагал через площадь — в душу старика проник страх. И когда сын скрылся в дверях ратуши — Мюних прекрасно видел, как Йозеф входил в дверь, словно теленок на бойню,— в груди отца что-то дрогнуло, он произнес: «Господи Иисусе Христе!» — и сломя голову бросился в ратушу проститься с сыном. Его не впустили.

В этот день взяли семерых. Двое сбежали.

— Эфэсовцы окружили дома, обшарили все углы, потом увели стариков на допрос,— пришла соседка с новостью. Она долго еще сидела в кухне.

Яне это говорило немного, а родители ее не спали всю ночь. «Миллионерша» плакала в большой комнате. Над ней сохла развешенная пряжа, перед ней стояли стихшие вязальные машины. Они не гремели, ничьи руки их не обслуживали, и ее разбитое сердце высказало неосуществимое желание:

— Лучше бы никогда не заводить их в доме!

Эти слова походили на проклятие, потому что именно машины, только они были виноваты в том, что довели Йозефа до беды. Два года они держали парня, приковав его к месту, заморочили голову как раз в то время, когда следовало вправить ему мозги, не выпускали за порог в те годы, когда он должен был познать свет. Из-за них, из-за этих проклятых железок, он ничему не научился, умел только вязать, красить, сушить, и все посторонние люди были для него чужими, он их боялся. Двое беглецов — те не побоялись. Как и другие одиннадцать, что отказались записаться. Они-то не вязали чулки и свитеры, не красили вискозную пряжу, не сушили ее. А они были сверстниками Йозефа. Ведь в войска СС вступают добровольно!

— Боже, кто мне это сказал? От кого я это слышала? Да от пани, от той пани, что вчера приходила за шестью свитерами для Winterhilfe.

Мюних лежал на кровати. Он ненавидел себя. «Они — это они, а я — это я». Да, он ненавидел себя. Он — отец, и Йозеф — его сын. Сын! Впрочем, был ли Йозеф его сыном, это еще неясно. Слушался он отца? Нет. Он слушался только мать. Мюних ничего не требовал от сына, решительно ничего. Случалось, похлопывал его по спине, говоря: «Мать тебя эксплуатирует. Не поддавайся!» А сын лишь сутулился. Такой сын был ему противен. «Не то чтобы совсем опротивел, я не могу это утверждать, но в нем было что-то такое, за что я не уважал его. Как можно говорить такое о своем сыне? Разве это уже человек — в девятнадцать-то лет? Мальчишка! Что он понимает в жизни? Что он в ней понимает? Я ему ничего не объяснил, даже не попробовал объяснить. Вот в ратуше он и сдался сразу, хоть и не должен был! В войска СС вступают добровольно. На него прикрикнули, он и подчинился. Кричала на него мать, и потому он ее слушался. Почему не кричал я? Соседка говорила, что вызывали человек двадцать. Согласились только девять, да и то двое из них сбежали и куда-то скрылись. Она еще добавила, что в Правно их нет, но ушли они не слишком далеко. Сбежал Келлер, молодой Келлер, и Колеса. Кто им посоветовал? Я знаю старика Колесу, и старого Келлера тоже. Старого Колесу я понимаю. Он симпатизировал коммунистам и нашел время объяснить сыну, что творится на белом свете. Но почему сбежал молодой Келлер, если старик носит свастику, организовал партию Генлейна в Правно и кричит «хайль»? Какой позор, какой стыд! «Они — это они, а я — это я!» Почему я это допустил? Сын старого Мюниха пошел в эсэсовцы! Боже, как это могло случиться? И как я не сообразил, что в ратуше его не ждет ничего хорошего? Сейчас война, а я сам вел себя как мальчишка. Какой же я отец, где у меня была голова? Боже, а эти Советы все отступают! Что нас ждет?»

Этот вопрос настолько испугал старого Мюниха, что он сел на кровати и прислушался. Ничего не слышно, ничего не видно, темно и тихо вокруг. «Нет, здесь я не выдержу, надо пойти к Домину».

Он оделся и ушел. Было часов десять. До полуночи он выпил семь больших кружек пива и семь стаканов рому, не сказав за все это время ни словечка. Никто его не потревожил, никто не решился подсесть к его столу. За седьмой кружкой он заплакал, все это видели, но все прикину-

лись, что ничего не замечают, словно старого Мюниха тут и не было. И когда Домин своими медвежьими лапами закрыл ставни и запер дверь, старик остался сидеть на крыльце трактира. Он смотрел в темноту. В городе стояла тишина. Где-то у верхнего костела лаяла собака. Когда же под утро засвистел скорый поезд, Мюних произнес: «Иисусе Христе!» — и потащился домой.

■

Наконец наступил и апрель. Его тепло пробудило реку и ручейки. Приятели, друзья и товарищи «инженера-архитектора» разбрелись кто куда. Мюних остался в городе и с грустью пропивал женин миллион под зеленым потолком «Городского трактира». По большей части он сидел там один, потому что после февраля многое переменилось в трактире Домина, так же как и в Правно и в доме Мюниха. Старуха Мюних чахла, не открывала тетрадку, не занималась подсчетами, не кричала. Барынькам из Winterhilfe у нее был всегда наготове один ответ: «Для Winterhilfe не работаю»,— и они перестали ее посещать. Перестали ее посещать и по другим причинам: «Близится лето, и всякая сознательная немка должна забыть о Winterhilfe, Winterhilfe не повторится, потому что это лето принесет окончательную победу немецкому оружию. Думать о новой Winterhilfe — государственная измена». Так сказала фрау Киршнер, и дамская организация с ней согласилась.

Теперь вязала одна Яна. Она сама красила, сама сушила пряжу. Но это уже не было работой. Яна не радовалась ей, избегала ее, и мать не протестовала. Каждый день в половине десятого Яна смотрелась в зеркало, накидывала на голову шерстяной платок и выходила из дому.

Сегодня было тепло, и она набросила платок на плечи.

— Добрый день! — поздоровалась Яна с фрау Ласлоп, членом Frauenschaft, и поклонилась ей.

— Так жарко, а вы в теплом платке, фрейлейн Мюних. Знаете новость? Этой ночью фрау Киршнер видела смерть. Голый скелет, такой зеленый! — И фрау Ласлоп, жена преуспевающего лесоторговца, вспомнив о своем общественном положении, ушла, ничего больше не сказав.

Яна постояла, вздохнула, выпрямилась — на нее смотрел незнакомый юноша. Девушка покраснела, опустила голову и быстро пошла прочь. Юноша отвернулся к витрине. У него были черные глаза и большие солдатские ботинки. Вот все, что Яна успела разглядеть. Но эти глаза были теперь неотступно с ней. Они совсем не походили на глаза Йозефа. У того были тоже черные глаза. Но они смеялись, и такими она любила их больше всего. Они смеялись, когда он говорил ей что-нибудь смешное, а когда молчал — молчали и глаза, в них появлялась печаль. Однако взгляд их не обжигал, не заставлял опускать голову, перед ним она никогда не краснела. А это кто был? Почему он там стоял и долго ли смотрел на нее? Теперь черные глаза не покидают ее, стоят перед ней, это вселяет тревогу, заставляет трепетать грудь Яны.

Пересекая площадь, она плотнее завернулась в белый шерстяной платок.

— ...все это, прошу меня извинить, враки. Фрау Киршнер преувеличивает. Это свойственно всем женщинам.

— Я не поверила бы, нет, если бы не вы...

Обширная квадратная площадь в центре Правно жила обычной жизнью. С самого раннего утра ее заполняли сотни людей, десятки деревенских телег и вдвое больше лошадей. Все это вместе казалось гигантской приемной и одновременно конюшней. Люди и животные мирно уживались здесь. Лошади пережевывали сено, время от времени слышалось громкое ржание. Хотя мух еще не было, они помахивали хвостами, мотали головами, позвякивали железные удила.

Обычно люди ведут себя на площади беспокойно. Но в это утро они не суетились, словно муравьи, а стояли группками, подолгу рассуждали, сопровождая свои слова резкими выразительными жестами.

— Одно у меня из головы не идет: почему она была зеленая? Смерть ведь белая! — И человек беспомощно взмахивает рукой. Сейчас эта рука должна опуститься. Так и есть — опустилась.

— Белая? Почему же белая?

— Да ведь всякий дурак знает, что она белая! — восклицает пожилой усатый крестьянин в бараньей шапке, для пущей убедительности вздымая руки к небу. Вечно ему попадаются какие-то бестолковые люди, не понимающие самых простых вещей. Нет, он от своего не отступит.

— Кости-то ведь белые — вот почему! — приходит ему на помощь женщина, стоящая рядом.

— Кости! Видишь теперь почему! — усатый владелец бараньей шапки, просияв, смотрит на женщину, не скрывая своего уважения.— А еще говорят, что у бабы ум короток.

Сообразительная женщина смеется...

Кони стоят на площади, подбирая мягкими губами стебельки сладкого сена, что упали на голую землю.

В десять часов Яна, как всегда, должна быть на почте. С самого февраля она ходит туда каждый день и каждый день спрашивает: «Не пришло от Йозефа письмо?»

«Нет, мадемуазель Янка, не пришло,— отвечает почтарь.— Не понимаю я вашего брата. Будь у меня такая сестра, ежедневно писал бы ей. Даже из Америки!» — «Какая сестра?» — «Красивая! У вашего брата красивая сестра».—«Так ведь это я и есть. Нас всего двое: Йозеф и я»,— смеется в ответ Яна.

Ее смешит, что почтарь говорит о ней так, будто ее нет у окошечка. А их ведь разделяет только деревянная стойка и большое матовое стекло. «Не люблю я матовые стекла»,— думает она сейчас. Сегодня она опять увидит своего почтаря. Он красивый, по фамилии Ремеш. У него тоже черные глаза, и он так хорошо смеется. Лучше, чем Йозеф. «Может, я уже надоела ему — каждый день хожу, зря беспокою...»

— Матей! Пойдем пиво пить! — говорит какой-то парень.

— Не пойду! — и Матей плюет в сторону, прямо Яне под ноги.

— Ты что, в конюшне? Здесь нарядные барышни ходят.

— А, черт!.. Ну ладно, пойдем, я не прочь пропустить кружечку...

...К столбу прислонился деревенский парень. Шляпа сдвинута на затылок, в правой руке кусок колбасы, в левой — булочка. Карманы его оттопырились от булочек. Он жует, проглатывая огромные куски, давится и при каждом глотке мотает головой, словно конь.

Ее волнует этот проголодавшийся парень. Ей хочется поближе заглянуть ему в лицо. Она спускает с плеч шерстяной платок и выставляет грудь. Сейчас она пройдет перед ним, улыбнется. А он что сделает? Заметит ли ее? Но губы Яны дрожат, ноги подкашиваются, невольно она замедляет шаг, так и не решаясь подойти к парню.

— И-ик! — давится парень, потом скалит зубы.— Ишь какая сахарная, голубка. Умеешь выставить эти самые... они у тебя, словно Татры, торчат. Ну, чего побежала? — кричит он вслед Яне, подняв над головой булочку.

Пристыженная Яна убежала. По пути она накинула платок на плечи, схватила его за концы и прикрыла грудь руками. Зачем она это сделала? Она не понимает молодых людей. Почему они засматриваются на ее грудь? Лицо у нее красивее. И волосы красивые, она моет их каждые три недели, и каждое утро расчесывает и заплетает. Столько с ними возни! За это время можно целый чулок связать.

«Смерть показываться не любит, но уж если покажется, так не к

добру. Все только и говорят, что о смерти. Что же такое случилось?» Яна давно уже забыла о встрече с фрау Ласлоп и о смерти тем более. Вот и улица, где стоит новое здание почты и на первом этаже работает он, Ремеш, за окошечком номер три. Сегодня их тоже будет разделять деревянная стойка и матовое стекло. «Не люблю я матовые стекла».

Но улица шумит от множества голосов. Она запружена людьми, они взволнованно обсуждают что-то, громко кричат, а впереди шагает почтарь Ремеш с белым конвертом в руке. Он ведет толпу за собой, нет, она сама идет за ним, а он протестует. Он останавливается перед толпой, машет белым конвертом. Наступает тишина, и все слушают его.

— Я уже говорил вам, что у пана Киршнера погиб сын на фронте и я несу ему извещение о смерти. Разойдитесь! Так не годится, что вы делаете? — кричит Ремеш, и на его голос сбегаются люди со всей площади. Толпа все растет, оттесняя Яну прямо к Ремешу. Она уже может коснуться его. Ремеш ее не видит. Подняв высоко над головой белый конверт, он пробивает себе дорогу.— Разойдитесь! У Киршнера погиб сын. Что вам еще надо? — кричит он снова и снова.

Счастливая Яна ничего не замечает. Ремеш рядом с ней, и нет между ними никаких матовых стекол.

Люди смотрят, выпучив глаза, на белый конверт с черной рамкой.

— Зеленая смерть! — раздается позади Яны хриплый голос, и Яна чувствует запах чеснока.

— Что такое? Что это значит?

К Ремешу направляется толстый пожилой жандарм.

— Смерть! Зеленая смерть!

— Что это значит, пан Ремеш? Я не позволю нарушать порядок в городе. Разойдитесь, именем закона! — Жандарм окидывает взглядом теснящихся вокруг Ремеша людей.

— Я говорю им об этом, а они не желают слушать,— ухмыляется Ремеш.— Образумьтесь, ступайте по домам. У Киршнера погиб сын, я несу ему похоронную из Вены. Что еще вам надо? — снова кричит он в толпу.

— Что? У Киршнера? Покажите!

Толпа стихает. Куниц, начальник жандармерии, рассматривает белый конверт с чувством отвращения и страха, точно так же, как и люди, столпившиеся на улице. Потом он поспешно возвращает конверт Ремешу.

— Нате! — После этого, словно стряхнув с себя какую-то тяжесть, что-то неопределенное, вселяющее в человека неуверенность и склизкий страх, он отчетливо произносит: — Именем закона, следуйте за мной!

Эти слова действуют на толпу, она расступается, отхлынув к тротуару, и дает дорогу Куницу и Ремешу. А на мостовой все еще стоят Яна и несколько подростков, которые ничего не поняли и долго еще ничего не смогут понять.

■

Куниц шел вслед за Ремешем, на полшага сзади. Они направлялись к ратуше, стоявшей по другую сторону площади. У обоих были строгие лица. Куниц подозревал, что здесь разыгралась какая-то дурацкая комедия. Он держал в руках конверт не более полминуты, но многое сообразил: сквозь довольно прозрачную бумагу конверта легко можно было прочесть: «Ihr Sohn Franz Kirschner...»*. Штемпель венского почтамта был поставлен неделю назад. Неделю! А это вчерашнее происшествие с фрау Киршнер! «Ihr Sohn!» — крикнул зеленый скелет, как заявила фрау Киршнер еще вчера ночью в жандармерии. Сегодня утром в садике

* Ваш сын Франц Киршнер. *(нем.)*.

перед домом обнаружили следы ботинок на резиновой подошве — такие сейчас носит каждый второй мужчина. Скелет выдать они не могут, но доказывают, что это был простой смертный. А Ремеш не так уж глуп: сейчас на ногах у него полуботинки, но это косвенно свидетельствует против него. Куниц от роду не слыхивал, чтобы письма торжественно носили по городу, словно святые мощи. И чтобы почтарь возвещал на всю площадь, что написано, пардон, напечатано в письме. А это также свидетельствует против пана Ремеша. Да, последние события явно связаны между собой, все было, конечно, нарочно подстроено, чтобы посеять в городе смуту, нагнать на всех страх. С какой целью? Кто в этом заинтересован? Сам ли пан Ремеш все придумал или он исполняет чью-то волю? Кто бы это ни был, можно, конечно, предположить только одно: это сумасшедший! «Выходит, пан Ремеш влип в неприятную историю и втянул в нее и меня».

— Вы ведете меня в жандармерию?

— Вы должны разъяснить некоторые... вы должны объяснить кое-какие мелкие подробности, пан Ремеш.

— А есть и крупные подробности?

— Где вы, например, провели вчерашний вечер?

— А-а, все из-за зеленой смерти? Поздравляю. У вас большие способности, пан начальник, вы умеете сопоставлять. Но оставьте их при себе, у меня алиби. «Городской трактир». Свидетели: пан Домин, несколько почтенных граждан города Правно плюс трое пьяниц. Правда, они были пьяны вдребезги и свидетелями быть не могут. С вас достаточно?

— С какого часа и до какого вы там были?

— До какого? Это я знаю точно. В полночь пан Домин выгоняет клиентов, а пьяных собственноручно выкидывает. Это он делает удивительно ловко, когда-нибудь приходите взглянуть. Чистая работа. Но с какого часа, точно не скажу. Примерно с начала девятого. Пять, десять, пятнадцать минут девятого. Не помню!

— А это письмо?

— Лучше бы мне не родиться, пан начальник. Черт меня дернул разбирать мешок с почтой. Я часто это делаю, но сегодня была не моя очередь. Там оказался и этот конверт. Согласитесь, что он не похож на остальные. Такие письма в Правно не приходили, но, кажется, будут еще приходить, и не раз. Конверт пошел по рукам, поднялся шум. Оно и понятно! Попал конверт к Кильяну, и тот задрожал от страха. Он — немец, но, подчеркиваю, достаточно почтенный, а штаб пана Киршнера относится к его участку. По всем правилам письмо должен был доставить адресату Кильян. Я и говорю ему: «Кильян, Кильян, бедная твоя головушка. Ты принесешь такую горестную весть шефу правненских немцев, в душе он будет оплакивать своего сына-героя, потом придет в исступление и отдаст тебя в руки эсэсовцев». Больше я ему ничего не сказал. «Не пойду я с этим письмом, лучше под поезд брошусь!» — истерически закричал Кильян, как с ним иногда бывает. «Ну тогда я схожу, я словак, у Киршнера руки коротки меня достать!» — говорю я ему. И Кильян от радости даже расплакался. Я еще подумал, как противно, когда плачут мужчины. Вот и все, пан начальник. Или вам охота послушать еще что-нибудь трогательное? Что-нибудь такое, от чего растает даже сердце человека в жандармском мундире? Могу рассказать вам о своем трагическом детстве. Вот уж подлинная мелодрама! Посмотрите-ка, пан начальник, Киршнер бежит, а-а, ему уже все известно. Не подобает пану Киршнеру бегать. Полные люди должны ходить степенно. Подтянитесь, пан Куниц, в интересах своей будущей карьеры — подтянитесь! Я сам вручу ему письмо. Увидите, как он выхватит конверт! И не сходя с места прочитает. Я выражу ему соболезнование, скажу, что

геройски погибший Франц был моим хорошим приятелем и потому... и так далее. Он это проглотит. Сегодня — да. И ставлю свое месячное жалованье против вашей кроны, что он подаст мне руку и поблагодарит. Вы не желаете выиграть? Вы должны последовать моему примеру. Придумайте что-нибудь. Тем временем я сумел бы подбить людей на площади также выразить ему соболезнование. Это затянется до вечера, хе-хе! Пока молчите, он уже близко. После церемонии я к вашим услугам. Мне будет весьма приятно. Тсс!..

С холодным лицом Ремеш поклонился Лео Киршнеру.

— Этого не может быть! Не может этого быть! — бормотал тот, приближая багрово-красное лицо к конверту с черной рамкой. Он выхватил письмо из рук Ремеша. Сквозь бумагу проступили туманные очертания больших черных букв готического шрифта. Киршнер вскрыл конверт и стал читать. Глаза его прыгали по строчкам, губы слегка шевелились, произнося: «Мой Франц, мой Франц...»

— Разрешите выразить вам мое искреннее, глубокое соболезнование. Франц был моим близким другом, пан Киршнер,— повысил голос Ремеш.— Ваш сын был великий человек. Родина его никогда не забудет.

Ремеш протянул руку.

— Они пишут, пишут...— в смятении Киршнер показывал на последнюю строчку похоронной, потом мутным взглядом посмотрел на Ремеша и схватил его руку.

«Комедия! Дурацкая комедия!» — возмущался в душе Куниц. Растерянно, заикаясь, он пробормотал что-то бессвязное.

Киршнер подал руку и ему, посмотрел на башенку ратуши. И, уходя, строго приказал:

— Пан Куниц, в двенадцать зайдите ко мне.— Левую руку он прижимал к груди.

— Мы можем идти, пан начальник? Я с величайшей охотой разъясню вам все до мельчайших подробностей.

«Этот Ремеш — сумасшедший. Мои жандармы сделают обыск в его доме. Я распоряжусь немедленно. Нет, нужно сперва основательно все обдумать. Все с самого начала. Совершенно ясно, что он ненормальный».

— Я пошутил, пан Ремеш,— сказал Куниц.— Вы свободны.

— Приятно слышать, хе-хе! Вы весьма догадливы. Я хорошо это понял. Там стоит Яна, дочь Мюниха. Брат у нее эсэсовец. Что вы скажете, если я на ней женюсь?

«Он или ненормальный, или...» — Куниц в упор посмотрел на Ремеша и встретил зловеще поблескивающий взгляд прищуренных глаз.

— Женитесь, конечно, пан Ремеш. Я вам мешать не стану.— Куницу с трудом удалось спокойно произнести эти слова. Он презирал Ремеша, брезговал им и отошел от него, не прощаясь.

«Ну, ну! Этот дядюшка достаточно умен и потому опасен. Надо с ним держать ухо востро. Сыщик старой школы. Это сразу видно! Что он знает? Все?» И когда Ремеш нехотя допустил это, он пожалел себя. Да разве можно было сравнить вчерашний вечер и нынешний день? Вчера он пережил несколько волнующих часов. Мужчины в такие часы оживают. Но стоили ли эти часы всех сегодняшних тревог? Что будет теперь? И холодный разум взял верх над минутной слабостью: «Доказательства, доказательства, дядюшка! В вашей профессии они всего важнее, а их-то у вас и нет!»

Вся площадь гудела. Несколько телег выехали из боковой улицы. Громко тарахтя, они везли доски на железнодорожную станцию. Окна в шести-, трехэтажных, во всех двухэтажных и одноэтажных домах были раскрыты. В них белели перины и подушки, пышные, округлые, напоминающие грудь и бока жены Домина.

Зябко поеживаясь, правненский аптекарь Седлитц выбежал из двери, потер руки, вытягивая длинные пальцы, и, когда набрал в белый халат немного солнца, юркнул в аптеку, крикнув:

— Греет, греет! Оно в самом деле греет. Зима, эта отвратительная зима скоро кончится!

Деревенские мужики и бабы толковали о зеленом привидении и неожиданной смерти Киршнерова сына. Беспредельное голубое небо было недвижно. Оцепенели и три правненских еврея: Тауб, Политцер и Прейсер. Они стояли тесным кружком, наклонившись друг к другу. Желтых звезд не было видно. Тауб почесывал бок.

— Добрый день, прекрасная Яна,— произнес простоволосый Ремеш, раскланиваясь. Неожиданно он обнял девушку, и она слегка взвизгнула. Но он тут же отпустил Яну, видно, так уж ему захотелось, и взял ее под руку.— Я вас чуточку провожу. Разрешите? Вы не к нам на почту? — вполголоса заговорил он, наклоняясь к ее уху.

— Да, на почту.

Яна не представляла себе ничего подобного. Он обнял ее. Держит под локоть, и у нее подкашиваются ноги. Тут столько народу. Все на них смотрят! И она могла бы посмотреть ему в лицо. Оно близко, совсем близко, как она мечтала. Но у нее не хватает сил. Дома, на диване, когда она засыпает и словно издали доносится тиканье стенных часов,— все легко и все делается по ее воле. Тогда она ничего не боится, ноги ее не подкашиваются, а по телу пробегает дрожь. Иной раз такая сильная, что ей приходится спрашивать себя, откуда она берется и куда девается... Осторожно, иначе пан Ремеш, пожалуй, обидится. Как можно осторожнее она пытается высвободить руку. Иначе ей не устоять на ногах. Она упадет. Это трудно, очень, очень трудно. Она тяжело дышит, словно поднимается на крутой холм, вон на тот, что высится над Правно.

— За письмом от брата? Нет, не приходило. Ваш брат забывает вас. Если бы у меня была такая красивая сестра, я писал бы ей ежедневно. Даже из Америки.

Яна не знает, как высвободить руку из клещей. Она смотрит на Ремеша. Увидев пару черных глаз, она резко откидывает голову. Он глядел на ее грудь. У него белые блестящие зубы. Скорей натянуть платок!

— Ваш брат эсэсовец. И Франц Киршнер был эсэсовцем, а теперь он герой, павший в бою. Вы дрожите, Янка. Что с вами? Вы боитесь за брата? И я за него боюсь. Я не желал бы вручить вам белый конверт с черной рамкой.— Тут Яна вырвала руку из железных пальцев Ремеша и недоуменно уставилась на его ухмыляющееся лицо. А его губы снова смеялись.— Я плохо воспитан, тяжелое детство и так далее, милочка.— Он хотел было взять ее за подбородок, но она уклонилась. Надо убежать, что-то в Ремеше теперь отталкивало ее. Уже без дрожи она переносила взгляд его искрящихся глаз. Что-то, должно быть, в ней изменилось. Разобраться в этом Яна не умела. И не убегала она лишь в надежде, что все возобновится и что ей опять захочется услышать его голос.

— Вам это неинтересно, Янка. И мне. Я болтаю попусту. Если я вижу кого-нибудь перед собой, я должен говорить. Удивительная болезнь, не правда ли? У меня из-за этого вечные неприятности.— И Ремеш понизил голос.— Сегодня в пять мы можем встретиться. Здесь! Или где вам угодно! Назначьте место сами, я на все согласен.— Он приближался к ней, а она отступала, потом лицо ее скривилось, словно от боли, и она побежала домой.— В пять,— крикнул он ей, уверенный, что она придет. «Придет. Она будет моей. Интересно, чем сестра эсэсовца отличается от других? Ура, весь мир будет у моих ног!»

Ремеш вернулся на службу и сообщил всем:

— Благополучно сбыл с рук похоронную.

Он снова взялся за работу. «А какая это работа? На почте она однообразна, как пески в пустыне»,— любил он говорить. Но сегодня он с головой ушел в нее и очень удивился, когда наступил полдень. Помещение почти опустело. В одиночестве он подумал о Яне: «Она придет». Но до пяти было еще слишком далеко. За это время он успеет подумать о многом. «Вполне возможно, что сейчас в кабинет Киршнера входит начальник жандармерии. Очевидно, он уже там, потому что Киршнер, как всякий немец, любит точность. Они не ладят между собой. Киршнер не любит Куница, как не любит все ненемецкое. Но отношения начальника и подчиненного — дело второстепенное. Старый криминалист прежде всего захочет спасти свою шкуру. Затея с письмом была плохо продумана. Если бы я не напугал Кильяна, он сам отнес бы письмо Киршнеру. Кильян достаточно сообразителен: положил бы письмо на стол секретарше, на газеты «Гренцботе», сказал бы: «Хайль Гитлер!» — и ушел. На почте все знали о смерти Франца. Следовало бы послать кого-нибудь на площадь. Нет... Пойти на площадь нужно было мне самому да шепнуть эту новость двум-трем людям из деревни, и она мгновенно разнеслась бы по всему городу... Затея с письмом была плохо продумана. Даже такой ограниченный человек, как Киршнер, теперь сразу догадается, что похоронную задержал кто-то на почте, что после этого кто-то использовал фосфор — хе-хе, недурная была идейка! — и предстал перед его женой. А когда «зеленая смерть» привела обывателей в смятение, весть о геройской гибели Франца окончательно взбаламутила город. Но в наш блестящий век мало кто верит в привидения. И меньше всего начальство. Старый криминалист Куниц не упал в обморок от страха, услышав разговоры о выходце с того света, а деловито спросил меня, где я был вчера вечером. Об этом стоит подумать». Ремеш не чувствовал голода. Но его охватила мрачная неуверенность — ощущение, до сих пор им не изведанное. Кто-то должен решить его судьбу, кто-то уже мог ее решить... Слова Куница звучали неубедительно: «Я пошутил, пан Ремеш. Вы свободны. Вы свободны...». Куниц старый криминалист. Нет! У него нет доказательств. Как это я мог допустить? До сих пор я сам решал свою судьбу. И не только свою. Ну, а как быть с Яной? До встречи с ней еще слишком далеко. До пяти многое может произойти...»

■

Матовое стекло. Перевернутая тройка просвечивает сквозь него белым пятном, словно готический шрифт сквозь конверт. Помещение обширное, этакая небольшая площадь, но Атаману душно, что-то его здесь угнетает.

Атаман выругался и встал. Он привел стол в порядок, запер его, ключ положил в карман и вышел. Потом вернулся и бросил ключ на стол.

— Почему вы так задержались, пан Ремеш?

Он не помнил, что ответил телефонистке. Вон отсюда, как можно скорее! Полдень, пора обедать. Но голода Ремеш не чувствует. Рука — в кармане, она сжимает пистолет. Куда идти? Не в помещение, нет, никаких помещений, там могут схватить. Теперь над его головой должно быть чистое небо. Площадь, улица, поля. Поля? Улица и площадь. Вот ресторан, где он обедает и ужинает. Ни в коем случае! Черный ход ведет здесь в глухой двор. Он окружен высокой стеной, ворота всегда заперты. Ни в коем случае! А вот теперь ему хочется есть.

Ремеш зашел в мясную лавку Пешко. Он ел, стоя перед лавкой и посматривая на марширующих артиллеристов. Веснушчатый унтер и семнадцать солдат. Они идут сменить караул у артиллерийского склада, что в двух километрах от Правно. Подсумки, на касках двойной белый крест. Атаман презрительно огляделся.

Он кончил есть.

Рядом терпеливые лошади пережевывали сухое сено, мягкими губами подбирали стебельки.

Атаман посмотрел в сторону ратуши. Там была канцелярия Киршнера.

Из дверей ратуши вышел начальник жандармерии Куниц и быстрыми шагами направился к жандармскому участку, через три дома справа. «Поглядишь на этих людей, они — как мыши. Бегают из норы в нору. Пан Ласлоп? Что там делал пан Ласлоп?» За лесоторговцем из дверей ратуши вышел Леммер, учитель из Судет, а за ним Притц, владелец правненской лесопилки. Все они были в эсэсовской форме. Атаман закурил. Он был спокоен. Над его головой простиралось открытое небо.

— Трое немецких святых. Они озираются по сторонам, пан Ремеш. Над ними властен лишь немецкий господь бог — Киршнер. Что они там надумали? Должно быть, что-то...

Атаман оглянулся. Это говорил мясник Пешко в белом фартуке.

— Хорошо вы его проучили, пан Ремеш. Такого только по голове надо глушить, как быка.

Мясник подмигнул Ремешу. Когда же он отправился на бойню, постукивая подкованными сапожищами по тротуару, вымощенному кирпичом, а три немца — Леммер, Ласлоп и Притц — разошлись в разные стороны, уверенность Ремеша поколебалась. Вызывал сомнения и костюм. «Пойду переоденусь, да и переобуться надо. А можно? — насмешливо спросил он себя.— Нужно. Раз уж такие ослы, как Пешко, догадались, что я замешан... Да, затея с этим письмом была плохо продумана. В этом единственная моя ошибка».

Из дому он вернулся переодетый. Красный свитер с высоким воротом, будто у футбольного вратаря. Брюки гольф, толстые носки и ботинки на толстой кожаной подошве. И кроме того, незастегнутое пальто. Под низ он надел теплое белье. «Криминалист старой школы врасплох меня не захватит. Теперь надо побродить по площади. Здесь все решится. Здесь стоят два дома, две вражеские штаб-квартиры. К сожалению, дело кончилось слишком скоропалительно, и я не могу вернуться на почту. Яну тоже упустить жаль. Интересно, чем сестра эсэсовца отличается от других? Она придет! Прибежит в пять часов, словно лань, а оленя будут травить псы. Следовало бы отправиться на вокзал и уехать с первым же поездом. Куда? Не важно. В неизвестность. Но я знаю, что этого не сделаю, вот единственное, что я знаю. Настоящий мужчина не бежит с поля боя... Это враки, годные разве что для моей «партии», для восемнадцатилетних сопляков! Суслик! К дьяволу «партию»! Ремеш, признай в конце концов правду. Ты все еще думаешь, что ничего не случилось, что тебе ровным счетом ничего не грозит, и думаешь так потому, что тебе этого хочется.— Атаман улыбнулся.— У меня приличное жалованье, я могу есть, что хочу, одеться, обуться, делать то, что мне вздумается. И девушек здесь достаточно. Я умею за ними ухаживать, добиваться своей цели. Сегодня со мною могла бы лечь сестра эсэсовца. Если мне взбредет в голову, я набью морду немецкому господу богу или напущу на его жену фосфорный скелет. «Партия» — штука хорошая, мне с ней весело. Правно создано для меня. В другом месте мне будет хуже, придется начинать все сызнова. Мы поняли друг друга? Вполне. Значит, так. Но одеться потеплей все же не мешает. На всякий случай. Куниц—старой школы. Согласен, я должен его остерегаться. Держи ухо востро, чтобы он тебя не застиг врасплох. Нет, я не допущу этого. Пусть он лучше со мною не связывается».

Ремеш расхаживал по главной улице перед рестораном. Два жандармских мундира вывели его из задумчивости. Руку в карман! Справа площадь... и Ремеш засмеялся. Жандармы шагали широким размерен-

ным шагом. Как солдаты в конце длинного перехода. В запыленных сапогах. А перед ними уныло плелся молодой Келлер, тот самый, что сбежал в феврале, подписав уже согласие вступить в войска СС. Руки он держал за спиной, может быть даже связанные.

Эскорт появился на улице со стороны Планицы. «Так возвращаются люди домой». Атаман подумал о себе, и ему стало жаль молодого Келлера. Он по-своему любил его и взял бы даже в свою «партию», но старый Келлер был фашистом, организатором генлейновской партии в Правно.

Атаман увидел, что у Келлера и в самом деле связаны руки. Он кашлянул. Келлер оглянулся. Ремеш кивнул ему, подбадривая: мол, мужайся, держись крепче! Но арестованный, вероятно, не поняв его, яростно дернул связанные руки и закричал:

— Глядите, как набирают в эсэсовцы!

— Молчать!

— Не стану я молчать! Вот как набирают в эсэсовцы! Позор! Не стану я молчать! Словаки! Не выдавайте меня!

И Келлер расплакался.

Ремешу стало стыдно за Келлера, он никак не предполагал, что у того так мало мужества. Атаман зашагал прочь. Он шел все дальше и дальше, пока не очутился за городом.

■

Кругом поля, одни поля.

Он идет куда глаза глядят. То по шоссе, то по проселкам. Останавливается на берегу полноводного вешнего ручья. Потом снова идет, сам не зная куда, что-то гонит его вперед и вперед. Внезапно он удивленно вскрикивает. Прошло немало времени, а он стоит на том же самом месте — на берегу ручья.

В поля его привела тревога, но в полях она лишь усилилась. Они были такие широкие, бескрайние. Он терялся в них, чувствовал себя бесприютным. Здесь он не мог сравнить себя ни с кем, нельзя было посмеяться, нельзя было нахмуриться или кому-нибудь приветливо улыбнуться. Пустыня! Все чужое, удручающее, без дверей, без окон, без лестниц. Он нашел подкову. Ее потерял конь, и этот конь, наверно, хоть однажды побывал в городе. Иначе он ничего не значил для Атамана. Ремеш поднял подкову, долго ее нес, потом бросил. В поле маячил какой-то пахарь со своей лошаденкой. Далеко-далеко. Кому захочется идти к нему?

И размышляя о том, какие отношения царят в этой пустыне без окон, без дверей и лестниц, Ремеш поспешил вернуться в город. Поля изгнали его. Атаман охотно отвернулся от них. Пахарь остался в поле один.

«Дураков на мой век хватит!» — усмехнулся Ремеш.

■

А в Правно, словно созданном для Ремеша, на площади построились отряды СС и ФС, потом они разделились на две части и отправились по своим делам. Одна группа промаршировала к дому Шёна. Часть отряда осталась на улице, часть вошла во двор, потом в дом. Это было дело невиданное и неслыханное, и потому все обывательницы по соседству высыпали на улицу. Эфэсовцы были в коричневых рубашках, в черных галифе и высоких сапогах, в фуражках, с красной перевязью на рукаве. На ней белел круг, а в нем виднелась черная свастика. Под рубашку полагалось надевать свитер и теплое белье. Когда, маршируя, эфэсовцы взмахивали левой рукой, чудилось, что свастики шевелятся и что они

сплетены из живых змеенышей. Трудно было поверить, что эти люди прежде были не такими, какими стали теперь — перед домом Шёна и у него на дворе. Все без исключения — богатые, уважаемые граждане города Правно, торговцы, мелкие предприниматели, служащие лесопилки Притца и новой неизвестной строительной фирмы, которая рыла тоннель в горе над городом. О них жители Правно почти ничего не знали. Гости стояли на улице, во дворе с таким видом, будто совершают нечто очень важное. Шён был тоже «инженер-архитектор» и уже отправился в путь-дорогу по свету. Его жене пришлось принимать этих важных гостей, ей и ее восемнадцатилетнему сыну.

Любопытство правненских женщин возрастало.

И тут-то Анчинова увидела Ремеша, возвращавшегося в город. Похоже было, что он шел из Планицы. Конечно, он был там по какому-нибудь делу. Расспросить бы его. Он все им расскажет, ведь он служит на почте, со всеми хорошо знаком, и сегодня о нем наговорили ворох всяких небылиц. Какая-то зеленая смерть явилась пани Киршнер, и ее сын погиб на фронте. Потом пан Ремеш понес какое-то письмо, и толпа запрудила всю главную улицу. Как во всем этом разобраться? Анчинова и другие женщины живут на окраине города, все новости узнают последними, да и новости все какие-то непонятные. «Почему бы не порасспросить, что случилось и что ищут в доме Шёна? Но окликать прохожих как-то неудобно. А пан Ремеш не кто-нибудь — он на почте служит. Вот он уже прошел мимо, спешит куда-то. У него на почте столько работы! Но он оглядывается, видно, не знает, зачем тут эсэсовцы. Ну, коли не знает этого и пан Ремеш, так кто же из нас может знать? Живем мы здесь словно на задворках, ничего не знаем, ну просто ничегошеньки. А пан Ремеш опять оглянулся. Парень-то красавчик! Не грех бы... хоть разок с ним в траве поваляться. Искушение дьявольское, прости господи! Какая у него походочка! Как он ножками перебирает! Почему он так оделся? Я давно твержу своему оболтусу: ты, говорю, не косолапь, не криви свои ножищи, каблуки стаптываешь! Кто за тебя понесет их к сапожнику? На тебя не напасешься!»

Жители центра все были на ногах. Заплаканные старые немки бежали на площадь. Все были в черном. Рихтерша, редко выходившая из дому, высунулась из окна и закричала:

— У нас сыновей забирают! Словаки! Помогите несчастным!

— Сын у тебя «хайль» кричит, пусть он и воюет! — отвечала улица.

— Где ты слышала, чтобы он «хайль» кричал? Ты, ты, ты... и какое тебе дело до моего сына, старая ведьма?

Рихтерша захлопнула окно и спустила шторы.

Немки сбегались к ратуше. Они пришли с просьбой к Киршнеру. Около ратуши их набралось около пятидесяти. И еще две появились в дверях ратуши.

— Нет его. Ушел, говорят.

— Скрылся от нас!

— Домой отправился!

— Найдем и дома!

— Немецкие женщины! Зачем вы унижаетесь? Кто...

— Потише, дамочка! Твой-то пролез в эфэсовцы. Туда все богатеи пробрались. А наших вы на фронт гоните.

— Мой муж...— фрау Ласлоп хотела что-то сказать, но черная, галдящая толпа, каркая и всхлипывая, повалила мимо нее на улицу, где стоял особняк Киршнера. Оскорбленная фрау Ласлоп расплакалась и никак не могла найти носовой платок.

Появились рабочие с лесопилки Притца. За ними и рабочие из тоннелей, которые пробивала немецкая строительная фирма и о которых в городе никто ничего определенного не знал.

На городской площади было по-прежнему шумно. Рабочие молча смотрели на немок в черном. Их вопли никого не волновали. Очень довольные, рабочие обменивались взглядами и жестами. Они потихоньку радовались.

■

Правно было небольшим городком, в котором насчитывалось едва ли двенадцать тысяч жителей. Не более трети составляли немцы. Откуда они взялись здесь и почему тут жили, над этим никто серьезно не задумывался. Они жили, и словаки женились на немках, немки рожали детей от словаков, те и другие вместе устраивали голодные походы, вместе коротали время в очередях за нищенским пособием по безработице и вступали в кровавые драки перед выборами. Словак стоял рядом с немцем против других словаков и немцев. Немцы преобладали в социал-демократической партии, в коммунистической они составляли лишь одну четверть. Но вот появился Генлейн. Тогда многие правненские немцы впервые вспомнили о своей немецкой национальности, а ведь нашлись даже такие, кто и говорить-то по-немецки не умел! Социал-демократическая партия развалилась. От самой сильной политической партии остались лишь обломки — шестеро ошеломленных и ничего не понимающих, отчаявшихся людей во главе с Мюнихом. Они не колеблясь присоединились к коммунистам. В этот памятный день старый Келлер воткнул палочку между двух камней и заявил: «Эта земля — немецкий». Так Правно разделилось надвое, и в нем поселилась вражда. Потом, еще до Мюнхена, старый Келлер потерял свою палочку. Он купил себе чекан и, когда в Мюнхене все было кончено, куда бы ни пришел, говорил: «Мы шелаем быт в великонемецкий империа. Если я не достану великонемецкий империа, я достану сфой Gau[1]». И он вонзал чекан в землю. Так в Правно окончательно воцарилась вражда. В разделившемся городе даже горе было двояким. Страдания, ужас были совсем различны. Когда черная туча немок от ратуши повалила на Каштановую улицу, словакам, стоявшим на тротуаре и на обширной квадратной площади, не было до этого дела. Они потихоньку радовались, кивая головами, переглядываясь и жестикулируя, словно немые.

Атаман, не без удовольствия наблюдая смятение разделенного города, затесался в толпу зевак. Он вынужден был это сделать, опасаясь своего тщеславия, которое вот-вот могло забить фонтаном, словно мощный источник. «У Киршнера и Куница немало других забот. Киршнер возвеличил правненских немцев, а потом зажал их в кулаке, хе-хе! Жандармы Куница должны патрулировать в этом враждующем городе и следить, чтобы все имело благопристойный вид. Если двенадцатитысячное Правно хоть на минуту утратит благопристойность, это будет насмешкой над немецким господом богом и его подручными. Людей надо держать на цепи, как животных, хе-хе, днем и ночью, зимой и летом. Но у людей есть головы, их мучают беспокойные мысли и что-то постоянно толкает на размышления; как же могут такие, как Киршнер и Куниц, угадать, что может зародиться в этих таинственных головах? Едва ли что-нибудь такое, что одобрили бы боги. Двенадцатитысячный город не может утратить свою благопристойность. Даже будь он двухтысячный, хе-хе, и потому жандармы Куница патрулируют по его улицам, им помогают черные гардисты, а все вместе они помогают лощеным эфэсовцам. И еще прикидываются, что делают невесть какое важное дело. Тьфу!..»

Ждать Яну оставалось уже недолго, и Атаман старался сосредоточить мысли на ней. Его злило лишь то, что он так оделся. Было уже без

---

* Область, край *(нем.)*.

четверти пять, зайти домой он не успеет. Там, как собака, рыщет Паук. И Лис к нему пробирается. Они разыскивают его, Атамана. «Ну нет, ребята! У Атамана есть и личная жизнь! Сегодня он побалуется с сестрой эсэсовца, сегодня Атаман для своей «партии» не существует». Ремеш постарался скрыться от ребят в толпе.

С Каштановой улицы возвращались немки. Они походили на стадо без пастуха. Даже огорчение их постепенно улетучивалось. Они шли, будто смирившись перед судьбой. Это было печальное зрелище, но город был разделен на две части, и не все испытывали печаль, глядя на черных немок.

Пять часов!

«О чем же она думает?»

Семь минут шестого!

«У нее брат в СС, вот она и воображает о себе бог весть что!»

— Здоро́во, Атаман! — вцепился Паук в Ремеша.

— Проваливай! Не то заработаешь по морде!

— Ну, так будь здоров!

Десять минут шестого.

Ремеш мысленно произносит такое грубое слово, которое и попугай не повторит.

Одиннадцать минут шестого.

Она примчалась, как лань. И псы не травили оленя. «Ура, весь мир будет у моих ног. А ты должна быть моей, хотя бы за то, что растоптала мою гордость. Ты дорого заплатишь за эти одиннадцать минут!» Вслух Ремеш сказал:

— Я думал, вы уже не придете. Какая вы румяненькая и как вам это идет! Вы красивая, Янка.

Она объяснила, что сперва не хотела идти, потом захотела, потом опять раздумала, но после пяти часов, больше уже ни о чем не думая, не спрашивая себя, прибежала. Он ответил, что она поступила правильно, что в жизни нужно действовать, только действовать и никого ни о чем не спрашивать. Даже себя. И что это характеризует мужчин, но должно было бы характеризовать и женщин. Он повел ее по городу — на восток, потом на запад. Перед домом Шёна эфэсовцев уже не было. Они перебрались ближе к центру, пропустив четыре словацких дома. Вполне возможно, что Яна этого не видела, потому что пан Ремеш был рядом, держал ее за локоть и говорил не умолкая. Потом он повел ее за город, где были только поля. Здесь они блуждали по проселкам, пока не начало смеркаться. Они долго стояли на берегу ручья. Атаман снял с себя пальто.

— Что вы делаете, пан Ремеш?

— Мне жарко. Пальто я постелю на землю, и на нем нам будет хорошо.

Он разостлал пальто.

Яна с громким плачем бросилась в сгущающуюся темноту. Она бежала не останавливаясь, падала и вставала и опять бежала, словно потеряв рассудок.

Когда мрак сгустился, в ручей что-то упало, и одинокий прохожий отправился в путь. Он вышел на шоссе, повернулся лицом к городу. Город его притягивал. Он был создан для города и потому должен был ьернуться туда. А вот камень, брошенный им в ручей, никогда не вернется на свое место. Камень — не человек.

■

Атаман вернулся домой, в свою меблированную комнату, которую снимал у вдовы Пильховой. Он запер за собой дверь, швырнул пальто на кровать, прикрытую одеялом, сел на него и прислонился к стене. Он

не зажег света. Темнота его устраивала. В темноте легче было оценить события у ручья, найти ошибку. Даже ошибаясь, человек должен сохранять присутствие духа, особенно когда он не хочет видеть, что у него от гнева дрожат пальцы. Нет, Атаман пока не позволял шутить над собой даже самому себе.

Темнота его устраивала.

В комнату просачивался шум речки, вздувшейся от вешней воды. Без этого здесь было бы тихо. Тишина стояла очень долго. Послышались шаги. Тяжелые шаги. В дверь постучали — тук-тук.

— Кто там?

— Откройте, пан Ремеш!

— Кто там?

— Откройте, именем закона!

В дверь забарабанили что есть силы.

— Сейчас. Мне надо одеться.

Атаман встал, надел пальто, застегнул его на все пуговицы, прислушался к биению собственного сердца.

— Минуточку. Сейчас, господа, сейчас открою.

Ухмыляясь, Атаман направился к окну. Он открыл его, дважды выстрелил в дверь и выскочил вон.

У двери кто-то вскрикнул.

И Атаману захотелось крикнуть. Он выстрелил и закричал. Он целился в большую звезду, но она не упала. Вероятно, потому, что был апрель, а звезды падают только летом.

Очутившись во мраке, Атаман зашагал прочь от города, который был словно создан для него.

ПРИДЕТ ЧАС, И Я ВОССТАНУ ИЗ МЕРТВЫХ

Трое сидят за столом, а говорить им не о чем. Над ними висит облачко голубоватого дыма, чуть едкого, чуть ароматного. Это облачко выпускают губы пана Швары. Рот его напоминает кадильницу, в которую церковный служка ложечкой подсыпает благоуханный ладан. В кадильнице Швары шесть золотых зубов. Они матово поблескивают, как и его голова, круглая, словно шар. У него пышные и такие черные усы, что чернота их кажется неестественной. Лицо гладкое и свежее.

В это воскресенье Швара отсидел всю малоприятную, утомительную торжественную мессу в костеле, а потом ему пришлось еще пробыть положенное время в доме декана. Декан Цингора праздновал день своего рождения, который всегда заканчивался званым обедом в более узком кругу друзей. Этот «узкий круг» в нынешнем году составили не менее тридцати человек. Восклицания гостей, звон посуды и столовых приборов, невыносимо противный смех самого декана, как и блюда, обильно приправленные пряностями, способствовали тому, что Швара лишь сожалел о потерянном воскресенье. В воскресенье каждая минутка дорога и каждая должна доставить человеку удовольствие. Но разве не наслаждение хотя бы этот плов? Отменный, слегка желтоватый рис, зернышко к зернышку, сдобренный утиным жиром. А попробуешь — язык словно огнем опаляет.

— Многовато пряностей,— сказал пан декан.

— А я и не заметил, досточтимый отец,— отозвался пан Швара. Ему не хотелось омрачать едва начавшийся обед.

— Вы говорите, не заметили? Вы очень любезны, пан Швара. А у меня внутри все го... го...

Гомерический хохот гостей не дал ему договорить. После этого не-

приятного эпизода настроение Швары испортилось. А когда он выходил из дома, его остановил Махонь и спросил:

— Домой, пан директор?

— Домой.

— А если я осмелюсь пригласить вас к себе на чашку кофе?

— Ко-офе?

— Кофе, пан директор.

— Пан Махонь, вы... того... не шутите?

— Устроим все на холостяцкую ногу. Моей жены нет дома, уехала вчера к родным.

— Хотите верьте, хотите нет, а я и не припомню, когда пил кофе... того... с месяц, пожалуй. Извините, я даже забыл вас поблагодарить. Кофе я люблю... того... чрезвычайно люблю. Божественный напиток! И вы говорите, на холостяцкую ногу? Когда речь идет о кофе, я готов и дров нарубить и в кухню их принести.— Обычно неразговорчивый, директор банка не удержался и закончил:— Пойдемте скорее! Пока нам ноги не отказывают.

— Ну что вы! Ну что вы, пан директор! Меня ноги слушаются. Смотрите!

— Вот и превосходно. Гм... я хочу сказать еще, что отец Цингора весьма приятный человек. Да. Но годы идут, и он с каждым годом все больше старится.

— Верно, верно. И мы этого не избежим. Попросту говоря, это не в нашей воле. Пятьдесят четыре... Гм... годы идут и идут...

— Да-с... того... Идут.

Махонь жил в доме Гекша, напротив здания ратуши, на площади. Низ занимали торговые помещения, во дворе тянулись склады с товарами. Махонь, проводив Швару в гостиную, сам развел огонь, поставил воду на плиту, и оба предались терпеливому ожиданию. Тут пришел брат Махоня.

Махонь сразу начал нервничать, то и дело бегал в кухню, звенел посудой, а вернувшись, всякий раз сообщал:

— Еше не закипела.

— Это дело долгое,— волей-неволей отвечал пан Швара, и его воодушевление постепенно улетучивалось. «Куда я попал? Ничего плохого про пана Махоня не скажешь. Он почтителен, приглашает на кофе. Что же, похвально, не каждый день такое бывает. Он мне не откажет, продаст немножко кофе. Смотря по тому, какие у него запасы. Если позвал, значит, кое-что найдется. Я заплачу любые деньги, сколько бы он ни спросил. Я не мелочен. Кофе! В такое время! Нет, не так-то все это просто. А кто это такой — тот, что позволил себе прийти без предупреждения? Брат пана Махоня. Отчасти меня это успокаивает. Будь я невоспитанный человек, я спросил бы его напрямик: «Разрешите узнать, кто вы такой?» — «Начальник отрядов глинковской гарды города Правно и всего района».— «А я вам скажу по-другому: меня гарда не интересует. Вы были писарем, так и говорите. Вы были простым писарем. А теперь вы заправляете гардой». Так бы я ему сказал, будь я невоспитанный человек, будь я просто неотесанный невежа. Он был писарем в ратуше, теперь заправляет гардой. Начальство! Таких людей я совершенно не выношу. Разве это люди? Выскочки! Более удобного времени для визита такой выскочка не выберет. Он просто не найдет другого времени, а непременно явится сюда следом за мной».

— Еще не закипела.

— Это дело долгое.

Кадильница пана Швары выпустила струю благовонного дыма. «По совести говоря, я должен понимать, что сижу в кресле Гекша, в его доме, а внизу находится его магазин. Пан Аладар Гекш сбежал.

Он старый человек. Пускаться в дальний путь, где его ждут всякие неожиданности, ему бы не следовало. Как он теперь устроился? Повезло ли ему? Бедняга! А если я сижу в кресле Гекша, кто же в таком случае его преемник и представитель? Кто он? Я человек вежливый и просто спрашиваю себя. Заполучить оптовую торговлю Махоню помог брат, тот самый, что раньше был писарем и теперь пришел сюда незваный через несколько минут после меня. Прежде он был писарем. Но без его помощи пан Махонь не расположился бы у Гекша, как в своем собственном доме. Именно так. Торчал бы и дальше в своем захудалом погребке у железнодорожной станции. Но кроме того это попросту означает, что Махонь всецело зависит от бывшего писаря, который обладает большим весом. Вот как неслыханно оборачивается дело, изволите ли видеть. И как я очутился в их компании, сам не понимаю. Должно быть, единственно потому, что не взвесил всех обстоятельств и, как только услышал о кофе, лишился способности здраво рассуждать. Неслыханно! В компании выскочек!»

Швара сунул в рот новую сигару.

— Еще не закипела.

Швара промолчал.

Махонь наконец сел. Это был долговязый, костлявый, похожий на мертвеца человек. Узкие бескровные губы и большие круглые очки в черной оправе придавали ему болезненный и в то же время строгий вид. Мягкие волосы лежали на продолговатом черепе, словно приклеенные.

Когда он заговорил перед домом декана со Шварой, то поступил так от чистого сердца. Он знал, что с его стороны это дерзость, и приготовился к вежливому отказу. Махонь трезво оценивал себя и отлично понимал, что декан Цингора допустил его в интимный круг знакомых ради черного перца и других пряностей, ради изюма и чая и прочих продуктов, которых давно не было в продаже и запасы которых своевременно сделал предприимчивый Гекш. А директор Швара страдал от отсутствия кофе, как страдают от ревматизма, но даже и при этих условиях приглашение на чашку кофе было очень большой неосторожностью.

Директор банка Швара от приглашения не отказался. Но по пути к дому Махоня, когда они немного протрезвели и дружески подбодряли друг друга, лавочник внезапно вспомнил нечто неприятное и мысленно даже попрекнул себя: «Ведь *он* сегодня еще ничего не ел. Это ужасно!» Но было поздно, отказать теперь Шваре он не мог.

Он проводил директора в гостиную и принял все меры, чтобы вода закипела возможно скорей. Неожиданно пришел брат. и это только усилило нервозность лавочника. Посидеть в гостиной ему не удавалось, он то и дело убегал в кухню, чтобы обдумать в одиночестве, как найти выход. «Какая неприятность,— думал он в кухне.— И зачем я пригласил Швару? Еще решит, что я набиваюсь ему в друзья или же хочу разгласить по городу, что директор самолично навестил меня. А мне это совсем не нужно. Что могу я ждать еще от жизни, чего еще достигнуть? С меня хватит. Я скромно, с благодарностью доживу свой век. Такое смирение возвышает человека над эгоистичными людьми. Почему я вчера не пришел к отцу Цингоре и не сказал, что не заслуживаю милости досточтимого пана декана? «Освободите меня от обязанности присутствовать у вас завтра на торжественном обеде. И без того я буду вашим преданным слугой!» Вот как должен был я сказать. А я что сделал? Пока шла месса, весь дрожал от нетерпения, молился кое-как, пел сбивчиво, потому что слова псалмов вылетели из памяти. Я жалкий прах земной! Мне представлялся торжественный обед, и чревоугодие настолько овладело мной, что я только и думал о том, чтобы досточти-

мый декан не затягивал мессы. Это чревоугодие и безмерная жажда попасть в круг его близких не были ли искушением дьявольским? А когда я уже удовлетворил свои желания и дьявол понял, что больше меня этим не соблазнит, он быстро сменил личину на более хитроумную, что ему так свойственно. Он стал нашептывать мне: «Подойди к пану Шваре и спроси, не домой ли он идет?» А уж относительно кофе я сам придумал. Кофе у меня есть. И все сразу пошло гладко. Каков я! Ах, каков я! Сам себе противен, и как я должен опротиветь всевышнему! Ах, я жалкий грешный человек! Но я достаточно наказан, спасибо хоть на этом. Теперь меня терзают укоры совести, ибо я оставил *его* на целый день без пищи. Это ужасно! И я не смогу скоро пойти к *нему*, надо дождаться, когда они уйдут. Это ужасно!»

Махонь вошел в гостиную и сказал:

— Еще не кипит.

— Это дело долгое,— как-то недовольно произнес Швара.

«Ну, какая я компания для пана директора! А мой брат и того меньше, он ему даже кофе предложить не может. Пан директор много курит. Как он не боится захворать? Своей сигарой он провоняет всю комнату. Целую ночь придется проветривать. Открыть окно надо бы уже сейчас, но как истолкует это пан директор? Он и так все продымил, этот дым ведь забивается во все щелочки в стенах, в мебели, для него даже и щелочки не нужно, хватит самой малюсенькой дырочки. А мой брат? Зачем он пришел? Или просто так? А почему ему не прийти? Все-таки он мне брат, и пусть себе приходит, когда ему угодно, но сегодня никак нельзя было. Что я стану делать? Как *он* там выдержит? *Он* и крохи сегодня не ел. Я о *нем* забыл и должен мучиться из-за этого».

Младший Махонь приехал сегодня на машине из соседнего районного города. Последние дни он был очень занят, а перед этим неделю отсутствовал, так что не виделся со старшим братом добрые две недели. «И чего мне тут надо? Мне и своих забот хватает. Но каков братец? Скажите, пожалуйста! Он осмелился пригласить пана Швару! Пан директор, этот старый хрен, хоть взгляды у него и допотопные, в нашем городе много значит и многое может».

Трое сидят за столом, и говорить им не о чем. Над ними висит голубоватое облачко едкого дыма.

Пан Махонь ушел в кухню, долго там пробыл и, вернувшись, сказал:

— Еще не кипит.

Пан Швара, вероятно, не слышал этих слов и не ответил.

— Что не кипит? — спросил брат.

— Вода. Вода для кофе.

— Ах, вот что! Пан директор не пьет, ты не пьешь, так что же вы варите? Не капусту же? Я и подумал: глинтвейн! — рассмеялся младший Махонь.

«Выскочка!» Кадильница выпустила дым.

— Какой там глинтвейн! Нет, нет! Зря искушаешь,— замахал старший брат тощими руками.

— Я бы на вашем месте не смеялся, пан... как вас там... Если так пойдет дальше, мы когда-нибудь проснемся и не увидим даже вашей пресловутой капусты. Дело это серьезное. Риса я целый век уже не видел, шоколад надо просто выбросить из головы, мы, пан... того... катимся вниз, и никто не скажет куда. Я, во всяком случае, не знаю.

— Война...

«Зачем ты споришь с выскочкой?» — предостерегал внутренний голос, но Швара не мог удержаться.

— Все валят на войну и все на нее ссылаются. Решительно все.

А разве я ее начал? Если я ее не начинал, почему я должен считаться с ней, во всем себя ограничивать?

— Хорош, нечего сказать!

— Что вы изволили заметить?

— Хорош, говорю, нечего сказать!

— Вот как? Вы слышите? — Швара сунул в рот сигару, ища взглядом поддержки у старшего Махоня. А тот в это время встал и вышел в кухню.

— Вы не желаете понять самых простых вещей. Во время войны все должны приносить жертвы. Для вас великая жертва отказаться от риса и шоколада. А солдат на фронте жертвует жизнью. Да, жизнью, потому что это война, пан Швара...

— Неслыханная, непонятная зависимость! Что у меня общего с солдатами? С кем вы меня сравнили? Пан Махонь, не угодно ли вам пожаловать сюда! Ваш брат говорит мне ужасные вещи! — восклицал Швара, заметавшись в кресле Гекша.

— Вода кипит. Я мелю кофе.

— Да,— беспомощно произнес Швара. Только теперь он вполне осознал свое положение.

— Сейчас война. Стреляют даже в Правно. Нельзя закрывать глаза на действительность.

— Вы говорите об этом типе? Я не знаю его фамилии. Мне-то какое до него дело? Вообще, какое мне дело до всего этого! Пан Махонь, не угодно ли вам пожаловать сюда? Ваш братец...

— Я мелю кофе.

— Вот как...

— Я сейчас из больницы. Раненому жандарму плохо. Раздроблена кость ниже колена. Врачи говорят, что надо подождать несколько часов, и, если состояние больного не улучшится, ногу ампутируют. Вы думаете, пан Швара, легко пожертвовать ногой?

— Я ничего не думаю, решительно ничего, а если бы я и думал, то вам-то какое до этого дело!

Швара бросил разъяренный взгляд в сторону кухни.

Брат Махоня продолжал все с той же настойчивостью:

— Преступник до сих пор не пойман. Он бежал. Во всех этих событиях много неясного. Вы, например, ни разу не задавались вопросом, почему Ремеш в ответ на стук в дверь вздумал стрелять?

— Нет! — холодно ответил Швара, окутываясь облаком дыма. «Нет, с этим типом невозможно иметь дело! Почему я не ухожу? Ужасно!»

— Мы говорили об этом с паном Куницем в машине. Почему стрелял Ремеш? К нему пришли сделать обыск, ничего больше. Пан Куниц думал, что обыск мог бы прояснить происшествие с фрау Киршнер. Это было очень предусмотрительно с его стороны. Пан Куниц вообще очень догадливый человек. И он попал в самую точку. Ремеш стрелял, думая, что его пришли арестовать. Тут я согласен с Куницем, но... вам я могу, конечно, сказать. Вы человек, достойный доверия.

— Как вы изволили сказать, извините? Какой я человек?

— Достойный доверия,— многозначительно повторил брат Махоня, чтобы пан Швара понял: начальник гарды имеет право с кем угодно в городе говорить таким тоном.— До этого момента я согласен с паном Куницем. Но не дальше. Пана Куница уже не интересует происшествие с фрау Киршнер. Кто такой Ремеш? Кто? — И младший Махонь рассудил по-своему: — Как вы хорошо помните, в городе несколько раз разбрасывали коммунистические листовки. В феврале сбежали два немца. Молодого Келлера удалось поймать. Он скрывался в Липинах. Его выдал властям родной отец. Это, впрочем, между нами; я уверен, что вы

забудете об этом. Молодого Келлера сегодня отправили в Германию, в концентрационный лагерь. Потом кто-то напал на господина Киршнера и нанес ему жестокое оскорбление. И теперь, при последнем наборе в войска СС, бесследно исчезли три немца. Пан Куниц предполагает, что ко всему этому причастен Ремеш. Он — глава тайной коммунистической организации. Мне неизвестна ваша точка зрения, но я лично в этом сомневаюсь. По силам ли все это молодому человеку двадцати шести лет? Дело очень, очень неясное.

Тут вошел старший Махонь.

— Да, все время какие-то странные происшествия. Что ни день, то новые волнения. А почему ты считаешь, что пан Куниц неправ? Ремеш стрелял, и, по-моему, это уже достаточное доказательство. Но хватит разговоров о неприятностях. Я накрою на стол. Разрешите, пан директор. А тебя я и спрашивать не стану, ты должен к нам присоединиться — ты ведь мой брат, и я старший.

Между паном Шварой и Махонем-младшим стоял Махонь-старший — высокий, черный. Он говорил сдержанным тоном, строго, торжественно, едва шевеля губами.

— Вы очень любезны, пан Махонь,— заметил Швара.— А я... я... того... видите ли, я просто забыл о своем обещании. Я собирался наколоть дров...

— Что вы, что вы... Вы — и колоть дрова! Да позволь я вам такое, я был бы нахальнее этого Ремеша. Вот, пожалуйста, сахару я вам не положил. Вы не любите сладкий кофе. Я и об этом знаю.— Махонь-старший наклонился к пану Шваре с подносиком, и глаза его заблестели.— Теперь ты возьми, милый брат, кофе освежает, придает бодрости. А я возьму себе последним, с вашего разрешения. Моя первая жена, царство ей небесное, говаривала, что после бога человек самое совершенное создание.— Махонь сел. Его острые колени доставали до края стола.— Эти слова не следует понимать буквально. Бог един, а людей много. И этот Ремеш — тоже человек! И я создан по образу и подобию божию, и вы, пан директор. Всего три человека из миллионов, а какая между нами разница! Пан Ремеш — коммунист, то есть злоумышленник, он оскорбляет творца, владыку неба и земли, и потому не заслуживает, чтобы мы о нем говорили. Из троих остаются двое — пан директор и я. Может, ты еще не знаешь, что я был на торжественном обеде у самого декана? У самого декана! Его милости вчера исполнилось пятьдесят четыре года, и он решил, что к нему должен прийти некий Махонь, Йозеф Махонь. Сидеть за одним столом с досточтимыми деканом и паном директором! Чем я заслужил подобную честь?

— Перестаньте же, пан Махонь.— Погасшая сигара повисла в губах Шварры, образуя вместе с усами большую букву «Т». Швара положил сигару в пепельницу и понюхал кофе.— Отменный... того... Я уж и не помню, когда пил кофе. С месяц назад, должно быть, если не больше.

— Нет, не перестану! — Глаза Махоня за очками сияли.— Мне следовало вчера пойти к декану, так и так, мол, снимите с меня это бремя, потому что я не достоин чести быть у вас завтра. Но я этого не сделал. Искушение было слишком велико, и я не устоял. Пейте же, господа! Не заставляйте угощать себя.

Братья недружелюбно посмотрели друг на друга.

Швара отхлебнул кофе.

— Изумительный кофе, пан Махонь! — сказал он, думая при этом о братьях и о том, что у них совершенно разные характеры. Он уже простил пана Махоня-младшего.— Кстати, кто был этот Гекш? Я человек вежливый и спрашиваю просто так. Кто был пан Гекш? Обыкновенный еврей, только и всего.

— Пейте же, пейте, пан директор. Я сварю еще. У меня есть, а это все равно что у вас,-- сказал Махонь, легонько коснувшись ладонью руки Швары и тут же отдернув ее.

— Дорогой брат,— насмешливо сказал младший Махонь,— ты надоедаешь пану директору своим мурлыканьем. Ведь ты не говоришь, а мурлычешь. Замолчи, пожалуйста.

Швара поискал спички в карманах, хотя коробок лежал перед ним.

— Пожалуйста,— младший Махонь услужливо подал спички.

— Я просто не заметил, что они на столе.

— Я мурлычу? Не понимаю тебя, милый брат. Может быть, ты объяснишь мне? Я не настаиваю, конечно, но объясни, если можешь.

— Перестань хвастаться своей скромностью! Слушать противно. Ты мне надоел!

— Слишком сильно сказано, пан... того... слишком сильно. Это ваш брат. Я полагаю, что скромность никому не вредит.

— Истинная правда, пан директор.— Махонь погрозил брату пальцем и усмехнулся.

— Я не хочу быть судьей между вами, это совсем не мое дело. Но я просто так, хотел бы узнать, что... что вы имели в виду, сказав, что и в Правно... того... стреляют и что на это не следует закрывать глаза?— Швара поощрительно улыбнулся старшему брату, словно желая сказать: «Не бойтесь, пан Махонь, вдвоем мы с ним справимся».

— Что я имел в виду? Линия фронта проходит не только на востоке, но и у нас здесь, в Правно. Все мы солдаты. Вы, мой брат, я. Все! Но не все это понимают, и в этом их ошибка.

— И вы считаете, что это... того... надолго?

— Предположим, что да. Пока идет война.

— Меня это несколько изумляет, пан. Вы... того... человек все-таки более или менее военный, но вообще— это странно. Я изумлен...

«*Он* еще не ел. Это ужасно!» Махонь сухими пальцами взял чашку и поднес ее ко рту.

— Вы можете изумляться, сколько вам угодно, но это ничего не изменит.

Младший Махонь надул губы, желая показать, что он владеет собой и мог бы ответить резче, если бы это понадобилось.

— Но я хочу, хочу знать, в чем дело! Вы, пан... того... человек все-таки более или менее военный, вы обязаны поддерживать порядок в городе. Куда мы катимся? Я ничего не понимаю. Всякий, кому вздумается, стреляет! А где же тогда спокойствие и безопасность порядочных людей? Дичь какая-то, да! Все прикрывается войной, как дырка заплатой, гм... и я... я утверждаю, что все это происходит только от нерадивости и бездарности властей. Вот в чем дело.— Швара взял чашку, отпил глоток кофе.— И вообще...— Он откинулся на спинку кресла Гекша.

«Старый хрен!» — подумал младший Махонь.

— Нет ли у тебя немного рому? — спросил он, стремительно поворачиваясь к старшему брату.

— Найдется.

И Махонь ушел в кухню. С ним ушло что-то, заставлявшее Швару поддерживать разговор.

— Я этого просто не понимаю... того... как я могу понять? У нас тут так много солдат, целый артиллерийский полк и...

— Солдат? Чем дальше, тем лучше! Нельзя ли прекратить этот разговор?

— Позвольте!

— А вот и мой братец, мой преподобный братец! Он принес нам ром. Не хотите ли выпить? Ром укрощает страсти.

Махонь-младший взял бутылку, намереваясь налить Шваре.

— Позвольте! Я не пью!

— Дорогой брат! Ты молод и не умеешь сдерживаться. Ты наскакиваешь на пана директора, оскорбляешь его. Тебе не стыдно?

— Завтра!

— Что?

— Завтра мне будет стыдно. Ваше здоровье, пан Швара! За твое здоровье, брат! — Махонь-младший преувеличенно низко поклонился каждому.

Никто ему не ответил.

Наступила тишина.

Трое сидели за столом и не могли молчать. Над ними висело облачко голубоватого дыма, чуть едкого, чуть ароматного. Оно сгущалось, проникало во все поры стен и мебели. Первым заговорил Швара, желая хотя бы отчасти оправдаться.

— Я не сказал вашему брату ничего, решительно ничего. Я только заметил, что просто не понимаю, как в городе при наличии солдат, жандармерии и... того... гарды и немцев, порядочные люди не могут чувствовать себя в безопасности. Коммунисты стреляют в кого попало, ни за что ни про что обидели господина Киршнера, и завтра то же самое может произойти с вами или со мной. Гм... я попросил бы еще чуточку кофейку.— Швара протянул чашку Махоню.

— Очень рад!

Черный, невероятно высокий Махонь вскочил, сухими пальцами схватил чашку и ушел в кухню. Он подложил дров в печку, налил воду и уставился на чугунную плиту. Выбившаяся прядь волос скользнула по гладкому виску и повисла над правым ухом.

Младший Махонь перестал обращать внимание на своего собеседника. Он вел себя так, словно был один в комнате. Налил себе рому, выпил. Тихонько насвистывая, поставил ногу в туфле себе на колено, завязал шнурок. Заметив следы, оставшиеся на штанах, потер их пальцем, смахнул пыль, продолжая насвистывать в такт.

Швара, не желая смотреть на все это, курил, пускал клубы дыма, словно хотел спрятаться за ними.

— Я просто не согласен с вами.

Младший Махонь разрешил себе отвлечься:

— Ну! С чем же?

— Вы знаете с чем, пан... гм... пан Махонь.

— А если не знаю? — рассмеялся тот ему в лицо.

— Знаете!

— Этот ром очень хорош, еще из старых запасов. Кто бы мог сказать, что еврей понимает в напитках? Кто? За ваше здоровье, пан Швара!

— Вы... того... человек более или менее военный и в качестве такового, простите, ответственны в некотором смысле, так сказать, за порядок в нашем городе, за поддержание действующих законов и вообще... Как, например, я должен относиться к вашему утверждению, что все мы якобы солдаты? Я не согласен с вами, ибо это означает, что я тоже простой солдат, вы сами это в конце концов только что утверждали, и потому я вынужден спросить вас, куда вы меня толкаете? Я вижу, что здесь выдумывают какие-то нелепые теории, играют словами и тем...

— За ваше здоровье.

— ...извращают правду и истинное значение слов. Но за этим нет ничего иного, кроме как... того... попытки попросту взвалить свою ответственность на чужие плечи, и вообще...

Швара взял спички и энергичным жестом переложил их с края стола на середину, к большой пепельнице.

— Вы все сказали?
— Да!
— Ну, так за ваше здоровье!
Губы Швары опять начали кадить.
— За ваше здоровье, говорю я. Вы меня не слушаете? За ваше здоровье! — сердито крикнул Махонь-младший. «А-а, так ты и теперь не слышишь, старый хрен? Нет? Ладно!» Он опорожнил бутылку до дна.— Братец, мой преподобный братец, ты наконец примчался из кухни. Дай мне свою фарисейскую руку, я ухожу. Не дашь? Ладно. Когда-нибудь дашь, да еще оближешь. Мое почтение, господа, нижайшее почтение. Сейчас вы меня еще видите, а через секунду меня здесь не будет. Из-за вас, господа, и особенно из-за тебя, сушеный проповедник. Бутылку я захвачу с собой — ее запах пришелся господам не по вкусу. Хороший был ром у Гекша. Кто бы мог подумать, что этот еврей понимал в спиртном? Он был не то что ты! Я ухожу. Я человек более или менее военный, вы меня, так сказать, наняли, вот я и пойду охранять ваши почтенные задницы. Я понимаю, прекрасно понимаю, вы боитесь, что кто-нибудь даст вам под зад коленкой. Ох, понял я ваши душонки, вы сами мне в этом помогли. Посторонись, старый хрен, а ты убери ноги, ха-ха-ха! — Он с громким хохотом шваркнул бутылку о стену и затопал.— Понял я ваши душонки. Вы не видите? Вы ничего не видите, вы ослепли? Но я ухожу, не люблю смотреть на слепцов. Не люблю, не люблю... Матерь божья, где огонь? — Он озирался.— Где он? Я горю! Горю! — Он рванул на себе рубашку, пуговицы полетели во все стороны. Он потер ладонью грудь и помрачнел.— Я горю...— Он провел рукой по груди еще несколько раз и ушел. Немного спустя хлопнули двери.

Двое сидят за столом и молчат. В кухне кипит вода, а они молчат.

На ковре валяются осколки бутылки, поблескивая, словно золотые зубы пана Швары. Медленно вечереет, в гостиную сегодня уже не проникнет солнце. И если Махонь не зажжет света, никто из них не увидит треугольной вмятины в штукатурке, оставленной бутылкой Гекша.

Швара встал и вышел вон. Кухонные двери были открыты. На раскаленной плите ключом кипела вода, шипели брызги, но директор Швара ничего этого не заметил. Он надел зимнее пальто, кое-как замотал шею шарфом и вышел на веранду. Спускаясь вниз по лестнице, он нахлобучил шляпу, застегнул пальто и сунул руки в карманы. Там Швара нащупал свертки с какими-то зернышками. Он не знал, что это такое и кто их туда положил. Внимательно смотрел он под ноги, потому что уже стемнело, а каменные ступеньки были сбиты. В голове неотвязно кружилась никому не нужная истина: «Человеческие ноги собьют и каменные ступени».

За столом остался один Махонь-старший. Теперь времени хватит на все. Дрова в плите сгорели, угли подернулись пеплом, но еще тлеют. Вода вся выкипела. На столе стоит кофейная мельница.

■

Когда совсем стемнело, черный высокий человек встал. Его фигура сливалась с мраком. Он зажег свет в кухне. Лицо Махоня было бледное, пальцы хрупкие, почти прозрачные.

Свет в кухне погас.

Вниз по каменной лестнице Махонь спускался медленно. Пятно света от электрического фонарика прыгало со ступеньки на ступеньку, потом замелькало по двору и вдруг исчезло. Звякнул ключ в огромном замке. Бесшумно распахнулись железные двери. На мгновение снова мелькнул свет, осветил длинный узкий проход между ящиками. Воздух здесь был тяжелый, прокисший, стояла гробовая тишина. Шаги прозвучали глухо. Внезапно проход расширился.

Махонь отодвинул в сторону два пустых ящика, снял доски и поднял деревянную крышку люка, закрывавшую спуск в погреб. Двенадцать ступеней вели вниз, к двери. Махонь осторожно открыл ее.

— Добрый вечер, пан Гекш.

Круг света падает на домашние туфли из черного сукна, на ноги, согнутые в коленях, на стол с картонными коробками.

Махонь достает из корзинки кружку, две кастрюльки, хлеб в белой салфетке и еще что-то, завернутое в газету.

— У меня сегодня были гости, пан Гекш. Вам пришлось долго ждать, извините. Этого больше не повторится. Жена уехала вчера к родным. Я один.

— Один,— прошептал кто-то во мраке.

— Один. Вынести ведро не нужно?

Воздух и здесь был спертый, прокисший, и здесь тоже стояла гробовая тишина. Свет упал на лицо Гекша.

— Не нужно вынести?

Гекш отрицательно покачал седой головой.

— Я забывчив. Мы выносили его вчера. Доброй ночи, пан Гекш.

— Один,— прошептал Гекш, но Махонь его не слышал. Он уже запер двери и поднимался по лестнице.— Один,— еще раз прошептал старик, обращаясь к двери. Он сел и принялся есть. Потом ощупью нашел коробки. В одной была лишь сухая корка. Туда он поставил кастрюльки, кружку с водой и положил остатки еды. Потом подвинул к себе другую коробку. В ней лежали ножницы и гребенка.

Старика одолевала дремота. Он ослабел, сидя у дверей. Гекш весь день прождал Махоня. Он сидел, прижимая ухо к железной двери, ржавой, толстой, и ждал, не послышатся ли шаги. Ржавое железо уже не холодило, он согрел его своим ухом, в котором ведь тоже текла кровь. Старик весь горел, словно в лихорадке. Порой его знобило. Тогда он опускал ладони на колени. Он мог ведь лечь на постель, укрыться шерстяными одеялами и набросить сверху меховую шубу, но он был здесь один-одинешенек, оставить у двери было некого. А будь еще кто-нибудь, разве высидел бы он так? Нет, он один! Как может пан Махонь, не задумываясь, пользоваться таким сильным тяжким словом, как «один»? Понимает ли он, что оно значит?

В одной руке старик держит ножницы и гребень, другой растирает колени.

Гекш ослабел, сидя у этой двери. Земной холод сковал его старческое тело. У земли холода вдоволь. Он всегда это знал, но все-таки добровольно спустился сюда, поближе к ней, три месяца и шесть дней назад. Вот, должно быть, переполошились все в Правно, из уст в уста полетела новость: старый Гекш сбежал! Куда-то в Швейцарию, к своему сыну.

Он держит в одной руке гребень и ножницы, другой растирает застывшие колени — то правое, то левое — и улыбается при этом.

Три месяца и шесть дней... Он перестает улыбаться, не зная, велик или мал этот срок. Он не заглядывает в будущее. Эта холодная земля тоже его не знает. Будущее! Кто может что-нибудь сказать Гекшу о будущем? Окно разве скажет? Оно обито снаружи густой проволочной сеткой и пропускает мало, очень мало света, потому что он сам приказал пану Махоню свалить перед крохотным оконцем погреба два воза саженных плах. Оконце стало совсем незаметным, и он оказался отрезанным от мира, из которого ему пришлось удалиться и куда он не теряет надежды вернуться. Да, в этом его будущее. Вернуться в тот мир, что наверху, когда-нибудь вернуться...

Ножницы он кладет в коробку, расчесывает гребнем бороду. Волосы потрескивают.

Завтра будет три месяца и семь дней, послезавтра три месяца и восемь дней... Существуют еще часы, минуты, секунды, но у них нет ничего общего с этим подземным миром. И с ним, Гекшем. Они существуют для тех, кто остался на земле. Кто живет наверху. Здесь действуют другие законы. В году триста шестьдесят пять дней, в високосном на день больше. Его ждет еще двести шестьдесят девять дней. Тогда исполнится год. Год! Велик или мал этот срок?

Рука лежит на колене неподвижно. В руке — гребень.

Гекш верит в Ягве, а пан Махонь — в бога без имени, но все равно, Махонь — честный человек. Самый честный из всех правненских торговцев, которые поклоняются богу без имени. Гекш сам остановил свой выбор на Махоне. Он пришел к его брату, который ходит в больших начальниках над отрядами глинковской гарды, и сказал: «Вы большой начальник, пан Махонь. Ваш брат перебивается со дня на день в погребке при станции, а я еврей. Ваш брат честный и порядочный человек, он от души поклоняется своему богу. Пусть он берет мою оптовую торговлю, да поскорей. Ровно час назад ко мне во двор приходил немецкий торговец Рихтер и смотрел на все так, будто он уже хозяин у меня в доме. Я боюсь этого Рихтера, а вашего брата не боюсь, ибо он честный и порядочный человек».— «Пан Гекш, вы мудрый еврей».— «Ваш брат мог бы тотчас и переехать в мой дом. Мне достаточно и комнатки, я старик».— «Вы очень мудрый еврей, пан Гекш. Я подумаю».— «Долго не думайте, пан Махонь. Рихтер был у меня в доме час назад и смотрел на все, словно хозяин». Гекш не пожалел о своем выборе. Хорошо поладил он и с пани Махоневой. Она любезная особа. Нет, о Махонях он не может сказать ничего дурного. А когда евреям пришлось пришивать желтые звезды, сам Махонь сказал ему: «Не по душе мне это, пан Гекш. Сегодня звезды, а завтра, может быть, и еще что-нибудь похуже. Вам надо бы скрыться, дорогой мой».— «Вы так думаете?» Он, Гекш, еще колебался день-другой, а на третий вышел в город. Он отошел от дома совсем недалеко, и тут его окружили подростки и погнали назад, словно заблудившегося гуся: «Иди за своей звездой! Еще раз без нее появишься, мы тебе покажем!» «Я переберусь в подвал, пан Махонь. Берите ключи!»

С тех пор прошло три месяца и шесть дней. Сегодня в первый раз им овладел страх. Он знал, конечно, что сегодня воскресенье. По воскресеньям на дворе тихо, а в подвале — словно в могиле. Никто не закричит, не засмеется. Окошечко высоко, заложено саженными плахами, но Гекш может, если ему вздумается, приоткрыть его шестом, может проветрить помещение, окно шесть дней в неделю соединяет его с людьми. Люди наверху кричат, смеются. Слов он почти не улавливает, но эти звуки так же необходимы ему, как телу — пища и вода. На улице гремят колеса, лошадки стучат копытами — это ему необходимо. Вот и все его развлечения. Позавчера за плахами, должно быть совсем близко, плакала какая-то женщина. Она плакала, а он улыбался, ему было хорошо. Всякий, у кого горе, должен выплакаться у этих плах. И тогда он, Гекш, не будет так одинок. Он будет знать, что и наверху есть несчастные. А то он уже стал забывать об этом. Но они есть. Позавчера под окном плакала какая-то женщина. Это было в пятницу. В воскресенье никто не заплачет, не закричит, не засмеется. Телеги не громыхают, копыта не стучат, и потому в воскресенье Гекшу грустно и тяжело.

Он положил гребень в коробочку и взял ножницы, другой рукой — бороду, вытянул ее как следует, потом прижал к груди. Борода была длинная. Он придержал ее пальцами и отстриг кончик. Отстриженные волосы положил в коробочку, ножницы — на стол, потом взял гребень и стал расчесывать бороду. После этого вычистил гребень, волосы

упали в коробку. Положив гребень на стол рядом с ножницами, он съежился на стуле.

Все это он должен был проделать сегодня еще после завтрака, но пани Махонева не пришла. Он ждал ее, сидя на постели. Иногда он ложился, но не потому, что ему так уж хотелось полежать. Он просто решил дождаться пани Махоневой на постели. Не хотелось выползать на холод. И вдруг погреб наполнился звуками. Среди них некоторые походили на шаги. Он приподнялся, прислушался, но когда сел, звуки смолкли, наступила гробовая тишина. В воскресный день окошечко было немо. А вдруг уже больше двенадцати? Нет, старый Гекш не мог дольше выдержать. Он надел свитер, пиджак, суконные домашние туфли и присел на корточки у дверей, приложив ухо к холодному шершавому железу. Его охватил холод, от холодной земли зябла спина. Тут его начала преследовать одна мысль. Ведь эти железные двери открываются только с той стороны, с лестницы, а окно завалено двумя возами саженных плах. Стены погреба из камня, камень склизкий. Чем не могила? Могила — это яма в земле. Но не всякая яма в земле — могила. В ней должен быть человек, именно так, как здесь. Он понимал это. Мысль об этом пронизывала все его тело и бешено гнала кровь по жилам. Поэтому он мог прижать ухо к ржавому железу еще сильней и ничего не почувствовать. Мог сидеть на голой земле, не замечая ее холода. Он даже на миг не смел отнять ухо от железа, мог только неслышно дышать, он весь превратился в слух. Он не смел отойти за шубой — могло случиться что-нибудь страшное. Нет, нет, он все выдержит, и бог без имени это увидит. Но как он это увидит? Ягве шепнет ему об этом. Кто же еще может шепнуть? И тот бог без имени шепнет дальше, передаст пани Махоневой, пану Махоню, они откажутся от дурных умыслов и придут. Они не допустят, чтобы эта яма стала могилой, если в ней даже и есть человек. Чтобы сидеть на голой земле у двери и прислушиваться, надо много сил. Но он вынужден был сидеть и слушать, полный решимости даже умереть на месте, он не имел права отойти ни на шаг, ибо Ягве разгневается — что ему стоит? И ничего не шепнет богу без имени, и те люди, которым он верил, осуществят свой умысел и превратят эту яму в могилу.

Шаги!

Ягве справедлив. Ягве добр и всемогущ, а также капризен, злобен и непостижим, но он всемогущ, так всемогущ, что и бог без имени вынужден слушаться его. Он, Аладар Гекш, был бесконечно терпелив, он все выдержал, не поддался человеческим слабостям, которые его одолевали, и это больше всего понравилось Ягве.

Пришел пан Махонь. Он сказал, что у него были гости, что жена уехала к родственникам. Да, да, у деток всех богов есть родственники, но дети бога без имени обманывают и смешно оправдываются.

Гекш улыбается, берет коробочку, относит ее в угол и ссыпает в ведро отрезанные и выпавшие волосы. От ведра воняет, но Гекш улыбается. Коробочку он ставит на место, кладет в нее гребень и ножницы. И идет к постели. Он снимает суконные туфли, пиджак и свитер и свертывается в комочек под шерстяными одеялами и шубой.

«Ягве всемогущ. Придет час, и я восстану из мертвых»,— думает Гекш с улыбкой на губах.

ШТРАФНАЯ РОТА ИДЕТ В АТАКУ

— Доброе утро, пан поручик.

На НП начинался день.

Кляко в зеленом свитере сидел на нарах и яростно чесал живот.

— Сколько вшей развелось за ночь!

Он закашлялся и быстро надел сапоги. Выйдя из блиндажа, он продолжал надсадно кашлять. Отхожее место было устроено метрах в тридцати. Кляко согнулся и побежал. На этом участке смерть летала на высоте около полутора метров. Пули свистели, цокали, и невольно думалось: «Пронеси, господи!» Снайпер укладывал каждого, кто не был знаком с местностью. Убитого оттаскивали в яму, где он дожидался немецкой фуры с продовольствием, а потом: «Н-но, пошел!» — «Прощайте, меня везут к Гальшке, тому самому, который родился в один год с Кляко».

А для мин преград не существовало. Они падали всюду, взрывали землю, ломали молодые деревья, убивали людей. Прилетали они неожиданно, густым роем. Потом, после часового или пятиминутного перерыва, начинали сыпаться снова. Мины не подчинялись никакому расписанию и держали ошеломленного новичка в непрерывном страхе, вымотывающем силы. Держали они в страхе и Кляко, даже в отхожем месте. Он курил и искоса поглядывал на деревья.

Был май. За прошедшие три недели солнце растопило снега, высушило лужи, дно и стенки окопов. Розовые штабели тел на открытой поляне уже давно были убраны. Лишь на черной пашне все еще виднелись те девятеро. Они как бы вросли в землю. Молодые дубки и весь лес покрылись редкой листвой — ведь деревья стояли без веток. Зазеленели обрубки, и лес просвечивал, словно зимой, не давая тени, не защищая от снайперов.

Жизнь постепенно брала свое. Трава лезла из-под тонкого покрова полусгнивших прошлогодних листьев. Кто-то из солдат сказал Кляко, что в ложбине, протянувшейся между фронтами, появились желтые цветы. «Должно быть, калужница!» — подумал поручик. Невольно все восхищались весной, а больше всего тем, что жизнь так и не удалось остановить.

Теперь бегом в блиндаж. Если в лесу послышится громкий треск, значит, Кляко опоздал. Ему останется только лечь и ждать, ждать и надеяться, что и на этот раз все обойдется.

— Ну, я сыт по горло, черт побери! — обрадованно сказал Кляко Лукану, выполнявшему обязанности его денщика и телефониста. Лукан сидел на нарах, уписывая густую гороховую кашу с хлебом.— Умоемся, что ли? — С тех пор как они поговорили о сестре, Кляко не мог приказывать Лукану. Пришлось изобрести новый способ отдавать распоряжения: «Ты бы позвонил на позицию», или «Было бы недурно сбегать на НП».

— Так и быть.

Лукан налил в котелок немного воды. Перед блиндажом Кляко снял с себя свитер и рубашку, бросил их на солнышко и, голый по пояс, расставил ноги. Лукан лил воду ему в ладони, а Кляко мыл лицо, шею и грудь.

— Опять теплая! Ну и подлецы! Напомни мне вечером, я их погоняю.— Он вытерся. Когда он прижал полотенце к лицу, послышалось:

— Моргн *!

— Моргн! Как поживаешь, Вальтер?

Немецкий унтер-офицер, пригнувшись, проходил мимо блиндажа и на вопрос Кляко махнул рукой. А затем отчетливо прошептал грубое словацкое ругательство. Он научился ему у Кляко.

— Красота! Отличный парень этот Вальтер. Даром что немец, а я его люблю. Черт подери, эти вши совсем меня заедят!

Отойдя шагов десять от блиндажа, Вальтер остановился, постоял, согнувшись, подумал немного и сказал:

---

* Morgen — утро *(нем.)*. Здесь — доброе утро.

— Иоганн, Иоганн! — и поманил Кляко рукой.

— Что такое? — спросил Кляко, подбегая.

— Сегодня вечером здесь будет здоровая заваруха. Штрафная рота будет брать высоту триста четырнадцать. Но молчок! Ясно?

— Можешь не беспокоиться.

— Как могила! Servus.

Вальтер покосился в сторону леса и убежал. Обер-лейтенант Виттнер не любил, когда немцы якшались со словаками.

— Приготовься к вечеру, Лукан. Будет свистопляска.

— Что? Вальтер вам что-нибудь сказал?

— Говорю, свистопляска будет! — Кляко снял крышку с котелка, поглядел на густую гороховую кашу, потрогал ее пальцем.— Слушай, братец, это свинство уже корой заросло, но все равно придется жрать. Приятного аппетита! — сказал он, подсаживаясь к Лукану.— Вместе так вместе, ха-ха-ха!

Кляко начал есть.

— Не так уж плохо. Только зеленая, черт побери! Как лягушатник! А что давали фатерланду? Не видел?

— Гуляш из мясных консервов, с картошкой.

— То-то и оно! — Кляко жевал горох, причмокивая.— Не так уж плохо, только этот цвет. Не могу его видеть. Все съешь?

— Еще бы!

— И я. По крайней мере спокойнее будет.

После этого Кляко и Лукан не произнесли ни слова. Оба ели загустевшую кашу, потому что были голодны. Они никак не могли привыкнуть к фронтовому режиму питания. Суп и сигареты им доставляли около десяти вечера. Они тотчас съедали суп, а приварок оставляли на утро и ждали весь день — шестнадцать часов — новой порции.

Снаружи что-то загрохотало. Земля содрогнулась от глухих, тяжелых ударов.

— Мины!

С потолка посыпалась земля. И Кляко и Лукан прикрыли котелки руками. Блиндаж тряхануло. Они втянули головы в плечи и сидели не двигаясь. Наверху еще раз ожесточенно забарабанило.

— Интересно бы знать, куда попало. Не позвонишь ли ты на НП?

Лукан схватил трубку.

— Жив?.. Говорит: все в порядке.— Лукан взглянул на Кляко и сказал в телефон:— И мы целы. Скоро придем, тогда и выспишься... Да, да, все.

— Ну, раз ты у телефона, не позвонить ли заодно и на батарею? Надо каптера продраить с песком.

Кляко прикрыл крышкой остаток гороха и стал ждать.

Лукан связался с батареей.

— За ним пошли.

— Ладно.— Кляко языком очищал зубы от каши, помогая себе еще и пальцем.— Липнет, черт подери! Должно быть, муку подсыпают.

— Каптер,— шепнул Лукан и передал трубку Кляко.

— Говорит поручик Кляко.— Вдруг он закричал во весь голос:— Докуда ты будешь кормить нас этой дрянью? Цвет — словно в лягушатнике... Лягушатник? Ты не знаешь, что это такое? Место, где лягушки выводятся, покарай тебя бог! А фатерланд опять гуляшом кормили... Что такое фатерланд? Немцы, болван! Знаю, что из консервов, без тебя знаю... Вот это здорово! — И Лукану: — Будет сегодня гуляш! — Снова в телефон: — Слушай, Лайош, ты там один? — И тихо: — Достал что-нибудь?.. Мать честная, не говори мне этого! Должен достать!.. Я не шучу, ты ошибаешься... Ладно. Мне вовсе не безразлично! — Кляко

положил трубку и ехидно заметил:— Живодер! Готов последнее содрать и грязными исподниками не побрезгует!

Они доели горох. Лукан вымыл котелки.

Желудки их отяжелели, мускулы расслабли. Кляко тянуло прилечь на нары, но он знал, что ложиться нельзя: тогда его стошнит, и он останется голодным на весь день.

Лукан разделся до пояса. Кляко стянул с себя свитер и рубашку.

— Эх, вошки, вошки! — Он стряхнул рубашку и свитер и подсел к Лукану у входа в блиндаж.

Они били вшей каждое утро...

■

Мина! Воздух вздохнул. Оба бросились в блиндаж и сразу повалились на землю. Воздух над блиндажом вздыхал, земля сыпалась на полуобнаженное тело. Лукан взглянул вверх. Земля снова содрогнулась. Захотелось кричать. И Лукан закричал в тишине, внезапно оглушившей его, и кричал долго, пока не понял, что этот тоскливый звук вырывается из его горла.

— Что с тобой?

Кляко приподнял Лукана, перевернул на спину, ощупал голову, грудь.

Лукан видит его лицо. Никогда еще так хорошо не видел. Оно очень близко. Поручик шевелит губами. К нижней губе пристали комочки земли. У поручика очень белые зубы, два ряда белых зубов.

— Лукан!

Поручик стоит беспомощный, удивленный. У него сильно дрожат руки. Пальцы то удаляются, то снова приближаются. Губы двигаются очень быстро.

— Воды!

Кляко спохватился и бросился в угол, где стояло ведро. Оно было засыпано землей. Он взглянул на потолок и вздохнул: «Ох!» В блиндаж попала мина. Вверху торчали белые острые зубья разбитого в щепы бревна.

Кляко облил Лукана водой. Потер ему лоб, грудь, избегая его взгляда. В глазах Лукана было что-то такое, чего он не мог понять. В них застыл ужас, только что пережитый ужас, который, быть может, не прошел еще и сейчас, и вместе с тем — полный покой мертвеца. Но веки Лукана моргали, глаза следили за каждым движением Кляко. Рот был нем, конечности неподвижны. Но Лукан дышал.

Кляко выбежал из блиндажа, надеясь кого-нибудь увидеть и позвать на помощь. Там он быстро закурил, потом вернулся и медленно опустился на нары. Вероятно, Лукан его не видел, потому что продолжал смотреть на вход.

«Что с ним? Куда он смотрит?» Поручик подскочил к солдату и потрогал его веки. Они были податливы. Глаза закатились, словно у покойника. Он отвернул губы Лукана. И тут заметил, что на левой руке денщика шевелятся пальцы. Вот он положил руку на голый живот.

С поручика лил пот в три ручья. Волосы, шея, спина — все было мокро.

Лукан приподнял голову.

— Ну, брат, нагнал ты на меня страху! — Кляко вытер пот рубахой.

— Я совсем ослаб.

— Мать честная, ну и нагнал же ты на меня страху! Ведь ты был как бы и мертвый и живой сразу. Я взмок, как мышь. Это какая-то контузия, наверно, была. Я в этих делах не разбираюсь.

Лукан сел, держась за голову.

— Курить хочешь?

— Кричал я?

— Кричал? Кажется. Впрочем... почем я знаю. Гляди! Прямое попадание. Счастье еще, что в угол. И не поверишь, что в мине такая сила. Курить хочешь? — Кляко раскурил и протянул Лукану сигарету.— Самая пора отсюда смыться.

— Знаю.

— Ну, а ты как? Голова не болит?

— Только слабость.

— Наверно, это контузия. Я в этом не разбираюсь. Да, тут мы словно скот на бойне. Прикованы цепью к стене и ждем, когда нас оглушат обухом. Ты бывал на бойне?

— Нет.

— И не ходи. Обухом по лбу! А скотина это чувствует. Мать честная, каково, должно быть, этой скотине!

— Как нам.

Кляко захохотал.

Через несколько минут они отправились на НП. Он был близко. Всего в каких-нибудь семидесяти метрах. Лукан сменил солдата, который дежурил ночью. Молчун ушел в блиндаж. Кляко стал у оптического прибора.

На этом участке фронта было спокойно. Можно было подумать, что обе стороны молча условились не менять позиций. Не будь обстрелов минами, здесь мало что напоминало бы о войне. Винтовочный огонь был не опасен, как и снайперы. Тот, кто знал местность, мог ничего не опасаться. Так считали Кляко и Лукан. Какое еще мнение могло сложиться у необстрелянных новичков, которые провели в окопах всего несколько дней? Через неделю они, однако, заметили, что фуры, доставлявшие продовольствие, каждый день увозят с фронта убитых и что многих убили снайперы.

— А ведь погибают самые опытные, старые солдаты. Ты понимаешь что-нибудь? Я — нет. У швабов этак скоро не останется ни одного мужчины. Безобразие! Каково придется женщинам!

Только в последние дни Кляко стал кое о чем догадываться. Ведь и его одолевало искушение встать во весь рост, плюнуть на все. В эти моменты для Кляко все было безразлично: какая разница, попадет он под пулю или нет. Но он сумел подавить в себе этот опасный порыв, эту болезнь позиционной войны, от которой ежедневно погибали солдаты. И этот опасный порыв совсем не походил на тот, который заставил Кляко выскочить из окопа, когда Лукан с Гайничем стащили его вниз.

Гайнич пристрелял батерею, а дальше что? Ни танки, ни «виллисы» не показывались. Гайнич, должно быть, заскучал. Это был мертвый, очень спокойный участок. На таком участке командиру батареи не выдвинуться в командиры дивизиона. Теперь Гайнич сидел на огневой позиции, но там сидеть можно: каптенармус под рукой. Вот Гайнич и не вылезал из блиндажа, пил с утра до ночи.

— Я когда-нибудь пристрелю этого каптера. Герр командир пьянствует целыми днями, а я вынужден ходить здесь трезвым, словно монашка,— негодовал Кляко, глядя в окуляры.— Лукан, а не ударить ли нам по одиннадцатому квадрату?

Одиннадцатым квадратом была пашня, на которой полегли девятеро.

Лукан тут же продиктовал по телефону данные на огневую позицию. Он давно знал их наизусть.

Четыре снаряда с воем пронеслись над головой.

— Немножко в сторону взяли. А, черт, не все ли равно?

Кляко отошел от оптического прибора и сел на ящик, накрытый попоной, потом закурил.

— Это верно.

— Хватит! За несчастный горох мы героев из себя корчить будем! Я жажду подвигов? Черта с два!

— Если бы хоть этого гороху было побольше...

— Тогда другой разговор. А ты не соображаешь, что делается? Вот давай с тобой поспорим: наш каптер горох и в рот не берет. Герр Гайнич тоже. Эти скоты готовят себе нечто получше, я даже здесь чую.

Они молча сидели, покуривали. Так прошло не меньше часа. Кляко сказал:

— Не пора ли ударить по двенадцатому? — Это была северная часть пашни, примыкавшая к высоте триста четырнадцать. У всех квадратов были свои номера.

— А почем я знаю! — Лукану хотелось спать. Он завалился в угол, положив локоть на полевой телефон и подперев подбородок ладонью.

— Твое право. Кто этот блиндаж строил? Чтоб его черти слопали! — Кляко не мог протянуть ноги. Ему мешали камни.

Ничего не происходило. Все дышало покоем. На отдельные винтовочные выстрелы ни Кляко, ни Лукан не обращали внимания. Короткая пулеметная очередь всколыхнула воздух, словно ветерок качнул простыню, повешенную на дворе.

Ничего не происходило.

Между двенадцатью и тринадцатью часами возникло некоторое волнение.

— Ты не спишь?

— Нет.

— Хотелось бы мне знать, что они там лопают. Немцы получили гуляш и еще какие-то свертки. Не знаю, что в них было.

Первое время Лукан вставал неохотно. Но разговор повторялся каждый день, и Лукан понял, что это его обязанность. Его и самого уже начинало разбирать любопытство, какой обед у немцев. Он становился вторым Кляко. Сегодня, вернувшись, он доложил:

— Фатерланд угощают маслом. Намазывают толщиной с палец,— показал он, но это уже не интересовало Кляко.

— Ну и пожалуйста!

А после продолжительного молчания, когда Лукан уже прикрыл глаза пилоткой и сказал себе, что постарается ни о чем не думать и заснуть, Кляко спросил:

— Так, говоришь, маслом?

— Маслом.

— Тогда я тебе скажу...

Но Кляко ничего не сказал и только резко дернул головой. После этого он про себя начал с кем-то ругаться и спорить. С кем? С капте-нармусом. А тот, унтер-сверхсрочник, отбрасывал тень, но почему-то не свою, а чужую — тень надпоручика Гайнича. И Кляко тут же заспорил с тенью. И в этом не было ничего удивительного — Кляко проголодался как собака.

Было около трех часов.

— Начнем с Адама. Скажи им, чтобы ударили по первому! — приказал Кляко. После трех часов голос его звучал твердо. Он командовал.

Батарея дала залп. Затем послышались разрывы. Кляко прислушивался лежа, потому что после трех к окулярам не подходил. Он лежал, ворча что-то себе под нос, и время от времени сердито произносил:

— Еще семь часов.

— Да, еще долго.

— И дурак понимает, что долго. В десять принесут жратву, все

холодное. К чертовой матери! И кто такой порядок выдумал? Немцы, конечно. Легко догадаться, дьявол их возьми! Наброшусь на жратву как собака.

Около четырех он сказал:

— Еще шесть часов ждать. Нажрусь как собака.— Но вспомнив немецкого унтера, добавил:— Сегодня они собираются атаковать высоту триста четырнадцать. Интересно. Штрафников погонят, этих обмороженных красавцев. Посмотрим, что у них получится. Сегодня должен быть гуляш, можно потерпеть. Но если мне не принесут бутылки, ты, Лукан, увидишь, что я сделаю с этим канальей...— Мысль эта настолько воодушевила Кляко, что он даже сел.

— Что?

— Увидишь!

— Разговорчики.— Лицо Лукана было прикрыто пилоткой.

— Разговорчики? — переспросил Кляко и сердито выругался. А через некоторое время произошло нечто необыкновенное: поручик Кляко встал. Свой поступок он сдержанно отметил:— Сегодня я что-то нервничаю. Не понимаю почему. Все из-за этой высоты триста четырнадцать. У меня такое ощущение, что и нам ее не миновать. Как ты думаешь?

■

Прежде чем майор фон Маллов решился атаковать высоту триста четырнадцать, у него произошел такой разговор с обер-лейтенантом Виттнером:

— Мы сидим на месте, дорогой господин обер-лейтенант Виттнер. Солдат жрут вши и нас... нас тоже, в конце концов.

— Да,— обер-лейтенант умел где следовало соблюдать осторожность.

— А польза? Какая нам от этого польза? Вы можете мне объяснить? — Майор махнул рукой, желая сказать, что ответа не требуется, и продолжал: — За последний месяц у нас убито тридцать восемь человек. Фантастическая цифра для пехотного полка! За всю французскую кампанию — я был тогда лейтенантом и командовал ротой — в нашем полку было трое убитых. Четвертый умер в госпитале месяц спустя, когда все уже кончилось. А на поле брани погибли трое, и это несмотря на то, что мы пересекли всю враждебную нам Бельгию. Тридцать восемь убитых! Даже думать неприятно...

— Позиционная война, господин майор. Я давно утверждаю, что такая война не соответствует немецкому духу. Нам нужен размах, движение, неожиданные удары, клещи, охваты. Непрерывное движение...

— Не торопитесь, дорогой мой обер-лейтенант, не торопитесь. Мы не хотели позиционной войны, нам ее навязали.

Обер-лейтенант не захотел признаться себе, что тон майора его задел. Не виноват же он в том, что не участвовал во французском походе. Всякий выполняет патриотический долг по мере своих сил и способностей. Будь он в возрасте майора, он тоже говорил бы о французской кампании, о роттердамских крышах и Нарвике. Не нужно постоянно ему об этом напоминать. «И вообще, как это «навязали»? Разве русские могут нам что-нибудь навязать? Нам! Простая перемена тактики! Хотя майор уверяет, что я не прочь пошутить, но на этот раз он шутит сам. И отчего бы не пошутить? Юмор — приправа к жизни. Где это я слышал? Правда, перемена тактики что-то затянулась, судить об этом я не могу, не имею права. Куда мы зайдем, если каждый начнет судить? Это же смешно! И я в своих торговых делах не стал бы советоваться с мелкими акционерами. Я не спрашивал бы у них, что мне следует и чего не следует делать. Кхе...»

— Вы улыбаетесь?

— Нет, нет, господин майор. Но я подумал о некоторой связи...

— Какой, разрешите узнать!

— Вас это рассмешит. О связи войны с торговлей. Например, с торговлей рыбой.

Майор изумленно переспросил:

— Кхе-кхе, вы, конечно, изволите шутить, кхе-кхе?

— Совершенно серьезно, господин майор, кхе-кхе.

Стал серьезен и майор.

— В конце концов, если существует связь между войной и сельским хозяйством, почему бы не могло быть...— И майор снова засмеялся.— ...кхе-кхе, связи войны с вашими сардинками, кхе-кхе! Вы любите пошутить, кхе-кхе!

Оба сообразили, что они слишком много смеются и смех этот неприличен, ибо он может привести к забвению кое-чего важного.

— Наши потери, господин майор...— Он побоялся произнести слово «велики».— Да, это потери. Но, извините, зима прошла, сейчас май, светит солнце, дороги просохли, следовательно, создались условия, которых полгода ждет наша техника. Это вещи известные и... извините, что я повторяю их. Я хотел сказать, что перед нами открытый путь, впереди у нас нет никаких препятствий, я хотел бы это подчеркнуть, и нам никто не помешает ликвидировать большевистскую Россию в этом году. И еще более точно: до осени.

— Да.— Майор задумался.— Это вещи известные. И вот еще вопрос, господин обер-лейтенант Виттнер. А если мы потерпим неудачу... до осени, как вы говорите, что тогда?..

Продолжение фразы повисло в воздухе, но оба хорошо понимали, о чем идет речь. Слова эти были самые простые. Но от них обер-лейтенанта бросило в дрожь. Он впервые услыхал, как их произнесли вслух, и кто — сам начальник. В первый раз прозвучали эти слова во всеуслышание, но он уже давно носил их в себе, в каких-то глубочайших тайниках души. Когда он оставался один, обычно в этом самом командирском блиндаже, его искушал злой дух, нашептывавший ему эти слова. Их хотелось произнести, произнести лишь один-единственный раз, послушать, как они звучат... а они звучат очень просто. Но он не поддавался искушению, убежденный, что это равносильно государственной измене.

— Вы шутите, господин майор.

— А если бы... дорогой обер-лейтенант, если бы я не шутил?

— Ах, нет, нет. Вы шутите. Именно сейчас вы себя выдали,— Виттнеру удалось на время разогнать напряженную атмосферу.

— Это серьезный вопрос,— сказал майор, сосредоточенно разглядывая пальцы, в которых он держал зажженную сигарету.— Правда, вы об одном случае не знаете, в дивизии его тщательно скрывают. Это произошло совсем недавно, недели две назад. Я думаю, между нами не должно быть секретов...

— Благодарю!

Майор остановил его движением руки.

— Наш сосед — саксонский гренадерский полк. В этом полку служит некий майор Рундель или Рендель, точно не помню. Это не так важно. Заметьте, между прочим, какое любопытное совпадение! Его зовут Адольф, и он родился в один день с нашим фюрером. Понимаете...

— Он, господин майор, должно быть, весьма интересный человек.

— Почему?

— Имя и такая дата — это...

— Да, конечно. Я с ним не знаком. Я хотел только сказать, что майор устроил небольшой праздник в честь этого дня. Он пригласил и командира полка, а, между нами, господин полковник Керн не пропу-

стит такого случая — я знаком с ним, очень хорошо знаком. Он тоже из Мекленбурга. Там ели, пили — словом, пировали, как возможно в этих крысиных норах, кхе-кхе. Все, как мне рассказывали, шло наилучшим образом. Господин полковник от души веселился. Он бывший профессор военной академии и любит потеоретизировать. Вот он и набросал перед присутствующими некий фантастический план ликвидации большевистской России до середины августа. Был там молоденький лейтенантик. Мальчик, должно быть, хватил лишку, иначе я не могу себе представить того, что с ним произошло. Он спросил полковника: «А что, если нам не удастся разбить русских и в этом году?» — «Приведите себя в порядок, лейтенант,— приказал ему Керн.— Ваш пистолет заряжен? — Сидевшие за столом побледнели.— Выйдите вон и...— Керн посмотрел на часы,— и даю вам две минуты сроку». Все поняли, понял и лейтенант, однако не поверил. Он встал. «Может быть, я должен проводить вас? Чего вы ждете?» — взревел полковник. Молодой человек поднес руку к козырьку, вышел, и, едва за ним захлопнулась дверь, раздался выстрел. Вышел и полковник. Лейтенант лежал перед дверью. «Он не был трусом. В донесении отметьте, что лейтенант умер геройской смертью». Как вам это нравится, дорогой обер-лейтенант Виттнер? Любопытно, не так ли? А ведь не менее любопытен был и вопрос застрелившегося лейтенанта. Да-а...

«Это нужно считать предостережением? Как его понимать? Что оно означает? Командование дивизией скрывает такую историю не без оснований. Зачем майор рассказывает это мне? — Виттнера взволновала не смерть лейтенантика, его встревожило совсем другое: ведь тот же самый вопрос мучил и его! — Сколько солдат спрашивают себя о том же? Или... но... господи, это невозможно! Неужели все? Если все, значит, возникает этот вопрос и у господина майора фон Маллова...»

— В начале разговора вы, дорогой обер-лейтенант, сказали, что немецкому воинскому духу необходим размах, непрерывное движение вперед. Прекрасно. Надеюсь, смерть этого лейтенантика на вас не подействовала?

— Нет, нет, господин майор.

— Ну хорошо, со временем это пройдет. Я хотел сказать: дело в том, что на нашем участке необходимо создать какую-то картину продвижения вперед, создать впечатление некоего предвестия крупных операций. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли...

— Понимаю, понимаю, господин майор. Мы должны уколоть кое-кого.

— Я не предполагал, что мои намерения можно объяснить подобным образом, кхе-кхе. Уколоть! Правильно. По совести говоря, для меня очень важен этот разговор. То есть я хочу вас убедить, убедить в лучшем смысле этого слова Не обижайтесь, прошу вас. Вы мой подопытный кролик, кхе-кхе. Такой же разговор у меня будет с нашим шефом, я хочу убедить и его. Вы меня понимаете?

— Да, да.

— Как вам нравится высота триста четырнадцать?

— Блестяще, просто блестяще!

— Я не авантюрист,— быстро добавил майор.— Я никогда зря не рисковал, мне всегда был дорог каждый мой солдат. В наступление пошли бы штрафники.

— Штрафники? Деклассированные элементы? Да, их давно следует проверить в бою. Я слышал...

— Вы могли слышать все, что угодно, но все эти разговоры хороши для хрестоматии. Жизнь вблизи выглядит по-другому, и потому штрафники должны отбить высотку у русских. Но, между нами, эта высотка немногого стоит. Она слишком выдвинута вперед, подступы к ней легко

уязвимы, она низка. Мы не получим ничего нового для обозрения территории противника, я уверен в этом. Доводов против много. Но попытаться стоит.

— Да, конечно. И насколько мне известно, вы в хороших отношениях с господином подполковником, так что...

— Это к делу не относится,— холодно сказал майор.

— Извините...

— У вас привычки штатского человека. Давно ли вы на фронте?

— Четыре месяца. Добровольно.

— Срок достаточный. Во время этой операции я рассчитываю на поддержку словацкой батареи. Знаю, знаю.— И майор добавил строго: — Не забывайте, это наши союзники. Понимаете, Виттнер, ваши отношения с ними внушают мне серьезную тревогу. Ничего личного, решительно ничего. Ваше отношение к ним довольно близко к моему, это наше, немецкое, отношение. Вам должно быть известно, что я принадлежу к классу, наказанному за гордость. С младенческих лет мои привилегии причиняют мне одни страдания. А у человека есть глаза, чтобы видеть, и разум, чтобы размышлять. Кажется, я уже заслужил право говорить о жизненном опыте? Мне двадцать шесть лет, в наш век этого вполне достаточно. А мой опыт показывает, что гордость и высокомерие не находят себе союзников. Они скорее способствуют обратному. И это неприятно. Я вспоминаю свою юность. Обычно цена юности познается слишком поздно, ее ясно видишь только с возрастом. Когда я приезжал в родовое поместье на каникулы, мне всегда казалось, что я против воли иду на какие-то страдания. Что мне было делать в родительском доме? Ходить из комнаты в комнату? Бродить по огромному парку? Я хорошо знал, что буду лишь издали глядеть на игры своих сверстников, детей из низшего сословия, на их развлечения. Их крики и восторженные вопли возмущали и одновременно манили меня. Но я не подходил к ним, и они тоже не осмеливались приблизиться ко мне. Это будет звучать странно. Но я...— майор замолчал.

Продолжение фразы должно было гласить: «Но я думаю, что самая большая опасность грозит немцам потому, что они как нация в целом объявили себя аристократами. Завтра мы останемся совсем одни, как я когда-то в родовом имении на каникулах... а послезавтра? Послезавтра это может означать наше поражение». Закончив про себя эту фразу, майор усмехнулся — кхе-кхе — и с неудовольствием подумал: «Довольно-таки глупо. Мне следует остерегаться обер-лейтенанта».

— Оставим этот разговор,— сказал он.

«И у аристократов есть свои заботы. Странно. Кто бы мог подумать!» — Обер-лейтенант Виттнер не совсем понял то, что прозвучало в словах майора и чуть не признался в этом вслух.

Все это происходило в те же часы, когда Кляко сказал Лукану: «Хотелось бы мне знать, что они там лопают?» А на следующий день между четырьмя и пятью часами пополудни майор фон Маллов приказал обер-лейтенанту Виттнеру:

— Пришлите ко мне офицера-наблюдателя со словацкой батареи. Но никаких опрометчивых поступков, Виттнер. Этого я не потерплю.

■

Высота триста четырнадцать находилась левее НП Кляко. В объективе бинокля это был конический лысый холмик, и, если бы не белые камни, которые выступали на поверхность у вершины, он походил бы на искусственный. В течение столетий дожди смыли с него почву, прорыв в его склонах овражки. Здесь не могло удержаться ни одно семечко, зато у подножия высотки разросся густой кустарник.

НП Кляко как раз переводили в другое место. Помогал словакам молодой немец с потемневшим обмороженным лицом. Он сказал просто: «Я тоже был телефонистом»,— и схватил моток телефонного кабеля.

На вопрос Кляко: «Был? А кто ты сейчас?» — немец ответил не сразу. Вопрос смутил его. Он враждебно оскалился:

— Вы что, не видите? Я из штрафной роты.

Когда все перешли на новый НП, Кляко закурил. Прямо перед ними была высота триста четырнадцать. Темнолицый немец остановился. Кляко перехватил взгляд, но не понял его.

— Извините, господин офицер, что я осмеливаюсь. Не дадите ли мне сигарету?

— Ну, конечно. Извольте!

Немец жадно затянулся.

— Я никогда не был телефонистом. Я сказал так нарочно, побоялся, что вы не разрешите мне нести кабель.

— И все из-за сигареты?

— Да. Я увидел, что вы закурили. Я следил за вами добрых десять минут и уже подумал, что вы не курите. А потом вы закурили... Ну, я и осмелился. У наших я боялся попросить. Они бы мне ни за что не дали.

— Вы не получаете пайка?

— Очень маленький. Мне на полдня еле хватает.

— И давно вы в штрафной роте?

— Почти полгода. С рождества.

— За что?

— Не знаю, господин офицер, приходилось ли вам иметь дело с нашими солдатами, но вы могли бы убедиться, что они не любят отвечать на подобные вопросы. Они не доверяют друг другу, тем более иностранцу. Ну, а я хоть и немец, но штрафник, так что тоже что-то вроде иностранца, как и вы.

— Не понимаю.

— Я могу снова стать немцем, такая возможность существует.— Он громко засмеялся.— Да, такая возможность здесь существует. И даже не так далеко, не больше двухсот метров отсюда по прямой. На высоте триста четырнадцать. Погибнув там, я снова стану немцем... извините, я забылся. За сигарету самая сердечная благодарность.

Он подобрал окурок, брошенный Кляко, и мгновенно исчез.

Кляко хотел позвать его, дать несколько сигарет, но все произошло слишком быстро. Он только прошептал: «Штрафная рота»,— и добавил громко для Лукана:

— Вот какие дела бывают на свете, дружище. Жуть!

— Я понял, о чем вы говорили, уловил кое-что. Я планицкий, Правно от нас близко. Три недели назад, когда мы с Гайничем шли сюда, нас тоже остановил один такой... с черным лицом. Я догадался, что он не похож на остальных. Только мы отошли от него метров на двадцать, как его убило снарядом. Я тогда еще подумал, что жалко такого. Такие немцы должны бы пережить эту войну.

— Пережить? Ты слишком многого хочешь. Мы на бойне, дружище, и ждем, когда нас пристукнут. Здесь я... здесь я не вижу выхода. Это подлое дело, и мы увязли в нем по уши.

— Но одно-то здесь вроде как ясно...

— Ничего ясного я тут не вижу! — Разговор пришелся не по вкусу Кляко, и он закричал: — Я голоден. Из одной миски с собакой стал бы жрать! А когда бы мы все слопали, я сожрал бы и собаку. Какое мясо может быть у собаки? Собачина! Жрать собачину, хе-хе! Что тебе ясно, кроме голода, пан рядовой?

— Немцами я сыт по горло и этой войной — тоже.

— Великое открытие! — Кляко зло рассмеялся.— Дружище, об этом

знают даже наши кони и не хвалятся. И, главное, те, что убежали во время бомбежки. Одного я видел, его доконали кресты.

— Иногда я вас не понимаю, пан поручик. Почему же нельзя об этом сказать? Я ношу это в себе, понимаю, что это правда, а когда высказываюсь вслух, еще лучше вижу правду.

— Ого! — Кляко больше ничего не сказал, что означало: он хочет послушать.

— До дому мы не доберемся, это я уже понял. А что тогда заставляет меня еще жить?

— Ну и ну! Интересно!

— Только то, что я сыт немцами по горло и что с этой войной у меня нет ничего общего и я не желаю иметь с ней ничего общего.

— Как, как, многоуважаемый? Ты воюешь! Ты воюешь — и все тут!

— Меня заставили. Как и вас заставили!

Они наскакивали друг на друга, как петухи.

— Вся штука в том...— Кляко почему-то заколебался.— Ты шляпа, братец. То, что ты сказал, не стоит и понюшки табаку. Ты что, думаешь, мало немцев, которые рассуждают по-твоему? Они не согласны с этой войной, а все-таки воюют. Воюют, как Лукан, как Кляко, чтоб им всем пусто было! Только страх держит немецкую армию в кулаке, только страх. Они боятся друг друга точно так же, как боятся русских. Страх — это горючее, которое движет механизм войны. Он гонит и нас. Но корень зла лежит где-то в другом месте, не здесь.

— Вы что ж, говорите, что между нами и немцами нет разницы?

— Вот именно!

— Неправда это! — громко воскликнул Лукан.— Не может быть это правдой.

— «С этой войной у меня нет ничего общего, и я не желаю иметь с ней ничего общего!» — Кляко противно захихикал.— Ах, Лукан! Это самое я думал еще три недели назад. Лукан, Лукан! Мы живем в такое безумное время, когда никого не интересует, что ты думаешь. Или почти не интересует. Важно то, что́ ты делаешь. Что́ делаешь, дружище! Здесь это решает все. Правда, из этого ада можно выбраться несколькими путями. Одним путем идут Гайнич и сумасшедший Виттнер. Они воюют, думая, что знают, ради чего ведут войну. Они считают ее ужасы неизбежными. Спасибо, на такой путь они меня не заманят. Спасибо! Я говорю тебе совершенно откровенно. Другой путь — особый путь. Не воевать. Где-нибудь окопаться, бежать на родину. Но практически это неосуществимо. А можно и так: выскочить из окопов под пули снайперов. Я уже раз попробовал. Но свинья Гайнич и ты, Лукан, мне помешали.— Речь Кляко звучала то весело, то мрачно. И тогда голос его становился низким, он опускал голову.— Я слабый человек, рядовой Лукан. Негодяй! Однажды я сказал это Гайничу и не вижу причин, почему бы не повторить тебе. И потому боюсь этого третьего пути. На него могут стать только сильные люди. Вон там высота триста четырнадцать. В двадцать два ноль-ноль ее будет атаковать штрафная рота, и поручик Кляко из-за того, что он негодяй и бесхарактерный человек, поддержит атаку сосредоточенным огнем, когда первое подразделение атакующих подаст сигнал двумя зелеными ракетами. Видишь, видишь...— И после долгого молчания Кляко с какой-то надеждой обратился еще раз к Лукану: — А что ты мне скажешь?

— Что тут можно сказать...

Поручик Кляко кивнул в ответ и вдруг закричал:

— К черту!

После этого оба стали прислушиваться к отдаленному грохоту и одиночным выстрелам. Но без интереса, равнодушно. Быть может, они

думали о третьем пути, о родине. И, пожалуй, так оно и было, потому что о родине думают тогда, когда предчувствуют, что больше ее не увидят.

■

Шесть часов вечера, и на окопы медленно опускаются сумерки. Пройдет еще четыре часа, и сюда доставят питание. Кляко с Луканом смогут тогда утолить голод. Четыре часа — не так уж много времени, гораздо меньше, чем пятнадцать часов, но ни тот, ни другой об этом не говорят.

Вот уже и совсем стемнело, на небосклоне сверкает большая звезда. До десяти остается на час меньше.

Но оба молчат. Ни тот, ни другой не отметили этого.

Кто-то пришел на НП, но им на все наплевать. Тут все время кто-нибудь приходит или уходит, и с этим ничего не поделаешь.

— Господин офицер!

— Да.

— Разрешите на минутку. Я тот самозванный телефонист.

— Пожалуйста, пожалуйста. Узнаю вас по голосу.

— Мы получили сигареты, целых два десятка.— И немец шепчет: — Я хочу вернуть вам долг. Пожалуйста!

— Нет, нет, что вы выдумали! Я дам вам еще. Нет, нет!

— Возьмите, прошу вас!

— Какой вы упрямый! Спасибо! — Кляко протянул руку и нащупал пакетик.

— Тут с вами еще один сидел. Я хотел бы и его угостить. Он здесь? Темно. Я не вижу даже вас, господин офицер.

— Возьми, Лукан. Потом мы угостим его своими. Бедняга. Ужасно жалко мне его. Пришел... пришел вернуть сигарету...— И Кляко продолжает по-немецки: — Спасибо. Мы потом дадим вам из своих.

— Вы бегло говорите по-немецки...

— За восемь лет, милый мой, кое-чему научишься. Хотя немецкий язык и был необязательным, но я выучил его. Языки в гимназии меня не затрудняли.

— У нас с вами разные склонности. Окончив школу, я стал заниматься химией. Проучился четыре семестра и... по некоторым причинам, не очень серьезным, на меня напялили военный мундир. После этого я понял, что со мной считаются все меньше и меньше, пока в конце концов я не докатился до штрафной роты. За что? Вы меня спрашивали, за что. Словом, я отказался застрелить русского пленного.— Наступила мучительная тишина, не было слышно ни звука, и немец понял, что никто, кроме него, не заговорит.— Это было двадцать шестого декабря. Мы сопровождали пленных, обычный транспорт из лагеря в лагерь. Дело было под Львовом. Накануне весь день мело, и ветер сдул снег с кучи свеклы. То ли ее забыли, то ли еще что помешало убрать, не знаю. Понятно, голодные пленные набросились на эту свеклу и в один миг всю расхватали. После этого всех построили на дороге, как положено, и я подумал, что сейчас мы двинемся дальше. Начальник транспорта, некий фельдфебель, прошелся вдоль колонны, вытащил первого попавшегося ему на глаза пленного и направился с ним ко мне: «Интеллигент, давай, прихлопни его!» Фельдфебель ненавидел меня и вечно ко мне придирался. Дурак, тупица, опьяненный властью! Я отказался. Он даже не прикрикнул на меня. Расстреляв пленного, он заметил: «Я о тебе позабочусь, интеллигент! Как следует позабочусь!» На следующий день меня перевели в какую-то новую часть, а когда я явился на место, то понял, что это штрафная рота.

Кляко с Луканом усердно дымили. Поручик не посмел перебить этот монолог. Да он и не знал, что сказать. Больше всего его удивляло, что немец разговорился сам. Люди не меняют свои взгляды в одну минуту. Какие причины заставили немца рассказать все о себе? Он, Кляко, не видит этих причин. Как будто и правда их нет? Должно быть, немец пришел к мысли, что с ними можно говорить откровенно. В этом нет ничего неестественного. Так было и с самим Кляко.

— Возможно, вам не понятно, почему я все это вам рассказал. В свой первый приход два часа назад я молчал. Я должен был молчать, потому что не знал того, что знаю сейчас. В двадцать два ноль-ноль мы атакуем высоту триста четырнадцать, и наше подразделение идет первым.

— Поэтому?

— Да.

— Вы не верите, что останетесь в живых? — вырвалось у Кляко.

Неосторожные, глупые, неуместные слова! Их уже нельзя было ни зачеркнуть, ни вернуть. Кляко бранил себя. Он понимал, что немец не ответит, не может ему ответить.

Но немец продолжал:

— Вы словак?

— Да,— вмешался Лукан, так как Кляко промолчал.

— Я знаю Братиславу. Сам я из Вены. Два раза был у вас, ездил на электричке.

— Нравится вам Братислава?

— Нравится. У всякого города на Дунае есть своя прелесть. У вашей Братиславы, нашего Линца, Кремса и больше всего у Вены. Вы бывали в Вене?

— Нет.

— А вы? — обратился немец к Лукану.

— Тоже не бывал.

— Жаль. Сейчас война. А во время войны все города выглядят одинаково печально. И одинаково однообразно. Как и люди. Из-за военных мундиров. Но я пожелал бы вам видеть Вену до войны и до аншлюса. Такой она будет снова после войны. А вы как думаете, будет?

— Будет! — с воодушевлением ответил Кляко.

— Будет...— неуверенно поддержал его немец.— Должна быть... но я вас задерживаю, извините.— Он встал, поднялись и словаки.— Благодарю вас за этот приятный разговор. Вы были так любезны. И если я сказал что-нибудь лишнее, что-нибудь неудачное, не сердитесь на меня. Меня зовут Реннер, Отто Реннер.

— Ян Кляко!

— Ян Лукан!

— Ян. Тот и другой Ян. Это Иоганн?

— Да.

— У меня есть брат. Он старше меня на три года. Тоже Ян. Он воюет где-то в Африке. Тунис, Ливия,— и он понизил голос:— Не думаете ли вы, господин офицер, что наш век впал в безумие?

— Я думаю о нем как нельзя хуже, господин Реннер.

— «Господин Реннер»! — Он сухо засмеялся.— Давненько я этого не слышал. Прощайте, господа! — Он быстро вышел из блиндажа, а они думали, что он хотя бы пожмет им руку.

— До свидания! — крикнули они вслед.

— Прощайте! — Реннер вернулся и сказал, не входя в блиндаж: — Передайте от меня привет Братиславе и Вене. Прощайте!

Шаги удалялись, и, по мере того как звуки их затихали, в душу Кляко пробиралась тоска. Он спросил Лукана:

— Ты был в Братиславе?

— Нет.

— И я, дружище, не был. Отто Реннер, Отто Реннер... Опять я ему, бедняге, забыл дать сигарет...

После этого время потекло быстрее, как взволнованная река. В темном блиндаже нового НП, будто неугасимые лампады, горели два красных огонька. Они то светили ярче, то тускнели, поднимались и снова опускались, когда рука отнимала их от губ: Кляко с Луканом курили и курили, лишь бы не говорить...

■

По телефонному проводу уже передали команду на огневую позицию, и батарея в боевой готовности ожидала приказа открыть огонь. Разверстые пасти орудий отвратительно уставились в темную безлунную ночь — в небо всего лишь с несколькими звездами.

Гайнич храпел. Христосик тщательно наблюдал за порядком, обо всем помнил. Денщику он приказал:

— Завесь вход двумя одеялами, чтобы не было слышно храпа.— Одна каска была на его голове, другую он держал в руках.

Солдаты с термосами уже отправились на НП.

Виктор Шамай сидел в своей повозке и клевал носом. Неподалеку расхаживал вахмистр Чилина и грозил приглушенным голосом:

— Не спите, ребята, серая скотинка, не то я вам головы поотрываю!

— Пан вахмистр!

— Что надо? Чего орешь?

— Атака готовится, что ли?

— Молчать!

Чилина знал не больше солдат, не больше солдат знал и поручик Кристек, но еще меньше знал надпоручик Гайнич, храпевший с пяти часов в блиндаже.

Орудия, отвратительно разинув пасти стволов, смотрели в темную ночь. В их стальной утробе лежали снаряды, начиненные порохом. Номера сидели на лафетах, дремали, растянувшись на непромокаемых плащ-палатках у колес. Никто не осмеливался отойти даже на шаг, потому что Кристек, словно овчарка, кружил рядом и на всех набрасывался.

— Куда? Не знаешь разве, что объявлена боевая готовность?

— Иисусе Христе, уж и до ветру сходить нельзя?

— Отстань ты от этого Христа!

— Ребята,— чуть не плача, говорил солдат,— истинно верующему христианину уж и к богу своему обратиться нельзя. Слышите?

— Проваливай!

Кто-то захохотал и затянул:

— Христе боже наш!

— Тихо!

Поручик Кристек знал, что солдаты смеются над ним. Он стиснул зубы — не в его силах было что-либо предпринять. Уже в сотый раз он давал себе слово не поддаваться на провокации.

— Что вы сказали, пан поручик?

— Тихо! — рявкнул Кристек.

— Да! Я не расслышал или позабыл. Тихо? Ну ладно.

Это был кто-то из расчета второго орудия. Батарейцы засмеялись. Смех встряхнул людей после долгого молчания. Ночь была темная и скрывала лица виновников.

— Слышите, ребята? Кто это так храпит?

— Должно быть, лошадь.

— А не наш ли это командир?

— А разве это не одно и то же? Ну и бестолковый же ты!

— Ага!

— Я не должен поддаваться на провокации, не должен, не должен! — бормотал поручик Кристек, грызя ремешок от каски. Он не сердился на солдат, его злил пьяный начальник, к которому он потерял всякое уважение. Солдат он не понимал. Как могли они смеяться в такое время? Поручик Кристек еще не знал, что под личиной смеха иногда кроется страх. Не знали этого и солдаты, но смеялись. Им было страшно.

— Курить разрешается, но осторожно. Поняли?

Кристек кое-чему уже научился.

— Еще бы!

— Поручик молодчина! Валяй, ребята!

После этого все стихло. Рдеющие точки зароились во мраке.

Чилина ходил среди повозок, приговаривая:

— Можно курить, ребята, только не сожгите брезент!

На голове у него каска. Он все время ходит, и никому это не кажется странным. Ему тоже. И совсем никто уже не подумает, что голос его стал другим.

— Наступление, пан вахмистр?

— Ничего я не знаю, но что-то готовится. Когда объявляют боевую готовность, всегда должно что-нибудь стрястись.

— Ребята, говорят, готовится наступление. Но на переднем крае что-то тихо.

— Не болтай...

— Да я ничего...

Последнее слово слилось с отдаленным треском, который все усиливался.

— Начинается!..

И Чилина бросился в темноту.

■

— Уже начинается!

Лукан хотел выбежать с НП, но Кляко его остановил.

— Ты что, маленький?

— Ротозеи! Ро-то-зеи! — орал майор фон Маллов, стуча кулаком по столу.— Двадцать два часа ноль-семь минут. За эти семь минут подразделение не сумело добраться даже до половины склона. Торчит где-то в кустах. Ро-то-зеи! Иван забросает их гранатами. Ро-то-зеи! — взревел он и выскочил из командирского блиндажа.

Штрафная рота должна была захватить защитников высотки врасплох, незаметно подползти до половины склона и затем, бросившись врукопашную, взять высоту и закрепиться на гребне. Словацкая батарея должна была отрезать высоту заградительным огнем.

В седловине вспыхивают огоньки и быстро гаснут. Отрывистые, сухие взрывы напоминают мины. Но здесь они слышатся глухо, будто идут откуда-то из глубины. Сквозь узенькое отверстие амбразуры доносятся визгливые человеческие голоса, мало чем отличающиеся от завывания снежной вьюги.

— Две зеленые ракеты,— твердит поручик Кляко, и дрожь пробирает его до костей. Вспышки рвущихся ручных гранат видны в смотровую щель блиндажа.

Белая ракета осветила все вокруг, но поднялась она где-то далеко.

Лают пулеметы. Слышен храп, шипенье, трассирующие пули, словно водяные струи, летят в безлунной ночи и угасают где-то вдалеке. Они опускаются, вдруг исчезают, вязнут в чем-то. Это вершина высотки три-

ста четырнадцать. Они отскакивают рикошетом от камней, скользят по ним, вдруг взвиваются к небу, залетают и на склоны.

«Две зеленые ракеты — вот чего я жду, а потом дам команду батарее. Я трус и негодяй, но хотел бы я знать, что сделал бы на моем месте другой».

В седловине видны вспышки гранат, разрывов не слышно, не слышны и стоны раненых штрафников, похожие на завывание вьюги. Седловина сейчас напоминает пекло, в котором все бурлит и клокочет, а может быть, люди неожиданно разбудили от долгого сна адское пекло, непростительно оскорбив его владыку.

«Легко обругать человека трусом, когда он потерял голову от ужаса, и всегда ли слово «трус» будет означать одно и то же? Одна зеленая ракета, вторая! Они трещат и сыплют искры, как бенгальский огонь».

— Лукан! Команда!..

В двадцать три часа двенадцать минут вторая рота батальона фон Маллова и остатки штрафников захватили окопы на вершине высоты триста четырнадцать и нашли там шесть убитых защитников.

— Шесть русских и тридцать два наших — хорошенькое соотношение! Ставь носилки, я хочу закурить.

Рядом с новым НП траншея разветвлялась. Уже изрядное время немцы выносили убитых. В свете ракет Кляко хорошо видел согнувшиеся фигуры солдат. Вот двое с носилками подошли к НП.

— Давай в сторонку, не будем мешать движению, да... Вот и хорошо...

— Черт побери! Эта высотка — всего-навсего несколько камней! Засветло я видел ее как на ладони. Непонятно, зачем туда наших понесло!

— Тактика, дружище. Готовится что-то значительное.

— Хоть бы деревья там были.

— Где?

— На этой высотке. Где же еще?

— Ух ты, язва!

— Деревья — это богатство. Доски, балки...

— Отстань.

— Как бы там ни было, а мы опозоримся, если в этом году не покончим с большевиками.

— На весь мир опозоримся, это и я скажу.

— Ну, вот видишь! За что же ты меня бранишь?

— Черт бы тебя побрал! Что тут общего-то?

— Ты говоришь, как идиот, все путаешь.

— Я ничего не сказал. Разве я говорил что-нибудь?

— Ничего.

— Ну, то-то...

Шаги. Все время кто-то ходит туда, сюда.

— Чую дым. Старый, заслуженный штрафник утверждает, что здесь курят.

Это был новый голос, грубый, властный, не соответствующий беззаботному тону.

— А-а! Штрафная рота!

— Куда ты лезешь, братец! Здесь мои ноги!

— Bebоune*! — вырвалось вдруг чешское слово, и тот же голос произнес по-немецки: — Откуда мне знать, что ты тут свои вонючие копыта расставил! Подвинься малость!

— Ну, ну!

---

* Балда *(чешск.)*.

— Ну, ну!

Кляко насторожился, потому что голоса звучали вызывающе.

— Так я сразу и испугался вашей милости!

— Штрафники!

И один из первой пары даже плюнул. Новый, зажигая сигарету, говорил:

— Да, я штрафник. Нет, брат, я не стал бы так говорить, особенно в темноте, нет, не стал бы. А ты еще и плюнул. Добрый человек, не делай этого!

— Так я и испугался!

— Милый человек, не делай этого. Я старый заслуженный штрафник, а почему? Потому, что во мне больше солдатской доблести, чем во всей твоей семье, вместе с твоим прадедом. Ты понимаешь, дружок, что такое бывалый солдат? Один унтер, некий Пауль Кеттнер, — но с ним ты не встретишься, потому что унтеров как собак нерезаных на божьем свете, — тот тоже не хотел мне верить и не досчитался зубов. Вот я и говорю, что самые порядочные люди у нас в штрафниках ходят. А что касается меня, так это истинная правда.

Кто-то рассмеялся.

— Сегодня-то вы ничего геройского как раз и не совершили.

— Это другое дело, дружок. Как следует не подумали.

— Как это?

— Дружок, я старый солдат и что знаю, то знаю. Да разве так делают? Наши начальники думали, что Иван на триста четырнадцатой спать будет. А он не дремал. Скверную штуку он нам подстроил, вот что, добрый человек. И когда я лежал под высоткой в этой вонючей яме, я говорил себе: «Фридрих, пробил твой последний час. Так ты хоть помолись, пес поганый, и геройски вгрызайся в землю!» А эти русские — вы только послушайте! — забросали нас гранатами, будто тухлыми яйцами. Сверху-то им удобно было бросать. Как град, сыпались на нас гранаты! И я самым старым в штрафной роте остался, понятно? Эх, самым старым и самым порядочным. Восемь месяцев в штрафниках хожу, а Ганс Бергер приказал долго жить. Эх! Мой друг и приятель и, вроде, как я, — порядочный человек! Несу его, вон он лежит. Когда нам велели убитых убрать, я и говорю себе: «Смотри, Фридрих, Ганса не забудь. Твой друг он был и приятель, он заслуживает того, чтобы ты его сам похоронил. Наша дружба была бы не в дружбу, если бы я позволил кому-нибудь хоронить его. И я сдержал слово. Вот, взгляните-ка на него! — Говоривший поднес горящую зажигалку к лицу убитого. На лице вместо носа и рта зиял провал величиной с кулак.

— Гаси!

— Конечно погашу.— Фридрих поспешно погасил зажигалку. Мертвые не говорят, мертвые не поют, они только пугают. Вот мы их и собираем да поскорей в землю упрятываем. Давно уже я этот закон понял.

В словах Фридриха прозвучало отчаяние, пугающая безнадежность, исчез шутливый тон. Наступила гнетущая тишина. В ней было что-то угрожающее. Она разила быстрее и беспощаднее шквального огня.

Кляко подошел с сигаретой в зубах к немцам и спросил по-словацки:

— Тут кто-то говорил по-чешски...

—Я... — послышался неуверенный ответ. — А ты кто такой?

— Словак! Словацкая батарея.

— Ах, так! — Разговор оборвался. Солдат словно хотел понять, с кем имеет дело. Первая пара встала и, сказав коротко: «Мы пошли»,— удалилась. Они взяли с собой убитого.

— Ты чех?

— Говорить тебе, видно, не о чем, приятель. Откуда здесь чеху быть? Поганый судетский немец, старый болтун и заслуженный штрафник, вот кто я, если угодно.

— Отто Реннер жив?

— Ты его знал?

— Немного. Он забрел перед атакой в наш блиндаж.

— Ну, так от нашего интеллигента мокрое место осталось. Свалился и не пикнул даже. Ясное дело, раз прямо в грудь пуля угодила! И как раз рядом со мной. Да что тут рассказывать? Помер.

— Жалко...

— Еще бы. Мне тоже. Такой хороший малый был. Послушай-ка, а ты здесь почему очутился? — Кляко ничего не ответил, и солдат продолжал: — Слыхал я, будто здесь где-то словацкая батарея стоит. До чего же чудно мне это показалось!

— Я ничему больше не удивляюсь.

— Вот те на! — насмешливо сказал Фридрих.— И давно ты на фронте?

— Три недели.

Фридрих заговорил по-чешски:

— Извини, братец, но ты все врешь. Я почти три года служу. С самого первого дня, понял? И что ни дальше, дела все такие творятся, что только диву даешься. И я дивлюсь. Погоди, и не такое увидишь. Три недели — курам на смех. Поверь старому солдату.

— Сигарету не хотите?

— Не откажусь. В самую точку попал, благодарствую. В штрафной роте паек жалкий. Нынче получили по два десятка, чтоб в башке прояснилось, а, кроме того,— он наклонился к уху Кляко,— еще и в карманах Бергера пошарил. Ведь ему, бедняге, курево больше не понадобится.

— Возьмите больше. Вот,— и Кляко протянул непочатую пачку.

— Премного благодарен. Хороший вы человек, сразу видать.— Солдат стал говорить Кляко «вы», в голосе его зазвучала искренняя взволнованность.

Второй солдат, который пришел с Фридрихом, сначала безучастно молчал, но тут вдруг спросил по-немецки:

— О чем вы говорите?

Фридрих грубо и тоже по-немецки отрубил:

— Тихо ты, дерьмо вонючее! — И обратился к Кляко по-чешски:— Одно слово по-чешски скажешь, а эти сволочи уже думают, что ты рейх продаешь. Странные люди эти немцы! Я сам из Судет, но Прагу очень хорошо знаю: десять лет там прожил. Работал сторожем при купальнях, зимой лед развозил и что придется делал. Но больше реки придерживался. Лед-то ведь та же вода! Верно? Не знаю почему, но в нутре у меня что-то чешское, должно быть, сидит. Не верите? Почему бы тогда я в штрафники угодил? Да что там, и говорить не стоит! Все глупость одна! Клейменый! Так в нашей роте говорится. Поверь мне, словак! А вот как вас-то в это дело немчура заманила, никак понять нельзя. Заманили чем, спрашиваю? И ведь верят вам немцы, словакам-то, верят...

— Верят, да не всем.

— Ну, ты мне этого не говори. Ты что тут делаешь? Не на увеселительную же прогулку ты отправился, понятное дело. Когда нацисты пришли, я себе сказал: «Ну, Фридрих, времена настали другие, может, и тебе теперь счастье улыбнется. Нужно только показать, на что ты способен». И глядите, докатился до штрафной роты. Зря, по-глупому. Но служу я честно, что правда, то правда. И все себя спрашиваю, как это получилось, что вам немцы верят. Кое-что я уже раскусил, а это — никак! Чехи и словаки словно бы заодно должны быть. А, нет! Все зря это, все.

Мы каждый своего добиваемся, вот что я тебе скажу, словак. Этот бедняга Бергер своей ямы так и не дождется. Ну, прощай и воюй — шевели мозгами! Это тебе старый солдат говорит.— И добавил по-немецки своему напарнику: — Пошли! Пошевеливайся, ты!

— Еще одну, на дорожку!

— И то дело! Бергер охотно подождет, не обидится, он-то хорошо понимает, что штрафник никогда от сигареты не откажется.

Вспыхнул огонек, и Фридрих в испуге отскочил.

— А чтоб вас! Офицер вы! — воскликнул он и, не дожидаясь огня, быстро по-немецки объяснил своему товарищу:— Сматывайся, живо! Этот офицер морочит людям голову! Черт возьми, такого со мной еще не бывало!

Потом вдали послышалось:

— О чем вы говорили?

— Давай бог ноги! Это офицер был!

— Ах ты господи!..

(Окончание следует)

БЕНДИЛИ МОЛОКВУ

ВЕТЕР АФРИКИ

Перевод с английского
ДМИТРИЯ ЛОГИНОВА

Спой мне песню
Далеких предков —
Наших мужественных
Отцов.
Были стрелы
У предков метки —
Метки ружья
У их сынов.
Бей в тамтам,
Чтоб прислушались
Травы,
Чтобы мертвых
Поднять и увлечь.
Мы сегодня
Воюем за право
На родную землю
И речь!
Бей в тамтам,
Бей в тамтам,
Смелее!
Ветер Африки
Тучи рвет.
Видишь — наш
Горизонт алеет.
Бей в тамтам,
Бей в тамтам,
Вперед!

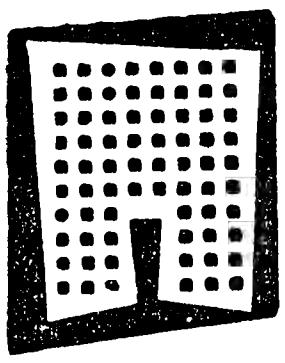
ПАУЛЬ ШАЛЛЮК

ЭНГЕЛЬБЕРТ РЕЙНЕКЕ

РОМАН

Перевод с немецкого
В. СТАНЕВИЧ и С. ШЛАПОБЕРСКОЙ

I



роснуться ранним утром и не открыть глаз; ощутить, как встает день, чувствовать, что за стеной ждет солнце и хочет согреть тебе лицо,— и все-таки не открыть глаз; лежать, вытянувшись во весь рост, и стараться не думать о том, какой нынче день отдает себя в твою власть; слышать звуки, вдыхать ароматы и не спрашивать об их источниках, отказаться от этого и не открыть глаз — вот оно, предчувствие вневременного счастья.

И я был счастлив в то утро, когда, очнувшись на пять секунд, увидел этот ранний час, хотя глаза мои были закрыты. Пять секунд — может быть, больше, может быть, меньше. Потом я снова погрузился в мягкое плетенье сна и, все глубже уходя в него, продолжал грезить, а грезя, услышал стук в дверь и сказал.

— Да... да, да, да.— Но рука не унималась. Упорно продолжала она стучать, как бы отбрасывая пустые гильзы в исчезающее пространство моего сна.— Да, войдите,— сказал я. Повторил: — Да, да.— И отбросил гильзы, чтобы они ударились об дверь. Но и это не обескуражило руку. Она принялась стучать решительнее, жестче, по три раза согнутым указательным пальцем, это были сухие приказы, дверь стала прозрачной, я прямо-таки увидел по ту ее сторону клюв дятла, который меня выманивал из моего блаженного спокойствия; теперь рука выстукивала по пять ударов, все быстрее, громче, потом по восемь, потом непрерывно десять раз подряд желтоватыми костяшками стиснутого кулака. Затем в дверь чем-то грохнули, пнули в нее ногой, я еще несколько раз откликнулся, уже слегка возмущенный таким нетерпением, пока не понял, что это глупо: ведь мои ответы уходят, как парусники, и плывут обратно из пустого зала волною гудящего эха, снова затихают и, гулко нарастая в пустоте, опять надо мною кружат; так они неутомимо перекатываются, то отдаляясь, то приближаясь, хотя я уже ничего не говорил, да и стука больше не слышал. Тогда я попытался закинуть сеть, чтобы их поймать. Но они поднялись под купол и там некоторое время еще кружили и гудели, а я вытащил часы и увидел — испуганный, а может быть, только изумленный, но этот внезапный интерес испугал меня,— как движется стрелка: не осмысленно, от черточки к черточке, а с такой коварной быстротой, что часовая стрелка — пропеллер обогнала минутную, словно пытаясь заслонить ее от моего любопытствующего взгляда. Я бы согласился на это мальчишеское беганье по кругу. Но вопреки традиции и договоренности, вопреки прочной привычности, когда будущее через

неизмеримую остановку настоящего превращается в прошедшее или настоящее переходит в будущее, а равномерное кружение большой и маленькой стрелки это наглядно подтверждает, вопреки упомянутой привычке — стрелки моих часов шли то вперед, то назад; шесть или семь оборотов они с непостижимым усердием совершали вместе с движением времени вперед, затем делали шесть-семь кругов в обратном направлении, причем и то и другое оказывалось возможным. С какой-то сумасшедшей убедительностью не только стрелки, но и колесики часового механизма под ними вертелись так же быстро то в одну сторону, то в другую. И своей игрой они утверждали путаницу какого-то малопонятного распорядка — до тех пор, пока наконец, точно сквозь несколько почвенных складок, передо мной смутно не забрезжила догадка, что все это мне снится.

Я приподнялся. Вокруг стояла тишина — покой, измерявшийся чувствительнейшим инструментом воробьиного чириканья. Еще опутанный нитями вещих сумеречных видений, я очнулся среди аромата лип, которые дают тень нашему бульвару и сопровождают его вокруг городка, от берега до берега реки. Благоухание лип было насыщено надеждой и ожиданием.

Нынче, сказал я себе, нынче, нынче, нынче оно должно прийти, он не заставит меня ждать слишком долго, дольше двух недель он не оставит меня без ответа.

И на мгновенье, когда я вот так сказал, закрыв глаза и ощущая, что стена еще хранит тепло вчерашнего дня, я почувствовал, насколько твердо убежден в том, что сегодня письмо придет, не менее твердо, чем в существовании моей головы или руки. Может быть, он пришлет телеграмму. Но потом вспомнил, что и в предшествующие дни, по крайней мере уже с неделю, я каждое утро и каждый день, а в общем целые две недели — сколько же времени человеку нужно, чтобы сойти с ума? — начинал испытывать ту же твердую уверенность, едва вытаскивал из сновидений первую убогую мысль. И все-таки письмо не пришло — ни во вторник, ни в среду, ни в четверг.

Не приходило целые две недели — что не мешало сидевшему на постели молодому асессору с отвисшей нижней губой бормотать «нынче, нынче»; во всяком случае, эта пластинка продолжала вертеться в его голове, хотя в пластинке, видно, имелась трещина, ибо она никак не могла сдвинуться со слов «нынче, нынче оно должно прийти!» И вдруг меня охватила ярость, будь оно трижды проклято, это письмо,— почти ярость отчаяния,— я стукнул кулаком по одеялу, посмотрел на себя со стороны, как я это обычно делаю, и сказал вслух:

— Должно, должно, должно...— прямо как заклинание. Вот глупо-то! Что это опять за выдумки? Заклинание? Да? Пустые разговоры, магические трюки в связи с письмом, и притом ранним утром? Что со мной творится? Или я болен? Голова моя пылала. Не может он, не может заставлять меня ждать дольше; разве он не видит, что со мной творится? Ни один порядочный человек так не поступит; он не смеет меня...

Вчера он продиктовал его своей секретарше фрейлейн Мюллер, продиктовал прямо на машинку...

Вчера, то есть две недели назад — это было тоже записано на долгоиграющую пластинку,— то и другое казалось возможным, происходило с какой-то сумасшедшей достоверностью; перестань, послушай, перестань, чем же это кончится, взгляни внимательнее, возьми себя в руки, ты же спишь еще. Никакого эха под куполом, никакой вибрации; вчера — две недели назад — я пропустил в школе один день, сказавшись больным, а матери — чтобы избежать тягостных объяснений и раньше времени ее не волновать — я заявил, будто собираюсь на встречу молодых математиков, на самом же деле поехал к Дитриху Барчу, отправился к нему на

предприятие, и, после того как мы совершенно машинально ответили друг другу на обычные вопросы и перешли к воспоминаниям о пережитом вместе на войне, он вдруг прервал нашу беседу, взглянув на свои вполне нормальные часы, а я, без долгих пояснений, заявил ему, что желал бы — нет, просто должен оставить работу в школе и хотел бы, если это возможно, перейти к нему на завод. И тогда он сказал:

Самое позднее через две недели я сообщу тебе, можно ли это устроить. Все зависит от того, получим ли мы и когда новые станки.

Спасибо, отозвался я, и он вызвал по микрофону фрейлейн Мюллер: запишите, пожалуйста,— штудиенасессор, точнее, преподаватель, верно?

Да, сказал я. Тут завыла заводская сирена, но она выла не как те сирены, которые еженощно из тихой страны снов вдруг выгоняли нас в пустыню смерти; она почти мурлыкала, ненавязчиво и благородно. Но своего родства с теми сиренами она не могла отрицать. И Дитрих сказал:

Еще минутку, фрейлейн Мюллер, хорошо? Безмолвно и покорно секретарша стала записывать то, что ей диктовал Дитрих. Итак, штудиенасессор Энгельберт Рейнеке, год рождения двадцать третий, математика, биология, а как у тебя насчет химии?

Только в объеме элементарных знаний, сказал я.

Ну ладно, добавь название и адрес твоей школы и фамилию директора на всякий случай.

Я стал диктовать по буквам то и другое.

Значит, самое позднее — через две недели, повторил он.

Письмо, продиктованное вчера и брошенное в общий поток деловой корреспонденции, должно нынче пристать к берегу, нынче. Нынче, должно! Но я же помнил, что не в первый раз сижу в постели и молочу кулаком по одеялу, при этом наблюдая себя со стороны.

Странно, что Дитрих не спросил меня, по какой причине я решил уйти из школы. Правда, время у него было строго отмерено, и я казался себе вором. А может, и другое: он был настолько уверен в притягательной силе своей профессии, что всякая мотивировка с моей стороны казалась излишней. И меня это устраивало.

С чего же я должен начать свой рассказ, свое объяснение, чтобы оправдать уход из школы? Когда началась эта история, которую я намеревался сегодня завершить? Нынче ответ должен быть получен; письмо, телефон, пневматическая почта, телеграмма, гуденье сети и благородное мурлыканье сирены; вперед и назад; самое позднее через две недели. Где и когда был посеян ветер, ветер, потом разросшийся в бурю, он нес запах крови и был красен, как будто кровь разлилась вдоль всего горизонта; и он нес запах пепла, и пепел отца моего осыпал нас и окрасил все лица в пепельный цвет, один это видел, другой был слеп; ветер или буря, которые наконец утихли — ведь не может же буря бушевать без перерыва; но запах пепла въелся в поры нашей кожи, и мы обрызгивали ее духами, помогавшими забвению, наспех изготовленными благовонными эссенциями; и все же это оказалось бурей, и она где-то опять собиралась, и угрожала, и теперь гнала меня из школы, в которой преподавал еще мой отец, гнала из города. Но куда? Давно началась она. Быть может, ее пробудили в то утро, когда отец сказал:

Вопреки всякому унылому кликушеству скудоумия, славное будущее нашего народа преобразует и нашу светскую школу в самых глубинных ее устоях — и может быть, еще до того, как ты явишься в эту школу!

При этом он посмотрел как-то поверх мамы и меня ничего не выражающим взглядом, и это показалось мне хитростью. А мама рассмеялась над сказанной им чепухой. Да и кто мог бы понять столь загадочное вещание? Вопреки всякому унылому кликушеству скудоумия... И мама смеялась, хотя не без невольного страха подумала, не является

ли процитированная фраза отрывком из торжественной речи, которую отец от лица учительского персонала и учеников должен был произнести по случаю вступления в должность нового директора Вольфганга Зондермана. Расслышала она также и скопление горестных звуков, этих многочисленных «у», как потом мне призналась. И смех ее был вовсе не такой пленительный или приветливый, как обычно. Он казался скорее вынужденным, явно искусственным, это почувствовал и отец. И, еще продолжая смеяться, она взяла его под руку и сказала:

Будь осторожен, Леопольд, затем посмотрела на него и серьезно добавила: прошу тебя, ведь ты же знаешь, они только и ждут случая, чтобы тебя подвести.

Позднее мама говорила мне, что в эту минуту испытала неудержимое желание не ждать, пока она узнает из газет, что именно говорил отец в торжественной речи. И с этого утра ее постоянная тревога за отца, который с нарастающим азартом изобретал все новые способы дразнить коричневые рубашки, превратилась в подавленность и страх. У нее начали дрожать колени.

Отец ласково проворчал что-то, глядя в ее перепуганное лицо, погладил ее руку и, наклонившись, поцеловал. Затем мы отправились в школу.

Эта сцена и могла бы служить отправной точкой для моих объяснений, если бы Дитрих Барч в один прекрасный день вздумал расспрашивать о причинах моего ухода из школы. Или следовало начать с другого? Раньше и до? Откуда эта дрожь? Ты уже не спишь, Энгельберт Рейнеке, бодрствуй. Пройди в дверь и не стой в маленькой темной прихожей, постучи во вторую дверь, закури сигарету и усядься поудобнее в красной раковине кресла, разглядывай собеседника или смотри мимо него на конструкционные чертежи автоматов, не вспоминай о Вязьме, не слушай его крика, когда и в него попало, гляди на дым сигареты, говори не торопясь и рассказывай всю эту историю так, будто прочел ее в газете. Рассказывай же, рассказывай:

Проснулся я от возни и возгласов за стенами, которые были словно из ваты. Шум доносился с ночного бульвара и все же вызывал тревогу. Я встал, открыл окно и увидел, что перед соседним домом стоит машина — большой серый ящик, фургон для мебели. В дом вбегали черные мундиры и выходили, неся всякие вещи. Все это они бросали с грохотом в пасть фургона и, тяжело топая, снова возвращались в дом. Широкоплечая тень размахивала руками и лопотала какой-то непонятный вздор, словно человек был пьян.

Сколько же времени ты смотрел на всю эту возню? Да порядочно. Только гораздо позже, когда отец уже стоял за моей спиной, бормоча: вот и в него попало, вот и в него попало, я узнал, что тенью, стоявшей под липами, был наш сосед, наш седой старик директор, которого отец считал своим другом; директор запретил учителям и ученикам переступать порог школы в нацистской форме; он отказался предоставить гитлерюгенду спортивную площадку для празднеств тела; во время речи фюрера, которую мы все должны были слушать, собравшись в актовом зале, он дважды вырывал штепсель из стены и с невозмутимым видом приказал оркестру оставшееся время играть народные песни; он ничего не делал для того, чтобы натолкнуть своих коллег на мысль о вступлении в партию, и не пожелал поставить высшее школьное начальство в известность о том, кто из учителей состоит в ней, кто нет; мой отец был его другом. Я тогда ночью увидел и его жену, и дочь, и сына — еще подростка: их стерегли два человека в мундирах, наведя на них револьверы. И когда их погнали на улицу и пинками заставили влезть в фургон, жена директора заплакала. Отец потянул меня прочь от окна, время от времени все еще повторяя:

Вот и в него попало, вот и в него попало.

Однако на мой вопрос, почему директор не бежал заранее, ведь он, наверно, предчувствовал, что такая ночь настанет, предвидел и сам накликал ее, оттого что не хотел покориться коричневым господам, отец ничего не ответил.

И когда через три недели штудиенрат Зондерман с восемью членами семьи въезжал в директорскую квартиру и отец запретил мне смотреть в окно, он тоже ничего не сказал. Он сидел с нами за завтраком, молча курил сигару, и взгляд у него был такой, как у человека, который опоздал на поезд, а потом узнал из газет, что именно с этим поездом произошло крушение. И кивнул с особенно замкнутым видом, когда мама, прикладывая платок к заплаканному лицу, повторила сказанные ночью отцом слова: вот и в него попало, и потом добавила беззвучным от боли голосом: господи, господи!

Нынче письмо должно прийти.

Я прислушиваюсь к звукам улицы. Женщина, потом мужчина и еще мужчина прошли мимо дома в утреннем свете, то ли на вокзал, то ли в город. Я всех их знал. После двухнедельных упражнений слуха я узнавал их шаги, так сказать, физиономию их шагов. И уж я *его* не пропущу. И тоже узнаю по глухому хлопанью резиновых подметок.

Я прислушиваюсь к улице. Слишком рано. Все же он может прийти со стороны Кирхштрассе и свернуть на бульвар. В полосы света, проникавшие через жалюзи, я опустил золотые карманные часы, которые мне оставил в наследство отец,— правда, завещал не письменно и без формальностей, однако с потаенной многозначительностью, когда мы однажды в полдень возвращались из школы.

Ну как? — спросил я, и отец ответил: мелкая сошка.

А чего он хотел от тебя? — настаивал я.

Самое дурное, продолжал отец, было то, что Фроне, в своих начищенных до блеска сапогах, вышел из комнаты и, не поздоровавшись со мной, даже как будто не замечая меня, горделиво прошествовал мимо. Старый школьный служитель Фроне. С тех пор как я произнес торжественную речь в актовом зале, его точно подменили, и он ходит в сапогах.

А шеф? — спрашиваю я. Новый шеф?

Директор Зондерман, конечно, в коричневом служебном мундире, положил часы на письменный стол, начал отец. Я тоже положил свои на письменный стол. И когда он это увидел, он наклонился над моими часами. И тут же установил, что они не идут. Удивительно, как быстро он это установил. Он побледнел и встал. Рассмеялся. Смех немножко вымученный, это я почувствовал. Он сказал: «Ну как мне с вами быть, доктор Рейнеке? Следовало бы сделать вам замечание. Вы же знаете, что нельзя было упоминать о еврее Генрихе Гейне. Но оставим это. Я искренне желал, действительно искренне, чтобы мы подружились. Если б только вы захотели понять, что мы сильнейшие, что будущее принадлежит нам. Большего я и не жду».

Ах, насчет Гейне, сказал я. А я думал — из-за твоей торжественной речи. Тут Зигфрид прохлопал.

Сопляк, а не руководитель, сказал отец. В сыновья мне годится. Вот, сказал он и остановился. Эти часы перейдут к тебе, если я все-таки *не пойму* и директору Зондерману больше не придется надо мной смеяться.

Они лежали у него на ладони, а он смотрел на стрелки, словно хотел, словно мог все же установить, который час. Но ничего этого он по своим часам узнать не мог. Дело в том, что они не шли. Не шли, хотя не были поломаны. Он их просто не заводил. Всегда, насколько я помню, стрелки показывали одно и то же время, а вот какое — не помню. Не знаю также, почему он носил эти часы, которые не были поломаны и все-таки ни на

что не годились. Он никогда об этом не говорил, а я, вероятно, потому не спрашивал, что считал это одной из его многочисленных причуд.

Правда, позднее, под Вязьмой, когда я совсем один сидел в окопчике и когда в течение нескольких минут не было слышно ни Ивана, ни нашей артиллерии,— утром Дитриха Барча ранило, и его отправили в тыл,— мне вдруг пришло в голову, что, быть может, для отца эти бесполезные часы являлись как бы воплощением некоего личного восстания против времени. Но что означали или о чем должны были напоминать ему неподвижные стрелки? Такова была его прихоть. И что он вкладывал в понятие «время»? Я так и не додумал этой мысли, вероятно, потому, что снова загремели органы орудий, я не смог ее удержать и скоро забыл, и только мама напомнила мне о ней, уже по окончании экзаменов, вручая мне эти отцовские часы.

Я должна тебе кое-что отдать, вернее — доверить, сказала она в первый же день, когда я, после нескольких лет учения и выпускных экзаменов, наконец опять оказался дома. Она подвела меня к его письменному столу, вложила в руку часы и добавила: не знаю, Энгельберт, замечал ли ты когда-нибудь, как он гордился этими часами, какую уверенность ему внушало то, что они у него есть. Он так берег их, он видел в них что-то совсем особое. Иногда мне кажется, будь они при нем в вечер твоей помолвки, ничего бы не случилось.

Ах, мама, сказал я и обнял ее. Ради бога, не делай ты себе фетиша из какой-то вещицы. Он о ней просто забыл, вот и все.

Может быть, он о ней просто забыл, настойчиво повторила она, взяла меня за руку и отогнула пальцы, чтобы еще раз посмотреть на часы, лежавшие на моей ладони: просто забыл сунуть их в карман, ты это хочешь сказать?

Да, да, согласился я, он был ведь совершенно так же взволнован, как и мы...

Перед твоим обручением с дочерью нового директора, знаю. Но ты все-таки подумай. Мне теперь иной раз кажется: он что-то знал, бог дал ему это знание. Или он предчувствовал и нарочно оставил часы дома...

Оставил тебе и мне, как наследство или как завещание, выложил на письменный стол перед тем, как мы пошли к Зондерманам, чтобы отпраздновать мою помолвку?

Я это и хочу сказать, отозвалась мама, глаза у нее светились, она была рада, что я угадал ее мысли: выложил часы на середину письменного стола. Может быть, таким жестом, которого мы уже никогда не увидим, Энгельберт.

Золотые часы на зеленом сукне? Какая сумасшедшая игра красок — золотое и зеленое, а кругом коричневое, так что кажется, будто стол только ради них и стоит здесь, только ради того и существует, чтобы служить для этих золотых часов местопребыванием, цоколем и обрамлением.

Да, мой мальчик, именно это я и хотела сказать. Я не могла просто смотреть на них, что-то заставляло меня видеть в них вещий знак божий, оставленный там, на фоне зеленого стола. И знаешь ли, я тут же ухватилась за них, как за то, что осталось от его реального существования. А зашла я к нему в комнату только для того, чтобы найти и собрать все бумаги, которые надо было сжечь, письма его парижского друга. Я всегда была уверена, что он ведет дневник, но никакого дневника не нашла, только вот эти часы, Энгельберт, он их всегда носил.

Ах, мама, мама, сказал я. Во всяком случае, спасибо тебе, что ты их сберегла.

И очень часто, когда я спрашивал у золотых часов о времени, я невольно вспоминал раздумья мамы, в них всегда, где ни копнешь, открывался кусочек ее веры. Поэтому-то я и не возражал ей, поэтому-то, ве-

роятно, даже поддерживал в ее мыслях. А теперь — нынче оно должно прийти, и, так как я сидел в постели, все еще прислонившись к стене и ощущая кроткое тепло вчерашнего дня, я наконец взглянул на циферблат часов. Но времени не узнал.

Я протер глаза. «Все лучше, лучше, лучше...» Запел в соседнем доме у Зондерманов женский голос, смеющийся и дерзкий: «Дела идут все лучше, лучше, лучше»... И когда я опять поднял часы к одному из узких просветов жалюзи, я увидел, что никакого времени уже нет, что время перестало существовать — ведь у часов еще при жизни отца кончился завод, и они остановились, а я этого не понял.

Но я услышал, что мать поднимается по лестнице, чтобы водворить время на место. Медленно шагала она со ступеньки на ступеньку. Ей было трудно. Добравшись до середины лестницы, она остановилась, чтобы перевести дух, потом снова стала подниматься, и вот она у моей двери. Нерешительно, как и всегда по утрам, постучала она три раза, а я сказал: «Спасибо, мама»,— и вскочил. И так как в комнате рядом спала тетя Луиза, обычно вставшая позднее меня, мама наклонилась к замочной скважине и сказала вполголоса:

— Время вставать, Энгельберт.

Уже взявшись за шнурок жалюзи, я ответил:

— Твое время или мое?

Я поднял жалюзи, высунулся в окно, вдохнул утро и благоуханье лип и окинул взглядом бульвар, который описывал дугу и ласково обнимал наш городок. Но письмоносца я не увидел. Было еще слишком рано. В косых лучах солнца газетчица тащила свою тяжелую сумку. Все же, когда я ушел в ванную, чтобы вымыться и побриться, я не запер двери. Может быть, он придет сегодня раньше, чем обычно, и я его замечу до того, как он войдет в палисадник. Мне хотелось до мамы оказаться у входной двери нашего дома и взять у него письмо — нынче, нынче оно должно прийти, нынче,— и надо быстро опустить его в карман, чтобы мама — а она, конечно, тоже выйдет — не узнала, кто отправитель. И может быть, она даже спросит, когда я снова буду взбегать по лестнице: от Хильдегард Зондерман? Или даже: от фрейлейн Зондерман? — спросит деловитым и вместе с тем недовольным тоном.

Когда я брился, я не смотрел в зеркало. Я смотрел в комнату Хильдегард в доме напротив. Она открыла окно. Комната была пуста, спальня Хильдегард Зондерман, с которой мы были некогда полночи помолвлены. Только тень от нашего дома поселилась там. У меня не хватило терпенья следовать за ее черепашьим шагом. А разве это не могла быть моя тень, подвижная, порхающая то туда, то сюда, и я бы ее расспросил: что ты там видела — платья, блузки, пуловеры? Что ты обоняла, вдыхала, слышала? Что ты обнаружила и почувствовала? Забилось ли сильнее твое сердце? Сберегло ли большое зеркало ее образ? Ничего. Только тень от нашего дома.

Хильдегард, подойди к окну, мне нужно с тобой поговорить, подойди, подойди к окну, Хильдегард, письмо — ты же ничего о нем не знаешь, конечно нет, сегодня оно должно прийти, от Дитриха Барча. Он меня не спросил, почему я... ну, понимаешь, я как раз об этом подумал, когда пытался объяснить Дитриху Барчу, а ведь ты тоже часть всего этого, Хильдегард, и тогда была и теперь все еще,— помнишь, когда новый директор, твой отец, был назначен сюда и когда мой отец произнес торжественную речь, ты улыбалась, могла бы улыбаться и теперь еще, Хильдегард, только по-другому, чуть по-другому, тогда ты была еще девочкой, тогда, в актовом зале, и мы оба еще ничего не предчувствовали, совсем ничего.

Фанфары протрубили торжественный марш. Новый директор и гости опустились в кресла. Черт побери, услышал я позади себя в учени-

ческом оркестре восхищенный шепот. Да и сам не мог не подивиться элегантности походки, спокойному взгляду голубых глаз, рослости и статности спортивной фигуры и прежде всего — безукоризненно нордическому строению лица нового директора Зондермана.

Флаги — сочетание тускло-красного и резко-белого, и цветы без запаха, и ряды мальчиков голова к голове, охваченных боязнью перед новым шефом и надеждой, что он окажется славным малым, и терпкие испарения их тел, и смутное волнение, и глаза как сотни звезд, принуждающие себя выражать торжественность. Новый директор, воплощение силы в негнущемся коричневом мундире, вот он взойдет на капитанский мостик — и конец уюту, новая железная метла, ортодоксальная и жизнеутверждающая; в манере держаться — самоуверенность, постоянная готовность к действию, сколько угодно предложений о том, как провести всеохватывающие реформы.

И вот отец поднялся на кафедру. Опередив остальных, коллеги Кипп, Беттенбюль и Штельтенкамп приговорили его к произнесению приветственной речи, коварно приговорили. Он взял себя в руки, выпрямился — и все вырастал и вырастал, словно конца не будет этому выпрямлению. В актовом зале стояла такая напряженная тишина, что я почувствовал невольную дрожь и вспомнил, как мать просила: будь осторожен, Леопольд. Отец взошел на кафедру, и, прежде чем он заговорил, взгляд его остановился на коллегах в мундирах, взгляд несколько неподвижный, упрямый и вызывающий, пожалуй, тоже. Затем он сказал:

Охотно выполняя взятую на себя задачу в этот торжественный час смены начальников, я хочу вспомнить нашего последнего директора, поблагодарить его за все, чем он был для нас, его, который вследствие трагически сложившихся обстоятельств, вероятно, уже навсегда ушел от нас, поблагодарить за то, что для всех своих коллег он служил образцом педагогической мудрости, за то, что он показывал нам пример неизменно верного служения человеку — и прежде всего человеку вне каких-либо политических программ и идеологий — и воспитывал все это и в учениках и в преподавателях. Особенно же хочу поблагодарить его за то непоколебимое мужество, с каким он, как подлинный сын немецкого народа, жил, действовал и умер, следуя своим убеждениям. И другая задача, которую я тоже охотно взял на себя,— это, вместе с глубокой благодарностью прежнему директору, приветствовать от имени моих коллег и учеников нового директора нашей школы — господина Вольфганга Зондермана. Мы рады, что в это трудное военное время во главе школы будет стоять еще столь молодой и мужественный деятель. Господин директор Зондерман человек особенный *, он награжден многими отличиями за свою солдатскую верность фюреру и сокровищнице победоносных его мыслей, он приходит к нам из самой гущи фронтовой жизни, и если ему наша слегка непроветренная школа покажется несколько обособленной, то постараемся и мы понять его как фронтовика и приложим все силы к тому, чтобы школа наша, вопреки всякому кликушеству скудоумия, заняла наконец свое особое место и стала педагогическим учреждением, где воспитывались бы особенно квалифицированные отважные борцы, верные фюреру и его целям. Так не забудем же нашего прежнего директора и в этом же смысле приветствуем нашего нового руководителя Вольфганга Зондермана.

Все. Никаких торжественных обращений, никакой парадности, никаких возгласов «хайль». Приветственная речь кончена. Отец раскланялся. Я был потрясен. Виолончельный смычок дрожал в моей руке. Будь осторожен, Леопольд, мысленно повторил я, будь осторожен... Слишком поздно, неужели ему всегда нужно... Может быть, новый ди-

---

* Зондерман — буквально значит: особый, особенный человек.

ректор его не понял. А тут еще ученики начали аплодировать, смеяться, топать ногами, и весь этот шум развеял мои сомнения. Сначала мои товарищи по классу в дальнем углу актового зала принялись скандировать прозвище отца: Ни-за-чток, Ни-за-чток... ———... ———!.. Потом к ним присоединился весь зал, кроме учителей.

И когда я отвел взгляд от своих одноклассников, я увидел в первом ряду, среди гостей, тебя, Хильдегард Зондерман,— подойди к окну! — старшую из девочек Зондермана — подойди, подойди к окну, Хильдегард!

Ты была еще девчонкой и хлопала в ладоши, такая же светловолосая, как и сейчас, и ты улыбалась, улыбаться ты могла сколько угодно — пожалуйста, подойди к окну, я хочу рассказать тебе насчет Дитриха Барча, иди скорей, пока я еще не представил себе, как ты улыбаешься в актовом зале, это меня тогда с ума свело, я видел позднее улыбку других девушек, других женщин, Хильдегард, все эти годы, пока был на войне, улыбку обольщения и улыбку потом, среди распустившихся волос, сквозь дым сигареты,— и ни одна не улыбалась, как ты, я не преувеличиваю, я вернулся к тебе, Хильдегард, подойди к окну.

Но она не подошла, а я так долго смотрел на тень нашего дома, падавшую в комнату Хильдегард и не сдвигавшуюся с места, не спускал глаз с правого углового окна так долго и упорно, что ее образ наконец появился, и я опять увидел ее стоящей у окна, как тогда, когда она сказала мне через улицу:

Я не понимаю, что ты говоришь, ибо под нею в нижнем этаже блеяло радио: «Слышишь, как поют моторы? Вперед же, на врага».

Она приложила руки ко рту в виде рупора, волосы закрывали ей один глаз, и она крикнула:

Это Зигфрид. Я же не могу ему запретить.

В три, сказал я громче, возле горы Кальвария. Она кивнула, но затем, испугавшись, быстро отошла от окна.

Ладно, ладно, услышал я чей-то голос: позади меня стоял отец, он только что вошел. Это от него убежала Хильдегард. Я открыл кран, хотя уже вымыл руки, и пробурчал: тут я кое-что объяснял ей по математике.

Ладно, ладно, повторил отец. А я возразил:

А что же еще? Я могу и затормозить, она же дочка шефа...

Иди обедать, сказал отец.

Хильдегард слилась с тенью нашего дома, в то утро она, живая, не подошла к окну, никакого нового образа не возникло.

— Ну что ж,— сказал я.— Поговорю с нею, сегодня письмо должно прийти, и, когда оно придет, я все ей скажу.

Я вышел из ванной, возвратился в спальню, подошел к окну и принялся следить за улицей. Но было еще слишком рано. Перед темным зеркалом окна я повязал галстук. Затем взглянул на золотые карманные часы: стрелки не двигались. И мною овладело искушение снова завести отцовские часы. Они перейдут к тебе, если я все-таки не пойму и директор Зондерман перестанет надо мной смеяться; они принадлежат тебе, остановившиеся часы, иссякшее движение; тебе принадлежит неизменное изменение и умершее время; но если я все-таки не пойму, то золотой гроб мертвого времени будет принадлежать тебе.

Время умерло — забвение умерло, забвение, которого я жаждал и которое старался обрести с тех пор, как вернулся. Или я себя обманывал, вообразив, что могу забыть все хитросплетения его судьбы и его смерть? Стрелки не двигались, и в их тишину врезалась дорога птичьих перелетов, и по ней издалека пришли воспоминания, картины, сцены— прочь, прочь, я не хочу,— приблизились, безжалостные, независимые; и

я вынужден был смотреть на них, вынужден был слушать, снова слушать и снова видеть панораму актового зала.

Когда стихли аплодисменты, вызванные речью отца, прозванного Низачтоком, новый директор приветливо поблагодарил за торжественную встречу. Он поблагодарил моего отца за то, что, памятуя о нынешнем тяжелом и все же славном времени навязанной нам войны, требующей от нас не слов, а дел, отец сумел выразить с такой примечательной краткостью самое важное, самое необходимое, что следует делать, с тех пор как свершилось героическое пробуждение немецкого народа, и самое основное, к чему всегда стремился немецкий народ, в любую эпоху и в любой стране, где бы он ни находился... Тут директор сбился, нить его речи запуталась клубком. Он попросту выплюнул его:

Благодарю вас. И все продолжал заверять и благодарить, словно преодолевая вторую ступень своей речи: особенно усердно благодарил он отца за его здоровый, исконно немецкий юмор, весьма редкий в наше величественное время. Конечно, время это требует серьезности, но прав и поэт, сказавший: «Коль биться хочешь, весел будь».

В первом ряду сидела Хильдегард Зондерман и улыбалась мне.

А ее отец, новый директор, выпрямившись и сияя, продолжал свою речь:

Я позволю себе повторить с небольшим изменением то, что по сходному поводу сказал один из наших великих, ныне здравствующих философов: «Стать директором школы — значит взять на себя обязательство духовного фюрерства в этой школе». Но нам не придется начинать сначала и пробуждать у школьников уменье повиноваться. Немецкая учащаяся молодежь уже на марше. И ей нужны именно те фюреры, с помощью которых она, в своем самоопределении, поднимется до обоснованной и познающей истины и озарит себя ясностью действующих в немецком духе слов и дел. Эта воля — истинная воля, поскольку немецкие школьники, благодаря новому правосознанию, сами подчиняют себя закону своей сущности и эту сущность впервые ограничивают. Полагать самому себе закон — в этом высочайшая свобода. Связи ученика триедины: во-первых, его связь с народной общностью, и она непрерывно укрепляется и внедряется в школьную жизнь благодаря сельскохозяйственной трудовой повинности. Во-вторых — это связь с честью и судьбою нации в среде других народов. Она охватит и проникнет в будущем всю жизнь школьника — это служба ПВО. И в-третьих — это связь школьника с духовной миссией немецкого народа. Эти три вида связи — с народом, его духовной миссией и с судьбой государства — изначально заложены в существе немца. И три, вытекающие отсюда службы — сельскохозяйственная, противовоздушной обороны и науки — одинаково нужны и равны по своему значению.

После столь напряженного приступа цитатного красноречия директор впал в болтливость; целых полчаса описывал новый шеф несравненно радостное, историческое и гордое настроение, которое ему было дано изведать, когда наш непобедимый вермахт вошел в Польшу, а потом во Францию. Не менее получаса говорил он благоговейным полушепотом о величайшем и незабвеннейшем мгновении своей жизни, когда он был удостоен великой чести стоять перед своим фюрером, смотреть ему в глаза, слушать его и в заключение пожать ему руку.

И в то время как директор силился живописать эту историческую панораму и особенно потрясающий, гениально властный взгляд человека, который по воле провидения ведет наш народ в грядущее, мы все сидели с таким чувством, словно тот человек живьем стоит перед нами и смотрит на нас, переводя взгляд с одного на другого. Да, он присутствовал, будто вызванный заклинанием, здесь был его призрак, мы слышали его голос, видели лицо. Я ощущал это, я боролся с этим чувством,

но все-таки ощущал, как озноб благоговения, или что там испытывал директор Зондерман, стекает каплями холодного пота и по моей спине.

К концу почти трехчасового торжества все стояли точно истуканы с поднятой рукой, под аккомпанемент национального гимна, который мы исполняли в сопровождении трубачей. И только один из присутствовавших не поднял правой руки: это был штудиенрат доктор Рейнеке. Уже в течение многих лет отец носил в бумажнике медицинскую справку. В справке подтверждалось, что он, при всем известных обстоятельствах, лишился возможности поднимать и правую и левую руку, вследствие особого нервного заболевания, приступы которого безжалостно посещают его лишь в общественных местах. Первый ортсгруппенфюрер нашего городка заверил эту справку, о чем отец предусмотрительно позаботился. И при каждой смене местного фюрера он тотчас сызнова заверял у него справку.

Однажды, гуляя вместе с отцом, мы неожиданно встретили боевую колонну из представителей «расы господ» в походных сапогах. Уже было невозможно уклониться от встречи, свернув в переулок. Фюрер когорты, или отряда, увидел бессильно повисшую руку отца. Он тотчас выскочил вперед и начал орать, побагровев и яростно размахивая верхними конечностями, так что зеваки с задранными руками сразу отползли:

Эй! Вы, видно, вовсе не считаете нужным приветствовать знамя?

А отец сказал: что вы имеете в виду?

Рехнулись! Знамя! Руку вверх! — Он продолжал браниться и неистовствовать. Отец смотрел на него, сохраняя полное спокойствие.

Следуйте за мной! — заорал бесноватый.

Не понимаю, сказал отец. Что-нибудь случилось?

Поднять руку! Знамя! Кто не приветствует знамя...

Ах вот что, отозвался отец. Только и всего?—Он вытащил бумажник, извлек из него удостоверение и сунул под нос багроволицему кликуше: это и был его документ, знаменитая медицинская справка. Отец не выпускал ее из рук и молча ждал, стоя рядом со мной, пока фанатик окажется в состоянии ее прочесть, а тот так долго изучал бумажку, точно был первоклассником, который впервые читает газету; правда, он не водил пальцем по строчкам, это запрещала ему гордыня, ведь он вместе с другими маршировал прямо в тысячелетнее будущее, был одним из тех, кто обеспечивал этот марш; а может, его стесняли злорадствующие зрители, которые снова подкрадывались к нам? Наконец старший ефрейтор войск СС отвернулся, видимо удостоверившись в наличии на справке совершенно ясной печати и подлинной подписи местного фюрера. Он простился, прорычав:

Разве все можешь заранее знать. Повесьте себе вывеску на пузо.

Отец и тут промолчал. Он сунул справку обратно в бумажник.

Так по дороге птичьих перелетов в моей памяти проносились картины давнего прошлого. И, стоя у окна, в ожидании почтальона, я снова еще раз услышал прозвучавшие в мертвецкой былого слова, которые мой шеф — уже не Вольфганг Зондерман, а другой — недавно с искренним сожалением сказал мне перед собравшимся педагогическим советом:

Мне очень жаль, что именно вы встречаете определенные сложности в школе, где ваш отец столько лет так благотворно и успешно трудился.

И здесь, при слове «благотворно», раздалось многозначительное покашливание коллеги Зондермана, директора в отставке, чья дочь Хильдегард была некогда со мной помолвлена и стала моей невестой. А вот мнение коллеги Штельтенкампа, которое он шепнул на ухо своему соседу, местному поэту Йозефу Беттенбюлю:

И было совершенной бестактностью переводиться именно сюда.

Помню молчание остальных присутствующих — стыдливое молчание стариков и недоумевающее молчание моих более молодых коллег, мимо которых я поспешил пройти.

И тут я вспомнил также скрип сухой травы и волос Хильдегард, когда я захватил их в горсть, и как она спросила: почему ты ничего не скажешь? И как я ответил: слушай, разве я непременно должен что-нибудь сказать? И потом опять она: но ведь ты огорчен, или ты план занятий плохо построил, или у вас нелады между шефом и Низачтоком? А я: ах, Хильдегард. И она: ну расскажи мне что-нибудь. И потом опять скрип травы и ее волос в моей горсти.

Эти часы перейдут к тебе.

Я захватил колесико большим и указательным пальцем, ожидая, когда мама позовет меня завтракать. Потом отпустил его, высунулся в окно. Потом снова взял колесико пальцами, не вращая его, отпустил, высунулся в окно, не увидев почтальона, снова захватил колесико большим и указательным, ощущая крошечные зубчики. И я чувствовал, что зубчики были остры, жестки, бесчисленны; с их помощью я мог снова заставить время идти, я мог отогнать воспоминания. Раньше я этих зубчиков не видел. Теперь я ощутил их. И почувствовал, что лоб мой стал влажным. Несколько раз я прошелся по комнате — четыре метра вперед, четыре назад,— чтобы больше не ощущать колесико между пальцев, чтобы забыть о нем, четыре вперед, четыре назад. Затем снова подошел к окну и поднес к уху золотые часы, где лежало на катафалке умершее время и его нельзя было узнать. Мертвое время не издавало ни звука. Я стал их трясти. Секундная стрелка не вернулась к жизни. Я стал трясти сильнее, наконец во мне даже пробудился гнев: ничто в них не двигалось, время не бежало дальше. Затем я снова коснулся колесика, придерживая его большим и указательным пальцем, коснулся нежно и бережно. И почувствовал, как на бровь скатилась капелька пота. И я уже почти видел незримую дорогу птичьих перелетов, по которой ко мне неслось то, что было тогда, оставалось и теперь, в умершем времени, все еще оставалось, будет и завтра, и я знал, что при этом неважно — заведу я часы или нет. Я встряхнулся и сказал вслух:

— Так нельзя, нельзя. Отчего ты волнуешься? Не давай свести себя с ума.

Нынче, нынче оно должно прийти, нынче. Я решительно выпрямился, стою у окна, коленями упираюсь в стену, делаю глубокий вдох. Стало немного легче. Я сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, почувствовал на своей коже прохладное утешение утра и выдохнул воздух в окно. Стало легче. Я уже мог удержаться от искушения повертеть колесико в часах. Я подержал их на ладони, посмотрел на свое отражение в темном стекле окна и начал делать гримасы.

Высунул язык, скривил лицо — получилась пессимистическая маска. Мне очень редко удается рассматривать собственное лицо, окаменевшее в своей серьезности, лицо чужого человека, его зовут Энгельберт Рейнеке, и он не хочет отпускать меня. Ты похож на своего отца, каким он был тридцать лет назад, как-то сказала тетя Луиза, и я вытащил из семейного альбома фотокарточку отца. Унес к себе наверх и долго разглядывал. Нет, не похож я на него Луиза, наверно, слепая. Я его сын, это бесспорно; но у меня не такой мощный лоб, волосы не такие темные, рот не такой мужественный; голова моя у́же отцовской, рост меньше, может быть, я подвижнее, война и плен меня здорово натренировали, однако меня еще так чудовищно не разнесло, как некоторых моих молодых коллег, я очень этого опасался, хотя предчувствовал, что, если останусь в Нидерхагене, непременно располнею, этого не избежать; я мог еще показываться рядом с Хильдегард — бэ...э, язык высунут, лицо скривилось — пессимистическая рожа; никакого самодовольства, смею уве-

рить, хотя оно встречается на каждом шагу. Привычная благожелательность к самому себе? Нет, это давно прошло. С тех пор как я под Вязьмой решил быть мужественным, а потом все-таки струсил, не в силах совладать с собой, с тех пор все это прошло.

И разве мои пальцы тоже не действовали в высшей степени самостоятельно, когда они, подчиняясь не приказу моего мозга, а потребности своего осязания, коснулись колесика часов и лишь тогда отказались от намерения снова завести отцовские часы, когда я с ними справился при помощи глубоких вдохов, а отнюдь не воли?

Может быть, тут и не было злого умысла или того, за что я потом так часто упрекал себя: невозможности забыть, невозможности простить, не было и заносчивости — ничего, кроме дурного запаха изо рта коллеги Киппа, кроме его отвратительного дыхания, может быть, у него были испорчены зубы или он ленился чистить их, но из-за этого запаха, в первый же день, когда я был представлен преподавателям в качестве нового коллеги, я сказал:

Кое-кто из вас, господа, наверно, еще помнит моего отца — доктора Леопольда Рейнеке, которого ученики прозвали Низачтоком.

Еще бы они не помнили! Учитель гимнастики Готфрид Штельтенкамп выпрямился и скрипнул протезом, это был злобный скрип, он пробудил во мне страх, напомнил и просьбу матери, и данное мною обещание; не нужно ворошить прошлое. Латинист Йозеф Беттенбюль, демонстрируя невинность, провел рукой по своей роскошной национально-поэтической гриве, а коллега Фердинанд Кипп сунул указательный палец под очки, потер нос, окинул взглядом учительскую, словно отыскивая по углам ключ к своей памяти, и наконец с удивительным простодушием изрек:

Ах да, верно. Они звали его Низачтоком. Нелепое прозвище, поэтому я и забыл! Да ведь и давненько это было!

Молодой коллега Блудау потом спросил меня в вестибюле: ваш отец был здесь преподавателем. Это-то мне известно. А что же произошло? Все делают из этого секрет...

Когда-нибудь, при случае, расскажу вам, ответил я. Но прошло немало времени, прежде чем этот случай представился.

Должно быть, с подобных реакций — кто возьмется сказать наверное? — и начался последний акт того, что должно было нынче утром кончиться; ведь дольше двух недель Дитрих Барч не мог меня заставить ждать: нынче письмо придет, нынче я поговорю с Хильдегард или завтра — словом, как только он напишет.

Я опустил золотые часы в карманчик. Потом высунулся в окно: было все еще слишком рано.

2

Вероятно, проснулась и тетя Луиза, ибо мама стояла у лестницы и звала:

— Что же ты не идешь, Энгельберт? Завтрак готов. Поторапливайся, уже время.

— Да, спасибо, иду.

Потом я спустился вниз, в теплый кофейный пар, в мое ожидание, которое теперь шаг за шагом подвигалось вперед; подвигалось слишком медленно, по-утреннему, на ходу чмокнул маму и сел за стол.

Каждое утро одно и то же — яйцо и хлеб, мед и аромат кофе; каждое утро — кофейник под теплым колпаком, который мама снимает, как только я сажусь; каждое утро — пепельница, стоящая позади кофейника, которую мама мне подвигает, как только я свертываю салфетку;

каждое утро — безупречный, оставшийся неизменным распорядок завтрака, установленный отцом, церемониал, установленный отцом и мной унаследованный, переданный мне заботливостью мамы: мед полезен; во время завтрака отец не читал; курить на пустой желудок вредно, отец никогда этого не делал, и опрятная белая скатерть, и под салфеткой с тем же рисунком — утренняя газета.

Я закурил папиросу и прочел черный заголовок: «В истории Европы началась новая эпоха»; и под ним: «Успехи переговоров о разоружении»; и рядом: «Москва упускает возможности»; и над этим: «Кадровых войск не хватает». Мрачные вести. Но для кого?

А мама сказала: — На пустой желудок вредно.— Я раздавил в пепельнице сигарету так, что она переломилась. И мама сказала: — Мог бы потом докурить.— А когда я слишком порывисто обезглавил яйцо и отколовшаяся головка покатилась по столу и упала на пол, она спросила: — Да что с тобой сегодня, Энгельберт?

Я нагнулся, чтобы поднять кусочек скорлупки, и ответил: — Ничего. А что? Что со мной может быть? — И принялся за еду.

Опять мягкие кликушечьи завывания сирен; автоматы на невидимой дороге птичьих перелетов. И отцовский пепел, окрашивающий все лица. Что со мной? Ну как же: сегодня оно должно прийти, и непременно на адрес школы умершего времени.

— Но ты бегаешь по своей комнате, как зверь в клетке, потом куришь до завтрака, чего еще никогда не делал.

— Да вот занялся утренней гимнастикой,— ответил я насколько мог равнодушно и продолжал есть, не поднимая глаз.— Иначе очень располнею, знаешь ли.— И почувствовал, что она мне не верит и, держа в руке хлеб, недоверчиво меня рассматривает.

К счастью, в это время сошла вниз и Луиза, перекинув через руку легкое пальто, чтобы сейчас же после завтрака отправиться на обычную утреннюю прогулку, с которой она в хорошую погоду возвращалась только примерно в полдень. Правда, иной раз она приходила и раньше, желая помочь на кухне, если маме нездоровилось или мы знали, хотя не слышали от нее ни одной жалобы, что у нее опять боли в сердце, и крылья теней под ее глазами стали так же темны, как в первые недели после смерти отца, когда малейший шум на улице, проходя через страх, словно через усилитель, вырастал до грома, и даже легкие детские шажки и каждый звонок заставляли нас дрожать.

— С ясным добрым утречком, уважаемая невестка,— проговорила Луиза, которая была нынче в хорошем настроении,— с добрым утречком, господин математик.

Луиза, Луизхен, воплощенная свежесть, в облегающем фигуру платье из светло-серой шерстяной материи, женщина здоровая и подтянутая, в расцвете своего лета, упруго шагала со ступеньки на ступеньку, как делала каждое утро. Я посмотрел на нее словно на оракула: если темный поток ее волос будет уложен вокруг головы волной, идущей снизу вверх, значит, письмо придет. Пригляделся и увидел, что так оно и есть. Она чмокнула меня в лоб, как чмокала каждое утро. Я и на Луизином лице прочел вопрос: что с тобой сегодня, Энгельберт? Однако Луиза вслух не задала его. Она окинула меня быстрым взглядом, и я заметил, как ее глаза затуманились скрытой печалью. Но лишь на мгновение, затем печаль исчезла. Так быстро, Луизхен, так быстро? Раньше бывало иначе.

Я уже давно и очень охотно пришел бы к ней и сказал: послушайка, Луиза, я здесь в школе больше не могу оставаться. Но я не пошел к ней, я решил стерпеть и промолчать, она ведь не замечала того, что происходит, а раньше, когда я был мальчишкой, ее глаза прозорливее и бдительнее следили за мной, и ей незачем было спрашивать, она

могла еще своим взглядом предложить мне разбить стекла в зимнем саду, если становилось невтерпеж. И я бил их, и Луиза вставляла стекла и оплачивала счета, и никто не знал, что это я излил свою ярость. Раньше, да, раньше, Луизхен! Ярость и боль, унижение и жгучую страсть — раньше она все понимала. А теперь на лбу ее залегли бы морщины, узнай она, что я задумал и подготовил, не посвятив ее.

— Видели вы три дивизии стиляг, пошляков и оборотней, которые с час назад промаршировали по бульвару? — спросила она. Это была одна из ее причуд рассеивать по утрам наше дурное настроение такими вот фантастическими выдумками.

Мама покачала головой, смеясь и возмущаясь: — Что ты опять выдумала, Луиза!

Я же расхохотался, очень громко и очень неестественно, пожалуй, даже отвратительно, но мой смех был направлен против всякого кликушества.

Луиза с улыбкой добавила: — Я весела и счастлива, сегодня будет большая удача.— Затем подсела к нам.

А у меня в глазах стояли слезы, и я никак не мог перестать смеяться. Смех разрастался в моем горле и переходил в судорогу. Луиза это слышала, но приняла, как заслуженное одобрение ее шутке. И тут я понял, что был прав, скрыв от нее свою поездку к Дитриху Барчу. Я все еще продолжал смеяться, хотя мама неодобрительно косилась на меня, и гримасничал до тех пор, пока у входной двери не задребезжал звонок.

На миг вокруг воцарилась малодушная тишина, в которой затихающее звякание звонка уже сливалось с чириканьем воробьев. Словно от укола, я одним рывком поднялся, охваченный решимостью, и никто не понял, что это стрела и что я не знаю, попала она в цель или нет. Тетя Луиза посмотрела на меня с глубоким недоумением и сказала, точно мною внезапно овладело безумие:

— Да что с тобой, дорогой мой? — Поэтому я снова сел и предоставил маме пойти к двери, как она делала каждое утро; Луиза забыла про стекла в зимнем саду и про многое другое забыла, забыла...

Мама вернулась, держа в руке письмо. Почему она не размахивает им над головой, как победным трофеем, как скальпом? Почему она не поет? Не пляшет? Я сразу догадался, что это именно и есть то самое письмо, которого я так ждал, целых две недели, ждал и все-таки сомневался.

— Тебе,— сказала мама и положила письмо на газету, на «Новую эпоху в истории Европы» и на «Возможности», которые «упустила Москва». Я взял письмо, и моя рука дрожала. Обыкновенное белое письмо, прямоугольное, тонкое, марка аккуратно наклеена в уголке. Адрес странно плясал у меня перед глазами: балет букв, непрерывно создававших новые имена. Я повертел в руках письмо, туман рассеялся, и я прочел: Дитрих Барч.

Так. Вот оно и пристало к берегу, брошенное в реку, пристало рядом со мною это чудо. Самое позднее — через две недели, мурлыкала кроткая сирена.

Обе женщины изумленно уставились на меня, хотя я не сказал — ни «вот» и ничего вообще. В их молчании чувствовался легкий испуг. Почему испуг? Они же не могли не видеть, что это самое обыкновенное письмо. Но сейчас я был не в силах вынести этот их затаенный испуг. Я снова вскочил, резким рывком. Насколько он был резок, я увидел по их лицам. Отшвырнул стул и, так и не услышав никакого вопроса, ушел в свой кабинет.

Там я надорвал конверт и прочел: «...хорошо, если бы ты мог немедленно приступить к исполнению своих обязанностей, завтра прибывают автоматы...»

Немедленно? А разве ты ждал иного? Так и должно быть: поспешно, живо, давай-давай! Я прикрыл глаза рукой. Что это — головокружение? От радости? Вздор. Никакое не головокружение. Только жест. Заученное движение, подражание актерам экрана. Итак, я чувствовал себя хорошо. Была даже непринужденность, почти бесчувственность. Дело сделано. Что же еще может произойти? «Хорошо, если бы ты мог немедленно...» — прочел я еще раз. Вместе с тем я же ощущал в глубине души, что Дитрих Барч только подал знак к старту, что бег с препятствиями только сейчас начнется, и я еще отнюдь не у цели, да в эту минуту я даже еще не готов к бегу. Ведь возникшая на горизонте дорога птичьих перелетов прошла сквозь меня и в мертвом времени связала неизмеримое.

Я уже твердой рукою снял телефонную трубку. В ней загудело. Я слегка прижал ее к уху, и до меня донеслись чужие сигналы, причем, если бы я долго и терпеливо вслушивался в них, я мог бы расшифровать передаваемые ими вести и сообщения. Однако я не стал разгадывать эти сообщения, я вытянул указательный палец, чтобы набрать номер моего шефа. Еще совсем недавно вызвал он меня к себе и сделал замечание, заявив:

Раз я нахожу правильным не приводить точных цифр, а упоминать примерно о нескольких сотнях тысяч, то считаю простым упрямством с вашей стороны все время так настаивать на шести миллионах.

Но, господин директор, возразил я, ведь было шесть миллионов, шесть миллионов одних евреев, которых истребил Гитлер, уже не говоря обо всех остальных.

Господин коллега Рейнеке, не осложняйте ваше пребывание в нашей школе еще и такими пустяками.

И в то время как я набирал первую цифру телефонного номера нашего шефа и диск поворачивался в обратную сторону, я заранее рисовал себе картину, как директор поведет себя, видел, как он подходит к телефону, снимает трубку и выслушивает мое краткое объяснение. Вы могли бы меня предуведомить заранее, господин коллега, скажет он. Послушайте, шеф, я охотно бы у вас остался, определенно. С вами все в порядке, несмотря на шесть миллионов, но вы сами понимаете, что теперь это не имеет смысла. Итак, выше голову, old boy *, сказал бы я себе, почему у меня раньше не хватало храбрости держаться с ним решительнее? А что я собой представляю? Когда меня здесь не будет, вы легче сработаетесь с коллегами. Сервус, старик, не поминайте лихом или поминайте, если вам угодно, сказал бы я.

Но следующей цифры я не набрал. Я вытащил палец из диска, и рука уронила трубку на рычажок.

Я положил развернутое письмо на стол и обернулся, услышав за спиною шорох.

— Что это за письмо, Энгельберт? — спросила мама. Позади нее стояла Луиза и вытягивала шею, как видно мучаясь безмолвным любопытством. Мне стало ее жаль, она все еще считала, что пользуется моим полным доверием.

— Ничего особенного, это от Дитриха Барча. Ну, знаешь, мой фронтовой товарищ.— Я встал из-за стола и направился к двери. Чтобы пропустить меня, обе женщины робко отступили.

— С ним что-нибудь случилось? — спросила тетя Луиза, но я молча покачал головой и вышел в прихожую. А позади я почувствовал, как обе женщины стоят, скованные непониманием и, вероятно, слегка рассерженные моими скупыми ответами.

Уже взявшись за ручку входной двери, я сказал, не оборачиваясь:

---

* Старина, старик *(англ.)*.

— Мама, позвони, пожалуйста, директору и скажи ему...

— Что это за скрытничанье? Объясни наконец, в чем дело! — Она схватила меня за плечо и повернула к себе.

И вот она стояла передо мной. Никогда еще я не видел ее так отчетливо — неотвратимо близко, во всей таинственности ее действительного существования. Она стояла передо мной, как воплощенная забота обо мне, ее единственном ребенке: глаза, выцветшие от горя; руки, всегда готовые защитить; сердце, которое изнашивалось от постоянного волнения за единственного сына,— сколько горестных мыслей прочел я в морщинках ее лица. А также заботу о спасении души ее единственного дитяти и мучительную боязнь, как бы ей не пришлось тщетно ждать своего сына на небесах.

— Скажи ему... извинись за меня. Я сегодня не приду в школу. Скажи, что я заболел или мне вдруг пришлось уехать, кто-нибудь умер или еще что-нибудь. Ты уж что-нибудь придумаешь, мама. А меня сейчас ни о чем не спрашивай.

Луиза что-то пробурчала, но ее слов я уже не разобрал. Через палисадник я шел на улицу, в полной мере сознавая всю важность принятого решения; под его влиянием я уже становился другим и рвал связи с прежней жизнью еще до того, как это решение выполнил... Ведь одно то, что ты его сын,— уже неудача. Да и кто ты? Неисчезающее прошлое. Укор совести для твоих коллег, живое напоминание, дышащее у них на глазах, укус в их память: сын Низачтока. Освободиться через это решение; выкупить с помощью этого решения, во всей ее полноте, привилегию собственного существования.

Перед домом Зондермана я остановился и засвистел. Ничто не шевельнулось, я свистнул еще и еще раз и продолжал повторять первые четыре ноты бетховенской пятой симфонии до тех пор, пока окно в гостиной не открылось и в нем не показалось массивное нечто. Его я не звал, его — нет. Один раз он уже мне помешал. Это случилось однажды под вечер, в моем кабинете, прошло едва две недели, как я стал асессором средней школы нашего городка. Я потерял ощущение времени и пространства, погрузившись в чтение книги под названием «Научные данные о действии водородной бомбы и о том, пробил ли час ее применения». И вот мне помешали, выхватили меня из круга моих мыслей, швырнули обратно в тесное пространство комнаты, и тут только я понял, что кто-то нахально и настойчиво сигналит перед домом коллеги Зондермана, именно эти звуки и оторвали меня от картин гибнущего мира с отравленными радиоактивностью океанами и материками: атолл Бикини и японские рыбаки, Невада, Сибирь и Европа. И тут я увидел сквозь занавеску на окне блеск аристократически вытянутой черной машины, этакая элегантная рептилия, выхоленная до зеркальности.

Внизу продолжали сигналить — один и тот же однообразный звук, раз от разу все продолжительнее, он наплывал волнами, и волны эти растворялись, образуя спирали, кружили, обвиваясь вокруг меня; потом звуки стали еще протяжнее, они были полны яростного упорства и в этот предвечерний час разносились над бульваром, как те предостерегающие вопли, которые порой врываются в наши сновидения; мы просыпаемся и только тогда понимаем, что кричали сами.

В доме Зондерманов все было тихо, и я уже хотел распахнуть окно и высказать свое возмущение, но вдруг весь этот ужас кончился. Наступила тишина, однако она была насыщена новым страхом. Дверцу машины открыли рывком. Кряхтя и задыхаясь, из нее с трудом протиснулось и затем вывалилось на улицу нечто массивное, широкоплечее и богатырское, покачало головой, окинуло хозяйским оком дом Зондермана, еще раз просигналило, перед тем как захлопнуть дверцу, и уже тогда раскрыло объятия так широко, словно хотело заключить в них целое се-

мейство, а затем, горланя и гогоча, утиной походкой устремилось в палисадник.

Наконец-то, Хильдхен, Хильдхен! Вы все спите, что ли?

Я высунулся из окна и увидел ее, Хильдегард Зондерман — тебя, Хильдегард! Волна крови бросилась мне в голову — извещаю о помолвке моей дочери с господином Энгельбертом Рейнеке — впервые после моего возвращения увидел я ее сейчас, в узких, обтягивающих брюках и черном пуловере; и я словно видел сквозь них всю тебя — Хильдегард! — я увидел наш сарай, и вмятину в соломе, и в ней Хильдегард, увидел нежное чудо ее груди и темные полумесяцы подмышек над холмами, а под ними — тревожное биение сердца; увидел твои узкие черные брюки, Хильдегард! Отчего я в первый же день не пошел к ней, в первый же час? Она не изменилась, мой пульс забился быстрее, он помчался прочь, куда, куда же? Нет, нет, Хильдегард не изменилась. Она была очень сдержанна и, может быть, даже недовольна, когда щупальца чудовища обхватили ее и морда дога поцеловала.

Руки прочь, старина! Она мне принадлежит, Хильдегард, все еще принадлежит — извещаю о помолвке моего сына с фрейлейн Хильдегард Зондерман — мне, я это знаю; нет, я этого не знаю, меня долго не было, меня слишком долго не было; но она не изменилась, нет, нет.

Вы что, не узнаете меня, ласково проворчал толстяк, а Хильдегард, увидев меня у окна, холодно отвечает:

Ну как же, дядя Пауль, но ты ведь мог позвонить, а не сигналить как сумасшедший.

Ну да, ну да, смеется колосс, ведь прошло так много времени, а я люблю небольшие скандальчики, ты ведь знаешь. Но ты чудно выглядишь, Хильдхен! Совсем как прежде, прелестная девочка! Наше солнышко. Право же, прелесть.

Прелестная девочка, сказал этот идиот. Наше солнышко! Хильдегард — девочка! Девочка превратилась в женщину. Заметив, что Хильдегард кивает и улыбается мне, он повертывается, смотрит на меня и едва заметно приподнимает руку.

Он не мог не узнать меня, сына Низачтока. Может быть, он надеялся, что ему уже никогда не придется меня увидеть, со мною встретиться. Может быть, он надеялся: и этот пропал без вести, бедный малый. Или надеялся: пал смертью храбрых за фюрера, народ и отечество, как и Зигфрид Зондерман, единственный мальчик, остальные пять — девочки, дядя его очень любил. Возможно, думал и так: оба они остались на поле брани, что ж, ничего не попишешь, благоговейно сними шлем. Но думал и надеялся впустую. Тут вы с вашей надеждой попали пальцем в небо, Пауль Зондерман.

Дядя Пауль, к этому имени родители, за четыре года до начала нового века, прибавили второе имя—Верлен, Пауль Верлен Зондерман. Так вот, мне не пришлось доставить вам это смертельное удовольствие. Всего лишь легкая рана в плечо. Совсем легкое повреждение, которое скажется только при беге на сто метров или при будущих парадных маршах, вот и все, мне повезло, Пауль Верлен Зондерман, прошу извинения у ваших надежд.

Они вошли в дом.

Вечером я набрал номер Зондерманов и услышал ее голос, чудесное, хрустально-чистое звучание, и опять услышал в каждом звуке невинную мелодию искушения, и мягко торопил ее, и торопил. И вскоре я тихонько запер внизу дверь отцовского кабинета и больше был не в состоянии говорить; она тоже не могла произнести ни слова; а затем ее черный пуловер повис на спинке стула возле дивана.

Ты делаешь со мной все, что хочешь, сказала она потом и не улыбнулась.

Наоборот, возразил я, наоборот, Хильдегард, это ты делаешь со мной все, что захочешь.

Год назад я получила твое последнее письмо, потом пришло еще несколько открыток, потом больше ничего. А теперь ты вот уже две недели в Нидерхагене и не показываешься.

Прости, у меня совесть нечиста.

Сказать все можно. Неужели нельзя было приехать хотя на каникулы?

Ну... на каникулах... знаешь ли...

О, я знаю. Ты меня забыл. Будь хоть честным: хорошенькие студентки и прочее. У тебя вылетело из памяти все, что было между нами, все, иначе ты приехал бы и забрал меня.

Откуда я мог знать, что ты этого ждешь?

Да, откуда ты мог знать! Я тебе никогда об этом не писала, верно, Энгельберт. Но раньше ты умел читать между строк; тогда мы думали, что можем свои мысли передавать друг другу на расстоянии, достаточно мне было подумать: Энгельберт, приди, и через пять минут я слышу — ты свистишь. Все прошло и забыто.

Нет, Хильдегард, определенно нет. Я тебя не забыл, я же не мог тебя забыть.

Тогда скажи, Энгельберт, любишь ли ты меня еще?

Как ты можешь спрашивать, вот так, напрямик...

Скажи, прошу тебя, скажи скорее, сейчас же.

И тогда все будет прощено?

Скажи скорее. Вот я лежу с тобой и хочу знать, нужна ли я тебе, мне все равно, но я хочу знать. Ты годами не показываешься, а потом звонит телефон, и вот я лежу с тобой. Скажи, скажи мне, да или нет, мне все равно, нет, не все равно; но я хочу знать.

Ты же знаешь, Хильдегард!

Нет, не знаю.

Да, Хильдегард, поверь мне, да, я даже сам не догадывался. Прошу тебя, поверь, я не забывал тебя, все эти годы не забывал.

Энгельберт..

И потом, когда время для нас вернулось, она сказала вполголоса: еще один год... если бы ты возвратился на год позднее, я не знаю, что тогда... было ведь очень трудно... и здесь, в Нидерхагене, и у нас дома. Иногда мне казалось, что надо сесть в поезд и поехать к тебе.

Почему же ты не поехала?

Она не ответила. Тогда я спросил:

И все это время... никакого мужчины... ты была одна... Хильдегард?

Нет, не одна. Она не отвернулась. Нет, Энгельберт, был даже ребенок, но он сразу же умер, теперь я этому рада.

Хильдегард не изменилась. И я постарался в эту ночь исправить то, что еще можно было исправить. Она все приняла, и я был ей благодарен за это.

Поздно ночью она поднялась, села и начала спрашивать, спрашивать о войне и ужасах, о мертвых и повешенных, об удушенных в газовых камерах. Спрашивала и потом сказала: прости меня, Энгельберт, иногда я верила, а потом опять отказывалась верить; я читала об этом в газетах и книгах; но отец всегда говорил: не читай ты этого вранья, все это гнусная пропаганда, кое-что, конечно, правда, но чудовищно преувеличено. На что же я могла положиться? Вот тебе я верю, одному тебе. А какой высоты была та гора?

Брось, Хильдегард, не следовало мне рассказывать.

Какой высоты? Ты же видел ее. Примерно десять метров? И только волосы еврейских женщин?

Да брось ты, я не хочу больше об этом вспоминать.

А что вы сделали с волосами?

Ничего. Нам пришлось смыться, русские наседали на нас.

А гора костей? — спросила она. Какой высоты?

Господи, да брось ты, Хильдегард.

Неужели ты не понимаешь, что я должна наверстать упущенное, раз ты опять здесь? Прошу тебя. А очки? Тысячи стекол от очков? Они смотрели на тебя, они еще и сейчас смотрят, я чувствую. Но это изменится, я помогу тебе, Энгельберт, и ты поможешь мне, да?

Ранним утром меня разбудил ее смех.

В чем дело? — спросил я.

Вот удивятся-то, когда я теперь домой вернусь. Дядя Пауль уже вчера вечером бесился, как бык, не хотел, чтобы я ушла в первый же вечер. Отец тоже был против; но отец отлично знает, что я всегда делаю то, что хочу. Ты бы видел дядю Пауля! Ну, я его от этих сцен отучу!

Да, Пауль Верлен Зондерман, я еще жив, я живучее, чем вам хотелось бы. Вы, с вашими надеждами, попали пальцем в небо. Я был ранен настолько легко, что могу еще громко посвистывать, и я сейчас своим свистом вызвал вас, может быть даже прервав ваш завтрак.

Теперь, когда он появился у окна, он, без сомнения, узнал меня. Я просвистел четыре ноты, и он вырос за оконной рамой как слишком полновесный ответ, казалось, он сейчас выдавит окно.

Лицо дога, выражавшее неподдельную жизнерадостность, лоб словно горный склон, обширное темя, поросшее жиденьким леском белокурых волос; нижняя часть лица тоже соответствующая — с крупными, резко выступающими чертами. Весь массив облечен в голубовато-серый, элегантного покроя костюм, который обтягивает благоденствующие телеса. Весьма импонирующая фигура, располагающая к себе, зрелая и по видимости обладающая добродушной силой плоти и убежденности. А потом я увидел на другой стороне улицы, как блестит поставленная в тени лип аристократически вытянутая черная машина.

— Извините,— сказал я, когда он не выдавил окна, а только оперся о подоконник, слегка высунулся наружу и вопросительно на меня посмотрел.

— Не за что,— ответил Пауль Зондерман.— Я вас тут же узнал по свисту, запомнил еще с тех пор, знаете ли. К сожалению, Хильдхен уже ушла в город.

— Спасибо,— сказал я.— А вы не знаете, куда она пошла?

Он ухмыльнулся и спросил: — Так уж не терпится? А вы не в школе? Минутку, пожалуйста, я сейчас спущусь.

Я мог бы уйти, но я остался ждать, сам не зная, зачем стою у ограды и жду Пауля Зондермана. И пока я ждал, время дало трещину и, как молния, вспыхнул передо мной тот вечер, когда я помогал отцу прививать розы в палисаднике, а Пауль Зондерман смотрел на нас через ограду, и отец спросил:

Ранены, господин Зондерман? — И оперся на лопату.

Да, да, черт побери, к сожалению, ответил Пауль Зондерман и указал правой рукой на белую повязку, в которой покоилась левая. Партизаны, эти парни из Сопротивления, знаете ли, и прямо посреди Парижа. Перехожу себе мирно бульвар, ночью, конечно, вдруг трах — и я лежу на земле. До чего же это отвратительно, когда не можешь защищаться. И он продолжал говорить: о коварстве и трусливых убийцах, о патриотах-фанатиках и о гляденье-врагу-прямо-в-глаза, говорил все торопливее, пока мы стояли друг против друга и улыбались.

Ведь Луиза давно уже выведала, а также отцу и мне было известно, что он, Пауль Верлен Зондерман и другой зондерфюрер, оба скороспелые офицеры, однажды схватили пистолеты, желая отстрелить головки у бутылок с шампанским: стой, грязный еврей! Катись в лоно Авраамово!

Они нажали на спуск одновременно, один стрелял прямо с бедра, другой — двинув рукой сверху вниз, причем офицеры уже едва держались на ногах, хотя все еще ощущали потребность услышать визг женщин; ни один из них в бутылку не попал, а только в зеркальную стену, давшую тысячи трещин, но не вывалившуюся из рамы; попали также в мраморный камин, стреляли несколько раз подряд, при этом икали, ругались, ревели, лопотали проклятия: чертов еврей, подожми хвост! Все же в горлышко бутылок попасть не могли и целились, стреляли, заряжали снова, опять целились и нажимали на спуск до тех пор, пока одна из присутствовавших голых девиц с воплями и стонами не оказалась в луже крови, пуля ранила ее рикошетом в голову, вскоре она уже не могла кричать — только хрипела в своей кровавой наготе, а через несколько минут, когда другие девицы перенесли ее на диван и принялись приводить в чувство водой и различными духами, а оба офицера, опустив руки с пистолетами, неподвижно стояли на тысячах осколков зеркальной стены и смотрели, ничего не предпринимая, девушка перестала хрипеть и умерла. И только тогда воцарилась глубокая тишина, девицы словно, оцепенели, окружив диван, а Пауль Зондерман обнаружил, что его мундир в лохмотьях и левая рука повреждена, рука и карьера тоже. Ведь из вермахта его уволили — так рассказывала Луиза, а она наверняка добыла точную информацию, иначе она не стала бы говорить.

Итак, он, Пауль Зондерман, был уволен и ждал военного суда за разложение вооруженных сил или что-то в этом роде. Но ему ничего не будет, уверяла Луиза, они распахнут перед ним дверь и скажут: ваш начальник взял свою жалобу обратно, или: принимая во внимание ваши заслуги перед отечеством и во время войны... Дело в том, что он добровольно перевел свой завод на производство вооружения. Какое именно оружие там производилось, Луиза не знала, но знала, что он не хочет возвращаться к себе на завод, пока не поправится. Да, разумеется, и не сможет, пока судебное дело против него не будет прекращено. Поэтому-то он и жил у своего брата, директора Вольфганга Зондермана. С тех пор как он получил этот странный отпуск для поправления здоровья, он привык время от времени посещать брата и делал это, даже когда война кончилась. Этой привычке я и был обязан его появлению у окна, когда я старался выманить Хильдегард, а также тому, что сейчас ждал его.

Пауль Зондерман проплыл по каменным ступеням, добрался до калитки и положил свои лапы на ржавую решетку.

— Брат сказал мне, что вам больше неохота здесь трубить и вы хотите смыться?

— Ваш брат, видимо, неверно информирован,— сказал я, и Пауль Зондерман так виртуозно поднял брови, что они образовали одну черту.

— Ну что ж,— отозвался он,— значит, просто наболтали. Жаль. А у меня тут кое-какие мысли возникли. Молодого человека вашего склада я мог бы отлично использовать у себя на предприятии, к вашему сведению: молод, отважен, решителен; человек, который знает, чего хочет, и, не церемонясь, делает то, что считает правильным, при этом честен до мозга костей, образцовый молодой человек, сказал бы я, который умеет и усердно старается следовать примеру своего отважного и решительно мыслившего отца, а немножко честолюбия при этом не повредит.

— Перестаньте, господин Зондерман, и, пожалуйста, не затрагивайте в своих шутках моего отца.

— Какие там шутки! А вы знаете, Энгельберт, что я произвожу?

— Не интересуюсь.

— А следовало бы, следовало бы, безусловно. Вы еще не осведомлялись? Это меня удивляет. Итак: игрушки, молодой друг, как всегда игрушки для наших ребятишек.

— Да, танки-автоматы и скоростные самолеты с кнопками сброса и фугасками в один сантиметр, они слегка щелкают, когда сбрасываешь их на голову врага, и атомные испытательные полигоны на картонных подставках, такие красивенькие, разрисованные, и противоатомные убежища с крошечными медсестрами и обугленными после атомного взрыва трупами, и атомные грибы, которые можно надувать, и противоракетные базы...

— Стойте, стойте, не спешите, это нужно запомнить. Молодой человек, вы меня удивили, я радостно поражен. У вас же есть идеи. А я как раз и ищу человека с идеями.

— У вас они, вероятно, уже истощились?

— Послушайте: когда Вольфганг заявил, что вот-де молодой Рейнеке больше не хочет и так далее... я тут же сказал себе: Пауль, ты его можешь использовать, плюнь на все эти раздоры, признайся ему в своих угрызениях совести, и он простит тебя, сказал я себе. Все мы, в конце концов, должны научиться забывать, не правда ли, ведь жизнь идет дальше. Ну, я вел себя по отношению к Низачтоку не совсем красиво, допустим.

— Прошу избавить меня от ваших фамильярностей!

— Но я, право же, не виноват, Энгельберт, право. Однако оставим это, забудем. Вы мне подходите. Я убедился, что вы не только отважны и честны до мозга костей, у вас даже есть идеи. Итак, я обращаюсь к вам по всей форме с предложением: хотите поступить на мой завод?

— Я не люблю, когда надо мною смеются, господин Зондерман.

— Смеются? Да я и не думал. Просто я носом чую то, что мне выгодно. Вы знаете математику и химию. Такой человек мне нужен. Кроме того, я не беру неведомо кого, со стороны: мы оба, в конце концов, знаем, кто мы и чего можем друг от друга ждать.

— Это известно одному богу.

Но Пауль Верлен Зондерман высунул голову из-за ограды, придвинул лицо ко мне вплотную и выкаченными глазами вперился в меня; он смотрел, не отрываясь, пока передо мной не остались только маленькие белые полушария его глаз и в них по дырке, окруженной пестрым ободком; мне хотелось уклониться, хоть на шаг отступить, мне хотелось бежать от него, но это не удалось, черт побери, не удалось уйти от его глаз; не отрываясь, вынужден был я смотреть в них, и выдерживать, и оставаться прикованным к ним, пока наконец не услышал смех, и лицо его — медленно, как луна,— отдалилось; он протянул руку через забор и положил ее мне на плечо, и рука его была тяжела.

— Не правда ли, мы знаем друг друга, мы оба. Тем лучше для совместной работы, мне кажется.

— Да, вам так кажется?

— Разумеется. Мы ведь многое пережили сообща. Вы, я и Низачток. Разве вы забыли вечер вашей помолвки? Такие вещи образуют спайку между людьми. Горе и вина́ крепче связывают людей, чем что-либо другое. Когда вы поступите ко мне, я буду поневоле постоянно вспоминать Низачтока. И это даже поможет мне стать немного лучше. Я ведь дрянной человечишко, развращенный и бессовестный, уж мне ли себя не знать. И тут для вас тоже благородная задача! Впрочем, я не требую, чтобы вы решали немедленно. Подумайте.

— Во всяком случае, я поговорю с Хильдегард,— ответил я. Жалкая попытка устрашить Пауля Зондермана, упомянув об его племяннице. Но он снова громко захохотал, потер руки и заявил:

— А это удачная мысль. И мне тут же пришла другая. Слушайте! Это же будет замечательно! Нет, какие вы мне внушаете идеи! Прямо сказочные! Вы же знаете, что предприятие должно перейти к Зигфриду... ну да... Но если вы войдете в него и окажетесь полезным, а потом во-

влечете Хильду... это же чудно, милейший, мы все там будем! И предприятие останется в нашей семье. Словом, вечер моей жизни в ваших руках. Обдумайте и сообщите мне ваше решение.

С последними словами он слегка оттолкнулся от решетки и, приседая, стал отходить, причем не спускал с меня глаз. А я стоял и смотрел, как толстяк кивает, затем он вдруг повернулся и, словно убегая, достиг входа в дом. Я так и не понял, прозвучал ли смех, который я вслед затем услышал, в моем собственном мозгу, или он действительно раздался по ту сторону захлопнувшейся зондермановской двери.

3

Я пересек улицу по кратчайшей линии, позади автомашины. Могло показаться, будто я устремился прямо к сверкающей рептилии Пауля Зондермана, словно хотел осмотреть ее вытянутый блеск. У меня отнюдь не было иммунитета против соблазнов такого способа передвижения. Напротив: живший во мне педагог — образец того, как вести себя во всех жизненных положениях,— иногда оказывался вынужденным, как пешеход поневоле, снова втереть себе под равнину кожи маленький бугорок чувства неполноценности, что обычно вызывало затем профессиональное удовлетворение. То удовлетворение, которое обычно вселяли в нас слова нашего директора, когда он говорил:

Цель вашей просветительной деятельности, мои молодые коллеги — мужчины и дамы,— можно было бы сформулировать так:

Развитие способности к определению для самого себя, а также для всего мира смысла нашей личной жизни в свете понимания бытия вообще.

Да, он, конечно, прав: определение смысла. Кто же это сравнивал человека с растением? Итак, необходимо определение, и по возможности точное: окрашенное в цвет плоти, лишь медленно вырастающее, но относительно долго цветущее растение, имеющее возможность с весьма различными степенями скорости передвигаться с места на место. Четыре стеблеобразные конечности, двухлепестковая крона, в старости поникающая. Два воронкообразных придатка, чтобы воспринимать приближение врага. Чувствительность к переменам погоды. Задатки двуполости, а также развитая однополость, не всегда пригодная для продолжения рода. Иногда этим существом овладевает возбуждение, подобное ярости,— причина пока еще не выяснена,— и оно нападает на своих сородичей, при этом оно порой уничтожает самое себя, а порой разрушает предметы и без упомянутого состояния возбужденности. Для окружающего мира представляет опасности, которые нельзя учесть. Корни: ввиду многообразных зацепок и в небе и на земле, а также в крови пока определению не поддаются. Встречаются экземпляры и без корней. Высокая одаренность в технических процессах, как-то: витье гнезда, пропитание, передвижение, защита кожных покровов, времяпрепровождение. Вид: Homo technicus, прежде назывался Homo sapiens, благодаря больше ни у кого не обнаруженной способности определять для себя и для мира смысл жизни, что является непременным условием его бытия. Но какой мир? Каковы его масштабы, возраст, глубина? Просто — мир людей и животных, планет, солнечных пятен, спиральных туманностей.

Тут на меня очень вовремя напал кашель, и я мог по вполне очевидной причине покинуть зал и оставить директора с его дорогими молодыми коллегами — дамами и мужчинами,— я, образец поведения во всех жизненных ситуациях, вооруженный профессиональной удовлетворенностью, которая иногда вдруг покидает меня — как вот сейчас, когда я

стоял перед блистающей автомашиной и чувствовал спиной чей-то взгляд — взгляд Пауля Верлена Зондермана.

Во всяком случае, я иногда грезил при дневном свете и от чистого сердца, грезил о собственном автомобиле, грезил о своем ритуальном вензеле, проставленном под договором о покупке, посвящавшим и вводившим меня в международное братство владельцев персональных машин.

Главное — потерпеть, дружок, всего четыре-пять месяцев потерпеть, всего полгода,— начиная с этого дня, когда мама положила письмо на газету и сказала: тебе письмо. И ты будешь восседать за рулем в своей машине с поднятым верхом, и мчаться стрелой по автостраде, и сворачивать в сторону, и тормозить, когда будешь въезжать в Нидерхаген, чтобы тебя могли видеть те, кто тебя знает и случайно стоит на тротуаре. И ты — только имей терпение,— впервые после перемены жизни явившись в гости к своей матери, так ловко подрулишь к стоянке свою спортивную модель, что это должны будут заметить и Зондерманы.

Теперь же мне, как мальчишке, до смерти хотелось надавать машине Зондермана пинков и исцарапать ее. Я охотно отыскал бы камень, несколько камней и запустил бы их сквозь стекло на красные подушки сиденья, так сказать, в виде добавки к новому совместному переживанию, на этот раз — без Низачтока. Сначала в боковые стекла, потом в ветровое стекло спереди — этаким булыжником с кулак — трах! Все же мне удалось обогнуть машину, не повредив ее. Когда я свернул на бульвар, образцовый педагог одержал во мне победу. Правда, это была лишь ничтожная, почти смехотворная победа в сравнении с тем поражением, какое я недавно потерпел от других машин на автостраде.

Эй, мальчики, уходите с автострады! — крикнул я. Еще три километра, и мы в Вассербурге.

Но они меня не послушались. Они стояли, сидели на корточках, лежали, вытянувшись длинной цепочкой, совершенно забыв о времени, по краям этой автострады с двухсторонним движением. Многие из них не только просто не послушались меня или даже воспротивились этому — они даже не могли расслышать моих слов и последовать им. Шестьдесят мальчуганов из младших классов, доверенные мне на один экскурсионный день, отданные под мою ответственность, это был шестидесятиголовый вертун и непоседа, и за все их царапины и стертые ноги, за насморк, переутомление и змеиные укусы — о худшем я даже подумать не решался — я должен был потом отчитываться. И все только потому, что и Кипп, и Беттенбюль, и учитель гимнастики Готфрид Штельтенкамп — он теперь опять, хотя так было не всегда, подписывался первым слогом своего имени,— только потому, что все они пошептались и предложили одного меня для руководства этим экскурсионным днем.

Ведь вы же самый молодой у нас, коллега Рейнеке.

А шеф промолчал из страха перед Киппом, Беттенбюлем и Штельтенкампом. Коллега Зондерман не высказал своего мнения. Вероятно, ради поддержания столь драгоценного мира в школе?

Эй! Эй! Уходите с дороги! Я кричал против осеннего ветра, и мне пришлось бежать, словно псу, по косому склону вдоль вытянувшейся вереницы мальчишек, повернувшись к ветру боком. Я вынужден был приказывать и грозить всякими карами и вторгаться в их грошовые пари, которые они держали, стараясь распознать еще не различимые вдали марки приближавшихся с грохотом машин.

Ну, скоро вы? Сдвинетесь вы когда-нибудь с места? Тщетные призывы. Послушались лишь немногие. Иные повернули головы и рассмеялись. Вероятно, они смеялись над тем, что вот какой-то пес-учитель бегает вдоль шестидесятиголовой змеи и лает. А может быть, смеялись оттого, что были смущены. Мне, во всяком случае, сквозь их смех слышалось хихиканье моих коллег.

Что ж, вы ведь самый молодой. (И: ведь вы сын Низачтока). И Фердинанд Кипп: вы слишком много думаете; а у нас нынче совсем другие заботы. И Йозеф Беттенбюль: вам отнюдь не повредит, если вы ознакомитесь с красотами нашего отечества. И Готфрид Штельтенкамп: вы ведете слишком сидячий образ жизни, молодой коллега: даже лучезарный дух не придаст красоты хилому телу.

Обо всем этом я размышлял, энергично шагая по бульвару. Позади меня — машина Пауля Зондермана, в сердце — понимание смысла бытия для самого себя и для мира. Так я проследовал мимо нашего дома. Когда я шел по той стороне улицы, у окна стояли мама и Луиза. Собственно говоря, я их не видел. Я их только почувствовал. А бульвар я пересек в надежде отыскать Хильдегард.

Послушай, Хильдегард: я не хотел тебе говорить, ни тебе, ни Луизе, никому. Не находил в себе ни слов, ни мужества, чтобы рассказать тебе о своих планах. Я не мог даже намекнуть на них. Ты уцепилась бы за тончайшую нить. Ты бы не потеряла из виду ее малейшего поблескивания, уловила бы ее легчайшее жужжанье, взяла бы ее между пальцами, потянула и вытянула из меня и не отпустила бы, пока перед тобой не оказался бы весь узел.

Я хотел сделать тебе сюрприз, Хильдегард, и я сделаю его, нынче, нынче.

Итак, слушай, Хильдегард: оно наконец пришло, это письмо от Дитриха Барча. Его уже нельзя не заметить, нельзя отрицать; я могу его уничтожить, могу порвать на мельчайшие клочки, смахнуть их в корзину для бумаг или сжечь на свечке; я все еще могу отказаться, не ответить на него, заставить себя о нем забыть. Но оно все-таки останется. Сделать его несуществующим я не могу. Отныне оно с нами, одно слово, одно предложение, запечатленное в памяти навсегда.

Нет, Пауль Верлен Зондерман: плевать я хотел на вечер вашей жизни. Я мало приспособлен, чтобы быть начальником большой промышленной богадельни с фабрикой игрушек в виде придатка — хотя бы и при наличии способности к осознанию жизни человека и определению ее смысла для самого себя и для мира. Не слушай, Хильдегард, не слушай Пауля Зондермана. Ты не видела его лица, когда он это говорил. Дай мне найти тебя. Я тебя ищу. Через полгода мы оба будем мчаться по автостраде и сворачивать и... слушай хорошенько.

Я искал ее и бродил под тихими деревьями. Ни вздоха в ветвях, ни шороха, ни шепота. Неподвижен купол небес, рассеченный сучьями на куски,— слушай хорошенько, Хильдегард. Не слушай Пауля Зондермана. Нынче утром оно пришло, и нынче утром золотые часы моего отца остановились. Что? Больше ничего. Я не могу тебе этого объяснить. Да и что я могу тебе объяснить?

Глубоко внизу, между темно-зелеными досками береговых креплений, поблескивала бегущая лента реки, и луна отбрасывала на нее наши две тени. Запах ночной сырости — я ощущал его и ощущал дыхание ее слов: останься же, останься. Но я ведь вернусь. Так все говорят, ты же идешь добровольцем, верно? Да, в Россию, да, ты знаешь, что они разумеют под словом «клика», но я вернусь, Хильдегард, я знаю! Так все говорят, не уходи, не уходи отсюда, я не хочу быть одна, не уходи, Энгельберт, у меня ведь остался только ты, теперь у меня только ты. Но я же вернусь, и я ощущаю запах ночной сырости и на своей коже прохладное прикосновение твоих ночных слов, Хильдегард.

Безветрие и тишина над деревьями бульвара. Безветрие над городом. В сущности, Зигфрид...— сказал Пауль Зондерман... Я должен был с войны вернуться, а сообщения... я уже многие месяцы слушаю сообщения — и не мог пропустить их, особенно сегодня. Сообщения? А может

быть, это были сигналы? Умершее время в золотом гробу. Часы я не осмелился завести. Все было в настоящем. Ничто не прошло. Безветрие над деревьями. Время дало трещину, как стена. И ничего не было в будущем, все — в настоящем. Сигналы? Какой вздор. Сигналы от кого, кому, зачем? Я не знаю, Хильдегард. Мне нужно с тобой поговорить. Дай себя найти.

Я дошел до конца бульвара. Говорил с Хильдегард, не разжимая губ, и всматривался в треснувшую стену времени. И вот издалека что-то придвинулось. Тень. Выросла и заполнила трещину в стене; сигнал, одна из тех картин, от которых я сегодня не могу отвернуться.

Утром, в начале первого урока, отец стоял перед своим классом. Он выпрямился и без улыбки, без ухмылки, торжественно поднял в нарочито замедленном темпе вытянутую правую руку. Но всего только до уровня живота. Тут этот нерадивый приветственный жест и замер, причем учитель не издал ни звука. И мы сделали то же самое, так как упражнялись годами и он никогда не останавливал нас и не призывал к точному выполнению «немецкого приветствия». Мы простояли довольно долго — целое мгновенье — у своих скамей с наполовину поднятой рукой, словно держали опущенный меч. И наслаждались этой сценой каждый раз, хотя она повторялась изо дня в день, когда первый урок был Низачтока.

Только Зигфрид Зондерман с первого же дня вытянул руку как полагалось, а никому из нас даже не пришла на ум мысль объяснить ему нашу издевательскую игру; но что мы могли сказать, ведь мы никогда этого не обсуждали, да, вероятно, и не нашли бы подходящих слов для объяснения такого пустяка. А Зигфрид поднял вытянутую руку на предписанную высоту точно, образцово, выпрямившись. Так, как считал это достойным своей коричневой рубашки, в которую впервые сегодня выряделся, и пестрых шнурков на ней и поверх нее, свидетельствовавших о том, что он горластый повелитель, научившийся сам подчиняться во всем по первому слову, и достойный член той молодежной организации, которая носит имя фюрера. Сначала он следил с ужасом за нашей своеобразной церемонией, вероятно показавшейся ему ритуалом каких-то заговорщиков. Потом упрямо насупился.

В перемену мы, при выходе из класса, безмолвно и угрожающе окружили его и заставили, в этом кольце, спуститься по лестнице. Шаг за шагом оттеснили мы его на маленькую, буйно заросшую сорняками площадку за гимнастическим залом, где обычно разрешали все наши споры и врукопашную и так.

Только Герберт Ладегаст, наш классный вожак, заявил:

Если шеф узнает о нашем немецком приветствии, это для тебя плохо кончится. И, после небольшой паузы, добавил: а если узнает баннфюрер, у тебя не будет ни одной спокойной минуты, понятно? Сказано было это отнюдь не громко, даже скорее вполголоса, но угловатое лицо Герберта придало этому заявлению особую убедительность; и больше ни слова за всю перемену.

Мы разомкнули круг, только когда раздался звонок, хотя Зигфрид вначале с бранью кидался на нас, пытаясь вырваться. Через некоторое время он успокоился, по крайней мере внешне. Уселся в бурьян, свистел себе в колени, возился со шнурками от башмаков, продергивал между зубами стебелек травы, в то время как мы молча смотрели на него. Сын нового директора сидел за решеткой наших ног. Вот была потеха!

Сообщение, сигнал заглохли, скрылись за незримым горизонтом.

Я сошел с бульвара и повернул влево, пересек одноколейный трамвайный путь, и передо мной открылась главная улица, до самого центра нашего городка, до того уголка с пивной, где я тоже не раз стаивал, бездельничая, и, презрев все запреты, выпускал из ноздрей белые нити

дыма, когда сумерки поселились в узких уличках и приглушали своей теневой ладонью все звуки, когда дома начинали засыпать и смыкали один глаз за другим, хотя то там, то здесь сквозь ставни и доносились радиозвуки из более широкого мира; они изливались и на богоугодную опрятность и на богобоязненные мечтания Нидерхагена. Вот и сейчас, в этот безветренный день, местечко, казалось, грезит: это сон о тех сказочных днях, когда бюргеры еще смиренно преклоняли колена и осеняли себя крестным знамением, когда церковнослужитель в белом звонил в погребальный колокольчик и капеллан, следуя за ним по середине безмолвных и скорбящих улиц, в воздетых руках нес умирающему последнее причастие.

А у меня было такое чувство, словно я только в это утро очнулся от нашего общего сна. Словно и я, с тех пор как вернулся домой, видел тот же сон и не знал, что это сон, как, вероятно, не знало большинство людей, живших под этими крышами. Словно я и сам был, до получения письма, только фигурой из сна о прошлом, о каком-то затянувшемся воскресном дне, и действовал, как все, участвовал в той же игре, скованный очень старыми правилами. И, будто тень, меня коснулось желание не просыпаться, хотя я уже давно проснулся, и пусть бы я не получал письма Дитриха. Но оно уже лежало на моем письменном столе, где мама нашла золотые часы. Или оно сейчас лежит в кухне, и обе женщины склоняются над ним, чтобы в третий, четвертый или пятый раз перечесть его, в надежде, что наконец поймут, о чем идет речь. А мне хотелось, невзирая на призраки прошлого, на Киппа и Беттенбюля, на Зондермана и Штельтенкампа, мне хотелось, чтобы сон продолжался. Сон о неизменной добротной честности нидерхагенского бюргера, о скованности одного призрака с другими призраками, сон о порядке под сенью церковной колокольни.

Но письмо прибыло, я пробудился. Счастливого пути! И я видел перед собою город, где родился и вырос, до самого центра, вдоль всей его главной артерии, по которой катились, как бусинки, то туда, то сюда озабоченные домашние хозяйки, проникали в паутину из домов и снова каплями вытекали из нее; где грузовики выплевывали свои товары и мчались автомашины. И надо всем этим вдруг появлялась, сначала неслышно, некая рыбина с дюзами, акула с дюзами, и почти через полминуты над как будто неприкосновенной грезой, над все еще неприкосновенной главной артерией города прокатывался громоподобный вздох.

Она была неприкосновенна, как был неприкосновенен Нидерхаген, хотя Низачток и пророчествовал:

Ибо придут на тебя дни... вещал он на уроках немецкого, утверждая, что должен дать нам почувствовать всю мощь слова в немецком языке, вещал торжественно и однообразно, на высокой ноте, а ученики воспринимали это с внимательной готовностью. Замкнутыми оставались в конце концов только Зигфрид и его два-три дружка, которых ему удалось завербовать с помощью своих неслыханных спортивных достижений. Отец же пророчествовал, цитируя отрывки из Библии:

Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя и детей твоих окопами и окружат тебя и стеснят тебя отовсюду. И разорят тебя, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени испытания твоего.

И затем, глядя в окно, он добавлял обычным голосом:

Это было сказано относительно Иерусалима. Пусть ваш преподаватель закона божьего объяснит вам, с чем все это связано.

И так бывало не раз, а несколько раз во время уроков немецкого языка. А над неприкосновенными, красноватыми и теперь почти что столетними стенами нашей школы развевалось примитивное подобие флага — грубого, багрового, в который было врезано, точно лаз,

круглое аляповатое пятно, белое и невыразительное, образец убогого чувства формы, присущего изобретателю подобных эмблем. И лаз был еще зарешечен знаком свастики,— ибо флаг этот хуже, чем смерть,— и все они поползли и подчинились свастике, сказал однажды отец, когда говорил с мамой и тетей Луизой о своих коллегах, а я подслушивал у дверей — все подчинились свастике, высоко поднятой над школьной стеной, осененной высокоствольными платанами,— ибо придут дни...

Неприкосновенные, хотя над ними прокатилась война, и по ночам, в высоте, раздавался рокот бесчисленных звеньев бомбардировщиков, когда звуковой гриб сирены на крыше смолкал и мимо этих стен проходили обратными волнами колонны беженцев. И солома лежала в опустевших классах, а на черных досках застоявшееся воображение солдат искало выхода в непристойных рисунках, а Сократ в нише возле лестницы был вынужден стоять в нахлобученном на него немецком стальном шлеме. Ибо придут на тебя дни за то, что ты не узнал...

По классам и коридорам разносились команды, хриплые и отрывистые, словно искромсанные. А позднее руки медсестер заносили на доски характер ранения, полученного за фюрера, народ и отечество, а в классах стонали искромсанные люди — оттого, что ты не узнал.

А потом, немного позднее, на доске появились надписи, выведенные нехитрым шрифтом. Данциг или Алленштейн, Бреслау, Комотау или Глейвиц. И в школьных помещениях плакали эвакуированные и беженцы, дети, женщины и старики — ибо придут на тебя дни...

И вот наконец смутьяны, сеятели беспокойства, враги мечты и нарушители воскресных сновидений исчезли, черные доски были отмыты, в классах произведена дезинфекция и ремонт, и все рассеялось, точно наваждение. Но это не было ни наваждением, ни сном, ни миражем. И вот черные доски с надписями, сделанными нехитрым шрифтом «Дидрих-Вильгельм, великий курфюрст», или: «Пятая заповедь божия гласит: не убий», или покрытые математическими задачами, обрели свое первоначальное назначение — ведь ты не узнал времени испытания твоего. Это было пророчеством.

Однако и город остался неприкосновенен, невзирая на библейские цитаты отца. И я шагал по главной улице. Я взошел по ступенькам, ведшим к окошечку на почте, так как надеялся встретиться с Хильдегард.

Светлое дерево стойки и стен только недавно было обновлено. Тетя Луиза принесла домой некое известие, торжественно остановилась под пылающими красными цветами Эмиля Нольде, которые она хоть раз в день созерцала, и сказала:

Мои дорогие. Господа из почтового управления, после того как было восстановлено помещение почты, сочли необходимым, быть может в соответствии с роскошью новой отделки, принять на службу красивую и молодую, во всяком случае привлекательную даму — переводчицу, знающую английский, французский, испанский и русский,— и посадить ее на особо привилегированном месте у окошечка номер один, где бы она занималась переводом на немецкий и с немецкого, а также поставить тут же скромно раскрашенную, и все-таки бросающуюся в глаза, и приковывающую внимание жаждущих быть обслуженными табличку с соответствующим объявлением, хотя еще никогда в нашем городе такого рода клиентов не бывало; ни разу, например, представитель русской национальности не воспользовался этой делающей всем нам честь возможностью вступить в покои местного почтового отделения.

Она умолкла, и я спросил: у тебя сегодня торжественный день, Луизхен?

Разве сегодня не четверг?

Нет, среда, сказала мама.

О, отозвалась Луиза и улыбнулась, извините, пожалуйста. Тогда я расскажу вам историю с переводчицей на языке, предназначенном для среды.

Довольно, довольно! — простонала мама.

А я сказал: при случае я сам зайду посмотреть новое помещение за стеклянной стенкой. Тогда мы сможем о нем побеседовать.

Свежее дерево и аромат быстро обретенной деловитости, все новое, чистенькое, одна из тысяч маленьких приемных для анонимного клиента. Много света, стекла и плакатов.

Если вы желаете поговорить с вашей тетей в Нью-Йорке — мы к вашим услугам.

И я видел, как она стоит к моим услугам день и ночь на больных ногах. Видел тетку из Нью-Йорка в баварском костюме. Я повернулся в другую сторону и прочел:

Если вы желаете поговорить с вашей тетей в Чикаго...

Нет, я не желал, я разыскиваю Хильдегард, фрейлейн Зондерман, знаете ли, стройную блондинку в черном пуловере... Хильдегард!

Поздравительные телеграммы — ставьте перед адресом отметку LX.

Авиаоткрытки — очень удобно.

Оставьте меня в покое!

Большеглазая девушка за окошечком для поздравительных телеграмм, может быть, такая же хорошенькая, как и дама — переводчица с русского языка, приветствовала меня громко и весело, назвав по имени, так что все стоявшие в очереди услыхали, как меня зовут: здрассте, господин асессор Рейнеке, и она откинулась на своем вращающемся кресле. LX. Откуда мы знаем друг друга, о ты, изящный профиль?

Но я ищу тебя, Хильдегард, только тебя. LX, слышишь мой сигнал, LX, LX.

Я чувствую на своей коже свежее касанье ночной слезы: останься, останься, Энгельберт, и трава под нами была так мягка, и Хильдегард повторила это еще несколько раз и назвала фамилии друзей и знакомых, которым не пришлось вернуться из африканских пустынь и русских болот, а потом она уже не просила, и луна уже не отбрасывала наши тени на сверкающую тишь реки, и впервые трава была под нами мягкой, и небо очень высоким, а луна вдруг начала алеть, видишь, Хильдегард, о, молчи, молчи, вот они, твои глаза, и трава все еще была мягкой, а потом я увидел, как луна опять побледнела, и мы услышали ночной поезд, он засвистел и, постукивая, ушел вдаль, навстречу луне, и казалось, мне теперь незачем говорить: я вернусь, словно я уже возвратился, как будто и все обогнавшая дрожь плоти, и затаенный страх, Россия и Африка, и широко разверстая пасть гибели потребовали только одной секунды вечности, а трава была под нами душистой и мягкой, и ночной поезд мчался прямо в луну, трава легла, точно образуя просеку, где мы на веки вечные найдем себе место и увидим, как луна заалеет и потом снова станет бледнеть.

Но для ме[illegible] пришел другой поезд и с грохотом унес меня прочь, после ареста Низачтока, после смерти отца я слишком боялся за судьбу мамы и Луизы, если добровольно не напялю на себя военный мундир. И опять-таки другой поезд привез меня обратно.

Девушка за окошечком приветствовала меня, LX, и громко назвала мою фамилию. Женщина, стоявшая в небольшой очереди, повернула голову, и я узнал мать одного ученика, которая вскоре после моего назначения явилась ко мне и сказала:

Вы же знаете, какой он, мой мальчик, Альфред, впрочем, он у меня единственный, он ни в коем случае не может остаться на второй год, понимаете, я обязана не допустить этого в память о моем убитом муже.

Говоря по правде, учителя должны были бы уже заметить, что у него нет никакой математической жилки. Чего только я не делала, и репетитора брала, и запирала его. Но он просто ничего в математике не смыслит. Как вы думаете, он может из-за нее застрять на второй год?

Я обещал матери обратить на него внимание и не придираться при оценке успеваемости, если у него окажется хоть какая-нибудь языковая жилка и я уверюсь, что у него в самом деле отсутствует способность мыслить математическими абстракциями, построить с их помощью невидимый, непредставимый мир, организовать его и держать в равновесии. Свое обещание я выполнил. Но Штельтенкамп на педагогическом совете заявил:

Удивительно, как это вы вдруг защищаете сына адвоката, павшего на поле брани...

Простите, что вы имеете в виду? — спросил я.

а... не всегда только сыновей погибших коммунистов, вот что я имел в виду.

Я очень вас попрошу, господин коллега...— вмешался директор. Но было уже поздно. И так как остальные молчали, Штельтенкамп воспользовался случаем и еще добавил:

Это же правда!

Столь необоснованное подозрение, хоть оно и было взято с потолка, не осталось в стенах учительской, и на почте это стало мне ясно.

Впрочем, пожалуйста, что касается меня, то я уже не злюсь. Я получил некое письмо.

Где же мне найти ее, Хильдегард Зондерман?

Один раз в месяц, за ужином, мама упрямо и безапелляционным тоном судьи заявляла: эта хорошенькая девушка из соседнего дома стареет прямо на глазах. На что я, так же неизменно и бесстрастно, при одном-единственном зрителе, тете Луизе,— это превратилось в конце концов в какую-то игру — наставительно возражал: есть все основания рассматривать то, что так легкомысленно называют постарением и старостью, по крайней мере с трех точек зрения: физиономистики, гражданского права и уголовного права. Наиболее соответствует моему возрасту и моим склонностям метод физиономистики, относительно двух других я не считаю себя компетентным. Что касается физиономии, то есть лба и глаз, губ, шеи и груди, я, конечно, не многоопытный специалист, а просто мужчина, у которого есть глаза, руки и все прочее. Итак, с точки зрения физиономистики, жизнь делится на периоды, причем каждый связан с определенными явлениями. Что касается, в частности, девушки-соседки, фрейлейн Хильдегард Зондерман, то она, конечно, как и мы все, идет утомительным путем к тому, чтобы стать старше. Но она еще отнюдь не в той стадии регресса, которую называют климаксом, когда только и уместно впервые употребить слово «постарение». Однако в данном случае до этого еще весьма далеко, что я могу засвидетельствовать на основании собственного, весьма определенного опыта. И у нее еще все в полном женском порядке, или, выражаясь грубее, но яснее, у Хильдегард все еще в состоянии текучести. А ее телесные и душевные, а также поистине женские, именно женские богатства как раз теперь готовы раскрыться самым чудесным и зримым, самым благовонным и желанным цветком, за это я готов поручиться.

В этом месте нашей игры мама обычно начинала волноваться, что сказывалось на ее кровообращении. Лицо ее лихорадочно пылало, и она несколько раз повторяла, обратясь к единственному зрителю:

Глупый мальчишка! Вот уж глупый мальчишка!

На что Луизхен неодобрительно щелкала языком, но под столом искала ногой мою ногу, как бы приглашая так же бесстрастно продолжать мои назидания старшему поколению.

И я высказывал следующую мысль: в возрасте фрейлейн Зондерман процесс постарения входит в ту стадию, когда четко определяются контуры и формы, устойчивые и основные особенности телесной массы, характерность лица и прежде всего взгляда, а также профилированная полнота бюста, крепость и вместе с тем гибкость талии и прямо-таки восхитительная реальность бедер.

При этом ключевом слове мама поднималась:

Глупый мальчишка! — И начинала убирать со стола. Затем опять проходил месяц, прежде чем она снова упоминала имя Хильдегард. Где же мне найти ее, Хильдегард? Я вышел из почтового отделения и снова очутился на безветренной главной улице.

Пророчество отца исполнилось: ибо придут на тебя дни...

Но это страшное исполнение пророчества, когда по всей стране камня на камне не осталось и всюду воцарился страх, не затронуло, по счастливой случайности, нашей школы и нашего городка Нидерхагена. Быть может, их защитила рука кого-то незримого, избавила от воплей гибнущих людей, от пламени, крови и смерти. Пощадили. Да. Но, вероятно, не потому, что мужчины и женщины этого городка лучше, чем люди в других местах, узнали время испытания. И, вероятно, не потому, что все они, от младенцев до стариков, все, кто из-за возраста, болезни или незаменимости остался тогда здесь, единодушно отдались под защиту покрова богоматери, следуя древним верованиям и обычаям, а также под влиянием тайной или явной стойкости. Правда, кое-кто на это решился, например, мама. И пощажены были не потому, что они отнеслись к неразберихе в своих мыслях и чувствах, как к чему-то неотвратимому, как к постигшему их всеобщему позору. Они же сами положили ему начало или поддерживали его и питали кретинизмом мысли, жаждой преклонения и веры в восходящую систему живодерства. Мерзости и постыдные деяния, удушения газом и сожжения, факты, для которых не хватало слов, а применявшиеся слова стали неприменимыми и потеряли смысл, слова, которые они знали или о которых догадывались или могли бы догадаться, если бы отверзли очи и слух, сердца и поры, если бы только захотели это сделать. Но они дали запрячь себя в колесницу и украсили волов и колесницу венками для празднества новой религии. И они плясали вокруг коричневого тельца, ибо этот телец уже давал молоко, чудо природы, и сулил жирное мясо. И они пели песни, заглушая голос выдрессированной совести, и размахивали флагами; флаги, флаги, целая страна, прикрытая флагами, целый лес флагов, выросший над городом, флаги, флаги — и вот опять перед моими глазами флаги...

Зазвонил телефон.

Оставь меня, сказал отец. Он ушел в свой кабинет, и я последовал за ним. И когда он снял трубку и назвал свое имя, я услышал рявкающий сиплый голос ортсгруппенфюрера. Но что говорил этот голос, я не расслышал.

Мама тоже вошла в кабинет. А отец сказал в трубку:

Страшно сожалею, господин ортсгруппенфюрер. Но мой пришлось отдать в починку. Совсем изорвался. Слишком часто был в употреблении, знаете ли, за последнее время. При этом он вынул из жилетного кармана золотые часы и положил рядом с телефоном на серебристую кружевную скатерть. Мама испуганно потерла лоб, я же прикусил язык и охотно потер бы руки; поскольку, несмотря на чувство жути, вызванное сиплым рявкающим голосом, кое-какое удовольствие этот разговор обещал, так как отец через некоторое время ответил:

Ну ладно, если это возможно. Очень вам благодарен.

Он положил трубку и опустил золотые часы в карман.

В чем дело? — забеспокоилась мама, а отец сказал:

Вожак местной группы считает неприличным и предосудительным, что наш дом — единственный в гирлянде красновато-пестрых домов на бульваре — не украшен флагом.

Я же тебя предупреждала, заметила мама, но меня ты ведь не слушаешь.

Не прошло и четверти часа, как мальчишка с землистым лицом принес свернутый флаг, одолженный нам местной группой национал-социалистской партии, и положил его на кухонный стол. И когда мы с отцом поднялись на чердак, мама крикнула нам вслед:

Леопольд, пожалуйста, не делайте там глупостей.

Отец положил древко флага на угол ящика и сказал мне:

Ну-ка, повисни на нем.

Я повис. Потом он оперся о другой конец, навалился на него и раскачивался до тех пор, пока дерево не застонало и в конце концов древко посередине не надломилось. Отец скрепил трещины двумя узкими планками, прибив их сверху и снизу, однако всего лишь в трех местах. Он работал с таким молчаливым увлечением и с такой тщательностью, как будто он столяр-профессионал, лоб у него покрылся испариной, и я уже не решался расспрашивать о смысле и цели этих разрушительных действий. В четвертой, не заделанной трещине он укрепил веревку.

Затем мы прицепили флаг к древку, выбросили его из слухового окна и осторожно выдвинули следом древко. Конец веревки отец продолжал держать в руке. И тут мы стали ждать, наблюдая улицу через слуховое оконце. Однако вскоре я высунулся в другое слуховое окно, взял полевой бинокль и посмотрел вдоль бульвара. Я увидел полоску флага — он висел развернутый и безрадостно и вяло хлопал. Ветер дул очень слабый.

Четыре раза мама подходила к лестнице и спрашивала:

Да что вы там делаете наверху, Леопольд? — И каждый раз отец отвечал:

Ждем.

Почти через час, в течение которого отец не поддавался ни на какие мои попытки завязать разговор, наконец раздались рев труб и крики «хайль», возвещавшие о приближении машин; тогда он натянул веревку. И точно в то мгновение, когда ортсгруппенфюрер, а за ним рейхслейтер со странной (германской?) фамилией Розенберг — мыслитель и изобретатель, сочинитель и сверх того пророк «мифа XX века», важный и овеянный своей все возрастающей божественностью,— когда рейхслейтер, стоя в открытой триумфальной машине, величественно следовал мимо нашего дома, сопровождаемый с флангов подобострастным треском мотоциклов его телохранителей, в этот миг отец дернул веревку, и притом так резко, что верхняя планка соскользнула с древка и место перелома обнажилось. Секундой позже взятый взаймы флаг уже парил в воздухе, затем медленно опустился в палисадник. А отец зарычал изо всех сил:

Ах ты падаль проклятая! Вот мерзкая скотина! Подлец! Ну и катись к дьяволу, свинья!

Ортсгруппенфюрер в моем полевом бинокле побледнел и остановил свою машину. Рейхснемец возмущенно поднял взор к нашей крыше и приказал водителю затормозить. Вся процессия дернулась несколько раз и стала. А отец из слухового окошка обрушивал на поднятые к нему бледные лица яростную брань:

Сволочь проклятая! Тухлая брюква! Гнилушка поганая! Ублюдок! Все нам испортил, гнусный подонок!

Ортсгруппенфюрер выскочил из машины, ринулся к нашей ограде, подбежали и другие мундиры, любопытные с бульвара прошмыгнули через колонну к нашему дому, оцепенев от гнева стоял Рейхсмиф в своей триумфальной колеснице.

И еще раз прозвучала отчаянная отцовская ругань: Фу, черт! Гадина шелудивая! Сжечь тебя надо, пока ты еще беды не натворишь! Негодяй! Скот! Падаль вонючая!

Прекратить! — наконец заорал ортсгруппенфюрер. Прекратить! Что это значит? Что там наверху случилось?

Да древко от флага переломилось посредине, теперь ясно. Вы не поверите, как я расстроился, господин ортсгруппенфюрер.

В толпе любопытных, собравшейся под моим слуховым окошечком, раздалось хихиканье, потом она разразилась громким хохотом и, словно по приказу, повернулась к рейхслейтеру. Тот весь как-то обмяк, спрятался в глубине машины, приказал ехать дальше, умчался прочь, а за ним — предводитель местной группы, телохранители, свита, все умчалось с пыхтением и треском.

Под вечер отец позвонил ортсгруппенфюреру:

Мне ужасно неприятно, я был в такой ярости, что просто власть над собой потерял.

Если это случится еще раз...— отозвался сипатый.

Я куплю новое древко для флага, сказал отец и при этом не улыбнулся и не подмигнул нам — ибо придут на тебя дни...— на страну и почву, на родную землю, для насаждения чувств и для пропитания нации, на землю и пространство для излишков народонаселения, ибо это народ без пространства; а главное — для метафизического утешения благородной расы и чистой крови, как усердно поучал нас без всякой иронии директор Зондерман.

Поэтому: необходимо проводить здоровую национальную политику, уделяя всемерное внимание нордической расе — продолговатая голова, узкое лицо, резко выступающий затылок, узкий нос, узкая нижняя челюсть, волевой подбородок, как выражение целеустремленного, благородного, аристократического характера; кожа светло-розовая, через нее просвечивает кровь; волосы гладкие, в детском возрасте нередко вьющиеся, цвет — от светло-белокурого, почти льняного, до золотисто-русого и темно-русого; радужная оболочка глаз голубовато-серая; в общем и целом — натура, предназначенная для фюрерства.

Зато о восточнобалтийских расах русского государства более чем через десять лет Фердинанд Кипп не побоялся заявить, правда лишь мимоходом и, вероятно желая внести свой вклад в борьбу с большевистской опасностью, следующее:

Есть сведения о том, что в дни большевистской революции целые орды детей, больных венерическими болезнями, угрожали прохожим на улицах больших городов и тем, кто им ничего не подавал, бросали в глаза и на губы болезнетворное вещество, а также кусали их, чтобы заразить; представитель восточной расы имеет также склонность к коммунизму, что проявляется на всей территории расселения этой расы и особенно в том, как часто совершаются преступления против собственности. У чехов, например, с их «богемской братией» эта склонность даже вошла в поговорку. И на немецком востоке, где очень сильна примесь восточной расы, более часты тяжелые и разнообразные случаи воровства. Ведь уважению к чужой собственности там резко противодействует большевистский коммунизм.

Обо всем этом мне сообщил Альфред Ханенберг, а я молчал, только бы сохранить мир. Раса и кровь, земля и пространство, человек восточный и человек нордический, еврей и коммунист — а вот о человеке как таковом все еще нет речи; и это, не прекращаясь, передавалось от поколения к поколению; слова, слова. и все же это капсулы, наполненные динамитом, ибо придут на тебя дни — и разорят тебя, и не оставят камня на камне,— вот пророчество, которое исполнилось. Не исполнилось оно только для Нидерхагена.

Все же многие наши сограждане не вернулись с фронта или из подожженных фосфорными бомбами больших городов. Им пришлось поплатиться, может быть, поплатиться за других ценой еще принадлежавших им по праву дней и часов, маленьких радостей вдвоем и бо́льших, в широком кругу.

Городок наш, защищенный незримой рукой, которую мне хотелось бы назвать случайностью, это крошечный остров, все еще раскинувшийся среди лугов до самой реки, как и века назад, окружен бульваром, усаженным липами. Старинные дома побелены заново, чтобы продлить весь этот сон. Улицы аккуратно вымощены. Построен новый мост. Течение времени здесь приостановилось. Вместо сгоревшей синагоги — единственной руины в нашем городе — теперь кафе, где матроны в нейлоновых блузках и в пестрых шляпках, украшенных плодами, торжественно вкушают послеобеденный кофе. Островок, уцелевший по непостижимой и уж совсем не заслуженной милости случая, LX, LX, LX — поздравительная телеграмма из нашего городка — этой вневременной шкатулочки для украшений; LX, LX, LX, еще раз благополучно выжили, настоятельно просим уделить несколько экземпляров нормально идущих часов.

Куда же мне обратиться, чтобы найти Хильдегард? Я хотел ее повидать. Я хотел, чтобы она была со мной и я мог заглянуть ей в лицо и спросить: как ты считаешь, Хильдегард? Ты уйдешь со мной, прочь из этого воскресного сна?

И я пошел: зажмурил глаза, так что осталась лишь узкая щелка и перед ней тянулся только тротуар. Первая улица налево, там она могла покупать масло и хлеб, молоко и сыр; в следующей улице направо — рыбу и картофель. И я двинулся наугад: первая улица налево, первая направо; потом первая налево и опять налево, все кругом, по кругу моей надежды. Я цеплялся за мысль, что Хильдегард отправилась за покупками в город.

После смерти матери — та умерла в последние месяцы войны, у нее был выкидыш, мальчик,— Хильдегард надела фартук и встала к плите, поднимала утром детей, следила, чтобы они чистили зубы, и провожала их в школу, гнала по паркету половую щетку и вытирала пыль с картин.

А затем она — так я представлял себе — отправлялась с сеткой из магазина в магазин. И, вероятно, делает это, закусив губы, согнув девичьи плечи под гнетом чрезмерной ответственности за многочисленную семью; а время от времени бунтует против предположения, давным-давно уже ставшего действительностью, а именно: будто она может духовно и физически заменить своим близким мать.

Маму! Я слышал, как она говорила это огорченно, со злостью. Не хочу я, чтобы они меня называли ни мамой, ни мамочкой, не хочу. Ко мне это не относится. Останься мое дитя в живых — пожалуйста. Но ты же еще ничего не сказал, Энгельберт.

Давай об этом забудем.

А ты можешь?

Без слез, Хильдегард. Я постараюсь.

Да я не плачу. Отцу следовало поискать подходящую женщину и жениться. Разве я виновата в том, что солдат не получилось?

Каких солдат?

Вместо всех моих сестер должны были родиться мальчики, солдаты. Они и убили маму. Почему я должна расплачиваться за то, что постоянно рождались девочки, что маме приходилось еще и еще раз терпеть, пока она не умерла? Я им не мать. Я ведь не мать им, Энгельберт. И не хочу ею быть.

Конечно нет. Подожди, скоро все изменится.

Как же? Когда же?

Она ходила в длинных холщовых брюках, в блузках с большим

вырезом и обтягивающих пуловерах. Носила крупные броские клипсы и челку. Она ловила жадные взгляды полнеющих мужчин, выслушивала заверения в любви робких голенастых юношей и танцевала гротескные танцы, где только представлялась возможность. Ей удавалось с явным успехом скрывать свои тридцать три года. Ее девичий облик помогал утаить несколько лет. Однако в собственной семье, для сестер и отца, все это не имело никакого значения.

Эльке и Брунгильда, Фрауке и Эдда, все четыре девочки Вольфганга Зондермана, родившиеся после тысяча девятьсот тридцать третьего,— это безуспешные попытки дать фюреру, помимо Зигфрида, по крайней мере еще одного солдата, поставить его на ноги и принести в дар отечеству на алтарь тысячелетнего будущего. Зигфриду удалось отыскать этот алтарь и на него броситься. Зигфрид Зондерман, сидевший впереди меня наискосок, через две парты, уже тогда дрожал от нетерпения, ожидая, когда поезд, покачиваясь, повезет его к этому алтарю.

Я искренне желал, чтобы Зигфрид опомнился, стал нашим товарищем и принял участие в тех играх, которыми Низачток старался оживить окружавшую нас атмосферу скуки:

Скуку Беттенбюля, в своей обычной ленивой и медлительной манере, однообразным тоном выборматывавшего вступление к гомеровой «Одиссее», как он это делал не раз со своими собственными стихами. Скуку старшего преподавателя Штельтенкампа — грубым лающим голосом он читал нам лекцию о значении спорта, который существует не только для того, чтобы сделать каждого человека сильным, ловким и смелым, но и чтобы закалять людей и учить их переносить невзгоды нашей великой эпохи, когда идет победоносная война. Скуку учебных планов, знамен и шествий, экстренных сообщений, воскресных обедов из одного блюда, мундиров и ограничения путешествий.

Раньше отец, мама и я, а иногда и Луиза ездили на каникулы к друзьям в Вену, в Рим или Париж, а однажды, когда я был еще маленьким, даже в Афины, но я был слишком юн, чересчур юн. К друзьям, с которыми отец и потом поддерживал переписку, ограниченную только из осторожности. Но теперь, когда наша страна превратилась в изолированную, затхлую провинциальную клетку, теперь мы на каникулах, прихватив под мышку одеяла, располагались просто на какой-нибудь лужайке или на песчаных берегах Ниды.

И мне хотелось, чтобы Зигфрид когда-нибудь принял участие в наших общих играх и стал настоящим школьным товарищем, а может быть, и другом. Он был сильный, живой. Он был смелый. Может быть, он — никто из нас на это еще не решался, даже Герберт Ладегаст,— может быть, Зигфрид однажды погрузится в опасные глубины черной речной запруды и, вынырнув оттуда, поднимет руку и покажет нам камень, который вырвал из покрытого илом дна. Или он прыгнет в лодку и погонит ее к плотине, где, пенясь и шипя, водный поток низвергается с десятиметровой высоты, позволит лодке подойти совсем близко и за миг до того, как она должна будет опрокинуться, оттолкнется веслом и будет бороться против этой гибельной воронки ловко, сильно и мужественно, пока благополучно не выплывет на спокойную воду. А мы будем стоять на берегу, подпрыгивая и подстрекая его, чтобы он подплыл еще ближе, а затем разразимся победным воем, когда он одолеет все препятствия. И мы понесем его на плечах. О таком празднестве мы часто говорили и мечтали. Но еще никто не дерзнул.

И вот однажды я увидел, как Зигфрид грызет кончик своей авторучки, тщетно ища какие-нибудь мысли для классного сочинения на тему: «Что понимал Фридрих Шиллер под свободой?». Я набросал на клочке бумаги несколько мыслей, сложил, написал фамилию Зигфрида и тайком переправил ему по рядам парт. Зигфрид развернул бумажку, обернув-

шись, взглянул на меня, смял ее и бросил на пол. Шарик выкатился в проход между партами. Зигфрид хотел загнать его ногой под скамью. Но опоздал. Низачток увидел его, поднял бумажку, развернул, подошел к моей парте, взял у меня из рук тетрадь. Молча написал он под моим начатым сочинением: неудовлетворительно.

Потом Зигфрид сказал: я этого не хотел.

Да уж ладно, ответил я. Мы взялись за руки и вместе пошли по бульвару домой — в первый раз.

Однако две недели спустя произошло следующее: Низачток возвращал домашние работы и предпоследнему, чтобы не слишком это подчеркивать, вернул синюю тетрадку Зигфриду Зондерману. Зигфрид, как и прежде, восседал за своей партой с таким видом, словно готовился к некой революции, и при каждом случае давал понять, что во всем, что относится к поведению, он пользуется как бы иммунитетом, ибо ему удалось примкнуть к самой высокой касте фюреров гитлерюгенда вскоре после того, как он приехал в наш город и поступил в нашу школу. Низачток подождал, пока в классе не воцарилась такая тишина, что шелест перевернутой страницы казался чуть не грохотом, и заговорил:

Вы не очень потрудились, господин Зондерман. Слова маркиза Позы: «О, дайте, государь, свободу мысли!», как видно, вас не вдохновили ни на интерпретацию этого драматического произведения, ни на собственные размышления. Что же касается свободы мысли, включающей свободу совести и слова у только что пробудившегося народа, который сражается за свое национальное жизненное пространство, хотя на него и изливается целый потоп гнусной пропаганды,— то не приходилось ли вам слышать о том, что это новое государство держит своих внутриполитических противников, например, исключительно смелого старика директора — в концентрационном лагере? Так вот я говорю, что свобода совести и слова у народа, вынужденного именно из-за этого вести войну, ценится не слишком высоко, и вы, как испытанный народом фюрер гитлерюгенда, могли бы это высказать, ибо наш фюрер достаточно гениален, чтобы указать своим соплеменникам, в каком направлении им надлежит использовать эту свободу. А именно: в направлении всесторонней, всеобъемлющей национальной цели — что за словесное чудище для изложения совершенно простой и ясной мысли, не правда ли? — ради присоединения и включения в принудительный комплекс воспитания воли. Ваша работа, к сожалению, неудовлетворительна и по разработке темы, и по стилю, орфографии, грамматике. Кроме того, я обнаружил у вас все возрастающую черствость. Какое-то упрямство, причины которого не могу понять. Вы отлично знаете, что все ваши отметки по немецкому языку весьма плохи. Что касается иностранных языков, то и там дело обстоит не намного лучше. Если вы не начнете заниматься как следует, можно сказать заранее, что вы не достигнете цели, поставленной перед классом. Почему вы не работаете, как все остальные ученики?

Голова Зигфрида была опущена на грудь, он энергично тер себе затылок. Не повертывая лица к Низачтоку и барабаня пальцами по парте, он ответил:

Сами знаете.

Я? Откуда же мне знать, почему именно вы, сын нашего уважаемого директора, противитесь тому, чтобы на пасху перейти в следующий класс?

Я не противлюсь, сказал Зигфрид, продолжая тереть затылок. Я вовсе не противлюсь. Только я знаю, какая тут ведется игра.

Значит, вы один знаете больше, чем мы, все вместе взятые.

Я тоже знаю, крикнул Петер Леппер.

Могу себе представить, сказал Низачток. Потом снова заговорил Зигфрид:

Почему вы нам задаете такие темы: «Свобода мысли»? Вы себя только что разоблачили всеми этими разговорчиками насчет свободы совести, слова и прочего. Кому нужны такие темы?

Вот уж действительно не ваша забота, Зондерман. Позволю себе попросить вас: интересуйтесь, пожалуйста, вашими отметками. Иметь отличную отметку только по гимнастике — для перехода в следующий класс этого будет, вероятно, недостаточно. Кроме того, я считаю, что вы слишком много времени уделяете этой вашей игре в главаря гитлерюгенда. У нас прежде всего нужно работать, а уж потом можно, при желании, изображать из себя фюрера, и вам придется это понять.

Чем я занимаюсь, не ваше дело! — Зигфрид разозлился и стал грубить. Ни в малейшей степени, поняли?! Когда я наконец буду призван...

Вы хотите сказать, когда вас отправят на фронт, на опустевшее место, заткнут вами брешь...

Можете в этом не сомневаться! Но вам ведь никогда не приходилось, как моему отцу, без передышки участвовать в боях. Там мне ваша свобода мысли, да и вся эта ерундистика — ни к чему.

Вам — да, господин Зондерман, боюсь, что так оно и есть.

Дайте срок, и вы за все получите сполна. Фюрер сказал, что во время войны телесная закалка — главное. Хвала всему, что делает человека стойким, сказал наш фюрер.

Господин Зондерман, честь и хвала всему, что изрекает ваш фюрер. Вы здесь у нас совсем недавно, но уже должны были бы понять, насколько именно я умею ценить мысли, я бы сказал, внушенные прямо-таки божественным провидением, взгляды и пророческую мудрость вашего фюрера. Что же касается телесной закалки, то здесь мы имеем дело не столько с молниеносными прозрениями вашего горячо любимого фюрера, сколько с нелепыми словообразованиями какого-то неизвестного субъекта, который усердно насилует этими словообразованиями и наш язык и здравый смысл. Закалка в дни войны или при подготовке к войне — это особого рода тренировка, это воспитание человека в духе борьбы и готовности к героической смерти, и поэтому я очень сомневаюсь, чтобы вам — в случае преждевременной гибели на глазах у врага — могло чем-нибудь помочь ваше тренированное тело; я, напротив, считаю, что человек, сильный духом и чистый помыслами, легче встретит героическую смерть. Потому я вам и говорю: честь и хвала всему, что дает нам стойкость, но при этом я имею в виду и ваш дух и все то, чем мы занимаемся здесь, в школе.

Зигфрид, обозленный, сидел за своей партой. Таким он еще никогда не видел Низачтока. Мы же, напротив, уже не раз слышали подобные высказывания и были удивлены и слегка ошеломлены тем, что Зигфрид не стал возражать. Вернее всего, он ничего не понял.

Зигфрид? Как он попал в ткань моих воспоминаний? Я не мог проследить начало этой нити, она оборвалась, и я пошел по улицам залитого солнцем города искать Хильдегард.

Когда я стоял перед сберегательной кассой, решая вопрос о том, искать ли ее и здесь, чтобы наконец освободить от ложного материнства — не слушай, Хильдегард, Пауля Зондермана,— кто-то тронул кончиком пальца меня за плечо. Я испуганно оглянулся, но тотчас взял себя в руки.

4

— Ты был на почте? — спросила она.
— Ах, это ты. Вышла на утреннюю прогулку?
— Я увидела тебя.
— Желаю тебе приятного моциона, Луизхен.

— Ладно. Издевайся. Я видела, как ты вышел из почтового отделения, Энгельберт.

— Мне надо было телеграфировать Дитриху Барчу, что я принимаю его предложение.

— Хорошенькая история.

— Не правда ли? Ты тоже находишь?

— А твоя мать? С ней ты совсем не посчитался? Да? Она очень рассержена.

— Весьма сожалею.

— Из-за того что ты с ней не поговорил. Ни слова не сказал. Все устроил втихую. Разве иначе нельзя было, Энгельберт? Она же все-таки тебе мать! Неужели надо было ставить ее перед фактом?

— Я уже сказал, что очень сожалею. Но иначе я не мог. А ты, Луиза, тоже сердишься?

— Так с матерью не поступают.

— Я все ей расскажу и попрошу прощения. Ладно?

— А я — мне зачем же сердиться, у меня, собственно, нет оснований, я ведь только сестра твоего отца.

— Моего отца! Сестра моего отца! Ты говоришь: я только сестра твоего отца. А мои коллеги говорят: это сын Рейнеке. А ученики говорят: сын Низачтока. А соседи говорят: вон тот, вон идет, это сын доктора Рейнеке. И ему принадлежат золотые часы, и письменный стол, и авторучка, и комната его, и кровать его, и розы, которые он посадил и за которыми ухаживал. И мама говорит: у меня осталась его почти новая рубашка. И ты говоришь: знаете, что я нашла на чердаке? Его подзорную трубу. Я говорю: это моя, и ты извиняешься. И главные улицы и переулки Нидерхагена говорят: сын. Говорят деревья на бульваре и на школьном дворе: сын. Говорят дома и окна: сын. Дороги и церковные колокольни, камни мостовой, лужайки за оградой на валу, двери и шторы: LX, сын, сын сын, LX.

Луиза остановилась, опустила руки, уставилась на меня, открыв рот, и промолчала.

— А ты, отец, что ты скажешь, спрашиваю я иногда. Сижу за его письменным столом, один, и не свожу глаз с его золотых часов. Тогда он говорит: Энгельберт — и больше ничего. И я отвечаю: хорошо, ты говоришь Энгельберт, но еще что ты скажешь? Еще? Энгельберт, мой сын, говорит он тогда. И я начинаю смеяться и громко с ним беседовать: итак, значит, и ты, отец, и ты говоришь то же самое — сын, и едва ли что-нибудь сверх того.

— Энгельберт, послушай. Тебя что, солнечный удар хватил? — спрашивает Луиза.

— Дай мне выговориться, сейчас поймешь. И если бы мне было безразлично, когда я это слышу, я все равно остался бы собой. А если бы я отнесся к этому серьезно, и нахмурил лоб, и попытался бы воспротивиться, то оказался бы тем более сыном. Значит, это до смешного неустранимо, успокойся, Луиза. Нестираемый знак, сын Низачтока, который, самое большее, готов быть сыном Леопольда Рейнеке и его супруги. Против биологической связи ничего не попишешь, да и с точки зрения разума тоже не возразишь. Но вот сын Низачтока?

— Это у тебя пунктик. Ты совсем спятил.

— Может быть. Итак, сын, который возвращается на пост учителя в ту самую школу, где был учеником, а его отец преподавателем. Это действительно граничит с сумасшествием. Весь город звал его Низачтоком. Они считали его добродушным чудаком, оттого что он до войны ездил раз в году в экипаже, запряженном шестеркой, с бульвара на рыночную площадь, чтобы там покормить голубей. Помнишь?

— Но также и потому, что он умел пить, как грузчик. А если у него

выпадал счастливый день — ты этого, наверно, уже не помнишь — он срезал цветы в своем палисаднике и раздавал их на улице прохожим. Но только тем, у кого, как он выражался, душа не подмазана коричневой краской.

Я знаю также, что именно он, всегда без улыбки, произносил торжественные речи перед выпускниками школы. Его можно было счесть чудаком и потому, что, как только коричневые рубашки пришли к власти, он вполне сознательно решил — и преуспел в своем решении,— что не вырастит для фюрера больше ни одного солдата и ни одной истинно немецкой девушки.

— Ну-ну, потише, мой милый!

— Вместо этого он сделался председателем...

— Не всегда, в некоторых случаях он был только членом совета...

— Ну ладно,— сказал я,— во всяком случае все это были аполитичные ферейны, разрешенные властью, они потом либо тихо скончались, либо их унифицировали. Верно?

— Верно. Он состоял, например, в союзе любителей роз.

— Сможем мы их все припомнить, как ты думаешь, Луиза?

— Не понимаю, чего ты хитришь?

— Еще он был в обществе любителей гвоздик и астр, в союзе поклонников голубей, в объединении кролиководов, в содружестве по облагораживанию коз.

— Ну, сейчас ты преувеличиваешь, совершенно как отец.

— Конечно, как отец, я же сын этого замечательного человека: в товариществе по разведению декоративных и плодовых садов и по выращиванию немецкого картофеля, в братстве по уходу за немецкими деревьями, а там — в секции немецкого тополя, в лиге друзей немецкого коня, в истинно немецком движении за скрещивание кактусов. Низачток был сумасбродным чудаком. Хотя бы еще и потому, что он через тебя, Луиза, время от времени и в весьма точных аптекарских дозах пускал слух, что он хоть и очень отдаленный, но все же родственник фюрера. И потому, что позднее он заказал фотографии партийных тузов, могущественных властителей рейха и некоторых ортсгруппенфюреров с рябыми физиономиями. Ими он украсил в своем кабинете всю стену рядом с полками, где стояли в ряд вещественные доказательства преступлений Гитлера против языка и стиля во всех доступных изданиях и все брошюры и книги коричневой эры, которые ему удавалось раздобыть бесплатно. Замечательный человек!

— И ты его за это упрекаешь?

— Ничуть я его не упрекаю, напротив. Я хочу только тебе объяснить, насколько я сын этого человека. Чем еще я могу быть после него? В его тени? Он сумел выделиться, он стоял на свету. А я? В тени, без надежды оказать какое-либо сопротивление, за что-то бороться, ну там за демократию или за что-либо другое, но бороться, это же отчаянно трудно, причем каждый день сызнова, отцу было легче. Я — учителишко, сын известного чудаковатого учителя-бунтаря. Сын Низачтока, и все! Сам по себе я ничто. Ведь и ты говоришь: сестра твоего отца. Почему ты не скажешь просто: твоя тетя?

— Господи, как странно ты все это воспринимаешь! Ну хорошо, если тебе так хочется: я твоя тетя. Доволен? Здравствуйте, фрау...— сказала Луиза.

Я не разобрал фамилии. Тетя остановилась и заговорила с какой-то женщиной. Я же медленно пошел дальше и начал, не двигая губами, беседовать с Низачтоком. И Низачток сказал:

Почему ты волнуешься, Энгельберт?

Я не волнуюсь, отец. Мне, знаешь ли, хочется рассмеяться. Хочется встать посреди улицы, задержать все движение и звучно расхохотаться.

Но, Энгельберт, разве ты забыл?

О чем забыл?

Ты вспоминаешь о фотографиях, о разных обществах, о нашей схватке из-за флага и о тому подобных вещах. Хорошо. Но разве ты уже забыл, ради чего все это происходило? Ведь все это должно иметь продолжение. Разве ты уже забыл о нашей школе?

Нет, нет, помню очень хорошо. Но я не хочу. Знаю, знаю.

Низачток повесил вылинявшую от дождя шляпу на крючок. Он только что начал привычную церемонию приветствия, и мы приготовились вытянуть руки уже почти ритуальным жестом. Все, кроме Зигфрида. И тут дверь распахнулась. Ворвался директор, встал, выпрямившись, рядом с отцом, молодой, свежий и, как видно, жаждущий активности, тотчас вскинул правую руку, продержал ее так довольно долго, а его ощупывающий взор скользил по ученикам, ряд за рядом, проверял, готовы ли мы затратить необходимую меру мышечной силы и почтительности. Но не нашел ничего, решительно ничего предосудительного. Затем сказал, нет, выкрикнул «хайль» и повторил еще раз, как имя божье в благодарственной молитве, имя того человека, которое стало уже почти легендарным и облетело весь земной шар, если верить пропаганде его телохранителей. С убедительным пылом и отлично имитированным почтением гаркнули мы ответ на его приветствие.

Шеф был, видимо, ошеломлен. Чего он ожидал? Или Зигфрид все-таки промазал? Сесть, сказал директор и явно начал импровизировать:

Я считаю полезным представляться каждому классу отдельно. Хочу несколько минут поприсутствовать на уроке. Прошу вас, доктор Рейнеке.

Тот направился к кафедре, а директор втиснулся на последнюю парту. Низачток спокойно уселся, тщательно выгрузил свой портфель и аккуратно разложил на кафедре книги, мел и ручки, после чего наконец приступил к занятиям.

На последнем уроке истории мы дошли до Фридриха Великого. Теперь он набросал перед нами как бы итог тех важнейших черт характера, какими обладали гениальные люди и вожди, лишь очень редко появлявшиеся в истории народов в благоприятный звездный и земной час,— может быть, до сих пор всего лишь три-четыре раза за обозримые периоды: Александр, Цезарь, Фридрих Великий и Наполеон. На этом их перечень пока кончается.

А наш фюрер? — спросил директор у нас за спиной. Мы вздрогнули.

Само-само-само собой разумеется, пробормотал, запинаясь, видимо растерявшийся Низачток и продолжал очень сухо рассказывать о Фридрихе Великом как о философе; о его несравненной неудержимой искренности; об ироническом складе его ума, о том, что был он человек умственный и несерьезный, он мог взирать на жизнь лишь сверху вниз, воспринимал эту жизнь то юмористически, то драматически, никогда всерьез; рассказал он о Фридрихе как о политическом деятеле, который, впрочем, отнюдь не утверждал, будто он совершенен и безгрешен, а тем более, что он гений, и не заставлял своих паладинов распространять такое мнение о нем — имеющий уши да слышит. И мы убеждались, что он рисует образ, во всем противоположный тому человеку, которого директор только что хотел увидеть в ряду гениев. Низачток говорил о Фридрихе как о стратеге, который предпочел бы быть в шкуре какого-нибудь Вольтера и не одобрял войны, хотя и вел войны — силезскую и семилетнюю — из особого психологического любопытства и своего рода страсти к театральности, что в истории нередко наблюдается у полководцев и у ведущих войны монархов.

И тут его прервало покашливание директора Зондермана. Мы были

в ужасе и опасались, что эти намеки на современность в присутствии нового директора уж слишком определенны.

Я был в ярости на отца и решил маме ничего не рассказывать. Хотя знал заранее, что он перед обедом непременно явится к ней с букетом — так бывало всегда после его упражнений в стрельбе по опасным мишеням — и поднесет ей несколько нежных перистых гвоздик. А мама именно поэтому догадается, что он опять пошел на риск и подверг себя опасности. Но и она ничего не скажет, только поблагодарит за искупительный букет.

Зачем ты это делаешь? — спросил я его.

И он ответил: она же так любит гвоздики.

Зондерман откашлялся, и после небольшой паузы Низачток продолжал: Фридриха заставляла вести войны проводимая против него политика окружения.

И потом, не переводя дыхания, добавил: в год его восшествия на престол родился Маттиас Клаудиус.

И дальше, не останавливаясь, дал обзор политической ситуации к началу первой силезской войны. И хотя он рассказывал о победоносном взятии крепости Глогау наследным принцем Леопольдом фон Дессау, это не помешало ему живописать смерть одного из солдат очень натуралистично, страшно и некрасиво, с хрипом и кровью, и допустил даже некоторую театральность — он задыхался, мучительно кривил лицо и делал дикие жесты, однако достаточно ясно при этом подчеркнул, что прусские солдаты и тогда уже умели сражаться и даже умирать за короля и отечество смертью храбрых; но тут отец замолчал, прямо посреди фразы, перевел дух, взглянул поверх наших безмолвно-растерянных лиц и сказал с глубокой серьезностью:

Да, чтобы не забыть: примерно в те же годы в Европе стали делать различие между зонтами для защиты от солнца и дождевыми.

Наступила тишина, в которой, вибрируя, угасали его слова. Три секунды, четыре секунды тишины.

Затем директор Зондерман прыснул со смеху. Толкая перед собой волну смеха, он проследовал через проход между партами, окруженный нашим бурным, в конце концов тоже разразившимся весельем,— Низачток в это время бесстрастно листал страницы своей книги,— вышел вперед и сказал:

Ну, хватит, и тут же опять рассмеялся чисто мужским заразительным смехом. С меня хватит. Низачток невинным взором посмотрел на него. А Зондерман сказал: выйдите со мной, пожалуйста, на минутку в коридор.

Что шефу от тебя надо было? — спросил я позднее. И отец ответил:

Он сказал, что никакой он не чурбан. Да, он уверял, что не чурбан и понимает шутку, только не нужно в шутке заходить слишком далеко, но это я и сам знаю. А Зигфрид с его плохими отметками, вернее, ну ладно, он хотел бы, чтобы я занялся им. Говорит со мной, как коллега с коллегой. Дело в том, что Зигфрид рвется уже сейчас в армию. Но он, отец, отнюдь не намерен отпускать его, пока у него не будет в кармане хоть аттестата зрелости, чтобы он мог стать офицером. Значит, ему ни в коем случае нельзя оставаться на второй год. Поэтому, как коллега коллеге, строго между нами...

Видишь ли, отец, я этого случая не забыл, я все это вижу перед собой, но сегодня не могу уже этому противиться...

Я остановился, поджидая Луизу. Она подошла и тут же сказала:

— А все-таки я сестра твоего отца, верно? И я тоже рассердилась по поводу этого письма, скажу тебе откровенно, Энгельберт. В конце концов, я не раз стирала твои пеленки. А когда ты выкурил первую сигарету и тебя потом стошнило, я поддерживала твою голову и принесла

тебе воды, никому ничего не сказала. Я носила твои письма к Зондерманам, позднее, когда осталась одна, после моего медового месяца. И я вязала тебе носки и пуловеры и отправляла посылки. Я утешала твою мать, чтобы она не поддалась отчаянию, когда осталась одна. А ты поступил нехорошо, Энгельберт, мне кажется, у тебя могло быть больше доверия ко мне после всего этого. И раньше оно у тебя было.

— Верно, тетя Луиза. Раньше. Тогда ты ни на что не закрывала глаза. Но когда мама мне написала: подумай, не сможешь ли ты здесь, в школе...

— Я, во всяком случае, не была за, Энгельберт. Не была. И я твоей матери сказала: оставь мальчика в покое, какой смысл ему здесь...

— Может быть, но возражала ты недостаточно энергично. Мама с ее чувствами оказалась сильнее тебя. Но ты, может быть, не предвидела, что произойдет, Луиза.

— Что именно?

— А вот то самое. Я и влип, пал жертвой маминой материнской тоски по единственному сыну. И, извини меня, Луиза, твоих слишком слабых возражений.

— Но ведь ты-то, ты знал, что произойдет, верно? Да-а, скажи, пожалуйста, что же все-таки случилось? Может быть, ты будешь так добр и объяснишь мне? И почему ты все-таки уступил, если знал, что́ тебя ждет?

— Я не знал, самое большее — предчувствовал. Конечно, с моей стороны было наивностью предполагать, что вы лучше меня разберетесь в том, можно ли мне работать в школе, где служил отец. Не следовало мне уступать. А теперь мои коллеги говорят: «ну да, сын этого Рейнеке», и никогда не смогут забыть, кем был отец. И ученики говорят: сын, сын своего отца, ибо Низачток — это молва и легенда, которая передается от поколения к поколению. «Вот, наверно, было время»,— говорят мальчишки.

— Значит, ты из-за этого хочешь уйти? Но послушай, Энгельберт...

— Ах, что вы знаете?!

— Пойдем дальше и не говори так громко. И неужели это непременно нужно обсуждать на улице?

Я разволновался. А собственно, почему? Ведь теперь все кончено, все миновало. Ответ Дитриха, видимо, потряс Луизу, словно запоздалая весть о нарушении верности. Я предал ее. Но мне все еще было важно иметь Луизу на своей стороне. Необходимо было вернуть ее доверие. А сейчас она рассердилась. И все-таки ее голос звучал не так жестко и отчужденно, как в тот час, когда она, не глядя ни на меня, ни на маму, а уставившись в стену и видя больше, чем мы могли подозревать, с напускным бесстрастием проговорила:

Муж погиб в Польше, ни детей, ни профессии. Ради чего, собственно говоря, я живу? Можете вы мне это объяснить, вы, занятые делом?

Что ты, Луиза! — сказала мама. А я встал и заявил:

У меня горло пересохло. Пойдешь со мной, Луизхен, выпить пива? Одному скучно.

О да, она улыбнулась и крепко схватила меня за вихры. Вот это хорошая мысль.

И теперь, когда я предложил выпить чашку кофе, она сказала:

— Вот это хорошая мысль.

Мы пошли дальше, и я попытался вернуть себе доверие Луизы.

— Понимаешь ты, Луиза, что это такое — проходить по коридорам, и классам, и школьному двору, где до меня проходил отец? Я вижу, как он появляется в дверях, я слышу его голос.

— Все это утихнет, Энгельберт. Когда ты проработаешь в школе несколько лет.

— Несколько лет... А вот не утихает. Я приехал сюда, как мог бы приехать любой преподаватель: я не задавал никаких рискованных вопросов; я преподавал, как все преподают, не вводил новых методов; прогуливался на переменах по школьному двору с коллегами, не только со старыми, но и с более молодыми, которые слышали всякие толки относительно Низачтока, но до сих пор не имели мужества расспросить меня, только коллега Блудау, может быть, все это раскопает и поднимет бунт против стариков, а я не хочу никакого мятежа, я хочу, чтобы меня оставили в покое; ни с кем я не стоял по углам, не шептался и не играл в заговоры; я намеренно избегаю ярких галстуков; мои волосы подстрижены так, чтобы это никого не возмущало ни в школе, ни в Нидерхагене; бороды я не отрастил. Как видишь, я самый обычный незаметный школьный учитель и коллега. Но я сын своего отца, я был женихом Хильдегард. Я — знак вопроса для всех. Я это вижу по их лицам. По их взглядам, которыми они меня окидывают или которыми только скользят по мне, я чувствую, что им кажется, будто я допрашиваю их — не словами, нет, а просто тем фактом, что я еще жив и осмеливаюсь жить в этом городе.

— Перестань, перестань, Энгельберт, мы же хотели выпить кофе.

— Или я слышу: не вороши прошлого, не вороши прошлого. Люди этого не говорят, но я слышу это, точно бесконечную литанию, подчас, как мольбу, как основную мелодию их фраз. Вся атмосфера полна этим — днем и ночью, во всем Нидерхагене. Прислушайся, Луиза! Всюду дышат и шепчут, всюду говорят и кричат: не вороши прошлого, не вороши прошлого!

— Энгельберт, ты же бредишь. Я ничего не слышу. Таким я тебя совсем не знаю. Скажи, может быть, ты болен или переутомился? Я предполагала, что какой-то кризис должен наступить, и примерно теперь. Но ты уже стал слышать голоса, и это мне не нравится. Это серьезные признаки мании преследования, берегись.

— Я не боюсь. Я прохожу коридорами, по которым уже проходил отец. А рядом со мной идет коротышка Фердинанд Кипп в очках без оправы, и он опять дрожащей рукой пишет на классной доске тему классной работы для своих учеников: «Почему Вильгельм Телль — если взглянуть на это с точки зрения морали нашего христианского Запада — не застрелил ландфогта Гейслера и, следовательно, не разрешил себе совершить убийство тирана?»

И рядом со мной идет Йозеф Беттенбюль, уже сутулый, но все еще с гривой седых волос, местный бард, чья муза, как и прежде, питается соками родной земли и пьет из источника подлинной народности, известный всему городу под псевдонимом Феликс Звонкозвучный, заставлявший нас переводить истерическую путаницу пресловутой книги фюрера на прозрачно чистую латынь Юлия Цезаря.

Луиза рассмеялась. Я был рад, что она опять повеселела. Мы стояли на маленькой площади перед кафе в бывшей синагоге. Низкий фасад был безупречно отремонтирован. Вероятно, мастера штукатурной косметики остались довольны своим искусством. Казалось, этот бледный безмолвный фасад всего несколько дней как выписался из больницы. Под белым страдающим лбом открывался бескровный рот и рядом с ним два круглых окна, похожих на два глаза, их мрак был крепко зарешечен, но казалось, они в то же время обречены никогда больше не закрываться. Лицо, полное страха, я сейчас впервые это заметил, и которому ни одно дерево уже не дает возможности укрыться в тени своей кроны. Пугала меня и как будто удавшаяся, но обманчивая попытка выдать образцовую санитарную чистоту за некое начало новой жизни. Я попросил Луизу пойти вперед, под тем предлогом, что мне нужно купить сигарет. Но едва за ней закрылась дверь кафе, как я поспешил к задней

стене здания. И там увидел то, чего опасался: стены небогатого дома, в котором некогда нашла приют синагога, наполовину уцелели. Архитектор прилепил к ним безупречный фасад. Однако у него не хватило средств заново отремонтировать весь дом; их хватило еще только на то, чтобы соскоблить с заднего фасада сажу после пожара. Обугленный труп стены был как бы захоронен в красном гробу новых кирпичей, от него веяло запахом сырого пепла и давнего пожарища.

Я простоял всего несколько секунд, вдыхая запах гнили; мне казалось, я снова лежу в постели и чувствую, как в мое плечо вцепились сотни костлявых рук и трясут и расталкивают меня: Энгельберт, Энгельберт! И от этого я проснулся.

Вставай, Энгельберт. Света не зажигай, сказал отец. Одевайся. На улице холодно, надень зимнее пальто и пойдем со мной, только быстро.

Я еще стоял, пошатываясь, и протирал глаза, пытаясь понять, в чем же дело, а его уже не было в комнате. Я оделся, накинул и зимнее пальто, но все еще не понимал, что случилось или должно было случиться в эту ночь. Строил наугад какие-то предположения, но не мог уловить хотя бы тень догадки.

Потом я оказался в темной прихожей, а отец вышел из родительской спальни, и мамина ночная тень на пороге приоткрытой двери произнесла:

Оставь хоть мальчика дома.

Когда мы спускались по лестнице, он поднял воротник пальто и надвинул мне на голову свою кепку, которую обычно надевал для защиты от солнца, работая в саду. Лишь на улице, при свете газового фонаря, я увидел, что он кутается в старое демисезонное пальто, которым мне уже лет шесть-семь назад разрешили пользоваться для постройки индейской хижины на чердаке, и увидел также, что на лоб его надвинута широкополая шляпа, а лицо остается в тени, и лицо это показалось мне очень чужим и даже каким-то подозрительным.

Пойдем, сказало мне чужое лицо и потянуло меня за рукав. Мы торопливо пошли в город. Еще издали, от железнодорожного шлагбаума, я увидел над крышами красный чуб огня вперемежку с полосами белесого дыма, пряди пламени и буйную игру красок.

Горит, сказал я. Ты известил пожарных, отец?

Он не ответил, зашагал быстрее и с непонятной злостью потащил меня за собой.

А где же это горит? — спросил я.

Но он не ответил, потянул меня вперед еще яростнее и затопал еще энергичнее мимо домов — опустив голову и наклонившись вперед.

Обычно во время пожара на улицах очень шумно, звучат причитания, раздаются приказы, в огне мечутся тени, шипит вода, тормозят автомашины, и вой сирен разрывает ночную мглу. Однако в эту ночь ничего не было слышно. Ни звука. Колокола не гнали над городом тучи звона, нигде не раздавались пронзительные сигналы тревоги, и нигде не было видно людей. Горел один дом, тихо и без помех. Единственный шум, который я улавливал, были наши торопливые шаги. Мы бежали словно во сне. Да это, вероятно, и было сном. Бежали через поглощавший все звуки зал какой-то призрачной, ни в одном календаре не отмеченной ночи; и наше вступление в эту пылающую тишину утратило всякое подобие действительности.

Но затем отец вдруг остановился возле окна, на котором лежал лишь слабый отблеск сострадания к ночному красноватому небу, выхватил что-то из-под пальто, щелкнул кнопкой, и свет его карманного фонарика вонзился в темное молчание, проложил себе путь в комнату. За оконной рамой повисла усмехающаяся рожа. Мужчина или женщина? Я не мог этого узнать из-за гримасы, которая искажала черты.

Во всяком случае, это была рожа, злорадно осклабившаяся, дрожащее ничтожество. Но зрелище это длилось всего лишь одну страшную секунду. Затем перед издевающейся маской опустилась гардина, а отец тотчас оборвал луч света и поспешил дальше, к соседнему дому,— я за ним. Гримаса в зареве пылающей ночи, усмешка во тьме.

И снова его световой меч вонзился в какое-то окно. Это окно было пусто, только вуаль гардины затрепетала. В следующем окне мы снова увидели: наглая гримаса, злорадная, ироническая, гнусная. Мне хотелось позабавиться этим паноптикумом, чьи фигуры были разбросаны в ночи, за холодными стеклами, позабавиться этим фантастическим разоблачением личин, которые отец как бы выхватывал из гущи молчания, хотелось посмеяться над этим фильмом о призраках. Но я не мог. Того, что там беззвучно, безмолвно свершалось, нельзя было понять даже с помощью смеха.

А отец метался от дома к дому, от окна к окну и как бы коллекционировал отвратительные физиономии. Меня бы не удивило, если бы он выхватывал их из бледно-красных оконниц и бросал в корзину с ручкой, которую я должен был бы нести за ним. С угрюмой точностью стрелял он лучом света в какое-нибудь окно, и оказывалось, что почти за каждым окном с вероломным бесстыдством притаились люди. И каждый раз, после мгновенного испуга, опускались гардины. Окно, свет, рожа, мрак, безмолвие. Еще и еще раз! Окно, свет, рожа, мрак, безмолвие. Гнусные видения, галерея нечеловеческих лиц, мимо которых мы пробегали, пока не приблизились к горящему зданию.

Синагога, воскликнул я, это же горит синагога!

Молчи, ни слова! — резко бросил мне отец. Пошли дальше!

Почему я не мог объяснить ему, что это синагога? Он рванул меня за собой на другую сторону улицы, мимо синагоги, которая пылала в одиночестве, но очень сильно и почти беззвучно. Все же на маленькой мощеной площади, где горел молитвенный дом евреев, я увидел озаренных красноватыми отблесками пожарных в форме, они держали наготове шланги с водой, но ничего не предпринимали. Только молча курили сигареты.

Теперь карманный фонарик нам был уже не нужен: пылающая синагога отражалась, как в зеркалах, во всех окнах, и в каждом из них молитвенный дом сгорал дотла.

Мы, видимо, что-то сделали не так, сказал отец, сунул фонарик обратно под пальто, прижался сам и притиснул меня к стене. Мы прокрались к следующему темному окну и заглянули в него осторожно, сбоку, чтобы нас не увидели.

Там уже никто не ухмылялся. Как ни странно. Там была только потрясенность. Отец решил это выяснить. Он хотел удостовериться. Итак — дальше, от окна к окну. Подкрадываясь, заглядывать внутрь — никакой насмешки. И здесь никакого злорадства, как в тех, никаких рож. Что же произошло? Или мне это приснилось? Ведь отец их тоже видел. Но здесь уже не было ни наглых гримас, ни фигур из паноптикума. А только страх и скорбь, ужас или беспомощность, а порой и отчаяние.

Чудно, сказал я.

Остальных мы просто напугали резким светом фонаря, понимаешь,— сказал отец.

Стоп, одну минуту! — Я удержал его. Здесь живет Штельтенкамп.

Ну ладно, хватит, сказал он.

Мы подкрались к дому и опять осторожно заглянули сбоку — и увидели его, нашего учителя гимнастики Готфрида Штельтенкампа: глаза широко раскрыты, нос приплюснут к оконному стеклу, а под ним серый туманный круг от дыхания. И все-таки — никакой издевающейся маски;

в угловатом лице Штельтенкампа, которое, будучи искажено гневом, словно распадалось на множество треугольников, если ученик не мог набраться мужества и надеть перчатки для бокса,— даже в этом лице мы увидели при буйных вспышках красок только испуг и страх, только ужас.

Ну хватит! — сказал отец. Надо было фонарь оставить дома.

Он повел меня в темную глухую улицу и потом — к дому Абрахама Шиллинга, друга его студенческих лет. В парадной двери матовое стекло было выбито. Я наступал на осколки, на ложки и ножи и на растерзанные книги.

Хочешь остаться внизу? — спросил отец. Но я поднялся с ним по лестнице. Однако и наверху нам пришлось перебираться через обломки мебели и перины, всюду валялись разорванные простыни, стопки испачканного белья, осколки и книги. Отец ногой толкнул дверь в коридор, торопливо шагая через разгромленную прихожую, прошел в гостиную, кухню, спотыкаясь вернулся, затем вломился в спальню Абрахама Шиллинга. Я не отставал от него.

Абрахам Шиллинг лежал, вытянувшись, на кровати, в круге света с красноватой каймой, падавшем от лампы под абажуром. Верхняя часть его тела была обнажена. Когда мы шумно вошли, он жалобно что-то забормотал, а доктор Гизен наклонился над ним и стал успокаивать:

Не пугайтесь, ведь я теперь здесь. Он перевязывал ему окровавленную голову.

Вы здесь? — спросил отец. Доктор Гизен обернулся, снял шляпу с головы отца, так как сначала не узнал его, уронил ее, потом улыбнулся и ответил:

Почему же мне не быть здесь, доктор Рейнеке? Я ведь врач, как вам известно.

Он уже сделал мне укол, сказал Шиллинг и застонал. Хороший человек этот доктор Гизен. Ах, Леопольд! Леопольд! Чем я провинился? Я же смирный, скромный, я приветствовал знамя, делал пожертвования, никого не обижал, я...

Тихо, вы должны сейчас лежать совершенно спокойно, сказал врач, а отец заметил:

Если вас здесь увидят, доктор Гизен, вы ведь лечащий врач СС...

Безмолвно повернулся доктор Гизен опять к своему пациенту и, наклонившись, продолжал бинтовать запачканную кровью голову.

А Абрахам Шиллинг снова жалобно заговорил:

Что я сделал, Леопольд? Наверно, я что-то сделал, раз всемогущий бог так карает меня. Хороший человек этот доктор. Я же побежал с ведрами, я хотел тушить пожар, ведь кто-то должен же был тушить...

И он рассказал, как они били его кулаками и дубинками и совали ему голову в ведро с водой до тех пор, пока ведро не опрокинулось и он снова смог дышать, как они потащили его за синагогу, пинали его, и таскали, и продолжали бить, и он в конце концов рухнул наземь, и они отошли, оттого что их осыпал дождь искр, и, если бы он не начал молиться и не собрал все оставшиеся силы, ему не удалось бы уползти оттуда на четвереньках — багровый дождь исколол бы его и он обуглился бы так же, как обуглилась и стала трупом синагога.

Абрахам Шиллинг сумел потом ускользнуть, спастись и скрыться, но несколько лет спустя, вместе с женой Аугуста Лемкёстера, нашего учителя рисования, он исчез бесследно в кровавом тумане. А труп синагоги отремонтировали, по крайней мере передний фасад, и отполировали до блеска столь добросовестно и расточительно, что для задней стены, которая сейчас своей неподкрашенной суровостью на несколько мгновений перенесла меня в прошлое, средств уже не осталось и ее никак не принарядили. А внутри, в синагогальном кафе, меня ждала Луиза.

5

Медленно сделал я несколько шагов — от задней стены до входа в кафе. Для того чтобы Луиза все толково передала маме, мне надо еще обстоятельнее разъяснить ей, почему я не могу остаться в Нидерхагене. И пока я наспех обдумывал свою защитительную речь, часовая стрелка сразу дернулась назад; я противился, я не хотел снова возвращаться в прошлое, пытался уцепиться за время, повиснуть на стрелке, но тщетно. Она проскочила у меня между пальцами и погнала меня обратно, в ту первую неделю после пасхи, когда Хильдегард и я, словно в каком-то угаре, готовились к помолвке.

Отец заказал себе на ужин жареную картошку. Перед ним поставили целую сковороду картофельной соломки. И мы с затаенным смехом смотрели, как он уничтожает эту гору, ибо знали, для чего он закладывает такую основу. Под вечер Пауль Зондерман в разговоре через ограду предложил ему пойти к Бееленхерму выпить пива, чтобы положить конец этой дурацкой истории с Зигфридом и его школьным аттестатом. Ему-де претят все эти ссоры. Отец принял приглашение.

Три часа просидели мы потом в гостиной, слушали по радио модную музыку, отгадывали ребусы, женщины вязали. Через три часа мама легла на диван и накрылась пледом, который мы обычно расстилали на прибрежном песке, когда во время летних каникул отправлялись на Ниду вместо того, чтобы поехать в Рим или Прагу, Париж или Афины. Однако она не заснула, хотя мне этого и хотелось. Она не сводила глаз со стены, куда повесила портрет папы, и я подозревал, что она под одеялом перебирает четки и молится. Наконец через четыре часа — Луиза все еще судорожно листала старые журналы в поисках нерешенных ребусов — мама сдержанно попросила меня сходить в пивную Бееленхерма и взглянуть, что поделывает отец.

Может быть, лучше мне пойти? — спросила Луиза.

Мама покачала головой.

Привести его?

Нет, ради бога, нет, Энгельберт. Твой отец не пьянчуга, которого надо вытаскивать из пивной. Только будь там, Энгельберт, понимаешь? Сиди за другим столом или у стойки, незаметно, чтобы ему не было так одиноко, и пусть он знает, что мы ждем его. Но торопить его нельзя. Разве вы не заметили, как он в дни пасхи сидел в своем кресле и курил сигары? Если он сидит и смотрит, как горка пепла все растет и растет, значит, ему не по себе.

Смешно, сказала Луиза с горечью, значит, ты считаешь, что ему не по себе? Как это тебе в голову пришла такая удивительная мысль? В ее голосе звучала горькая ирония.

Мне, разумеется, известно, что произошло, и Зигфрида я знаю слишком хорошо, если ты это имеешь в виду. Несмотря на все, отец до сих пор не поддался на их уловки. Но сейчас он сидит и смотрит, как растет горка пепла, и это плохо. Итак, не торопи его, слышишь, Энгельберт? Я еще потерплю, а если ты сможешь минутку поговорить с ним, сунь ему вот это в руку, сунь, когда никто не видит, слышишь, а нет, так лучше оставь у себя.

Она высвободила руку из-под пледа. Затем разжала пальцы, и на тарелке заблестел маленький крестик, величиной со спичечную коробку, просто крестик, не распятие, без украшений, черный и блестящий, его, как видно, гладили бесчисленное множество раз. Увидев его, я не решался коснуться маминой руки.

Возьми же, Энгельберт, сказала Луиза, это магический крест, он сделает его невидимым. Затем вдруг гневно добавила: не бери, к чему весь этот вздор? Разреши лучше мне самой пойти, тогда все эти глупые фокусы не понадобятся.

Луиза! — остановила ее мама, она была обижена. Ты раздражена, и все мы раздражены, но не срывай свой гнев на том, чего ты не понимаешь.

Ну, конечно, резко ответила Луиза, я во всем этом мало что понимаю. Но я понимаю, к чему мы пришли — и Леопольд и ты, мы все. А сейчас я рассчитала все и, по-моему, знаю, как нужно обращаться с этим толстяком из соседнего дома. Все в целом чудовищно нелепый фарс.

Нет в тебе истинной веры, Луиза.

Нет, допустим, ну и что же? Но я немножко верю в самое себя. И у меня есть голова на плечах, а в ней немножко того, что обычно называют здравым смыслом, может быть, не так уж много, но все же есть, и главное — у меня есть фантазия.

Она тебе уже не понадобится, Луиза. Разве ты не понимаешь, что настали дни суда божьего? В такие дни только господь может помочь нам, и он помогает тем, кто целиком полагается на него во всех своих сомнениях и только на него уповает, кто ко всему остальному слеп и глух и у кого сердце исполнено страха.

Проповедовать ты умеешь. Итак, пожалуйста, возьми крестик, Энгельберт, сунь ему в руку этот амулет, и если он будет держать его на груди, то станет невидимым, тогда они не смогут его схватить, но зато он сам сможет их ущипнуть.

Замолчи, Луиза, сказала мама со всей строгостью верующей. Возьми крестик, Энгельберт. Твой отец подарил мне его в день нашей свадьбы.

Я взял крестик двумя пальцами — указательным и большим,— причем мне удалось это сделать, не касаясь ее руки. Потом быстро опустил его в карман.

Надень пальто, сказала мама, идет дождь.

Я надел пальто и вышел. А в пивной Бееленхерма, между новой входной дверью и старой, вращающейся, я откинул воротник пальто и наскоро вытер волосы носовым платком.

Альфонс Бееленхерм, хозяин, стоял у стойки, крутил усы мокрыми от пива пальцами и, увидев меня, вытаращил глаза, но сейчас же их опять сощурил и указал кивком в самый дальний угол длинного зала. Радио ревело. Между двумя деревянными столбами, подпиравшими низкий потолок, я сначала увидел Пауля Верлена Зондермана, вернее, увидел не его самого, не лицо и не руки, а мокрое поблескивание в углах его рта — больше ничего. И только потом я обнаружил отца. Он судорожно улыбался, хотя меня еще не заметил: было самое время появиться и помочь ему. Я чувствовал себя сильным.

Но они сидели за круглым столом не одни. Между отцом и Паулем Зондерманом корчился от смеха учитель Фердинанд Кипп, на другой стороне гоготал старший преподаватель Фрид Штельтенкамп, и — нет, не может быть, это мне приснилось, но Альфонс Бееленхерм хихикал и тыкал толстым пальцем в сторону круглого стола — там сидел белокурый молодой парень, который весь трясся и покатывался со смеху, а затем бесцеремонно похлопывал по плечу человека с поблескивающими уголками рта: это сидел Зигфрид Зондерман, затянутый в опрятный мундир. Будь он трижды проклят! Что за дерзость, что за чудовищная наглость рассесться здесь среди гогочущих штафирок, в этом мундире, а рядом — судорожная улыбка отца! Отца заманили в ловушку, это ясно, и никакой жареный картофель тут ему не помог. Пауль Зондерман! Ну подожди, я до тебя еще доберусь. Чурбан, дерьмо собачье, скотина, сукин кот, подожди, ты у меня еще попляшешь, пройдет несколько секунд, и я буду рядом с тобой, и я тебе в рожу... я тебя в морду...

Коньяку!

...я схвачу тебя за галстук, и выволоку под дождь, и там поставлю пе-

ред собой, и пну прямо в пузо... так что оно у тебя сразу заиграет марш, теперь, дорогой мой, мы наконец сведем счеты...

Коньяку!

Ну что ты? Что ты? — заныл Бееленхерм, потащил меня за рукав в уголок позади стойки и зашептал, прикрывая рот рукой: где я тебе коньяк возьму, ты можешь мне объяснить, только говори тихо?

А мне все равно, желаю французского; вам же Зондерман сунул бутылку, вот ее и откройте, понятно?

Какую бутылку? Ты рехнулся! Они уже допивают ее, вон под столом стоит.

Тогда откупорьте вторую, живо, Бееленхерм!

Ладно, ладно, только тихо, будь же благоразумен, пей быстро, вот тут в углу.

Он грубым жестом сунул руку под стойку, согнулся, повозился там, затем винтом вывернулся оттуда с полной рюмкой и, прикрыв ее ладонью, мокрыми пальцами поднес к моим губам. Я залпом выпил коньяк, не моргнув опять протянул ему рюмку. И Бееленхерм вторично нырнул в шахту своей стойки и опять выпрямился, и я так же расправился со второй порцией, потом и с третьей.

А теперь хватит, сказал я, спасибо, отец рассчитается.

Потом я протиснулся мимо стойки и подошел к круглому столу, но никого не видел, только Зондермана и поблескивающие мокрые уголки его рта. И когда он меня увидел, он радостно заревел, встал, распростер объятия и с восторженным радушием, икая, приветствовал меня, причем чуть не повалился на стол; он вынужден был опереться на него, среди пивных стаканов и пепельниц, чтобы поймать мою руку, и действительно схватил ее, так как я подошел слишком близко к столу, чтобы дать ему в подбородок... вцепился в меня и подтащил к себе, к самому лицу, затем толкнул на стул, а мне хотелось тут же умереть.

Замечательная, просто великолепная мысль, Леопольд, что ты выдвинул Filius'a * только сейчас, в качестве второй руки. Ты великолепный тип, Низачток, определенно, садись-ка, Энгельберт.

Но Энгельберт уже сидел на стуле, с окаменевшими мышцами, готовый положить конец своей жизни, сидел на стуле рядом с Зигфридом.

Я только что рассказал несколько анекдотов из своей жизни, когда был в Париже, об этакой, знаешь ли, офицерской подстилке, она отлично знала свое дело, очень способный шлюхоид, если ты можешь понять, что это такое...

Не поймет, сказал Зигфрид.

...Ее ошибка была в том, что она зазналась, слишком высоко метила, маленькая бестия, пыталась выгнать от нас двух французских девочек...

Еврейк, вставил Зигфрид.

Пауль Зондерман чуть не подавился: Что? Что ты сказал?

Я сказал — еврейк, повторил Зигфрид еще спокойнее.

С чего ты взял? И это утверждаешь ты? Как это могло тебе в голову взбрести? Я ни о чем таком не осведомлен, просто две хорошенькие сучки, такие чернявенькие, а уж темперамент, никто из нас после них никуда не ходил, мы взяли их на свое иждивение, иначе они умерли бы с голоду, а было бы жаль, такие хорошенькие сучки.

Или их отправили бы в лагерь, где им и место, сказал Зигфрид.

Скажи, пожалуйста, какая муха тебя укусила? А? Ведь ты только что сам смеялся.

Да, но сейчас после твоего описания, дядя Пауль, мне кажется, это были еврейки.

Не болтай вздора!

---

* Сын *(лат.)*.

Если уж ты решил прятать евреек и спасать их от справедливой кары и нашего национального... дядя Пауль!

Кто это сказал? Ты слишком много выпил, милейший. И если бы даже... со мной случился этакий здоровый расовый грешок — подумаешь! Итак, веди себя прилично, не то я швырну тебя левой рукой прямо отсюда в твою постель. Кто бы они там ни были, мне в высокой степени наплевать.

А мне — нет, сказал Зигфрид.

Хватит! Заткнись! Ясно? А та, другая, немка, которая хотела их выставить, знаешь ли, она кое-что на своем веку повидала, можешь мне поверить, валялась на стольких постелях, что забыла, совершенно забыла и уже не могла вспомнить, чего добивалась в жизни, и ее, по случаю сухотки, отправили в лазарет, тогда мы наконец получили покой.

Фердинанд Кипп опять захохотал, хотя всего несколько минут назад всю эту историю уже слышал, что и подтвердил кривой ухмылкой. Зигфрид подчищал кожицу на ногте большого пальца. Фрид Штельтенкамп с задумчивой неторопливостью тянул пиво. Отец смотрел мимо меня на стойку.

Нужно повторить, заявил Пауль Зондерман, и лицо его засияло хитрой радостью. Твой Filius настроен недоверчиво, Леопольд. Необходимо повторить, иначе он подумает, что я просто обхамил тебя. Я, право же, не такой, малыш. Дело в том, что мы выпили на брудершафт, твой отец и ваш покорный слуга. Слушай, Леопольд, давай повторим.

Он встал, положил брюхо на стол, поднялся и отец, но нерешительно и не глядя на меня. Фердинанд Кипп откинулся на спинку стула. И они выпили, Пауль Зондерман — медленно, с наслаждением, отец — с некоторой торопливостью. Потом поставили на стол стаканы, разжали братские объятия, и Пауль Зондерман притянул к себе отца за отворот пиджака, наградил его символическим поцелуем с жирным чмоканьем сначала в левую, затем в правую щеку и сказал: видал, малыш? Вот что мы делали во Франции.

Франция, Франция! — пробурчал Зигфрид. А я считал, что мы эту декадентскую нацию победили!

Глупый мальчишка! Ишь чего захотел! Он считает, что мы эту декадентскую нацию давно победили!..— И Пауль Зондерман громко расхохотался. Нет, никогда ты этого не дождешься. Они слишком умны, они еще себя покажут. Дуралей-мальчишка, испортил нам все настроение.

Я полагаю, заметил Штельтенкамп, выводя в пене пивного стакана указательным пальцем зигзаги, я полагаю, что наш юноша не так уж неправ.

И тут опять вмешался сам Зигфрид: и кроме того, я просто не верю, чтобы немецкая девушка могла себя так вести в оккупированной вражеской стране...

Слушай, перестань. Хватит бубнить: оккупированная вражеская страна. Ты еще скажи, что детей приносит аист, нашелся тоже умник! Перестань пускать слюни. Я больше ничего тебе не буду рассказывать, понятно? Давайте выпьем.

Он кряхтя нагнулся, достал рюмки, вытащил из-под стола длинную бутылку с французской этикеткой, налил всем и поднял свою рюмку. Мы молча выпили. Отец тоже.

После этого инцидента общий разговор не клеился. Из неплотно закрытого крана на стойку равномерно падали капли, беседа уже не текла с прежней непринужденностью, и в конце концов Кипп широким жестом поднес к глазам руку с часами и установил, что полночь давно миновала. Он извинился, распрощался, а с ним вместе покинул пивную и Штельтенкамп.

И вот только четверо остались за круглым столом; мы курили и пи-

ли. Пауль Зондерман изображал из себя хозяина и делал это охотно, чокался с моим отцом, при случае — и со мной, а на Зигфрида не обращал никакого внимания. Один раз я пододвинул к нему стакан Зигфрида, но он отстранил его и сказал:

Этот — нет. Этот уж совсем маловынослив. Не думаешь ли ты наконец отправиться на боковую, племянничек? За твое здоровье, Низачток, искренне рад, что мы опять встретились, хорошо, когда есть с кем уютно пошептаться, одному скучно, одиночество — вообще ужасная штука.

Они снова выпили, и поговорили о разведении роз и садовых удобрениях, и снова выпили, и отец постепенно оттаял, и вышел из своего айсберга, куда он укрылся, и рассказал анекдот, Пауль Зондерман тоже рассказал анекдот, и оба рассмеялись, и Пауль Зондерман сказал:

Твое здоровье, Низачток, тот, кто изобрел это прозвище, просто гений, прозвище — первый сорт, ты не находишь, Энгельберт? Я тоже нахожу. И продолжал: а этот знаешь? И рассказал анекдот, которого отец еще не слышал; и отец спросил: а этот знаешь? И тогда отец рассказал свой анекдот; и постепенно я понял, что они друг другу рассказывают пошлые анекдоты, чтобы хоть немного посмеяться, и они смеялись все громче, отец тоже, а Зигфрид становился все тише, и вот он уже сидит в углу, как нарядная кукла, но прислушивается, это я чувствовал, прислушивается очень внимательно, особенно когда анекдоты рассказывал отец; и тут я убедился, что это совершенно идиотские анекдоты, ведь чем больше их рассказывали, тем труднее было уловить, в чем здесь соль; и когда прозвучало еще несколько пошлостей, я вытащил из кармана черный крестик, подышал на него, потер рукавом и положил на стол рядом с отцом, возле его рюмки. Он тотчас узнал эту вещицу, крестик выскользнул у него из пальцев, и щеки у него вспыхнули. Он быстро опустил крестик в жилетный карман. Но Пауль Зондерман это заметил и начал непристойно гоготать, причем гогот становился постепенно все оглушительнее, так что Зигфрид заерзал и боязливо покосился на дядю.

Отчего ты смеешься? — спросил отец.

Пожалуйста, извини. Я же — господи, вот чудно-то,— я же считал, что ты замаскированный коммунист, понимаешь ли, что ты засекреченный красный.

Ну и? — снова спросил отец.

И я восхищался тобой, определенно, ведь в первые годы новой власти на меня самого иногда накатывало, у каждого это бывает по-разному. А у тебя крест, чудотворный крестик, такие привозят паломники, разве я не знаю, господи. И он хлопал себя по животу и не переставал орать: ты же вовсе не красный, Низачток, ты же переодетый поп, со священным талисманом, господи, вот смехота, извини, пожалуйста, благочестивый капеллан. И он снова прыскал со смеху и никак не мог остановиться. Ты добродетельный, богобоязненный пастор, тайный монашек.

Отец смотрел на меня, но я видел его уже недостаточно отчетливо и не мог разглядеть, как он на меня смотрит. И в ту минуту, когда дядя Хильдегард склонился над моим отцом и ловко вытащил крестик из его жилетного кармана, Зигфрид вдруг схватил бутылку, поднес ко рту и начал пить большими глотками, пил торопливо, и я не мог помешать ему, я сидел, точно приклеенный. Не мог ему помешать и Пауль Зондерман, он сначала даже и не видел, а отец, может быть, не хотел вмешиваться; и Зигфрид продолжал пить, а когда Пауль Зондерман наконец заметил, бутылка в руках Зигфрида была пуста. Он с шумом поставил ее на стол и грузно опустился опять на стул в своем углу, скосил глаз и забормотал:

...вот именно, коммунист... красный... проклятье... вот вам... никто не хотел верить...

Пауль собрался его ударить, но отец схватил уже занесенную руку, а потом что-то достал из-под стола.

Вот еще одна, сказал отец и протянул ему полную бутылку, в которую Зондерман тут же вцепился. Он вытащил неглубоко сидевшую пробку, запустил ее через всю пивную, налил нам, и мы выпили; потом налил еще, но я больше пить не стал, с меня было достаточно; однако отец и дядя Хильдегард опорожнили свои рюмки, еще и еще раз, и теперь в перерывах уже ничего не говорили, они молча пили, неутомимо, упрямо. Они прислонились друг к другу и поддерживали друг друга, когда один чуть не падал, и у них были опухшие лица, и они пили, пили, и каждый раз смотрели друг на друга, и с каждой рюмкой становились все серьезнее. Но потом отец как будто опять смягчился, это шло изнутри, он еще пил, но напряжение все спадало, он взял крестик, лежавший на столе, сжал в руке, и минутами казалось, он уже справляется с наплывающей слабостью. Вскоре критический момент наступил и для Пауля Зондермана, голова его затряслась, рюмка выскользнула из багровых пальцев, он еще раз подхватил ее, но потом толкнул локтем, который ему уже не подчинялся, хотел схватить бутылку, но промазал, она стала падать, он удержал ее и все-таки схватил, и тут она выскользнула окончательно из его одеревеневших рук, покатилась по столу, коньяк потек на середину стола, мы это видели, мы смотрели, но не двигались с места. И перед тем как из Пауля Зондермана, словно из баллона, вышел воздух, он пробормотал, запинаясь, сквозь прерывистый храп Зигфрида:

Ты выиграл, ты, Низачток... и больше никто...— Договорить он был уже не в состоянии. Пустой баллон соскользнул под стол.

Отец встал, вернее, принудил себя выпрямиться. Спотыкаясь и пошатываясь, обогнул Пауля Зондермана, взял меня за локоть, заставил подняться и сказал: пошли, Энгельберт.

Покачиваясь, двинулись мы под руку к выходу, мимо стойки, мимо Бееленхерма, который не заговорил с нами, и я не видел, оставались ли еще посетители у стойки. Когда мы вышли в вестибюль и я вдохнул свежий воздух, мои колени пожелали обрести самостоятельность и все разъезжались в разные стороны, хотя я непрерывно приказывал им двигаться вперед по прямой:

Прямо! Пошли! Канальи! Прямо!

Вот нахалы. Я один не мог с ними справиться. К счастью, кто-то пришел мне на помощь, отец пришел мне на помощь или это был другой, взявший на себя командование моими коленями? Нет, не отец, это была Луиза, маленькая милая Луиза.

Моя дорогая Луиза, лопотал я.

Луиза взяла меня под руку, и я поцеловал ее, а мама повела отца. Вот мы и двинулись с этими двумя заслонами, переваливаясь, какими-то окольными дорогами — так мне по крайней мере казалось,— на бульвар, к нашему дому.

А часовая стрелка опять метнулась вперед и остановилась в настоящем, когда мне надо было решиться, надо было расстаться с мамой и Луизой, уйти с Хильдегард, которая еще ничего не знала о письме.

В кафе-синагоге меня ждала Луиза.

6

— Продолжай, Энгельберт,— сказала Луиза, когда официантка в черном платье и белом фартучке поставила перед нами чашки с кофе,— рассказывай дальше, пожалуйста.

В этот утренний час мы были единственными посетителями и до сих пор сидели молча, уставясь на коричневатую мраморную доску столика. Вероятно, Луиза была занята размышлениями о том, что я с напускным цинизмом бросил ей на улице и на основании чего она, обладая некоторой сообразительностью, могла сделать вывод хотя бы об удручающей и

одновременно смешной неуверенности моих суждений относительно коллег — так анатом по одной кости может судить о строении скелета в целом.

— Итак, продолжаю,— сказал я.— Но ведь это не так уж захватывающе интересно, Луиза, это...

— Брось, пожалуйста! Я здесь не для того, чтобы выслушивать уголовные истории.

— Ладно. Итак: в нашей школе рядом с собой я вижу потерявшего силы и одну ногу сначала в победоносных, а потом уже в не столь победоносных походах от Биаррица до Воронежа нашего учителя гимнастики Готфрида Штельтенкампа. Он старался на несколько лет раньше, чем следовало, научить нас стоять навытяжку, исполнять приказы, прививать нам офицерскую выправку тела и духа. Тогда же он выкинул из своего имени слог «гот»* и стал называться просто Фрид. Теперь он охотно вернул себе и первый слог.

— Ты очень злой, Энгельберт.

— Возможно. Но все это вот почему: я не хочу никаких напоминаний о прошлом, и себя не хочу вспоминать и никого не хочу. Разве тебе это непонятно, Луиза?

— Да, да, понятно. И, наверно, очень горько, когда тебе постоянно напоминают об отце.

— Нет, дело не в том. Мама была очень печальна и до того, как нам сообщили, что отец не вернется, и особенно после этого: печаль ее была очень опасной, мы боялись, что мама ее не вынесет.

— Но ведь она потеряла мужа, Энгельберт, не забывай об этом. Такая операция опасна для жизни. Они прожили друг с другом десятилетия, их судьбы слились воедино, и вот их оторвали друг от друга, в течение всего лишь одного часа.

— Я потерял отца тоже за один час.

— Вот именно, и ты тоже был удручен, ужасно удручен, я же знаю. Каким-то образом одной из причин оказалась и твоя помолвка; косвенно, но во всяком случае оказалась. И мимо меня все это ведь тоже не прошло. Ты без отца был совсем беспомощен, я видела, ты действовал ощупью и даже стыдился того, что ты настолько беспомощен. Но, милый мой, с тех пор прошло больше пятнадцати лет. Ты стал старше. И все изменилось. Я никак не могу понять...

— Да. Я действовал ощупью, в том-то и дело. С извещением: «К нашему прискорбию, ваш супруг скончался от приступа сердечной слабости», с этим извещением в руке я переступил какой-то порог и вышел в ночь, где было совсем тихо, и холодно, и темно. Несколько дней я чувствовал себя как будто легче. Но потом дыхание мое в той тишине начало бушевать, точно норд-ост, и мои шаги в царящей вокруг ледяной атмосфере казались топотом тысяч подбитых гвоздями сапог, хотя я ступал, как слепой, и двигался ощупью, чтобы не упасть. Стоял такой мрак, что я даже Хильдегард больше не видел. Вскоре после этого мы лежали рядом на пляже. Но я ее не видел, то есть я, конечно, видел ее волосы, и плечи, и купальный костюм, и ноги, и все остальное, но все это утратило для меня всякое значение. Я ей сказал об этом, и она пыталась понять, что со мной произошло, но не могла, она не хотела по-настоящему углубиться в мои слова, она, видимо, считала, что, когда я говорю о мраке, тишине и холоде, это только образные выражения. Да я и сам не очень-то разбирался во всем этом.

Хильдегард была потрясена, почти надломлена, казалось, она уже никогда не сможет улыбаться. Она любила Низачтока как отца, и он любил ее как дочь и обращался с нею как с дочерью; они частенько стоя-

---

* Бог *(нем.)*.

ли у садовой ограды и смеялись, и отец брал ее руку, гладил волосы; она очень любила его.

Только бы мне выведать, кто донес на Низачтока. твердо говорила она, и я задушу его, поверь мне, Энгельберт, ему не жить на свете. Дома я даже не могу назвать имени твоего отца! Зигфрид сейчас же вмешивается и начинает издеваться надо мной: дескать, сейчас великое время, долой пораженцев, говорит он, а девчонки пусть играют в куклы; а отец молчит, Зигфрид делает все, что захочет; и я теперь тоже молчу и не возражаю ему.

Темно, холодно и тихо, повторил я тогда, и Хильдегард отозвалась:

Но ты же знаешь, Энгельберт, что я останусь с тобой, мне все равно, пусть дома думают и говорят что угодно. И потом она попыталась меня утешить, взяла мою руку и добавила: не забывай, не с тобой одним это приключилось.

Приключилось? Значит, она допускает, что это событие шло мимо меня и только подключилось ко мне, при-ключилось, тогда как на деле я сам в него включился: в мрак, холод, тишину, к прискорбию, скончался от приступа сердечной слабости. Лживые слова могут раскрыть правду, если их видишь насквозь. Но эти слова не были лживыми, Луиза, это были дюзы, извергавшие мрак. На меня, на всех. Мы ведь поверили в приступ сердечной слабости.

Хильдегард не в силах была меня понять, а я не мог винить ее за это, я же не умел объяснить почему, если она лежит рядом со мной в красном купальном костюме, я ее все-таки не вижу. Я тебя не оставлю, сказала она. Ты могла бы сказать то же самое, Луиза. Каждый говорит так, когда хочет утешить другого. Особого значения этим словам не придаешь. И дело было тоже не в утешении, тогда. Видеть и вместе с тем не видеть, вот что было мучительно. Но если двое это испытывают сообща, вынести еще можно.

Мрак продолжал господствовать. И прошло немало времени, прежде чем я пришел в себя, прежде чем ощутил — не глазами, а ступнями,— что и здесь еще должны существовать обочины дорог и границы мостовых. А затем я был вынужден пойти добровольцем, ты знаешь. Мрак стал еще гуще. Не было ни луны, ни звезд, по которым я мог бы ориентироваться. Я брел, пошатываясь.

— Ты говоришь очень загадочно, почти как поэт. Если я тебя верно поняла, ты долго двигался ощупью в темноте...

— Совершенно точно, я же так и сказал...

— Постой: брел ощупью в темноте и только постепенно стал видеть, что и как произошло с твоим отцом. Да, милый мой, кто хочет собрать доказательства, тот должен прежде всего вооружиться терпением.

— С чего ты взяла? Я вовсе не стремился собирать какие-либо доказательства. Да и зачем? Не забудь, что я переступил через некий порог и вышел в ночь. Я хотел увидеть, понимаешь? Только несколько лет спустя мне удалось установить...

— Что именно?

— Я наводил справки. Еще жив один человек, который тогда тоже был в Бухенвальде. Я узнал, как они били отца за то, что он своей так называемой плохой выправкой нарушил в присутствии начальства форму обязательного приветствия. Его привязывали ремнями к «блоку» — это сооружение вроде стола, клали на него осужденного ничком так, чтобы голова была ниже, зад выше, ноги же загнуты под стойку и... потом давали тридцать ударов кнутом из воловьих жил, и так два раза в неделю. Причем наказание производилось «в усиленной форме», то есть били по нагому телу. Вероятно, в область почек, вызывали разрывы печени, словом — действовали с целеустремленной уверенностью. А рядом стоял лагерный врач и смазывал йодом растерзанное тело. После

этого следовали восемьдесят или восемьдесят три приседания, чтобы укрепить мускулатуру и восстановить кровообращение, и все это — в присутствии всего состава заключенных. Вначале он, говорят, молчал. Но при третьем избиении стал кричать, а лагерный оркестр, разумеется духовой, исполнял марши и вальсы, чтобы заглушить его крики. Тут он уже не выдержал. И вот несколько дней спустя: к прискорбию, скончался от приступа сердечной слабости.

— Боже мой, Энгельберт! И ты нам ничего не сказал.

— Мама и теперь еще ничего не должна знать, слышишь, Луиза? Ни за что, обещай мне, Луиза.

— Ну да-да, господи, господи.

— Хильдегард тоже не знает, не хочется мне ей говорить, она ведь любила его как дочь. И ты, надеюсь, теперь понимаешь, почему для меня ночь продолжается, не правда ли? Только вокруг нас с Хильдегард стало немного светлее: сначала благодаря ее письмам, и потом, когда я вернулся в Нидерхаген, две недели спустя я увидел ее в палисаднике, с этого началось, а вечером она была уже со мной. Ты и не заметила, а? Но вообще-то я все еще продолжаю брести ощупью, в темноте. И между мной и другими людьми все еще стоят холод и тишина.

— И между нами обоими тоже?

— Да, Луиза. Мне очень жаль. Раньше было по-другому, и хотелось бы, чтобы опять стало по-прежнему. Но насильно я не могу. Ты видела Хильдегард?

— Где же я могла ее видеть?

— Итак, ночь продолжается,— сказал я, глядя перед собой и опершись локтями на стол. Мне не хотелось сейчас смотреть на Луизу.— Ночь тянется очень долго. Никто не знает, когда начнет светать. И никто хорошенько не знает, как сделать, чтобы начало светать. От этого я бываю раздражен и несдержан, а иногда и несправедлив. Может быть, всегда царила эта темнота, допускаю, только я не знал. А ночью мы не узнаем лица людей и не видим, где стоит твой собеседник. Как же может существовать общность между людьми? И мы не знаем, куда нам идти, ведь указатели пути скрыты во мраке. Время от времени кто-нибудь восклицает: я разглядел путевой столб, он показывает, что надо идти вот по этой дороге. И его зову следовали многие люди. Потом явился один и воскликнул: я есмь путь. А другие опять-таки кричали другое. И за всеми следовали многие. Но темно, холодно и тихо осталось по-прежнему. Мы слышим голоса. Но оттого, что так тихо, они звучат чересчур громко, порой походят на крики. Их слышишь в ночи, повсюду вокруг себя. Может быть, это вовсе и не голоса, то есть вовсе не слова, которые что-то значат или о чем-то сообщают. Может быть, это только стоны зябнущих, а мы их принимаем за голоса. И когда мне хочется заговорить, я не знаю, в какую сторону обратить свой голос. И поэтому я говорю не в ту сторону, в которую надо, и никто меня не слышит. А если меня кто-нибудь и услышит, он тоже вправе принять мой голос за стон.

Я умолк и сидел почти неподвижно. Луизины пальцы энергично потерли кофейную ложечку. Потом она сказала:

— Ты объясняешь очень сложно очень простую вещь, а именно: познание на опыте того, что мы, люди, брошены в пустое пространство свободы, что никто ни к чему нас не предопределил, никто не предопределил нашей сущности, мы сами должны себя спроектировать. Человек таков, каким он хочет быть; он только то, что сам из себя сделал. Поэтому он несет за себя ответственность. И пока он не захочет быть кем-то определенным, не осознает этого и не примется за осуществление своего проекта, он живет во мраке. В таком смысле ты правильно сформулировал свой опыт.

Она неверно поняла меня. Но я ничего не мог возразить ей. Я мог бы сказать ей, что у нее сегодня «сартровский», экзистенциалистский день. Но мне не хотелось пристыдить ее или обидеть — она ведь относилась ко всему этому серьезно. Итак, я промолчал.

— Отчего ты улыбаешься? Разве ты не согласен? Или ты имеешь в виду другое?

— Да, Луиза.

— Хорошо, но, пожалуйста, уясни себе, что сравнения могут быть весьма удачны, и все-таки ими достигается очень немногое. Кроме того, ты упрекаешь меня в том, что я ничего не понимаю, а сам отделываешься малопонятными сравнениями, я считаю это не очень красивым.

— При чем тут сравнения! Я говорю лишь о том, что узнал на опыте. И это, Луиза, не поучения, не плоды познания и не образы, не уподобления и не сравнения. Это факты. Я физик; и я придерживаюсь фактов: мрак, тишина, холод. И я тебя не вижу. Не знаю, куда ты идешь, куда я иду или должен идти. Ночь скрывает от нас дороги, во мраке тонет и всякая возможность друг с другом разговаривать и что-либо прояснить. Зондерман, Беттенбюль, Кипп, Штельтенкамп — все мы находимся во мраке и не можем говорить друг с другом. Я физик. Слишком темно, чтобы разглядеть показания приборов; и так холодно, что пальцы у меня дрожат; и так тихо, что каждый звук вырастает безмерно. Выводы ложны. Я утратил прежний метод, а нового не изобрел. Поэтому я молчу. Но молчание опасно, оно подозрительно. Поэтому я ухожу. Да и что еще мне остается? Перед тем как вернуться домой и в школу, я решил вначале не касаться ни памяти отца, ни прошлого.

Я больше не хотел иметь дела со словами, которые для Луизы были образами и которые я познал как факты. Однако выполнить свое решение мне не удалось; общепринятое оказалось несостоятельным, потеряло свое значение. С тех пор как я переступил порог и вышел в ночь, меня поразило только одно: никто, кроме меня, не желал признавать, что этот мрак существует.

— Я подвел черту, Луиза, холодно и обдуманно подвел под прошлым черту, толстую, как бревно. Но потом, когда я приехал сюда, оказалось, что черта эта совсем не то, что мы думаем.

— А именно?

— Я отрекся. В ответ на библейский вопрос: где брат твой Авель? — я отрекся. Куда ты идешь среди ночи, которая продолжается? Этот вопрос я хотел задать в крайнем случае. Но именно от меня они не ждали такой решительности. Они заметили, что я молчу. Они и не подозревали, что я могу закричать на них: разве вы не видите, что я подвел черту? От моего молчания им стало не по себе. Они заподозрили меня в хитрости и мстительности, им представилось, что я где-то на их путях поставил западню. И я вынужден был постепенно признать, что эта итоговая черта и это молчание превратились для них в приманку, подобно тому как служит приманкой для птиц благоухающий клейкий прутик.

И вот Фердинанд Кипп преподносит мне во время перемены свои последние находки для коллекции марок — иногда это редчайший экземпляр, якобы подаренный ему моим отцом, и пытается убедить меня в универсальном миролюбии филателистов, а я говорю: «Да, конечно».

Коллега Беттенбюль оставляет для меня на кафедре свой последний сборник стихов «Когда я иду лугами» с драгоценным посвящением «Тебе, отечество, основа основ и все питающая почва», и я при первой же встрече говорю: «Спасибо».

Преподаватель гимнастики Штельтенкамп развивает ту мысль, что занятия по телесной закалке ничего бы не дали, если бы он строил их на принципе демократичности, а не авторитарности, и я говорю: «Да»

И мое некритическое мышление, мое неизменное «да» еще усиливает для них аромат прутика-приманки. А потом они вербуют шпионов среди моих учеников, чтобы те наушничали и подстрекали меня к травле моих коллег: «Вы знаете, господин асессор, этот штудиенрат Кипп... этот учителишка Беттенбюль... этот Штельтенкамп...» Таким образом, подведенная мною черта стала на деле рвом, западней, и они все вместе там сидят; а когда я хватаю шпионов за ворот, они начинают отрицать; я цитирую слова дражайших коллег перед директором, но они и тут отрицают. Они жалуются и обвиняют меня: он склочник, говорят они, истинный сын Низачтока, мстительный тип, воображала, охотник за ведьмами, лунатик, без корней, без отечества.

Мое молчание началось сызнова. Говорить я решался только с Хильдегард. Она много раз советовала мне посвятить во все это Макса Блудау, все ему рассказать; но я не хотел, я еще верил, что это пройдет, что они угомонятся. Зондерман хоть держит язык за зубами, по крайней мере в школе. Но дома... Ты разве никогда не слышала, Луиза, как они ссорятся из-за меня, Хильдегард и ее отец? Он пользуется любым случаем, чтобы в глазах Хильдегард меня очернить. Он не может перенести, что мы снова вместе.

— А что же Хильдегард? — спрашивает Луиза.

— Она осаживает его. Хильдегард теперь никому не позволяет слова сказать про меня. Лучшего защитника и желать нечего, но все это, конечно, бесполезно: она может требовать, чтобы он в ее присутствии не позорил меня; может взывать к его совести, кричать на него, ничто не помогает. Он ожесточенно стоит на своем.

Кипп здоровается со мной теперь, только когда мы встречаемся в школе, очень дружелюбно, как единомышленник; однако на улице, завидев меня, тут же начинает усердно разглядывать выставленные в витринах меховые пальто, цены на шоколад с начинкой и всевозможные модели мопедов.

Феликс Звонкозвучный, ты мне сама это передавала, Луиза, жаловался на меня священнику и распространялся насчет того, что я-де подаю ученикам дурной пример, так как не хожу в церковь. И священник Штоффepс посылает мне теперь каждую субботу печатный экземпляр расписания церковных служб.

Мама непрерывно меня уговаривает: «Я же знаю их всех, знаю все их помыслы. Исполняй свой долг, Энгельберт, свои обязанности учителя и будь приветлив. Не задавай никаких вопросов, не делай никаких двусмысленных замечаний и будь приветлив. Люди они неплохие».

Видишь, Луиза, вот как обстоит дело. Это и есть то, что я переживаю и познаю на опыте: мрак, итоговая черта, западня. На самом деле вам, тебе и маме, известно очень немногое. Что вам, например, известно о той ночи, когда коллега Зондерман пригласил меня к себе и мы сидели сначала одни в комнате с балконом, а потом уже не одни и беседовали?

— Ну, расскажи,— попросила Луиза.

7

И я начал рассказывать.

— Барышни Зондерман шныряли вокруг нас и хихикали, а Вольфганг Зондерман старался меня убедить:

Я знаю не хуже вас, дорогой коллега Рейнеке, что он всех нас подвел, обманул. Наша готовность, наша мужественная жертвенность, наша любовь к отечеству, наша преданность, доверие, разумность...

До коллеги Штельтенкампа это, как видно, еще не дошло, сказал я.

Что это значит? Я же не Штельтенкамп. Меня, во всяком случае, подвели, обокрали, у меня похитили все, если хотите знать. Это ужасно, допускаю, все допускаю. Но потому-то я и прошу оставить меня в покое.

Он сказал это без всякого напора и посмотрел поблекшими глазами на стакан с вином. Свет настольной лампы вычурной модернистской формы отбрасывал резкий силуэт его сугубо германского профиля, которым я раньше так восхищался, на обои с абстракционистским рисунком. Нос потерял присущую нашей расе прямизну, загнулся вниз, и мне стало казаться, что в комнате присутствует кто-то третий, свидетель, молчаливый и горбоносый.

Неужели вы не понимаете, продолжал Зондерман, что никому не доставило бы удовольствия вломиться в замурованную штольню, а потом выйти оттуда и кому-то ее показать? Даже собственной жене таких вещей не показывают.

Я ответил, что мне не так уж трудно понять его чувства и я всегда готов уважать их. Но не следует забывать, что не я заговорил о штольне. А так как о ней упомянул именно он, такая штольня, очевидно, существует, и поэтому...

Да нет никакой штольни, торопливо прервал он меня, нет, это только образ, милый мой, чтобы объяснить вам, в какое положение вы меня поставили.

Я? Почему я? И я же не просил вас разговаривать со мной образами, хотя, быть может, это вовсе и не образы.

Беседуя с ним, я в эту минуту еще был спокоен.

Вы поступили в нашу школу. А это все равно что вы сказали бы мне: а ну, покажи-ка свою штольню!

Я запротестовал против такой подтасовки, но он не дал мне договорить.

Потом вы недавно — я упоминаю об этом только для примера — на уроке математики, где таким обсуждениям совершенно не место, вы метали громы против цензуры. Всем этим вы, по-моему, до некоторой степени выдаете свои планы. Да, мы вынуждены подвергать цензуре политические вопросы, которые обсуждаются в нашей газете. Таков приказ сверху. И это вам известно не хуже, чем мне.

Такой случай был, я не стал отрицать. И еще одно, о чем не знаешь ни ты, Луиза, ни мама: я признал, что имел смелость предложить молодым редакторам материал для статьи о системе концлагерей, при которой пользовались штольнями.

Тут Луиза прервала меня:

— Твоя мать сказала бы: мальчик, зачем ты вмешиваешься в такие дела? Держись от них подальше. Но я этого не говорю, Энгельберт.

— Вот видите, продолжал Зондерман с каким-то натужным торжеством в голосе и в жестах. И эта статья не минует цензуры, не воображайте. Вы сами создаете себе трудности. Неужели мы должны еще отягощать жизнь наших детей? Достаточно того, что мы сами с ней никак не справимся.

Было ли это признание только западней или он говорил искренне? Так, сразу, я не мог решить, а следовало бы ответить: лучше, если бы мы, взрослые, с ними заговорили обо всем этом, чем они сами нащупают какие-то нити с запекшейся кровью, и в них созреет подозрение, которое нам, в этой жизни, вероятно, уже не удастся рассеять.

Но, господин коллега, повторил я тогда еще раз, чтобы никакие неясности не затуманивали зрение, я ведь не просил вас об этой беседе. Она мне даже неприятна. И я не знаю, к чему она может привести.

Зондерман попытался улыбнуться. Это была деревянная улыбка стареющего боксера, который выходит на ринг для последней схватки. Я хочу быть честным, сказал он, взял свой стакан и стал вертеть его в

руках. Я всегда был честен, иногда, может быть, чересчур. Но мне хотелось осведомиться, каковы ваши намерения, зачем вы к нам вернулись.

Мы замолчали. В темной тишине почти неслышно открылась дверь, и с книгой под мышкой вошла Хильдегард, на ней было белое шерстяное платье, и в темной раме двери она казалась ошеломляюще светлой. Хильдегард остановилась на пороге, а я смотрел на нее. Затем кивнула, как будто ничуть не удивилась, застав меня у них в доме наедине с ее отцом; а я, продолжая смотреть на нее, поднялся; но Зондерман молча вытянул руку и преградил мне дорогу к ней; я снова сел, все еще не сводя с нее глаз: Хильдегард была в новом сказочном платье, узком и белом, действительно волшебно светлом.

Луиза играла кофейной ложечкой и улыбалась:

— Ты по уши влюблен, Энгельберт, как тогда.

Но я не дал сбить себя с толку и продолжал:

— Хильдегард простояла в дверях нестерпимо долго, так мне, по крайней мере, казалось; потом наконец спросила:

Я не помешаю?

Мне ты не помешаешь, торопливо ответил я. Зондерман взглянул на меня: удивленный, опешивший, даже слегка рассерженный. Однако не стал возражать, не воспротивился хотя бы движением руки. Хильдегард уселась в кресло, стоявшее рядом с моим, и, перед тем как сесть, пододвинула его еще ближе ко мне, раскрыла книгу и погрузилась в чтение. Но я знал, что это только ширма, за которой она спряталась, чтобы не лишать отца мужества продолжать со мной объяснение.

Так как же? — сказал ее отец. Я спросил вас — зачем?

Коротко и деловито я объяснил, что у меня не было никакого намерения, я не ставил себе никаких целей. Я приехал в Нидерхаген потому, что у нас здесь дом, потому, что моя мать болеет, потому, что в ее годы она хочет иметь сына возле себя.

И ради меня, сказала Хильдегард, заслонившись книгой, можешь спокойно ему это сказать. Мне он не верит.

Ну само собой: я приехал, чтобы снова увидеть ее, опять увидеть вашу дочь Хильдегард, понимаете? Может быть, это вам будет понятнее, господин Зондерман?

И вы не имеете намерения нас выспрашивать или спуститься в наши штольни? — И он снова сделал попытку улыбнуться, но казалось, это причинило ему боль. Выспрашивать, спуститься... Зондерман действительно идиот. Так ведут расследование.

Несколько раздраженный столь глупым упорством, я громко и твердо заверил, что ни против кого не выдумал бы столь нелепого обвинения. Но он явно не верил мне. Ну, ладно, продолжал я, раз он все вновь и вновь упоминает о штольне, что, впрочем, для меня совершенно непонятно, и несмотря на упорное мое отрицание почему-то хочет показать мне если не внутренность штольни, то хотя бы вход в нее, то я попытаюсь все же по данному поводу кое-что сказать. И хватит. Потом мы можем поговорить на другие темы или разойтись. Я лично считаю, что в штольню следовало бы все же время от времени заглядывать и проверять, не обвалилось ли...

Вы имеете в виду опасность обвала? — со злобной и циничной иронией прервал он меня. А, понимаю. Ведь когда-нибудь может произойти сползание почвы и вызвать обвал? И он похоронит все, что находится поблизости.

Я кивнул, но тут же попросил не придавать слишком большого веса мнению отдельного человека, если он сам, как в данном случае я, видит себя в истинном свете. Я просто ничтожный асессор, а вовсе не какой-то демон, способный вызвать оползни, я один из многих, на кого не-

зримые руки возложили такую миссию, которая ему не по плечу, да и нести груз он не может, он даже не подготовлен нести его.

Затем я обвел взглядом комнату, пока не достиг средиземноморского профиля на обоях, и тогда я услышал, как кто-то прорычал:

А если бы даже и так! Пусть обвалится. Подумаешь!

Я рассердился. Мне казалось, я имею основания считать Зондермана благоразумным человеком. Его циничная покорность вывела меня из себя, я не сдержался и спросил жестко и неприязненно, известно ли ему, сколько скелетов и черепов, сколько голеней, лучевых и берцовых костей, принадлежавших детям, женщинам, старикам и мужчинам, замуровано в его штольне. Сколько урн с прахом: «К прискорбию, скончался от сердечной слабости». Замуровано основательно, чтобы оттуда не проникали запахи и другие непрошеные гости. Думал ли он когда-нибудь о таких вещах?

— Это было слишком в лоб,— сказала Луиза.— Плохо то, что ты всегда понимаешь образы как-то буквально.

— Сейчас мне не хочется об этом спорить. Я просто тебе сообщаю, как было, вот и все, извини меня.

Я ждал, что ответит Луиза. Но ответа не последовало. Поэтому я продолжал:

— Он поднялся на дыбы. Его тень вытянулась до выкрашенного в красный цвет потолка и там надломилась. Молчавший свидетель возмутился, и Зондерман откинулся на спинку кресла. Хильдегард подошла к отцу, встала перед ним и заявила:

Пожалуйста, ответь, ты же знаешь, что мы друг друга не понимаем; Энгельберту это тоже известно; но я бы не хотела тебя считать еще и трусом.

Она снова села. Я посмотрел на молчавшего, и мне показалось, что он стонет. Едва шевеля губами, Вольфганг Зондерман произнес:

В точности такого тона я и ждал. Да-да-да, в точности, и от вас и от моей дочери. С тех пор как вы вернулись, мы все время спорим. Я знал, что так будет. Но я хотел бы вас предостеречь, молодой друг. Не все коллеги довольны тем, что вы здесь. Мы ничего против вас не имеем, мы даже симпатизируем вам, понимаете? Но, да что поделаешь, вы... вы часть нашего прошлого, если быть точным. И это нас не устраивает. Когда-нибудь нужно же поставить точку. Затем он продолжал почти шепотом. И заявил примерно следующее: во всяком случае, я буду знать, как отстаивать себя, можете не сомневаться. Мне нужно защищать целую семью. Он снова налил бокалы доверху золотисто-желтым вином, и в их хрустальной оболочке установилась его спокойно поблескивающая поверхность. Мне же казалось — к тому, что встало между нами, вино не подходит. Бывший директор безмолвным жестом предложил мне с ним чокнуться. Я сделал это очень неохотно. Потом пододвинул бокал Хильдегард. Она не взглянула на меня, но посмотрела на отца, потянулась к бокалу, ощупала его, взяла в руку, поднесла ко рту, пригубила и поставила обратно на стол.

Вероятно, безмолвие и тишина, в которой явно слышалась пульсация ночи, замкнувшей нас в тоскливой тесноте комнаты, повлияли на Вольфганга Зондермана угнетающе — может быть, даже подавили его. И теперь под действием вина, все более освобождавшего его от скованности — это было видно и по его лицу, — он наконец поддался соблазну упрямой самоуверенности и вступил на минное поле: он заговорил о моем отце. Его имя тихо вошло в ночную комнату и заполнило ее целиком, как бы вытеснило весь воздух, так что мы несколько мгновений дышали с трудом. А если бы ты видела лицо Зондермана, Луиза, то и тебе пришло бы в голову, что он боится привидений. Он принялся рассказывать все эти старые истории, которые ты, Луиза, отлично знаешь.

насчет опасной строптивости Низачтока, его язвительных шуток и так далее — словом, все, чего я не хотел касаться. Когда он начал говорить об этом, Хильдегард захлопнула книгу, отодвинулась от меня в тень и стала жадно слушать.

Он был настолько одержим воспоминаниями и вместе с тем ему было так противно превращать прошлое в настоящее, что я не отважился его спросить о том, какой смысл опять вытаскивать все это на свет. Во всех деталях его рассказа по-прежнему чувствовался какой-то ребячливый упрек по адресу этих Рейнеке. Я должен был запретить ему, знаю. Но как? Несколько раз я был уже готов оставить Зондермана вдвоем с его тенью на стене и вместе с Хильдегард бежать из их дома. Но и на это у меня не хватило мужества. Хильдегард догадывалась, но для нее еще не были такими реальными, как для меня, этот холод, мрак и тишина. Она, вероятно, считала, что ее отцу нужен кто-нибудь, нет, не кто-нибудь, ему после стольких лет нужен именно я, чтобы поговорить, чтобы свалить с души все, что там наросло за многие годы.

Зондерман рассказывал отрывочно, а вовсе не придерживаясь определенной последовательности событий и их порядка во времени. И говорил он, обращаясь то к потолку, то к полу, то к стене. Но упорно как бы мимо меня. Иногда он делал глоток золотисто-желтого вина, и вместе со словами из губ вырывались туманные клубы табачного дыма. Расстроенный, вслепую погружал он руку в огромный котел воспоминаний и протягивал мне то, что прилипало к пальцам. Отнюдь не главное — много хлама, много обманчивой мишуры, видимо порожденной желанием прикрыть страшное безобидным.

И он неутомимо уверял меня, насколько — несмотря на все — был привязан к Низачтоку, восхищался его суховатой остроумной манерой говорить, как ценил его. Лицо Зондермана стало влажным. Пришлось и мне вытереть испарину со лба и с губ. Порой он пытался прервать свою исповедь — странно искреннюю и вместе с тем неискреннюю. Может быть, он хотел прервать ее, только чтобы передохнуть; ибо чувствовал, что над ним тяготеет какое-то принуждение, и каждый его поступок казался ему таким же бредовым, как и мне. И все же он попытался с помощью словечка «впрочем», так сказать, свернуть за угол: впрочем, мы на голландском побережье соорудили славный домик.

Однако я чувствовал себя совершенно не способным следовать за ним в столь глухие закоулки. Мне было стыдно за этого человека, который когда-то произвел на меня сильное впечатление своим спокойным взглядом. Ведь он исповедовался и одновременно как бы говорил: я невиновен. Это же сумасшествие, или?.. Мне было стыдно за Хильдегард, а ей было стыдно за отца. И стыдно было, что я тут присутствую. Все это удерживало меня на месте, даже как бы придавливало к креслу.

Наконец у меня закружилась голова и засосало под ложечкой. Нет, я чувствовал себя как человек, который, воспользовавшись перерывом, крадется в исповедальню, пока верующие стоят в предвечерних сумерках, преклонив колени, закрыв лицо обеими руками, и отыскивают греховность в прошлых своих деяниях и помыслах; а он прокрадывается в исповедальню, пряча яркую рубашку под темной одеждой, надевает епитрахиль, прижимается ухом к деревянной решетке, чтобы услышать шепот грешника и вдобавок заверения своего врага в невиновности. Да, именно таким я себе тогда представлялся.

Но кто дал мне право прокрадываться в исповедальню? Ты можешь мне это объяснить, Луиза? Конечно, я вовсе туда не заползал. Меня заманили. Кто заставил меня преодолеть неохоту и чувство, что я поступаю нехорошо? Кто принудил остаться в исповедальне? Я должен был вскочить и сказать: простите, но я не тот судья, которому надлежит судить

В ту ночь, Луиза, я сидел, застыв, в низком кресле, с испариной на лбу и на ладонях, немного позади меня — Хильдегард, передо мной на столе — вино и все, что оно сулит, на стене силуэт Вечно Молчащего, а по ту сторону стола прямо и неизбежно против меня, порою с гордостью откинувшись назад, порою наклоняясь вперед, Вольфганг Зондерман в дыму все новых сигарет, его бормотанье, его с трудом подавляемый стон, его заминки и вдруг, средь отлива, всякий раз нежданная и бурная волна прорвавшихся воспоминаний — в ту ночь я понял, что такое осведомленность и сочувствие, исповедь и покаяние, что значит слушать и сострадать.

Я замолчал. В моих ушах еще звучал покаянный шепот Вольфганга Зондермана, который я слышал в ту ночь. Горло у меня пересохло. Луиза тоже молчала. Я был ей благодарен за это. Словно по молчаливому уговору, мы оба поднесли к губам чашки с кофе и выпили последнюю остывшую каплю.

Затем наше молчание нарушила официантка и беззаботно спросила:

— Еще что-нибудь желаете?

Луиза взъерошила волосы, мотнула головой и ответила, слегка запинаясь:

— Да, пожалуйста. Два двойных коньяка. Сейчас нам ничего не сделается, правда?

Луиза взглянула на меня; в мою ушную раковину, обретя былую звучность, опять ворвался голос Зондермана, этого необычайно молодого директора, и голос произнес:

Почему вы стоите навытяжку? Вы же не на действительной службе

А школьный сторож Фроне ответил: да это уж в нутре сидит. Прежний директор, бывало, смеялся надо мной. Ну, теперь получит по заслугам. Я ведь участвовал в четырнадцатом-восемнадцатом, под Верденом, знаете ли, а потом во вновь формируемом рейхсвере. Да, вот это было времечко, господин директор.

До какого же звания вы дослужились?

До фельдфебеля, а потом уж года вышли.

Ладно, Фроне. Немножко солдатского духа нам здесь не помешает. Напротив. И директор Зондерман посмотрел на старика таким взглядом, в котором была как бы собрана вся гордость пробудившейся Германии. Скоро здесь все изменится, можете не сомневаться. Итак, вольно, фельдфебель.

Если бы Герберт Ладегаст не дал мне кулаком в бок, когда мы стояли у чуть приоткрытой двери директорского кабинета, я бы лопнул со смеху и провалил бы всю нашу операцию подслушивания.

Мне нужны в директорском кабинете три подвесные полки. Самая большая с девятью отделениями — восемь для классов, чтобы ставить карточки. На каждого ученика — карточка, у каждого класса свой цвет, ясно? На карточку заносятся: имя, дата рождения и т. д., рост, вес, физические данные и т. п., членство в гитлерюгенде или в другой организации. Перед обозначениями успеваемости — узенькая карточка-дневник: состав класса на данное число, дата, присутствуют, отсутствуют. Для отсутствующих предназначено нижнее отделение с объяснительными записками. За карточкой-дневником следует карточка классного руководителя — только имя и фамилия. И у всех классных руководителей один цвет, скажем — красный. Затем — вторая полка — для преподавательского состава. Отделения расположены в соответствии с основными предметами: спорт — одно отделение, немецкий — одно, история, английский и т. д. Для каждого предмета особый цвет. Тут отмечаются и классные руководители, и цвет их основного предмета. На карточку заносятся: имя и фамилия, время и место рождения, религия, дополнительные предметы, партийность или участие в организациях, союзах, адрес. Третья полка:

годовой календарь, по отделению на каждый месяц. Сюда записываются особые мероприятия, увольнения и...

Прозвенел звонок. Перемена кончилась. Герберт Ладегаст и я помчались через вестибюль и по лестницам наверх в наш класс, где уже ждал Низачток.

Горизонт, зенит и снова горизонт.

— Когда на тебя посмотришь, испугаться можно,— замечает Луиза.— Ну, а дальше? Что еще сказал в ту ночь Зондерман? Или ты ушел домой?

— Нет. Когда Вольфганг Зондерман начал еще более беспорядочно рассказывать о нашей помолвке — он, например, чуть не забыл упомянуть о партии в шахматы между его братом и Низачтоком, — дверь внезапно распахнулась.

Из темноты, тяжело ступая, возник некий паша, и Зондерман умолк. Стало совсем тихо. Я почувствовал, что задыхаюсь. Паша вошел в свое царство и остановился в самовластной позе, пока распахнутая наотмашь дверь не стукнулась о стену и не вернулась на прежнее место, как бы гротескно и почтительно приветствуя его. На вошедшем поверх светло-голубой пижамы был наброшен черный плащ с красноватой каймой. При свете настольной лампы я в первую минуту заметил только ярко рдеющий глаз сигары. Лицо оставалось неразличимым, закрытое облаком голубоватого дыма, вырывавшегося клубами через равномерные промежутки времени из маленького отверстия рядом с рдеющим глазом.

Охвативший меня страх был тем же знакомым страхом, какой я испытывал в давно прошедшие времена при появлении этого господина. Беспорядочно переместившись, пронеслось передо мной сумасшедшим вихрем многое из того, что я пережил тогда вместе с ним, — вечера с Низачтоком в пивной Бееленхерма, казалось, еще не было; я еще не знал, каким образом дело дойдет до помолвки с Хильдегард; теперешний же приход этого человека словно совершился давным-давно; педагогический совет закончился всего лишь час назад; а возможность будущих нападений осуществилась только сегодня, в этот предательский ночной час.

И, как во всех его выступлениях, было и в этом что-то насильническое: без слов, без жестов, одним своим появлением он принудил нас троих признать в нем центральный персонаж разыгравшейся в кабинете сцены. Можешь ты это понять?

— Не совсем, — ответила Луиза. — Но почему ты и сейчас еще дрожишь, я уже совсем не понимаю.

— Это был — ты, вероятно, уже догадалась — Пауль Верлен Зондерман. Я и не знал, что господин заводчик опять сделался нашим соседом. Его крупное лицо беззвучно смеялось. После бесконечно долгой паузы он пнул ногою дверь, и она захлопнулась. Держа в руке стакан с вином, он спокойно подошел ближе и окинул нас всех взглядом, одного за другим.

Может быть, я помешал? — спросил он и засмеялся с неправдоподобной кротостью. И, так как ему никто не ответил, смеясь продолжал:

Разве я призрак? Когда я гляжу на ваши лица, меня вдруг берет сомнение — да человек ли я? А ты продолжай, Вёльфхен, не стесняйся. Я время от времени тоже люблю послушать увлекательные истории. У него еще в детстве была неудержимая склонность выворачивать наизнанку свою душу перед первым встречным и наслаждаться своеобразными радостями покаяния. Впрочем, я хочу пить.

Ты подслушивал за дверью, сказал Вольфганг Зондерман тоном рассерженного школьного учителя.

Пауль нагнулся к бутылкам. Он брал одну за другой и смотрел на свет, пока не нашел такую, которая еще не была пуста. Он налил себе, сделал большой глоток, посмаковал вино, потом заявил:

Надеюсь, ты не возражаешь?

Перед тем как подтащить себе кресло и сесть, он пустил в лицо брату, потом Хильдегард и мне струю дыма и каждый раз свирепо гоготал и хлопал себя по ляжкам.

Что это значит, дядя Пауль? — спросила Хильдегард, а я сказал: попрошу вас, господин Зондерман... и хотел одернуть его. Но он прервал меня и вдруг заявил, переходя на очень строгий тон:

Тише, милейший. Вам-то уж следует помолчать.

И тут между нами четырьмя начался следующий разговор, вернее — диалог, диалог при свете настольной лампы. Я помнил его еще почти дословно, когда записывал, вот он, — сказал я и вытащил из кармана свернутую рукопись, с которой из страха перед Паулем Зондерманом не сделал копии. И с тех пор всегда таскал с собой. — Два-три дня спустя я записал все почти дословно, как можно точнее. Для тебя, Луиза, и для меня, для каждого, кто захочет эту рукопись прочесть, когда меня здесь уже не будет. Мне казалось это важным. Я полагаю, что это документ. Прочти, если хочешь.

— Пожалуйста, прочти вслух.

Я придвинулся к ней и прочел вполголоса: «Диалог при свете настольной лампы».

(Окончание следует)

ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ

У НАС ДОМА

РОМАН

Перевод с английского
Н. ДАРУЗЕС

12

Эл и Старожил вышли из дома и ступили в дождевую воду и бурую грязь Большой Щели. Где-то в темноте квакали лягушки, и какая-то ночная птица одиноко чирикала в листве дуба. После ливня стало прохладно, и звезды ярко мерцали в небе.

— Не забудь, что я тебе говорил,— сказал Эл.— Держись там поосторожней и не связывайся с Клайдом Хефлином. Помни это. Слышишь?

— Я не забуду,— пообещал Старожил, шлепая по воде и грязи.— И я ценю то, что ты не пожалел труда прийти ко мне и рассказать обо всем. Я тебе очень благодарен, Эл. Если бы ты мне не рассказал, я бы сейчас и не знал ничего, а потом было бы слишком поздно.

— Буду ждать, что ты отплатишь мне любезностью за любезность.

Как только они дошли до угла за городским пожарным депо, Старожил свернул на улицу, ведущую к железнодорожному полотну и к негритянскому кварталу города.

Эл Дидд постоял и подождал, пока Старожил не скроется из вида, а потом пошел прямо домой — ужинать с женой и детишками.

Торопливо шагая, Эл Дидд придумывал предлог получше, чтобы объяснить жене, почему он так опоздал, и раздумывал, стоит ли рассказывать хоть что-нибудь из того, что случилось нынче вечером. Жена его была от природы очень нервная, из-за всего волновалась, и он боялся, что она расстроится и не даст ему спать всю ночь бесконечными разговорами о смешении рас. Такие разговоры кончались всегда тем, что она обвиняла Эла в неверности и обмане. («Для белой женщины и без того неловко иметь прислугу-мулатку, которая похожа на кого-то из знакомых, а еше того хуже, если у цветной прислуги есть маленький ребенок, как две капли похожий на кого-то из твоих близких. А еще ужасно неловко бывает, когда идешь в центр города — в аптеку или еще куда-нибудь — и там видишь смуглого молодого человека, который точь-в-точь похож на твоего дядю Джона. Они до того похожи, что один из них мог бы быть младшим братом другого. У них одинаковые нависшие брови, одинаковый цвет глаз, одинаковые ямочки на подбородке. У меня мороз по коже дерет, как подумаю, что кто-нибудь из этих темнокожих людей приходится мне родственником. Была бы моя воля, я бы переехала в большой город, где не пришлось бы чувствовать себя так неловко, когда ходишь по улицам. А будь у тебя больше честолюбия, Эл Дидд, ты

Окончание. Начало в № 10.

бы постарался ради меня и нашел бы себе работу в Джексонвилле или в Атланте. И вот еще что! Где ты был так поздно, после того как стемнело? Что ты делал столько времени? Почему ты не вернулся прямо домой с работы? Если б я хоть на одну минуту подумала, что ты был с одной из этих девчонок... Поди сюда, я тебя понюхаю! Я всегда узна́ю, если от тебя пахнет чужой женщиной...»)

■

Дойдя до того места, где кончалась мостовая, Старожил пересек железнодорожное полотно и заросшую сорной травой полосу отчуждения. Отсюда он пошел по неосвещенной грязной улице прямо к дому, где жила Джозина со своей четырехлетней дочкой и бабушкой Мэддокс.

Теперь было уже больше семи часов, и в освещенных окнах домов по обеим сторонам улицы он видел сидевшие за ужином семьи. В слабом желтоватом отблеске, падавшем от фонарей на городской площади, дома негритянского квартала выглядели спокойно и мирно. Сейчас, когда с дневными трудами было уже покончено и почти все вернулись домой на ночь, по всей улице из конца в конец раздавался беззаботный смех. Из окон ближайшего домика доносились успокаивающие звуки музыки, передаваемые по радио. Он миновал группу крикливых детей, плескавшихся в луже дождевой воды, и двое мужчин, стоявших на углу, осторожно заговорили с ним, когда он проходил мимо.

Вспомнив, что говорил Эл Дидд, Старожил пересек пустырь и подошел к заднему двору, вместо того чтобы войти в дом Джозины с улицы. Отворив калитку, он приблизился к узенькому деревянному крылечку и тихонько постучался несколько раз.

В окно ему было видно, что на кухне горит свет, потом дверь отворилась, и Джозина вышла на крыльцо. Свет из кухни падал через порог, и Джозина хорошо видела Старожила, стоящего перед крыльцом. Она поколебалась не больше секунды, потом сошла с крыльца во двор.

— Что ты здесь делаешь? — тревожно спросила она.— Тебе нельзя здесь быть. Ты же помнишь, что я тебе сказала. Я больше не могу с тобой видеться.

Его глаза успели уже привыкнуть к темноте, а от сияния звезд во дворе казалось светлее. На Джозине было светлое платье, темные волосы она гладко зачесала со лба назад, а на руке у нее блестел браслет, которого Старожил раньше никогда не видел.

Джозина ничего не сказала, когда он положил руку ей на плечо и повел ее через песчаный двор к забору.

— Джозина, я пришел сказать тебе...— начал он.

— Нет, я не могу,— быстро ответила она.

Он сжал ее плечо еще крепче.

— Да нет, я не о том, это совсем другое.

— Что же тогда?

— Сюда сейчас приедут арестовать тебя.

Он почувствовал, как вздрогнуло ее плечо.

— Ты слышала, что я тебе сказал? — спросил он.

Джозина кивнула.

— Да, слышала.

Она сделала шаг назад и прислонилась к забору.

— Это все Мэйбл... она их заставила,— сказал Старожил.— Я только что узнал об этом — вот почему я и пришел сказать тебе.

Теперь она положила руку ему на плечо.

— Они и тебя тоже арестуют? — помолчав немного, спросила она.

Он только помотал головой.

— Тогда за что же они арестуют меня?

— Они сказали, за... за то, что ты проститутка.

— Но я же вовсе не такая! — взволнованно крикнула Джозина.— Ты знаешь ведь, что это неправда? Никогда в жизни я такой не была!

— Я знаю, что неправда, Джозина. Но это у них только предлог для ареста.

— Что же мне теперь делать? — подойдя вплотную к нему, спросила она. Он чувствовал, что все ее тело дрожит от страха.— Не хочу, чтобы это со мной случилось. Не хочу, чтобы меня забрали. Мне надо заботиться о моей девочке... Эллен... Я ей нужна.

— Не говори так громко, Джозина,— настойчиво убеждал ее Старожил.— Кто-нибудь услышит.

Музыка по радио смолкла, и в тишине он прислушался, не подъезжает ли автомобиль.

Джозина тихонько заплакала.

— Это ужасно... и я не знаю, что мне делать. Я не хочу, чтобы они забрали меня в тюрьму... не хочу оставлять Эллен и сидеть под замком.

Музыка зазвучала снова.

— Ты можешь пойти ко мне в дом и переночевать там,— сказал он.— Это будет самое лучшее. Туда они не пойдут искать тебя. Подумают, что ты где-нибудь здесь прячешься.

Она покачала головой.

— Я уже сказала, что больше не пойду к тебе. Я тебя не обманывала. Завтра моя свадьба.

— Твоя свадьба будет не так-то скоро, если тебя сегодня посадят в тюрьму, а потом пошлют в исправительный дом на полгода. А они говорили, что так и собираются сделать. Ты бы лучше послушалась меня, шла бы ко мне.

— Для чего им это нужно? — зарыдала она.— Для чего им нужно арестовать меня за то, чего я не делала?

— Тут уж ничем не поможешь, Джозина, и, если тебя найдут, так оно и случится. А в моем доме они тебя не найдут. Я запру дверь, и никто не сможет войти. А если они не найдут тебя сегодня, то к завтрашнему утру будут думать, что ты уехала из города. Это самое лучшее, что можно сделать, Джозина. Не хочу я, чтобы ты оставалась тут и чтоб тебя арестовал Клайд Хефлин. А он будет здесь с минуты на минуту. Мне это известно. Вот почему я и пришел сюда, чтобы предупредить тебя вовремя. Если тебя посадят в тюрьму сегодня, так уж, наверно, завтра утром отошлют в исправительный дом, и тебе придется просидеть там полгода. И за все это время тебе не удастся ни разу повидать твою дочку. А если ты сегодня переночуешь у меня, то завтра утром сможешь подыскать такого адвоката, который тебе поможет. Он что-нибудь придумает, чтобы тебя не отсылали в исправительный дом. Адвокаты уж знают, как такие вещи делаются.

Джозина перестала плакать, обернулась и посмотрела на свет в кухонном окне. И в то время, как она смотрела на окно, оба они услышали шум автомобиля, переезжавшего через железнодорожное полотно.

— Идем, Джозина,— уговаривал Старожил, подталкивая ее к калитке.

— Не могу я уйти, не простившись с Эллен,— протестовала она, вырываясь.— Пусти меня, пожалуйста.

— Не ходи, Джозина!

— Но мне же надо с ней проститься. Я как раз ее укладывала спать. Теперь она меня ждет и не будет знать, что со мной случилось.

— Это слишком опасно, Джозина. Не ходи в дом. Послушайся меня. Если Клайд Хефлин...

— Да ведь моя девочка...

— Кто с ней сейчас?

— Там бабушка. И Харви... Харви Браун.

— Что он тут делает?

— Я же тебе говорила, что выхожу замуж. Ты это знаешь. Мы с Харви хотим завтра пожениться. Вот почему я сегодня кормлю его ужином.

— А я тебе сказал, что не хочу, чтобы ты выходила замуж. Сейчас это ни к чему. Можешь подождать немножко.

— Я не хочу ждать. Я хочу выйти замуж — и выйду. Мы с Харви...

Музыка по радио опять смолкла, и Старожил прислушался, не подъезжает ли машина. Он знал, что Клайд Хефлин постарается проехать по улице как можно тише. Зато после ареста, когда он вез арестованного в тюрьму, то всегда включал сирену, чтобы шума было как можно больше.

Джозина силилась вырваться из его рук и побежать к дому. Старожил обхватил ее и держал крепко, не отпуская.

— Не ходи туда, Джозина,— уговаривал он, оттаскивая ее назад, к калитке.— Сегодня бабушка Мэддокс уложит твою дочку. Если тебя застанут здесь, то тебе не уйти от Клайда Хефлина. Я знаю, что говорю. Он ухом не поведет, сколько бы ты ни просила. Он тебя не послушает, а посмеется над тобой. Потом он отвезет тебя в тюрьму и всю ночь продержит в той задней комнате, где всегда держит женщин, если сажает в тюрьму кого-нибудь вроде тебя. Надо, чтобы ты ушла ко мне, пока он тебя не застал. А утром ты сможешь повидать адвоката. Я тебе помогу найти кого-нибудь. Это единственное спасение от исправительного дома. Ты ведь сделаешь, как я сказал, Джозина?

— Я не знаю такого адвоката, который захотел бы мне помочь,— сказала она, опять начиная плакать.— Я не знаю, к кому пойти. Я бы не знала даже, как за это взяться.

— Я тебе найду какого нужно адвоката. Это я тебе могу обещать.

— Сколько же это будет стоить?

— Не знаю. Но, сколько бы ни стоило, лучше отдать деньги, лишь бы не попасть в тюрьму, а из тюрьмы в исправительный дом.

Она украдкой смахнула слезы.

— Я копила деньги, чтобы купить себе завтра утром нарядное свадебное платье. Накопила я не так много, но как раз хватило бы на то, что я собиралась купить.

Эллен, в ночной рубашке, показалась на пороге кухни и остановилась, вглядываясь в темноту. Но не успела Джозина заговорить с ней, как Эллен повернулась, словно испугавшись чего-то, и скрылась в доме.

— Не хочу я, чтобы меня отправляли в исправительный дом, я же не смогу тогда о ней заботиться,— рыдая, говорила Джозина.— Я ничего этого не делала, что они говорят. Никогда. Я не такая, как некоторые девушки. Я никогда ничего плохого не делала. Ты знаешь, что это правда. Только ты один и был мне нужен — ты да маленькая девочка, такая, как Эллен...

За один квартал от них автомобиль обогнул угол, и фары вдруг осветили улицу перед домом Джозины.

Старожил уже тащил Джозину к калитке.

— Теперь это он,— сказал Старожил.— Это Клайд Хефлин.

Даже не притворив за собой калитку, они побежали при свете звезд по переулку к железнодорожному полотну и к той стороне города.

13

Оставив черно-белую машину с погашенными фарами и выключенным мотором перед домом Джозины, Клайд Хефлин поднялся на веранду маленького четырехкомнатного домика. После того как он въехал в негритянский квартал, на улице ему не повстречалось ни души; дети уже

бросили играть и плескаться в дождевой воде — всем пора было ужинать.

После ливня было слишком холодно и сыро, и никому не хотелось сидеть на крылечке в такой вечер. Все жители по соседству либо ужинали, либо, покончив с ужином, грелись перед огнем при закрытых дверях. Был тот час, когда обычно ходят в гости, а друзья и родственники, собравшись вместе, играют в карты или просто беседуют у очага.

Над кучкой некрашеных деревянных домиков, пронизывая сырой ночной воздух, стоял едкий запах дыма от сосновых и еловых дров. Время от времени горящие красные искры стайкой вылетали из трубы, рассыпаясь по черному небу. В окнах домиков почти везде виден был свет, и тихая музыка радио все еще слышалась из какого-то домика дальше по улице. Наступил мирный вечер для всех тех, кто проработал целый день.

Клайд постарался ступать без шума, поднимаясь по деревянным ступенькам, и, пройдя на цыпочках по веранде, остановился у самой двери, напряженно прислушиваясь к звукам внутри дома. Он услышал глухой голос мужчины, потом весело залепетал ребенок.

Он подождал у двери всего несколько секунд. Потом, быстро повернув ручку, пнул дверь ногой с такой силой, что она, распахнувшись настежь, с треском ударилась о стену. Он выхватил револьвер из кобуры, висевшей у него на шее, и остановился на пороге, угрожающе наводя револьвер по очереди на всех, кто был в комнате.

Клайд ворвался в дом так неожиданно, что Харви Браун, сидевший за столом посреди комнаты, даже не успел вскочить на ноги. Только большая серая кошка, дремавшая на коврике перед камином, вдруг вскочила на стул, быстро выскользнула в дверь и скрылась в темноте. Харви хотел было встать.

— Ни с места! — громко приказал Клайд тем грубым тоном, каким обычно разговаривал с неграми.— Оставайтесь там, где сидите. Если двинетесь, всех в один миг перестреляю.

Харви сел, повинуясь приказу.

Маленькая Эллен, взвизгнув от страха, забралась на колени к пожилой негритянке. В испуге она звала мать:

— Мама! Я хочу к маме!

Бабушка Мэддокс, прабабка Джозины, которой по ее собственному счету было уже девяносто девять лет, была седовласая негритянка из племени гичи с черной, как сажа, морщинистой кожей и худым, сгорбленным от работы телом. Здоровье у нее стало плохое, и теперь она весила меньше девяноста фунтов. Видела она тоже плохо, и часто ей приходилось ощупью пробираться по дому. На бабушке Мэддокс было длинное ситцевое платье и рваная серая кофта в заплатах, которую много раз чинили и штопали за все эти годы. Ее родители были рабы из племени гичи и жили вместе невенчанные после того, как в конце гражданской войны их освободили от рабства у плантатора полковника Клеваба Мэддокса. С тех пор все их потомки, и мужского и женского пола, семейные и одинокие, носили фамилию Мэддокс.

— Мама! Я хочу к маме! — со слезами вопила Эллен тонким детским голосом. Волосы у девочки были прямые, каштановые, а кожа еще светлее, чем у Джозины.— Мама! Мама! Возьми меня скорей! — кричала она.— Я боюсь! Возьми меня!

— Уйми ее,— сказал Клайд бабушке Мэддокс, наводя на нее револьвер.— Постарайся, чтобы она замолчала. Чтоб она перестала так вопить.

Перепуганная старуха трясущимися руками нежно гладила девочку и что-то шептала ей дрожащим голосом. Эллен спрятала лицо на груди у бабушки Мэддокс, но не могла удержаться от плача.

— Где Джозина Мэддокс? — спросил Клайд, оглядывая комнату.

Никто ему не ответил.

Клайд подошел к столу, стоящему посреди комнаты, и сверху вниз поглядел на Харви. Потом сунул револьвер обратно в кобуру, чтобы он был под рукой, когда понадобится.

Харви Браун был статный молодой негр, мускулистый и сильный, светлый, как мулат, и с приятной улыбкой. Он был высокого роста и весил больше двухсот фунтов. Ему было лет двадцать восемь, и он работал грузчиком на товарной станции с тех самых пор, как перебрался в Пальмиру с фермы в гористой части округа Сикомор. Он жил и работал в городе уже несколько лет и был известен как человек тихий, уважающий законы, и ни шериф, ни городская полиция не придирались к нему и не арестовывали его. Даже в субботу вечером, когда бывает больше всего беспорядков и когда полиция ищет только предлога, чтобы посадить кого-нибудь в тюрьму, Харви всегда повиновался приказу «проходить и не задерживаться» и ничем не раздражал ни полицию, ни шерифа.

— Ты кто такой? — спросил его Клайд.

— Я Харви Браун, мистер Клайд,— ответил он, медленно поднимаясь на ноги.

— Ты как будто гордишься своим именем?

Харви, отодвинув стул назад, стоял возле стола.

— Я ничего такого не хотел сказать,— начал он.— Но ведь вы же знаете, кто я такой, мистер Хефлин. Вы меня знаете.

— Нечего мне говорить, что я тебя знаю. Не люблю я таких разговоров. Если захочу тебя узнать, я и сам скажу.

— Да, сэр, мистер Хефлин. Я работаю на товарной станции. Вот уже два или три года вы меня видите на погрузке и разгрузке товара из вагонов. У меня хорошая работа на железной дороге, и я еще ни одного дня не пропустил. Вы меня много раз видели, мистер Хефлин. Я каждый раз здороваюсь с вами, когда вы приходите посмотреть, что у нас делается. А неделю тому назад вы подошли и попросили у меня спичек, чтобы закурить сигарету. Ну как, теперь вы меня вспомнили, мистер Хефлин?

— Я тебе велел бросить этот разговор.

— Я сделаю точно так, как вы говорите, мистер Хефлин, если, по-вашему, так требуется.

— Молчать, черномазый! Довольно я слышал от тебя дерзостей!

Клайд оглядел комнату. Она была скудно обставлена: несколько стульев, посреди стол, маленькая кушетка. Темный коврик покрывал часть деревянного пола, и на обоих окнах висели белые занавески. Досчатые стены были оклеены газетами и цветными картинками из журналов и фирменных каталогов.

Клайд обернулся и снова взглянул на Харви.

— Где она?— строго спросил он.— Где Джозина Мэддокс?

Харви, оглянувшись на соседнюю комнату, показал туда рукой.

— Джозина вот только что ушла в кухню, мистер Хефлин, готовить ужин. Она все еще там.

— Ступай за ней,— приказал Клайд.— И я с тобой пойду. Не говори ей ничего. Держи язык за зубами.

Харви заколебался.

— Почему вы ее ищете, мистер Хефлин?— спросил он и медленно отошел от стола.— Зачем вам нужно видеть Джозину?

— Не твое дело. Ну, замолчи и ступай, куда я тебе велел.

Клайд вышел вслед за Харви из комнаты в кухню. Свет все еще горел там, и на плите тушилось мясо. Дверь на заднее крыльцо так и осталась распахнутой настежь. («Никогда не узнаешь всего, что нужно знать про белых, пока не поживешь с ними бок о бок или не поработаешь на них подольше. Одним из них приучаешься доверять и уже знаешь, что

они тебя не станут бить или обсчитывать при каждом удобном случае, а есть и другого сорта белые, которые так обращаются с неграми, как будто мы грязь и мусор. Пускай я буду мусор, но мне другое не нравится. Я не хочу больше терпеть, не хочу быть битым и обманутым, если можно обойтись без этого».)

Клайд смотрел на Харви обвиняющим взглядом.

— Ее здесь нет,— сказал он.— Ты мне соврал, а я не терплю, когда негры мне врут.

— Простите, сэр, мистер Хефлин, я сказал вам правду. Я знаю, что она сюда пошла. Я ее видел.

— Если ты понимаешь свою пользу, так скажешь мне, где эта Джозина прячется, только смотри не опоздай.

— Да ведь я говорю вам всю правду, какая есть, мистер Хефлин,— протестовал Харви.— Я не знаю, куда Джозина ушла, я даже и не знал, что она ушла куда-то. Только что она здесь была. Это я знаю, потому что слышал, как она расхаживает по кухне и напевает. Вот это и есть вся правда, мистер Хефлин. Вы мне должны поверить.

— Ты меня не учи, что я должен делать. Сам узнаю, стоит ли тебе верить, а пока что — не верю.

— Что же еще я могу сказать, чтобы вы мне поверили, мистер Хефлин?

Клайд указал на выход во двор.

— Я дам тебе возможность доказать, что ты говоришь правду. Ступай туда и разыщи эту Джозину. Только не говори ей, кто ее ищет. Ничего про меня не говори. Просто позови ее и скажи, чтобы шла домой.

Он пошел за Харви на крыльцо, потом спустился с крыльца на песчаный двор. Весь двор был смутно виден при свете звезд, но ни души там не было. Музыка из соседнего дома слышалась громче в ночной тишине, и все же она звучала мягко и успокоительно. («Я никогда в жизни не хотел причинить вред белому человеку. Всегда старался этого избегать. Но как бы я ни старался работать для них, сколько бы ни угождал им, как бы скромно ни держался, все равно всегда находится белый, который чем-нибудь да недоволен и начинает придираться к тебе. Не знаю, почему они придираются, разве только по злобе. Сдается мне, что на этом свете негров загнали в угол, как кролика в курятнике. Не знаю, что тут можно сделать, знаю только, что хочу вырваться на волю, как всякий кролик».)

— Для чего вам нужно видеть Джозину, мистер Хефлин?— тревожно спросил Харви.— Зачем вы ее ищете?

— Не твое дело.

— Нет, мистер Хефлин, извините, это вроде как и мое дело, потому что мы с Джозиной уговорились завтра пожениться. Вот почему это все-таки немножко и мое дело, правда? Я был бы очень вам благодарен, если б вы мне сказали, для чего она вам нужна. Мне бы хотелось, чтобы завтра у нас не было никакой задержки со свадьбой, чтобы нам ничего не помешало. Вы же не посадите ее за что-нибудь в тюрьму, ведь нет?

— Замолчи и ступай позови ее, как я тебе велел.

Харви медленно направился к забору.

— Джозина!— настойчиво позвал он.— Где ты, Джозина? Это Харви. Ты меня слышишь? Иди сюда сейчас же, Джозина!

Пока Харви ее звал, Клайд подошел к забору и посветил фонариком. Он посмотрел вправо и влево по переулку, потом направил луч на пустырь и соседний двор. Не увидев там никого, он погасил фонарик и убрал его в карман. Харви звал Джозину, но Клайд злился все больше и больше, и у него не хватало терпения ждать. Он отошел от забора и вернулся на середину двора.

14

— Ты мне опять соврал, как врут все негры,— сказал Клайд, подходя к Харви. Он остановился, сплюнул на землю и вытер рот тыльной стороной руки.— Ее здесь нигде нет — она прячется где-то в доме. Вот тут ты мне и соврал, потому что отлично знаешь, где она. Даю тебе еще один шанс, парень. Ступай обратно в дом, да смотри найди ее на этот раз. А пока будешь искать, не забудь, что я тебе скажу. Пожалеешь ты свою черную шкуру, если не найдешь Джозину.

— Да как же я найду ее в доме, когда ее там нет, мистер Хефлин?

— Это уж тебе надо беспокоиться, парень. Да когда будешь искать, старайся как следует. Может, это у тебя последний случай в жизни.

— Я и беспокоюсь. Вы должны мне поверить...

— Попробуй поучи меня еще раз, что я должен делать, и я вышибу все твои белые зубы и ни во что это считать не буду.

Харви попятился от Клайда.

— Для чего вам понадобилась Джозина?— взмолился он.— Что она сделала, что вы приехали сюда и ищете ее столько времени? Она не такая, чтобы в чем-нибудь провиниться и попасть в беду.

— Парень, ты сам попадешь в беду, если не будешь делать, что я велю, и не поторопишься с этим.

— Разве вы не скажете мне, что она сделала плохого, мистер Хефлин? Хотя бы только это одно? Ведь я прошу такой маленькой милости. Кажется, вы бы могли мне сказать хотя бы это. Мы с Джозиной...

— Я уже сказал тебе один раз, что это не твое дело. Ну, ступай обратно в дом и разыщи ее, как я тебе велел, пока я тебе не вбил твои поганые зубы обратно в глотку.

Стараясь держаться подальше от Клайда, Харви медленно двинулся к выходу.

— Мистер Хефлин, прошу вас, сэр, если вы только оставите ее в покое, я с радостью пойду в тюрьму вместо нее. Как, по-вашему, можно это? Я знаю, что бывает с цветными девушками, такими как Джозина, когда их сажают в эту тюрьму. Я про это слыхал. И не хочу, чтобы с ней то же случилось.

Клайд ничего не ответил.

— Это все правда, что я сказал, мистер Хефлин. Мы с ней хотим завтра пожениться. Не позволите ли вы мне сесть в тюрьму вместо нее?

Клайд опять ему не ответил. Он прошел за Харви через кухню в спальню Джозины. («Я не скажу, что цветной парень не станет глядеть на белую девушку, потому что трудно не любоваться ею, но дальше этого он вряд ли пойдет. Он даже и глядеть-то на нее почти всегда боится, потому что знает: она может на него пожаловаться, просто ради хвастовства. Но если говорить о том, как белый мужчина ведет себя с цветной девушкой, то все с самого начала предрешено в его пользу. И похоже, что ничего тут не поделаешь».)

Посветив ручным фонариком в спальню и заглянув в чулан, Клайд поднял край постели и перевернул ее кверху дном. Потом, еще больше озлобившись и ожесточившись, он пинком опрокинул комод и протолкнул его через всю комнату, так что вещи Джозины рассыпались по полу.

— Ты, черт возьми, отлично знаешь, где она прячется,— угрожающе сказал он, выталкивая Харви из спальни в кухню. Отцепив от пояса тяжелые стальные наручники, он размахивал ими взад-вперед.— Попробуй только соври мне еще хоть один раз, и, клянусь богом, я тебе вобью вот эти наручники в твой поганый рот и ни во что это считать не буду. Ну, говори, где она от меня прячется! Даю тебе еще один последний шанс — и это все.

Глядя на тяжелые наручники, Харви боязливо покачал головой и отступил назад, так чтобы Клайд не мог до него дотянуться.

— Мистер Хефлин, не бейте меня, пожалуйста,— умолял он.— Вы же знаете, я ничего вам не сделал и бить меня не за что. Это сущая правда, мистер Хефлин. Не хочу я тут стоять, чтобы вы меня били. И давать сдачи белому я тоже не хочу. Я не такой. Никогда в жизни я не дрался с белым человеком и сейчас не хочу драться. Один только раз у меня было что-то в этом роде, очень давно, когда какие-то белые мальчики захотели, чтобы я дрался и играл вместе с ними, и никому от этого худа не было. Вы только не бейте меня сейчас, мистер Хефлин. Больше я ни о чем не прошу.

— А ну-ка, валяй ударь меня хоть разок, парень. Хотел бы я посмотреть, как это у тебя выйдет. Попробуй ударь меня. Посмей только Нука, посмей. Говорить ты мастер, а как до дела дойдет — струсишь. А уж если ударишь, так это будет последний раз в жизни, что ты ударишь белого. Как это получился из тебя такой поганый негр? Откуда ты взялся?

— Я из горной области за пятнадцать миль отсюда, мистер Хефлин, и я вам говорю чистую правду, как полагается деревенскому парню. Я не знаю, куда ушла Джозина. Поверьте мне, пожалуйста, мистер Хефлин. Не будьте ко мне так строги. Я даже не знал, что она вышла из кухни и куда-то убежала, когда вы мне велели идти ее искать. Я знаю только, она сказала, что пойдет приготовить что-нибудь к ужину, а потом уложила девочку спать. Она сказала, когда девочка заснет, у нас с ней будет вроде как бы свадебный ужин. Потому она ушла сюда в кухню, и больше я ее не видел. Должны же вы мне верить, когда я говорю правду, мистер Хефлин.

— Ты меня опять учишь, что я должен делать,— злобно сказал Клайд, размахивая тяжелыми наручниками и делая шаг вперед.— И это последний раз ты меня учишь, больше тебе этого делать не придется, вонючий ты негр!

Вместо того чтобы попятиться от грозно качающихся перед ним наручников, Харви застыл на месте. Руки его были вытянуты по швам — он даже не стиснул их в кулаки.

— Посадите меня в тюрьму, если вам угодно, мистер Хефлин, только не называйте меня так, как вы только сейчас назвали. Я никому — ни белому, ни черному — не позволю себя так называть. Мне обидно, когда меня так называют.

Клайд нагнулся и сплюнул на пол.

— Как мне вздумается, так и буду тебя называть. Что ты думаешь, кто ты такой, в самом деле? Разговариваешь так, будто вообразил, что ты не хуже белого.

Не сводя глаз с наручников, Харви стиснул кулаки в первый раз.

— Можете ругать меня, мистер Хефлин, назовите лгуном, если хотите, ведь я не в силах доказать вам, что говорил правду про Джозину и что я не знаю, где она. И я вовсе не собираюсь вам дерзить, я знаю свое место. Но только не называйте меня так. Я серьезно вам говорю. Я никому не позволю так себя называть. Я на это могу обидеться. Я — черный, так же как вы — белый, и только так меня и надо называть. Что бы ни случилось, я бы не стал так говорить, если бы я этого не думал.

— А кто же ты такой, если не вонючий негр?

— Я самый обыкновенный человек, такой же, как все другие. Случилось так, что я родился черным, так же как вы родились белым. Вот и вся разница между нами, и от этого я не отступлюсь.

— Ты понимаешь, что говоришь?

— Конечно, понимаю.

— Похоже, что тебе не терпится нос задрать и хвалиться тем,

что ты негр. Что ж, продолжай в том же духе, если хочешь знать, до чего это тебя доведет.

— Мистер Хефлин, что же я могу поделать, если вам так кажется. Я лично только это и могу сказать.

— И буду звать тебя как мне вздумается, черномазый ублюдок.

Бабушка Мэддокс, одной рукой крепко прижав к себе Эллен, ощупью пробиралась к кухонной двери. Ее незрячие глаза округлились от страха, сутулые плечи дрожали, когда она поглаживала девочку, стараясь ее успокоить.

— Помолчи лучше, Харви Браун,— сказала она ему, и ее сморщенное лицо судорожно исказилось.— Ты говоришь так, как будто у тебя ни капли разума не осталось. Я слышала, что ты сказал. Не смей так разговаривать с белыми людьми. Ты, должно быть, совсем рехнулся. Ты же сам отлично понимаешь. Если ты не замолчишь, так наделаешь такой беды всем нам, цветным, хуже которой быть не может. Белые не потерпят таких дерзостей от негра, и ты это знаешь. Ну замолчи же, Харви Браун, тебе говорят, и держи язык за зубами. Не перечь ему больше, молчи.

— Я только стою за свои права,— ответил ей Харви Браун.— Никто мне этого запретить не может. Времена теперь не те, что прежде были.

— Это рехнуться надо, чтобы так разговаривать, Харви Браун. Никаких у тебя нет прав перед белыми людьми, когда ты им грубишь и выводишь их из себя. Я прожила долгую жизнь и знаю все горе, слезы и беду, сколько их есть на свете, и не хочу больше ничего этого видеть до конца моих дней. Вот потому я и знаю, о чем говорю. Ну а ты замолчи, Харви Браун, и держи язык за зубами.

— Уходи из дома, бабушка,— сказал ей Харви.— И уведи Эллен куда-нибудь. Побудь у соседки. Ну, скорее, уходи отсюда, я же тебе сказал. Я знаю сам, что делаю, и нечего тебе меня учить.

— Ты лучше послушай меня, Харви Браун,— предостерегала его бабушка Мэддокс, пятясь от кухонной двери к выходу.— Я старых времен негритянка, и обычаи белых людей мне наизусть известны. Если ты не перестанешь грубить этому белому, так попадешь в такую беду, что больше света божьего не увидишь. Видывала я и раньше, как это бывало с неграми-грубиянами вроде тебя, и знаю, что говорю. Ты бы лучше послушал меня, Харви Браун, пока не поздно.

Клайд потянулся к кухонной двери и захлопнул ее как раз в ту минуту, когда бабушка Мэддокс, испуганно охая и одной рукой прижимая к себе девочку, успела выбраться ощупью на веранду и сойти с крыльца.

— Ты уж больно много наболтал своим поганым языком,— сказал Клайд. Он остановился и сплюнул на пол.— Я тебе покажу сейчас, чертов ты негр, ублюдок вонючий!

Прикусив нижнюю губу и не говоря больше ни слова, он размахнулся и ударил тяжелыми стальными наручниками по голове Харви. Тот не успел отскочить в сторону и, оглушенный ударом, зашатался и осел на пол, спиной к стене. («Сдается мне, что для цветного должен быть какой-то способ не дать белому обидеть себя и не попасть из-за этого в беду, но только, если есть такой способ, мне он не известен. Плохо и то, что тебя надувают, но тут всегда надо смотреть в оба и не попадаться. А хуже всего — побои, от которых никуда не денешься. Придет время, когда этому положен будет конец, и мы, цветные, не будем больше страдать. Мне хочется увидеть этот великий день, хочется, чтобы он настал поскорее. Разумеется, мне совсем не по душе то, что теперь творится. Не может оно быть правильно, с какой стороны на это ни смотреть. Вот только это одно я и говорил против белых. Я знаю, некоторые из них не станут бить негров, зато уж слишком много таких, которые бьют».)

Харви не мог защититься от второго удара, и Клайд ударил его наручниками по лицу. Кровь начала заливать ему глаза и щеки, и Харви беспомощно повалился на пол. Он лежал на полу, а Клайд раз за разом пинал ногой его голову. Тихая музыка, доносившаяся из соседнего дома, вдруг оборвалась — кто-то выключил радио.

— Больше ты уже не нагрубишь ни одному белому, черт бы подрал твою черную шкуру,— сказал Клайд, сплюнув и вытирая рот рукой. Кровь лилась с лица Харви и растекалась по полу.— Я тебя проучу, вонючий черный ублюдок. Больше не нагрубишь ни одному белому. Ты это проделал в последний раз.

Харви повернулся и хотел было подняться с пола, встав на четвереньки. Клайд смотрел на него с минуту, потом изо всех сил пнул его в голову. Харви опять повалился на пол.

— Что же ты не болтаешь ничего своим поганым языком? Что же ты не учишь меня, как я должен себя вести? Понял, надо думать, что тебе ничего не поможет и что больше тебе не встать.

Сунув руку в карман, Клайд достал нож и, быстро орудуя наточенным лезвием, распорол на Харви рубашку и штаны. Он воткнул кончик лезвия в обнаженную грудь Харви, но тело только слегка свело судорогой. После этого, бешено кромсая ножом, Клайд отсек ему половые органы. С хрустом повернув каблук, он вбил их глубоко в горло Харви.

15

Наутро, незадолго до восьми часов, когда уже открывались лавки и конторы, а дети шли в школу, до белого населения Пальмиры начали доходить разные слухи о том, что произошло в негритянском квартале города этой ночью.

Вначале многие, особенно те, кто был введен в заблуждение слухами и не знал, что случилось в действительности, думали, что какого-то опасного негра пришлось застрелить, когда он сопротивлялся аресту.

Убийство негра помощником шерифа или полицейским было самым обычным делом; в таких случаях объявляли, что убийство было необходимо для самозащиты или при сопротивлении аресту, а то и просто для поддержания закона и порядка. Больше того, ни в одном судебном отчете не значилось, чтобы в округе Сикомор когда-нибудь привлекали к суду белого за убийство негра. И все-таки много находилось белых граждан, которые сожалели о том, что в прошлом ни в чем не повинные негры погибали жертвами ненужной, неоправданной жестокости. («Стоит мне только услышать, что негра избили цепью за то, что он под праздник рано ушел с работы, или застрелили за то, что он не вернул вовремя взятый взаймы доллар, и мне становится стыдно, что я белый. Этому нет оправдания, это все равно что до смерти забить дубиной собаку за то, что она громко лаяла ночью».)

В негритянском квартале, однако, тревожная весть о действительной причине смерти Харви Брауна быстро распространилась среди населения еще ночью. Как и следовало ожидать, многие семьи не ложились спать всю ночь и сидели в темноте, запершись на замок из страха, что Клайд Хефлин вернется с другими помощниками шерифа и полицейскими и произведет повальный обыск, чтобы найти Джозину Мэддокс. Бабушка Мэддокс с внучкой провела ночь у соседей, и, когда наступил рассвет, она все еще боялась идти домой. После того как ей рассказали, что случилось с Харви и каким образом он умер, бабушка Мэддокс стала опасаться, как бы Клайд Хефлин не убил ее вместе с девочкой, если она вернется в дом, и Клайд ее там застанет.

Бабушка Мэддокс охала, стонала и нуждалась в утешении, но никто в этой части города не знал, где Джозина и когда она вернется

домой. Они могли сказать бабушке Мэддокс только то, что сама она вне опасности и ей лучше оставаться здесь, пока Джозина не придет за ней и за Эллен.

— Не вижу для нее никакого смысла торопиться сейчас домой,— сказал один из соседей.— Только попадет на похороны вместо собственной свадьбы. Но ты не беспокойся. Пускай ее подождет. Она успеет попасть на похороны и завтра, или когда это еще будет. Джозина не даст нам похоронить Харви без нее, она придет сюда горевать и плакать о нем. А нам придется известить его родню в горной области, чтобы они отправились в путь и прибыли на похороны заблаговременно. Его мать и отец непременно захотят быть на похоронах.

Бабушка Мэддокс охала и раскачивалась в качалке, закутав голову шалью. Шторы на окнах были спущены, и в доме было темно, почти как ночью. Утешать ее пришло столько соседей, что стульев не хватило, и многим пришлось сидеть на полу.

— Всем нам, цветным, будет лучше, когда мы умрем и нас зароют глубоко в землю,— говорила бабушка Мэддокс, причитая все громче и раскачиваясь все быстрей.— Никогда мы, негры, не знали другого покоя. Не спорьте со мной, я знаю, что говорю. Всегда какая-нибудь гроза собиралась над нами, неграми. Я это видела всю жизнь, и теперь стало не лучше, чем в тот день, когда я на свет родилась. Когда я умру и меня зароют в землю, то прошу, чтобы вы все веселились и плясали, потому что тогда все мои несчастья останутся наверху, на земле. И я хочу, чтобы меня похоронили вниз лицом, чтобы мне не глядеть сюда наверх и не видеть всего того горя, какое еще есть у всех и какому помочь невозможно. Не хлопочите насчет цветов и нарядного гроба — просто веселитесь и пляшите, поминая меня.

— Я буду плясать на твоих похоронах, бабушка,— сказала ей одна из соседок,— буду плясать сколько сил хватит, только это случится не скоро. Ты такая крепкая, что доживешь до ста двадцати лет. Видела я и раньше крепких старушек, вроде тебя. Характер у них с годами делается упрямым, и они живут да живут, чтобы нас бранить, таких, которым всего пятьдесят или шестьдесят лет.

— Кабы я знала свой долг, так мне бы надо было больше бранить Харви, чтобы он помалкивал, а то у него самого разума не хватило,— сказала она.— Не был бы Харви Браун весь искромсан, как теперь, и не помер бы, если бы я пуще его бранила. Таких негров, как он, надо почаще бранить. Не хватает у них разума в пустой голове, не понимают, что белому всегда надо уступать дорогу.

— Может быть, и так, бабушка, но только времена теперь быстро меняются, и не всегда будет так, как было в прошлом. Ты только проживи подольше, и сама когда-нибудь увидишь, что все стало по-другому. Когда это случится, проснешься однажды утром, и куда только все твое горе денется, будешь глядеть во все глаза на новую жизнь. Большой перемены еще нет пока, но она не за горами, а тем временем все понемногу меняется.

— Уж лучше я буду лежать в своей могиле вниз лицом, чем оставаться здесь наверху и терпеть все несчастья, которые вы, хвастуны, на себя накликаете. Я старых времен негритянка из племени гичи и всю свою жизнь видела, как на нас, негров, валится несчастье за несчастьем. А теперь помолчите-ка, покуда белые не услыхали, как вы болтаете. И без того у нас хватает горя.

■

По дороге на работу Эл Дидд остановился поговорить с Эдом Говардом на городской площади. Эд подметал тротуар перед своей пивной и увеселительным заведением. Было еще раннее утро, еще не про-

било восьми часов, и у Эла оставалось несколько свободных минут до начала работы на электростанции. Он подождал, пока Эд не сметет весь мусор в канаву.

— Видел ты сегодня Старожила? — спросил он.

— Нет, не видел,— отвечал Эд.— Да так рано я и не ждал его.

— Ну, ладно, а ты слыхал, что случилось нынче ночью в негритянском квартале?

— Слыхал. И тем, что я слыхал, дело еще не кончится,— сказал Эд, стоя в дверях и поглядывая через улицу на серое каменное здание суда.— Даром это не пройдет, тут заварится такая каша. Вот подожди, увидишь. Кое у кого не хватает еще разума понять это, но времена переменились. Можно было проделывать такие штуки в старое время и ни во что это не считать, потому что вряд ли кто-нибудь стал бы поднимать из-за этого шум. Но не теперь. Кое-кто еще пожалеет, что изуродовал этого парня,— если можно жалеть после того, как ты помер.

— Ты не осуждай Старожила,— заговорил Эл.— Старожил здесь ни при чем. Он здесь так же ни при чем, как мы с тобой.

— Я Старожила Ханниката вовсе не осуждаю. Если он захотел жениться на белой женщине, а потом вдруг взял да и спутался с негритянкой, это его дело. Не он первый из белых мужчин путается с негритянками, не он и последний. И за мной это водилось и за тобой тоже, да покажи ты мне такого, чтоб не путался, из тех, у кого усы растут. Может, и есть другой способ получить больше радости от женщины, только если есть, я его до сих пор не знаю. Я знаю одно, это то, что Мэйбл Бауэрс не имела никакого права затевать крестовый поход ради того, чтобы прекратить такое обыкновенное дело, да к тому же и кончилось оно не по-хорошему. Если она никак не может с этим примириться, так вон в том здании сидит судья для того, чтобы давать развод белым женщинам, которые не умеют угодить мужчине так, как цветная девушка. И еще одно. Гровер Гловер должен был бы понимать и не соваться не в свое дело из-за нескольких лишних голосов. В наше время никому нельзя изуродовать негра так, как изуродовали этого парня нынче ночью, и остаться безнаказанным. Я такие штуки считаю вредными. Застрели его, если надо, ну и хватит с тебя. Просто не считаю нужным уродовать человека, белый он или черный. Ну, я свое мнение высказал насчет этого грязного дела с начала и до конца.

— Эд, как ты думаешь, Клайд Хефлин это самое потому сделал, что рассчитывал застать девчонку одну и побаловаться с ней, а потом взбесился и изуродовал Харви Брауна, чтобы и ему она не досталась?

Эд кивнул.

— Ну что ж, у нас с тобой имеются основания так думать.

— А как ты думаешь, что теперь будет с Клайдом?

— Не могу тебе сказать,— ответил Эд.— С этой минуты я просто жду, не услышу ли, чем дело кончится. И думаю, что ждать мне придется недолго.

■

Выше по Оук-стрит, рядом с высоким зданием школы, миссис Типлз, прежде чем приняться за утреннюю уборку, звонила по телефону своей невестке, миссис Бэйфилд.

— Ты, конечно, слышала, что случилось нынче ночью на том конце города? — начала миссис Типлз.— А если не слыхала, так ты чуть ли не единственная в Пальмире ничего не знаешь. Я просто должна была тебе позвонить, прежде чем браться за мытье посуды и уборку. Я знала, что ты захочешь поговорить со мной об этом.

— Знаю, о чем ты говоришь,— отвечала миссис Бэйфилд.— Слышала, что помощник шерифа поехал туда по долгу службы и его чуть не убил один из этих опасных негров, который сопротивлялся аресту, и тогда пришлось его застрелить, потому что нам всем тоже угрожала опасность. Мы должны быть благодарны, что у нас есть такие храбрые мужчины, которые защищают нас, и пора уже что-то сделать, чтобы проучить как следует этих негров и поставить их на место. Последнее время всякий раз, когда я вижу этих людей, они ведут себя так, как будто они ничуть не хуже белых. Третьего дня я была в центре города, так один из них видит, что я иду навстречу, и даже не сошел с тротуара.

— Знаю, о чем ты говоришь,— откликнулась миссис Пиплз.— Но ведь все дело заварил вот этот, с таким страшным именем... да ты знаешь... Старожил Ханникат. Говорят, он женился на миссис Фрэнк Бауэрс из-за денег, а потом привел к себе в дом ее прислугу — ты понимаешь, зачем. Ну, а эта негритянка, которая выглядит почти как белая, собиралась выйти замуж за негра — за того самого, который был убит вчера ночью, потому что он сопротивлялся аресту и угрожал полицейскому. Все это становится ужасно сложно, однако, во всяком случае, этот самый негр хотел убить помощника шерифа, который поехал туда, чтобы арестовать за проституцию эту негритянку — прислугу миссис Бауэрс — но ее там не оказалось. Она спряталась в Большой Щели со Старожилом Ханникатом, совершенно голая, но никто об этом не знал до самого утра. Во всяком случае, может, хоть теперь негритянки в нашем городе бросят свои повадки, перестанут соблазнять белых мужчин...

— Я знаю, о чем ты говоришь,— прервала ее миссис Бэйфилд.— Сегодня утром я сказала своему мужу, когда он уходил на работу, что если только он вздумает прятаться—и ты знаешь, что еще проделывать— с одной из этих негритянок, то пусть больше никогда не подходит ко мне. Он этого не понимает, но женщине стоит только понюхать, и она сразу узнает, был он с другой женщиной или нет. Ну, он, конечно, обещал, как все мужчины обещают, но я еще не видела мужчины, которому можно было бы доверять, если он у тебя не на глазах. Он сказал...

■

Шериф Гровер Гловер никогда еще не являлся к себе в контору так рано. Он привык поздно вставать и обычно приходил в здание суда часам к десяти. В это утро ему после бессонной ночи пришлось встать и одеться с восходом солнца. Не будя жену, он сам сварил себе кофе, потом позвонил Клайду Хефлину и другим помощникам. Он велел им всем явиться к нему в кабинет не позже восьми часов.

Гровер дожидался стоя, когда его помощники подойдут к зданию суда. Он не произнес ни слова, пока они входили и усаживались. Несколько минут он пристально смотрел на Клайда Хефлина, словно не знал, что сказать. Потом схватил пресс-папье в виде пары миниатюрных наручников, с громким лязгом швырнул их в корзину для бумаги и только после этого сел.

— Боже ты мой, Клайд, зачем ты только это проделал? — громко заговорил он.— Мне только и надо было, чтобы ты произвел арест, как полагается, и дело с концом. А то, что ты натворил,— это черт знает что такое... да еще перед самыми выборами.

Клайд беспомощно заворочался на стуле.

— Ты хватил через край, сынок. Боже правый, зачем ты это проделал? Когда слух об убийстве обойдет город и распространится по всей округе, людям рты никак не заткнешь. Хуже всего будоражат лю-

дей вот такие вещи. Проповедники во всеуслышание читают об этом проповеди, всякий сброд шепчется за твоей спиной — ах ты черт! Все это заставляет людей переметнуться и голосовать за других, а это всегда во вред должностному лицу и на пользу политическому противнику. Времена переменились, сынок, а ты ведешь себя так, как будто не понимаешь разницы. Теперь все уже не то, что было, может, лет десять-пятнадцать тому назад. Люди еще стоят кое в чем за старое, потому что обычай пока что имеет над ними власть, но только не за такую бойню, какую ты устроил. Объяснениями тут не поможешь, сколько ни проводить кампаний начиная с этого дня и до выборов. Я всегда говорю своим помощникам, что они имеют право защищать свою жизнь и личность по служебной линии. Для того и даны тебе дубинка и револьвер. Ну, а вот это, сынок...

— Шериф, вы мне приказали найти эту девчонку, арестовать ее и привести сюда,— сказал Клайд, ворочаясь на стуле.— Она где-то пряталась, а я только старался узнать, где она находится, чтобы забрать ее. Когда этот черномазый...

— Знаю,— сказал Гровер, потирая лицо обеими руками.— Знаю. Незачем мне это рассказывать. Я знаю, о чем ты толкуешь.

— Я ничего худого не думал, шериф,— настаивал Клайд.— Почем же я знал, что он от этого умрет? Он меня взбесил своей болтовней, надо же было проучить его, чтобы знал свое место. Не мог же я позволить черномазому...

— Все равно, сынок, для меня от этого дело только хуже складывается,— сказал Гровер, сокрушенно покачивая головой.— Я боюсь политического взрыва перед самыми выборами. Я занимаюсь политикой с тех пор, как проголосовал в первый раз двадцати лет от роду, так что за это время можно было узнать, насколько опасны такие случаи накануне того дня, как избиратель пойдет к урнам. С таких пустяков может начаться что-нибудь очень серьезное, и тогда это труднее будет остановить, чем пожар среди сухой осоки в ветреный октябрьский день. В нашем округе немало таких избирателей, которые голосуют за демократов, и им как раз может взбрести в голову забаллотировать меня из-за этого. Только и нужно что-нибудь эгакое, чтобы некоторые люди переметнулись и голосовали за республиканцев, а у нас их и так слишком много. Если так случится, для меня в мои годы это будет тяжкий удар. Придется переехать в деревню, на тот клочок горохового поля, который там у меня имеется, и попытаться так или иначе наскрести себе на жизнь с этой каменистой почвы. А богу известно, что я никогда не собирался стать работягой-фермером, пока можно было без этого обойтись. Вот почему я пошел голосовать и занялся политикой на целый год раньше, чем полагается.

Ничего больше не было сказано, пока Гровер не встал из-за своего стола.

— Так вот, я требую, чтобы эту девушку, Джозину Мэддокс, оставили в покое,— сказал он своим помощникам.— Я не желаю, чтобы ее трогали. И без этого у нас хватает неприятностей. Приказа об ее аресте нет и никогда не было. Я только хотел сделать любезность миссис Фрэнк Бауэрс, произведя небольшое расследование без всякого шума. Миссис Фрэнк Бауэрс решила во что бы то ни стало затеять какой-то там крестовый поход, и пришлось крепко подумать ради того, чтоб она осталась довольна. А теперь держитесь пока что подальше от негритянского квартала. Кому-то придется очень солоно, если вы не послушаетесь. Эти люди там очень взбудоражены тем, что случилось, и небезопасно даже бегать за цветными девушками по железнодорожному полотну, какая бы ни была темная ночь. Обойдетесь и так это время.

■

В восемь тридцать утра следователь наскоро провел следствие по делу о смерти Харви Брауна, как полагается по закону. Из свидетелей присутствовал один Клайд Хефлин. Шериф Гловер и другие помощники тоже были там, но двери кабинета следователя были заперты, и никому больше не было разрешено присутствовать на следствии.

После нескольких шаблонных вопросов и ответов следователь весьма быстро установил, что смерть Харви Брауна, цветного, последовала вследствие удушения или удавления чем-то таким, что случайно попало ему в горло. После чего следователь, нервничая, записал свое решение в книгу протоколов и захлопнул ее.

Как только следствие было закончено, один из помощников шерифа вышел из здания суда, поговорил по душам с кем-то на улице и сообщил, какое постановление вынес следователь о причине смерти Харви Брауна. После этого новость быстро разошлась с городской площади по лавкам и конторам во всем городе.

— Не хотел бы я быть сейчас на месте Клайда Хефлина,— сказал кто-то из собеседников, собравшихся на почте.— Особенно после того как шериф и следователь вместе придумывали способ, как бы поскорей замять это дело. Даже моя старая черная корова и та не поверила бы такой нескладной выдумке. Меня нисколько не удивит, если Клайда найдут убитым на улице как-нибудь темным вечером. Я не говорю, кто это сделает, не говорю, хорошо это или плохо, но никто мне не запретит думать про себя, что Клайд сам это заслужил, если на свете есть хоть какая-нибудь справедливость. Мне все равно, какого цвета человек. Я говорю только, что ни одного человека нельзя так уродовать, как изуродовали Харви Брауна. И кто-то должен за это ответить. Я не всегда стою за негров и не всегда против них, но на этот раз я нисколько не стану осуждать их, если что-нибудь случится с Клайдом Хефлином.

Еще несколько человек вошли в почтовое отделение, чтобы получить утреннюю почту, и все они остались послушать.

— Если некоторые люди родились черными, это не значит, что их только поэтому надо топтать ногами и давить, как муравьев. Нам в округе Сикомор не нужен такой помощник шерифа, как Клайд Хефлин, и Гровер Гловер лучше бы сделал, если бы понял это и поскорей отобрал у него значок. Выборы уже у нас на носу. Я всегда голосую за демократов, но на этот раз мог бы подать голос и за республиканцев, да еще и с радостью. Клайд Хефлин хватил через край, когда так изуродовал этого парня, и я ничего не имею против того, чтобы выступить открыто и так и сказать во всеуслышание. Если кто-нибудь совершил преступление, черный он или белый, я говорю: посадите его в тюрьму. Если кто-нибудь совершил убийство, черный он или белый, посадите его немедля на электрический стул. И дело с концом. Но, насколько я слышал, этот молодой негр ровно ничего не сделал и не виноват ни в чем, разве только в том, что разговаривал много, а нынче и все много разговаривают, это уж во всяком случае. Клайд выместил свою злобу на этом парне, когда поехал туда арестовать Джозину Мэддокс и не мог разыскать ее. Для человека, в котором столько злости, нет никакого оправдания. Позор, что это случилось в Пальмире, и я не постесняюсь открыто сказать это во всеуслышание. Я благонамеренный белый гражданин, что бы я ни говорил, но все-таки понимаю, что с некоторыми вещами дело обстоит слишком уж ненормально в этой стране.

— Если Клайд все еще собирается арестовать эту негритянку, за которой он гонялся вчера ночью,— сказал другой,— ему надо только подняться в контору Далтона Барроуза. Я видел, как она пробежала

туда вот только что. Однако на улице она не показывалась. Она пробежала по переулку и вошла в контору с черного хода.

— Удивительно тоже будет, если Клайд Хефлин покажется сегодня на улице. Если он понимает свою пользу, так он отправится пока что на рыбную ловлю. Кабы я попал в такой переплет, я бы схватил поскорей удочку, отправился бы во Флориду и просидел бы там с полгода. Отличный был бы способ продлить свою жизнь.

Большинство собеседников понимающе кивнули, выходя из почтового отделения.

■

Джозина вошла в контору Далтона Барроуза за несколько минут до девяти. Когда она ранним утром позвонила Далтону на дом, он сказал ей, что слишком занят, видеть ее не может и советует ей обратиться к другому адвокату. Но она не сдавалась, говоря, что Старожил Ханникат велел ей пойти к нему и ни к кому больше. Как только она назвала Старожила, Далтон сразу согласился принять ее, если она придет к нему в контору равно в девять часов утра.

16

— Я говорил с шерифом Гловером по телефону, и он сообщил, что не собирается предъявлять тебе никаких обвинений,— сказал Далтон Джозине, снимая очки для чтения, и посмотрел на нее через стол, слегка приподняв густые темные брови.— Фактически, никакого ордера на твой арест не существовало, как мне сказали. То, что произошло вчера ночью, было просто-напросто обычным расследованием по чьей-то жалобе. Больше тебя преследовать не будут, Джозина. С этим делом покончено. Ты теперь можешь пользоваться полной свободой передвижения.

Как и всегда, Далтон Барроуз носил дорогой темный костюм и яркий галстук бабочкой. Кроме того, что он был адвокатом, сенатором штата, директором банка и председателем ведущего городского клуба, ему принадлежала ценная недвижимость и в городе и в округе, и уже много лет он был известен как самый богатый и самый видный из граждан Пальмиры. («Не знаю, где окажется в конце концов Далтон — на самом верху или в самом низу политической навозной кучи, но он заработал себе в наших местах солидную репутацию первого специалиста по закладным операциям. Около года тому назад он оттягал у меня небольшую ферму из-за минутного опоздания после двенадцати часов ночи. Всякий другой подождал бы по крайней мере до утра и тогда уже отобрал бы твою собственность за неплатеж, дал бы тебе хоть выспаться ночью. А этот стоял перед моей дверью вместе с помощником шерифа, дожидаясь времени вручить повестку, и только отсчитывал секунды по своим часам. Но в одном отношении следует отдать справедливость Далтону. Он ходит в церковь так же часто, как проповедник, да еще и молитвы читает куда громче. Учтите все это вместе взятое и вы поймете, почему Далтон Барроуз не может не быть видным гражданином».)

Далтон теперь впервые выставлял свою кандидатуру в конгресс на всеобщих ноябрьских выборах и прилагал все усилия, как политик и финансист, чтобы обеспечить себе пост в Вашингтоне. Черные волосы с проседью и высокая осанистая фигура придавали ему внушительность, к тому же он умел держаться солидно и достойно или по-родственному благосклонно, смотря по обстоятельствам. С годами он приобрел уменье управлять своим голосом в публичных выступлениях и в частных разговорах, переходя от внушительного рева до интимно-ласковых нот. Если б он не добился поста в Вашингтоне, что казалось маловероятным, то впер-

вые за всю его политическую карьеру случилось бы, что он не прошел как кандидат от демократов на предвыборном собрании и не получил большинства голосов на всеобщих выборах.

— Могу сказать тебе по секрету вот что, Джозина,— говорил Далтон с привычным оживлением.— В действительности произошло то, что миссис Фрэнк Бауэрс по личным причинам настаивала на твоем аресте, а шериф пожелал исполнить эту ее просьбу, чтобы оказать ей любезность. В этом все дело. Он просто-напросто проделывал формальность. Ты понимаешь, что я хочу сказать?

Он опять взглянул на Джозину, приподнимая брови, но не стал дожидаться ее ответа.

— Так вот шериф Гловер собирается выставить свою кандидатуру на второй срок, а такие случаи бывают иногда перед выборами. Я в самом разгаре важнейшей для меня кампании и очень ценю готовность любого кандидата пойти навстречу избирателям и обеспечить себе их голоса. Все мы являемся слугами народа и по необходимости подчиняемся воле избирателей. Тебе это понятно. Во всяком случае, даже если бы тебя взяли под стражу, то через несколько дней шериф тебя преспокойно выпустил бы, тем бы дело и кончилось. Я рад, что для тебя все так хорошо обернулось, Джозина.

Кончив говорить, Далтон поднял глаза и указал ей на дверь.

— Можешь идти теперь,— сказал он кратко.

Джозина поднялась с кресла. Однако она тут же остановилась, вместо того чтобы уйти немедленно. Он опять указал ей на дверь.

— Это все. Я очень занят сегодня утром.

Он наклонился над столом, словно решившись не смотреть на нее после этого.

— Сколько я должна вам, мистер Барроуз? — спросила она.

— Ничего. Ровно ничего. Мне очень приятно было сделать любезность мистеру Ханникату. Он всегда очень энергично помогал мне перед выборами.

Джозина собиралась было поблагодарить Далтона, как вдруг он поднял глаза и указал ей на кресло, в котором она только что сидела.

— Погоди минутку,— нервно сказал он. Выражение его лица уже изменилось. Он смотрел на нее пытливым взглядом.— Сядь, Джозина. Я хочу кое-что узнать на этот счет, прежде чем ты уйдешь.

Джозина снова села.

— Почему мистер Ханникат послал тебя за советом ко мне?

— Ну, мы с ним давно в дружеских отношениях,— подумав с минуту, ответила Джозина,— а сегодня утром он сказал мне...

Далтон прервал ее:

— Вот только что, когда ты вошла сюда, ты сказала мне, что собиралась замуж за этого негра, Харви Брауна, которого убили прошлой ночью. Старожил Ханникат — белый. А ведь ты...

— Мистер Барроуз, я тоже отчасти белая,— решительно заговорила она.

Далтон посмотрел на нее долгим испытующим взглядом. Прошло несколько времени, прежде чем он собрался заговорить снова.

— Я это очень хорошо вижу.— Его голос зазвучал громче и резче.— Это всякому видно. Но при чем это тут? У нас много мулаток и квартеронок. Страна кишит ими и всякими другими разновидностями тоже. Меня удивляет другое. Никогда в жизни мне не доводилось слышать, чтобы какая-нибудь негритянка хвасталась дружбой с белым. По крайней мере в этой части страны. Это очень необычно — и беспокоит меня. Неужели ты не понимаешь? Неужели ты не знаешь, что это такая вещь, о которой тебе следует молчать?

Угрожающий голос Далтона становился все громче и сердитее. Он

замолчал, глядя прямо ей в глаза, но Джозина ничего ему не ответила.

— Вот это и беда с вами, неграми, в которых есть хоть частица белой крови,— осуждающе сказал он.— Все вы начинаете много болтать и вести себя так, как будто вы ничем не хуже белых. Я прожил здесь всю мою жизнь и не помню, чтобы когда-нибудь было иначе. Почему вы, негры, не знаете своего места, где вам полагается быть, и не умеете держать язык за зубами?

Он встал из-за стола и большими шагами прошелся к окну. («Не замечаете ли вы, насколько негры в последнее время стали светлее? Из года в год эта перемена становится заметней. И чисто черных негров старых времен вы тоже видите не много. Они быстро исчезают. Пятьдесят лет тому назад мулаты попадались часто, но квартероны и окторуны были такой же редкостью, как белый мул на коровьем пастбище. Но не в наше время. Прямо не знаешь, чего и ждать еще лет через пятьдесят».)

Повернув от окна назад, Далтон остановился перед Джозиной, сильно покраснев, и посмотрел на нее так, словно это была упрямая и недружелюбная свидетельница на перекрестном допросе.

— Почему же ты молчишь? — спросил он громовым голосом.— Разве ты не слышала? Я задал тебе вопрос! Я задал тебе даже два вопроса!

Джозина на мгновение прикусила губу. Потом весь ее страх пропал, и она спокойно подняла глаза.

— Мистер Барроуз, вы, может быть, считаете, что я не достаточно хороша, чтобы разговаривать и вести себя как белая,— сказала она неторопливо,— но моя мать была достаточно хороша для белого.

Он воззрился на нее.

— Для какого белого?

— Для моего отца.

— Кто это тебе сказал?

— Моя мать.

Далтон засунул руки в карманы и, прежде чем заговорить с ней снова, несколько раз прошелся взад и вперед по комнате. Как опытный адвокат, он отлично знал, что долгий допрос свидетеля, дружелюбного или недружелюбного, может только повредить его собственным интересам. Он всегда умел быстро обдумывать и решать вопросы на ходу и теперь соображал, насколько далеко можно завести этот допрос. Перестав мерить шагами комнату, он сразу изменил свою манеру разговаривать. Впервые за все это время он стал любезным и снисходительным.

— Скажи мне вот что, Джозина,— начал он, бегло улыбнувшись.— Для чего ты это сейчас говорила? Это очень любопытно. Откуда тебе столько известно о предполагаемых отношениях твоей матери с каким-то белым? Откуда ты узнала, что он твой отец?

— Так сказала мне моя мать.— Потом Джозина прибавила: — И бабушка Мэддокс тоже знает. Она даже больше говорила об этом, чем моя мать.

Далтон собирался было спросить ее, что же еще ей известно об ее отце, но вдруг передумал и отошел от Джозины. Он долго стоял у окна спиной к комнате, глядя на площадь перед зданием суда. Когда он заговорил снова, голос его звучал напряженно, но сам он казался спокойным и держался, по-видимому, дружелюбно и любезно.

— Сколько тебе лет, Джозина? — спросил он, не отходя от окна и повернув только голову, чтобы взглянуть на Джозину.

— Двадцать четыре года.

Он отошел от окна и медленно подошел к ней.

— Как зовут твою мать?

— Джозефина. Все зовут ее Джози.

— Сколько ей лет теперь?

— Ей около сорока.
— Кожа у нее такая же светлая, как у тебя?
— Не совсем. Она немножко темнее.
Его густые брови слегка приподнялись.
— Твоя мать была замужем, когда ты родилась?
Джозина отрицательно покачала головой.
— Почему ты носишь фамилию Мэддокс?
— Потому что это была фамилия моей матери, и моей бабушки, и прабабушки тоже.
— Твоя мать сейчас замужем и у нее есть другие дети?
— Да, сэр.
— Где она живет?
— Она жила раньше в Пальмире, а теперь живет на ферме в деревне.
— Где ты родилась, Джозина?
— Здесь, в Пальмире.
— Ты живешь здесь всю жизнь?
— Да, сэр.

Далтон вернулся к своему столу и сел в зеленое кожаное кресло с высокой спинкой. Он хлопотливо передвинул бумаги и документы с одного края стола на другой, даже не глядя как следует, что он делает. («Когда вы становитесь взрослым и приобретаете некоторый жизненный опыт, вы нередко интересуетесь, поступили бы вы точно так же, как в прошлом, если бы пришлось начать жизнь сначала. Это трудно решить любому человеку, потому что плохое и хорошее и теперь смешивались бы так же, как это было тогда, и никто не знает, что в конце концов перевесит. В молодости я проделывал такие штуки, которых стыжусь теперь и в которых никому не признался бы, да мне и повредило бы, если б это обнаружилось, но в глубине души я счастлив, что пережил все это в моей юности».)

Немного погодя Далтон откинулся на спинку кресла и улыбнулся Джозине.

— Боюсь, я был сейчас не очень любезен,— сказал он извиняющимся тоном. Его глаза прищурились в улыбке.— Не знаю, что заставило меня выйти из себя и так разговаривать. Я сожалею об этом, Джозина. Я хочу тебе сказать, что, как только ты вошла сюда, я сразу увидел, что ты больше белая, чем негритянка, и мне бы надо было обращаться с тобой, как с белой. Я это ясно вижу по овалу твоего лица, по цвету волос, по форме бровей. Все это очень заметно... и к тому же очень привлекательно. Я бы сказал, что ты негритянка на одно восьмую — окторунка. И чем больше я на тебя смотрю, тем больше в этом убеждаюсь. Кроме того, Джозина, ты очень красивая девушка. Исключительно красивая. У тебя красота такого характера, что очень многие белые девушки отдали бы за нее все на свете. Тебе очень повезло, Джозина.

Далтон наклонился и нервным движением руки поправил бумаги на столе.

— Знаешь что, Джозина? — сказал он задушевно.— У меня две дочери. Одной восемнадцать лет, другой — двадцать, почти твой возраст. Я считаю их тоже очень красивыми и очень люблю обеих Сейчас они уехали в колледж, их нет дома. Для них я все на свете сделал бы. Больше всего мне хочется, чтобы они выросли и были счастливы, ну и, конечно, вышли бы удачно замуж. Этого каждый отец желает дочерям — счастья в жизни и удачного замужества Но в этом я мало могу им помочь... я не могу купить им счастья. Я могу только советовать им, ободрять их и создавать для них возможности - Он помолчал и провел рукой по лицу -- Но к чему я все это говорю? Ты сумеешь найти свое женское счастье. Все это к тебе не относится, не правда ли?

Он опять встал из-за стола, большими шагами подошел к окну и выглянул на площадь. По улицам шли покупатели — фермеры съехались в город за припасами, а на каменном крыльце здания суда, как обычно, сидели все те же мужчины, которым нечего было делать. День был ясный, веселый и теплый на солнечном пригреве — такие дни нередко выпадают в это время года.

— Не знаю, почему я столько наговорил про своих дочерей,— сказал Далтон, не поворачивая головы.— Может быть, потому, что ты мне их напоминаешь.— Он вернулся к столу и остановился перед Джозиной. Он долго смотрел на нее пристальным взглядом, словно стараясь запомнить.— Сказать по правде, Джозина, так причина именно эта. И потому мне хочется дать тебе совет — если ты его примешь,— так же как я дал бы совет тем двум девушкам и подбодрил бы их. Я хочу, чтобы и ты была счастлива.

— Совет насчет чего, мистер Барроуз? — спросила она.

Далтон протащил стул через всю комнату и сел рядом с Джозиной.

— Мы об этом еще не говорили, Джозина, но я про тебя знаю больше, чем ты думаешь. Все, что происходит в Пальмире, очень скоро становится известно всем. Этого и следует ожидать в таком маленьком городе. Всякий лезет в чужие дела. Кто-нибудь проболтается, а охотников слушать всегда много.

Так вот, я собираюсь быть честным и откровенным. Собираюсь говорить по существу. Мне известно, что ты жила, если можно так выразиться, со Старожилом Ханникатом у него в доме, а днем служила горничной у миссис Фрэнк Бауэрс на Черри-стрит. А после того как мистер Ханникат женился на миссис Бауэрс, ты опять, по привычке, явилась к нему в дом, и она застала тебя в его обществе — причем ты не была одета, как полагается горничной.

Что ж, теперь всем в городе это известно. И это и послужило причиной всей беды. Нельзя осуждать миссис Бауэрс за то, что она рассердилась и взволновалась при таких обстоятельствах. Ее первым побуждением было отомстить, сделать так, чтобы тебя арестовали и ты понесла наказание. В результате погиб этот негр... тот самый, за которого ты собиралась выйти замуж. Об этом следует сожалеть, это непростительно и не должно было случиться. Но это случилось, и человека уже нельзя вернуть к жизни. Некоторым людям свойственна дикость и зверская жестокость. Быть может, она является врожденной, быть может, приобретенной, а быть может, представляет сочетание того и другого. Во всяком случае, если в человеке «это» есть, так время от времени прорывается наружу, словно хроническая накожная сыпь. Вот и все. Мне искренне жаль Харви Брауна. Ты не могла бы найти себе мужа лучше него. Это был хороший, работящий человек, законопослушный гражданин.

Так вот тебе мой совет, Джозина. Уезжай отсюда, уезжай из города и не возвращайся. Тебе не найти работы у белых в Пальмире. Слишком много было разговоров и сплетен, а будет и еще больше. Забери с собой и дочку. Отошли бабушку в деревню, к твоей матери. А тебе я советую поехать в Джексонвилл, Атланту или Новый Орлеан. Только уезжай куда-нибудь, подыщи себе хорошую работу, заведи новую семью ради своей дочери и начни новую жизнь. Ты молода, у тебя красивая внешность, у тебя есть способности и уменье работать. Ты не получишь рекомендации от миссис Бауэрс, но я тебе дам другую, очень хорошую.

Далтон тревожно следил за ней, поставив локти на колени и стискивая пальцы то одной, то другой руки. («Единственное, что может смутить политика в последнюю минуту перед выборами,— это слухи насчет скандала в его личной жизни. Ловкий политик постарается замять скандал любой ценой, а неловкий наверняка провалится в день выборов».)

Джозина молчала, усиленно обдумывая то, о чем он говорил.

— Я не только дам тебе хорошую рекомендацию, Джозина, я сделаю больше,— ободряюще сказал он.— Я хочу помочь тебе и дам тебе столько денег, что это снимет бремя забот с твоей души. Это будет подарок, а не долг, который нужно потом выплачивать. Понимаешь? И все это будет твое, если ты уедешь из города. Понимаешь, Джозина?

Не дожидаясь ее ответа, Далтон достал из кармана деньги, дважды пересчитал их, сложил пачку и сунул ей в руку. Джозина глядела на деньги, медленно покачивая головой.

— В чем дело, Джозина?

— Не знаю...

— Чего ты не знаешь?

— Я никогда раньше не уезжала так далеко из дома.

— Это не беда, Джозина.

— Но я всегда жила в Пальмире. В тех местах я никого не знаю. Я не представляю, что мне там делать. Если бы кто-нибудь со мной поехал... С Эллен и со мной...

— Это не беда, Джозина,— настойчиво повторил он.— Поверь мне на слово. Ничего с тобой не случится. Джексонвилл и Атланта большие города, в том или в другом ты скоро обзаведешься знакомыми, и друзей у тебя будет больше, чем когда бы то ни было. Будешь ходить в гости и на танцы. Встретишь человека, за которого захочешь выйти замуж. Как только ты попадешь туда, сама будешь рада, что уехала. Это я могу тебе обещать. Ну, что ты теперь скажешь?

— А если я не найду работы...

— На этот счет не беспокойся. Напиши мне только, и я тебе пришлю еще денег. Но не возвращайся сюда. И я хочу, чтобы ты уехала немедленно — не откладывая этого. Ну, ступай домой, уложи кое-что из вещей, чтобы захватить с собой, а потом садись в автобус. Только не задерживайся дольше, чем до завтрашнего утра.

— Мне все равно где ни жить,— сказала Джозина и заплакала.— Мне больше не из-за чего здесь оставаться. Харви больше нет — он умер. Мне все равно. Любое место годится для меня.

Далтону захотелось обнять ее и утешить, но вместо этого он только положил руку ей на плечо и крепко сжал его. Немного погодя она утерла слезы и встала. Идя к двери кабинета, она ни разу не оглянулась на Далтона, не сказала ему ни слова.

Она вышла из кабинета, и Далтон, проводив ее до вестибюля, стоял и смотрел, как она спускается по лестнице и выходит на улицу. Она так и не оглянулась ни разу.

— Прощай, Джозина,— дрогнувшим голосом сказал он ей вслед, когда она скрылась из вида.— Храни тебя бог, Джозина.

Уже протянулись длинные вечерние тени, и скоро должна была спуститься тьма, когда Старожил Ханникат, в серой кепке и синей куртке, вышел из Большой Щели и направился к центру города.

Уже было по-осеннему прохладно, когда ветер с севера покачивал ветви дубов и сикоморов и шуршал побуревшими листьями на тротуаре. Дым от вечерних очагов клубами поднимался из труб и, расходясь по улицам и переулкам, оставлял в воздухе едкий запах.

Деловой день подходил к концу, и в лавках и конторских зданиях уже гасили свет. Некоторые секретари и конторские служащие возвращались домой пешком с городской площади, другие ехали в авто, скрежетавших на поворотах и яркими фарами освещавших дорогу к дому.

Впервые в жизни почувствовав одиночество, Старожил Ханникат позавидовал людям, которых дома ждут жены.

Большинство фермеров, которые приезжали в город провести день и сделать закупки, давно уехали, чтобы пораньше добраться домой в деревню и успеть до темноты подоить коров и задать им корм. Каменная лестница перед зданием суда опустела: все мужчины, которые днем лодырничали и болтали, греясь на солнце, к ночи ушли домой. Несколько школьников в сумерках катили на велосипедах в последнюю минуту перед закрытием лавок за бутылкой молока или ковригой хлеба.

Старожил с раннего утра сидел, сгорбившись за верстаком, стараясь разделаться с починкой приемников, он очень устал и сильно сутулился после целого дня работы. Он проголодался, и ему ужасно хотелось поесть чего-нибудь, но только не чилийских бобов с макаронами. Дома у него было много жестянок с бобами и макаронами, которые всегда были под рукой в дождливые вечера или в те дни, когда он не выходил из дому, но, как ни был он голоден, ничего такого ему сейчас не хотелось.

Устало шагая по улице в густой тени дубов и сикоморов, Старожил не мог не думать о Мэйбл Бауэрс и соображал, что́ у нее будет к ужину нынче вечером. Чем больше он думал о Мэйбл, живущей в большом кирпичном доме на Черри-стрит, тем голоднее он себя чувствовал. Он был уверен, что она готовит его любимые блюда, и начал думать о куриных котлетах с подливкой, о ветчине с горошком и печеном мясе с колбасным салом, о требухе, маисовых лепешках и пирогах с бататами, но не знал, придется ли ему еще хоть раз попробовать всего этого.

Он еще не добрался до дверей пивной и увеселительного заведения Эда Говарда, как уже чувствовал себя непоправимо несчастным, тосковал и сокрушался о самом себе и своей горькой доле. Он не мог понять, куда девалось то счастье, которым он так хвастался в прошлом. («Кому охота тратить зря время и жалеть пожилого холостяка только потому, что он питается консервами? Пускай его сам себя жалеет. Сам же и виноват. Много найдется женщин, которые были бы рады выйти замуж и стряпать для мужчины. Беда в том, что почти все холостяки становятся такими эгоистами и до такой степени укореняются в своих привычках, что даже сами с собой не могут ужиться».)

Когда он вошел в заведение Эда Говарда, ярко освещенная комната была полна шумного говора и громкого смеха. Не обращая внимания на яркий свет и громкие звонки автоматов, он прошел мимо них, словно не подозревая об их существовании. В пивной толпилось человек десять или двенадцать, и один из них, назвав его по имени, что-то сказал, но Старожил все же не оглянулся. Он подошел прямо к стойке и сел на табурет.

Эд Говард видел, что Старожил вошел в пивную, и поджидал его за стойкой.

— Как нынче дела, Старожил?

— Хуже некуда.

— Жалеешь, что на свет родился?

Старожил кивнул.

— Может, ты еще не знаешь, какие бывают плохие дела.

— Если я сейчас не знаю, то мне остается только немного подождать. Тогда и узнаю.

Эд пристально поглядел на него.

— Я понимаю, что у тебя на душе, Старожил,— сочувственно сказал ему Эд.— Со мной тоже иногда бывает в этом роде. Все не ладится и идет шиворот-навыворот. Моя жена просыпается утром и говорит, что ей не нравится, как я выгляжу. Я прихожу вечером домой, и она говорит, что ей не нравится, как я выгляжу. Если я с ней соглашаюсь, она выхо-

дит из себя и не желает разговаривать. Если я с ней не соглашаюсь, она выходит из себя и все-таки не желает разговаривать. Теперь ты знаешь, какие у меня неприятности. Но я пришел к заключению, что такое в нашей жизни со всяким может случиться — и со мной, и с тобой, и с большими шишками, и со всякой мелюзгой, с бедными и с богатыми одинаково. И нам приходится привыкать обходиться как-нибудь без этого, все равно как свинье приходится обходиться без ночного горшка.

Старожил кивнул в знак согласия. Он смотрел на большую картину в золоченой раме, висевшую на стене за стойкой.

— Ну, что будешь заказывать? — спросил Эд.

— Шницель потолще и бутылку пива.

— Может быть, у тебя все пошло шиворот-навыворот,— сказал Эд, доставая шницель и пиво,— но ты все-таки знаешь, куда надо идти за хорошей домашней едой, ведь верно?

— Если не здесь, так нигде больше ее не получишь,— сказал Старожил.— Это так же верно, как то, что мелкие орешки растут большими гроздьями.

— Спасибо, что ты так говоришь, Старожил. От таких твоих разговоров моему заведению больше пользы, чем от объявления в «Вестнике округа Сикомор», за которое надо отвалить кучу денег. Ты только говори это всему городу, и я тебе буду настоящий друг. Почем ты знаешь, может, я тебе когда-нибудь открою кредит на целый доллар.

Он поставил шницель и пиво перед Старожилом и облокотился на стойку.

— До сих пор все как-то не было случая сказать, но мне, право, очень жалко было слышать, что недолго ты пробыл женатым. Когда я в первый раз услышал, что ты женишься на Мэйбл Бауэрс, меня удивило, как это ты ухитрился переметнуться к белым женщинам, не дав себе никакой передышки. Потом мне пришло в голову, что для человека твоих лет это неплохо — иметь возможность обеспечить себя на всю жизнь: какую-то часть жениных денег положить в банк на свое собственное имя, выписывать чеки, не платить больше за квартиру да еще есть домашнюю стряпню сколько влезет.

Старожил посмотрел на него и ухмыльнулся.

— Я два раза сидел у нее за столом, все-таки хоть два раза поел хорошо. Да еще от третьего обеда мне кое-что досталось.

— Вот именно так я и слышал,— сказал Эд.— Если кому захочется расхвалить наш город, так хоть одно важное можно про него сказать.— Он отошел, чтобы обслужить посетителя.— В Пальмире сплетни расходятся быстро, и из них всегда узнаешь самую суть дела.

В комнате становилось все более шумно от громкого говора, криков и неумолчного лязганья автоматов, но Старожил не обращал никакого внимания на то, что происходило за его спиной. Он сидел, уставившись на картину в золоченой раме — толстая женщина в натуральную величину мылась в маленьком тазике,— и думал о Мэйбл и всей той вкусной еде, которая у нее готовится.

Он съел уже половину шницеля, когда Фэтти Лэттимор подошел к нему сзади и сильно хлопнул его по спине.

— Что ты сидишь тут в одиночестве и скучаешь? — сказал Фэтти, усевшись на табурет рядом с ним и заказав бутылку пива.— Ты что-то на себя не похож, Старожил. Видать, совсем выдохся.

Старожил посмотрел на него и ничего не ответил.

Фэтти Лэттимор был все в том же желтом комбинезоне, в котором он работал на заправочной станции, и его засаленная кепка была сдвинута на затылок. Из бокового кармана торчал свернутый в трубку номер журнала. Он всегда носил с собой журнал с рассказами о ковбоях или книжку в яркой обложке: он говорил, что любит читать про людей, кото

рые откалывают такие потрясающие номера, на какие у него духу бы не хватило. По дороге с работы Фэтти всегда заходил на часок-другой в заведение Эда Говарда. Было уже около того времени, когда жена Фэтти звонила Эду Говарду по телефону и просила передать Фэтти, что если он сию минуту не вернется домой, то она не станет ничего готовить ему к ужину и уйдет к своей матери на всю ночь. После этого Фэтти никогда не задерживался и спешил вернуться домой.

— Ты, право, сам на себя не похож, Старожил,— говорил Фэтти.— Я бы и не распознал, кто ты такой, если бы не помнил тебя в лицо. Тебе бы полагалось быть вон там, у «Девушек на пляже», набрать побольше очков да заставить их сбросить все, до последней тряпочки. Если тебе это не удастся, так никому другому и подавно. Разве ты не понимаешь, что чуть не свел с ума Эда Говарда тем, что постоянно выигрываешь бутылки с пивом и за игру с тебя брать не приходится?

Старожил съел еще кусок шницеля и запил его большим глотком пива. Он слушал все, что говорил ему Фэтти Лэттимор, но пока что не сказал в ответ ни слова.

Фэтти наклонил голову набок и придвинулся поближе к Старожилу.

— Послушай,— сказал он, понизив голос.— Скажи мне вот что, Старожил. Уж не изменило ли тебе твое счастье? Не оттого ли ты сидишь тут и скучаешь и вид у тебя такой, будто ты совсем выдохся?

Старожил с трудом глотнул.

— Может, у меня никогда не было такого счастья, как я раньше думал.— Выражение лица у него было мрачное и угрюмое.— Если и есть у меня сейчас какое-нибудь счастье, так все оно самого плохого сорта. Вот уж, можно сказать, нечем похвастаться.

— То есть как это? — засмеялся Фэтти.— Всем известно, какой ты счастливец. Ты этим прославился.

Старожил проглотил еще кусок шницеля.

— Сколько я могу припомнить, мне почти всегда везло, так что жаловаться мне было не на что. Я гордился, когда слышал, как люди толкуют про Счастье Ханниката. Но дня два тому назад все вдруг переменилось к худшему, и так оно с тех пор и пошло. Прямо не знаю, что с этим делать. Каждый раз, как я за что-нибудь берусь теперь, дело кончается тем, что я поджимаю хвост и чувствую себя хуже, чем вороватая собака, когда ее поймают в курятнике.

— Не может быть, чтоб уж так было плохо,— сказал ему Фэтти, посмеиваясь и хлопая его по спине.— Ты сам себя уговариваешь, что все плохо. Одно у тебя не удалось — что ты разошелся раньше времени с богатой женой и из ее денег к тебе ничего не прилипло. Но из-за этого не стоит огорчаться. Со многими случается что-нибудь в этом роде.

— Может быть, и так, но это еще не все,— сказал Старожил, качая головой.— Это еще только начало. Теперь я чувствую себя так, словно мне никогда уже не быть прежним счастливчиком. Я до того упал духом, словно гончая, которой отрубили хвост. Если охотничья собака привыкла всю жизнь вертеть хвостом, так без хвоста ей совестно и она чувствует себя никому не нужной.

— А что еще стряслось? — спросил Фэтти.

Старожил налил в стакан еще пива и уже собирался что-то сказать, как вдруг громкий говор в комнате смолк и звяканье автоматов постепенно прекратилось. Похоже было, что все посетители пивной решили уйти сразу.

И Фэтти и Старожил обернулись посмотреть, отчего стало так необыкновенно тихо. В эту минуту все смотрели на Клайда Хефлина, который медленно шел от дверей к стойке. Выражение лица у Клайда было угрюмое, и угол рта злобно кривился. На этот раз при нем не было ни

кобуры с револьвером, ни наручников, висящих на поясе, и боковой карман не провисал под тяжестью дубинки. Он был без мундира, с непокрытой головой, и хвостик рубашки торчал из штанов.

Подойдя к стойке и не говоря ни слова, Клайд схватил Старожила за плечо и повернул на табурете с такой силой, что тот чуть не свалился. Но и после этого Старожил подумал только, что Клайд хочет в шутку затеять ссору, как он делывал и раньше. Старожил добродушно заулыбался.

— Душу бы надо из тебя вышибить,— ровным голосом сказал Клайд, опять рванув Старожила за плечо так сильно, что тому пришлось ухватиться за стойку, чтобы не слететь с табурета.— Вот сейчас возьму да и вышибу,— прибавил он все тем же ровным тоном.

Они смотрели друг на друга, и широкая улыбка Старожила расплылась во все лицо.

— За что, Клайд? — спросил он, высвобождая плечо. Он все еще думал, что Клайд грубо шутит по своей всегдашней привычке.— Что такое случилось?

Тот ничего не ответил. Только злобная складка в углу рта стала еще глубже.

— Ведь я починил тебе приемник и он работает? Я же тебе сказал, что с ним надо делать. Потряси его легонько так, чтобы в нем загремело, а потом выругай его. Ты уж, верно, сумеешь выругаться так, чтобы он начал работать. Больше, пожалуй, и ничего не нужно, чтобы иной упрямый приемник заработал лучше прежнего. Ступай домой, попробуй сделать, как я сказал, а потом расскажешь, что получится.

Клайд пихнул Старожила так, что тот ударился о стойку.

— К черту это. Я не про приемник говорю, на кой он мне дьявол.

Улыбка сходила с лица Старожила, оставаясь только в уголках губ.

— Что ж, Клайд, если он хорошо работает и ты доволен, так заплати, сколько ты мне должен за починку. Это будет по-честному. Мы же с тобой договорились, ты помнишь..Ты сказал, что отдашь долг, когда я тебе напомню, вот я и напоминаю тебе. Если при тебе нет подходящей мелочи, так Эд Говард тебе разменяет. Мне сейчас как раз эти деньги пригодились бы. Я бы угостил тебя пивом.

— Я уже раз сказал тебе, что ни про какое чертово радио не было разговора.— Он вытер рот тыльной стороной руки.— Ты ведь меня слышал.

— Тогда о чем же ты говоришь?

— Говорю о тебе и о твоих подлых повадках! Будь ты проклят! Из-за тебя меня с работы прогнали! Вот что! Ты в этом виноват!

— Да что же я сделал, Клайд?

Клайд повернул голову и сплюнул на пол.

— Отлично знаешь, что сделал, черт тебя дери! И не ври, не отвертывайся, я все знаю. Ты вчера ночью ходил в негритянский квартал, увел куда-то эту темнокожую дылду и спрятал от меня так, что я и найти ее не мог. Вел себя, как будто она твоя собственность. Когда я туда за ней поехал, чтобы забрать ее в тюрьму, и не нашел ее, я подумал, что этот черномазый ее прячет и водит меня за нос. Он мне не захотел сказать, где она, оттого я и обозлился как черт. Вот за это я его и убил. Если бы ты не совал нос не в свое дело да не спрятал бы ее, ничего этого не случилось бы. А теперь, только из-за того, что еще одного негра убили, они подняли тарарам на весь город и всю вину на меня свалили. Гровер Гловер отнял у меня шерифский значок и выгнал меня. Теперь я остался без работы. Если бы ты туда не прокрался, как вор, да не увел ее и не спрятал где-то, так что я и найти ее не мог, я бы не потерял место. Будь ты проклят!

Как раз в то время, когда Клайд орал и бесновался, в пивную вошел Эл Дидд и услышал все, что тот говорил. Эл встревожился, как бы Клайд не натворил беды, и бросился к стойке. Но не успел он добежать, как Клайд размахнулся и ударил Старожила кулаком в лицо.

Удар был настолько силен, что Старожил свалился с табурета, растянулся плашмя на полу и лежал ошеломленный и беспомощный.

Клайд бросился было к нему, но Эл и Фэтти оттолкнули его в сторону, прежде чем он успел ударить каблуком по лицу Старожила. Теперь и другие мужчины столпились вокруг Клайда, оттеснили его подальше.

Очутившись на середине комнаты, Клайд остановился, угрожая кулаками тем, кто был с ним рядом.

— Не подходите ко мне ни на шаг,— предостерег он стоящих ближе. Он вытер рот тыльной стороной руки, обводя комнату злобным взглядом.— Вы меня слышали! Не трогайте меня!

Он попятился к дверям, на ходу доставая нож из кармана.

— Кто ко мне полезет, всякому горло перережу, мне это ничего не стоит!

— Не валяй дурака, Клайд,— сказал ему кто-то.— Спрячь свой ножик и перестань орать. Ты и без того довольно натворил, хватит с тебя. Ступай куда-нибудь остынь, пока еще можно.

Клайд раскрыл нож привычным движением руки, и лезвие ярко блеснуло при свете.

— Если кто-нибудь ко мне двинется, клянусь богом, кишки выпущу и растопчу их на полу. Я зол как черт, правду вам говорю!

— Ты лучше сам поостерегись, Клайд,— сказал ему один из присутствующих.— А не то как бы тебе не попасть в беду еще похуже: ведь орешь, хвастаешься, а ведешь себя подло. Перестань валять дурака и спрячь ножик. Да убирайся отсюда, остынь на свежем воздухе.

— Я уж сумею о себе позаботиться. Никого я не боюсь!

Эд Говард выхватил револьвер из ящика за стойкой и нацелился в Клайда.

— Убирайся отсюда, Клайд Хефлин,— сказал Эд.— У меня тут приличное заведение, и я мои порядки ломать не позволю. Если ты отсюда не уберешься, как я тебе велел, то я буду держать тебя под прицелом, пока за тобой не явится полиция. И буду стрелять, если понадобится. Ну, убирайся отсюда, пока можешь уйти на своих на двоих.

— Ты меня не запугаешь.

— Это мы еще посмотрим.

Угрожающе размахивая ножом, Клайд стал пятиться к выходу.

— Я еще доберусь до этого ублюдка,— сказал он, глядя на Старожила.— Он от меня больше не спрячет эту темнокожую дылду. Я с ним разделаюсь, острогаю его гладко, как ручку от мотыги. Я знаю, как с такими обращаться. Он мне устроил пакость, да останется безнаказанным, как бы не так! Мне только бы еще разок повстречать где-нибудь этого ублюдка. Уж я до него доберусь!

После этого все ждали молча и напряженно. Больше ни слова не было сказано, пока Клайд не вышел, пятясь, на тротуар и не скрылся из вида.

Эд Говард снова убрал револьвер, захлопнув ящик с громким стуком.

— Как это может в одном человеке накопиться столько подлости и злобы? — спросил кто-то.

— Не знаю, что на это ответить,— сказал другой,— и есть еще одно, чего я не знаю. Я не хочу даже и знать, сколько человек может еще прожить с таким запасом подлости и злости. Не хочу даже и строить догадки на этот счет. Я могу свалять дурака и попасть пальцем в небо.

18

После всех этих волнений в пивной и увеселительном заведении Эда Говарда посетители притихли и задумались, не зная, что сказать. Без громкого говора и лязганья автоматов в пивной было тихо, как в воскресенье при закрытых дверях.

Большинство мужчин молча пили пиво у стойки, обдумывая то, что случилось. Жена Фэтти Лэттимора позвонила ему вскоре после ухода Клайда Хефлина и дала ему пятнадцать минут на дорогу домой, если он вообще собирается ужинать и не желает сегодня ночевать в одиночестве, так что Фэтти поторопился домой.

Еще несколько человек один за другим встали и ушли домой ужинать. («Мне не требуется никаких напоминаний, что пора идти домой ужинать. Разве только одно — когда в заведении Эда Говарда взглянешь разок на эту шикарную картину, где большая толстая женщина моется в крохотном тазике. Моя жена становится все больше похожа на эту картину, каждый раз как на нее посмотришь. Скоро я, должно быть, одну от другой не отличу».)

Наконец, приблизительно через час, кто-то попросил Эда Говарда разменять четверть доллара, и снова зазвякали автоматы.

Эд не отходил от телефона за стойкой. Он сказал, что если Клайд Хефлин вернется, то он вызовет полицию в ту же минуту, как только увидит в дверях лицо Клайда. Он опять достал револьвер из ящика и положил его под рукой на всякий случай.

Эл Дидд допил бутылку пива и бросил последний взгляд на картину в золоченой раме, висевшую на стене за стойкой.

— В самом деле поздно, я ухожу домой,— сказал он.— Моя жена все равно взбеленится, когда бы я ни пришел, так что уж лучше сразу пойти домой и отделаться.— Он поднялся с табурета и положил руку Старожилу на плечо.— Я тебя подвезу до дома. Не надо тебе идти пешком в такую темную ночь. Это было бы глупо, после того что Клайд говорил. Идем, Старожил, пора отправляться.

Эд Говард одобрительно кивал.

— Это ловко получится, Старожил. Рисковать тебе незачем. Поезжай домой с Элом. Я не желаю терять такого хорошего клиента, как ты.

Они вышли из пивной и уселись в машину Эла. Теперь шел уже десятый час, а так как вечер был не субботний, то на улицах Пальмиры не встречалось прохожих. Почти все витрины лавок были темные, не светилась даже большая электрическая вывеска на здании банка. Городская площадь опустела. Уличные фонари стояли только по углам, далеко один от другого, и горели тускло. Брэд Грейди, ночной дежурный, обычно объезжал улицы в полицейской машине или пил кофе в ночном кафе, но и он в это время был в другой части города.

Эл запустил мотор, и, проехав через городскую площадь, они покатили по улице к Большой Щели. Почти во всех домах, мимо которых они проезжали, было темно, и только изредка где-нибудь мелькал свет.

— На твоем месте, Старожил,— сказал Эл, замедляя ход,— я бы засел дома на несколько вечеров и не выходил бы на улицу, после того как стемнеет. Это было бы самое лучшее. Пускай пройдет денька три, за это время Клайд Хефлин остынет немного, а может, у него хватит здравого смысла поехать ненадолго во Флориду ловить рыбу. Только никогда нельзя знать наверное, много ли мало здравого смысла у человека вроде него, а как раз сейчас он опасен. Он способен на все, что угодно, как он и угрожал. Я и раньше видывал его в таком состоянии, и самое разумное будет держаться от него подальше, все равно как от бешеной собаки, когда видишь, что она бежит по улице.

— Может, ты и прав, Эл,— сказал Старожил, подумав с минуту.— Но я еще никогда в жизни ни от кого не бегал. На меня не похоже из-за чего-нибудь трусить.

— Это совсем не значит трусить. Поверь моему слову, Старожил. Это значит соображать и не дать себя в обиду. Вот как надо на это смотреть. Когда на Клайда находит такая полоса, самое разумное держаться от него подальше до тех пор, пока он жаждет крови. Ты и сам это знаешь.

Старожил молчал, пока перед ними не появилось пожарное депо.

— Что ж, я, конечно, не желаю, чтоб он набросился на меня с ножом как-нибудь темной ночью и выпустил мне кишки. Не так уж я глуп. Я после этого даже столько не проживу, чтобы рассказать, как это случилось.

— И вот что еще тебе нужно,— серьезно посоветовал Эл,— помалкивать и ничего не рассказывать полиции. Это очень важно. Если Клайд узнает, что ты сообщил про его угрозы полиции, он уж, конечно, найдет способ с тобой расквитаться. Он из таких. Любит иметь зуб против кого-нибудь. Черного или белого — это ему все равно. И чем дольше он злобствует, тем больше распаляется. Может, он не совсем плохой, и родная мать, должно быть, его любит, но если и есть в нем что хорошее, нелегко этому хорошему пробиться наружу. Иной раз я просто удивляюсь, откуда все еще берутся такие люди, потому что, сколько их ни убивают, всегда находится довольно таких, чтобы заварить склоку. Держу пари, что и сейчас у нас в Пальмире немало сыщется охотников отплатить Клайду по заслугам, только бы представился случай. Да, может, еще кто-нибудь и отплатит, после того что случилось в негритянском квартале вчера ночью.

Эл остановил машину под уличным фонарем на углу Большой Щели.

— И дверь тоже лучше бы запирать на ночь,— сказал он Старожилу, когда тот вылезал из машины.— И я бы не стал отпирать никому, не зная наверняка, кто это такой. Когда человек дошел до ручки, как Клайд Хефлин, он способен на все самое плохое. Ты и опомниться не успеешь, как он тебя обойдет, дай только зацепиться.

Старожил захлопнул дверцу машины и подошел к Элу с другой стороны.

— Одно я знаю наверняка,— сказал он, слегка усмехаясь.— Если Клайд явится к моему дому и постучится в дверь, так уж, конечно, не для того, чтобы отдать мне долг за починку приемника. Сколько раз я чинил ему приемник, а он мне никогда паршивых десяти центов не заплатил. Я теперь решил, что больше ни за что не стану ремонтировать ему приемник.

— Может, придет время, когда его тут больше не будет, чтобы тебя обсчитывать. Тогда ты сможешь вычеркнуть этот долг.

— Почему ты это говоришь?

— Просто предполагаю.

Эл Дидд уехал домой, а Старожил пошел по узкому переулку к своему дому. Уличный фонарь на углу светил так тускло, что от него было мало толку, но Старожил знал наперечет все лужи и удачно обходил их в темноте, не запачкав и не промочив башмаков. Когда он прошел половину переулка, его глаза привыкли к темноте, и он уже различал очертания крыши двухкомнатного домика на фоне звездного неба.

Не доходя нескольких шагов до своей двери, Старожил разглядел, что кто-то сидит на крылечке в тени дома. Он застыл на месте.

Растерявшись и не зная, что делать, он стоял, не двигаясь, и его сердце билось тревожно и болезненно. Потом другая мучительная боль пронизала его мозг, и все тело вздрогнуло от страха. На ступеньках в тени никто не шевельнулся и не произнес ни звука. Он хорошо помнил

слова Эла насчет того, что дверь надо держать на замке, а ведь он не мог даже войти в дом и запереть ее. Пересиливая мучительную боль в голове, он соображал, что делать, как вдруг увидел, что кто-то встает с крылечка.

— Это я, Джозина.

Ему стало легче, когда он услышал знакомый голос, но он все еще не мог заговорить с ней.

— Дверь была заперта, вот я и ждала здесь, пока ты вернешься домой,— сказала она.— Я рада, что ты не задержался дольше. Ночь сегодня холодная.

Она сошла с крыльца и подошла ближе. Боль в голове понемногу проходила, но он все еще чувствовал слабость и дрожь в ногах и руках.

— Что с тобой? — спросила она заботливо.— Ты все молчишь. Ничего не случилось?

Он ощутил холод собственной руки, дотронувшись до ее теплого плеча.

— Джозина... я не ждал, что ты сюда придешь.

Он раздумывал, стоит ли говорить ей, что его тревожат угрозы Клайда Хефлина. Потом решил, что будет лучше, если он ничего про это не скажет.

— Это, должно быть, от неожиданности, Джозина. Вот отчего... я удивился, что тебя увидел. Я думал о чем-то другом. Я не знал...

— Ничего, что я сюда пришла? — спросила Джозина.

Он думал о том, что могло бы сейчас произойти, если бы Клайд был на месте Джозины.

— Ничего? — спросила она тревожно.

— Конечно, Джозина. Ничего не будет. Можешь быть спокойна. Я рад, что ты пришла.

Он отпер дверь, и они вошли в темный дом. Старожил позаботился запереть дверь, прежде чем повернуть выключатель.

— Знаю, я сама сказала, что больше не приду сюда к тебе... но мне хотелось повидать тебя хоть еще раз,— заговорила Джозина, когда он повернулся и посмотрел на нее при свете.

Он заметил, что она плакала, и вспомнил, что именно сегодня она собиралась выйти замуж за Харви Брауна, он хотел сказать ей что-нибудь утешительное, но не мог ничего придумать. Он помнил только, как она сказала ему, что никогда больше у него не останется.

В комнате было холодно, и Джозина натянула свой черный свитер. Спохватившись, что в комнате очень холодно, он включил электрическую печку.

— Я слышал, будто ты собираешься уехать из города,— сказал он после этого.

Она быстро перешла комнату и остановилась рядом с ним, греясь у печки.

— Откуда ты это узнал? — спросила она.

— Мне сказали.

— Это правда.

— Когда же?

— Завтра.

Он придвинул к печке два стула, и они уселись рядом, поближе к теплу.

— Похороны Харви будут завтра утром,— сказала она, помолчав.— Я увезу с собой Эллен на автобусе... сразу после этого... после похорон.— На ее глазах блеснули слезы.— Бабушка Мэддокс уедет в деревню и будет жить с моей матерью. Она не хочет оставаться в Пальмире. Боится жить здесь теперь — после того что случилось вчера ночью.

Он долго не мог ничего ответить и сидел, мрачно глядя на горящую печку.

Во время паузы Джозина наклонилась и положила руку ему на плечо.

Резко повернув голову, он взглянул на Джозину.

— Куда же ты уедешь завтра на автобусе, Джозина?

— В Джексонвилл.

— Почему?

— Так надо.

— Ты уже решила это?

— Да.

— Но ведь место незнакомое.

— Я этого не боюсь.

Он опять уставился на печку.

— А когда ты вернешься, Джозина?

— Я не вернусь.

— Почему же не вернешься?

Она ответила не сразу.

— Джозина, почему не вернешься?

— Не для чего возвращаться.

Старожил долгое время молчал, обдумывая то, что она сказала. Словно не в силах глядеть друг на друга, оба они смотрели прямо перед собой, на раскаленную печку. Спустя некоторое время он нервно задвигался на стуле и положил ногу на ногу.

— Ты хочешь сказать, что никогда не вернешься? — спросил он.

— Да, приходится так думать. Больше мне ничего не остается.

— Но ты могла бы остаться, если бы хотела. Тебе вовсе не надо уезжать.— Он взглянул на нее с надеждой.— Вот этого я и хочу, Джозина. Если б ты осталась, у нас бы с тобой все пошло по-прежнему.

— Нет,— сразу ответила она, глядя прямо на него и качая головой.— По-старому больше не будет. И мы тоже ничем этому помочь не можем.

— Почему не можем?

Джозина опять отвернулась.

— Джозина, почему не можем?

— Потому что нам не дадут жить вместе. Ты это знаешь. А больше я никак не хочу жить. Даже если б мы попробовали встречаться только ночью, случилось бы что-нибудь страшное. Не знаю что, но было бы что-нибудь ужасное. Так уж все устроено. И переменить этого нельзя. Ты белый, а я недостаточно белая — я всегда останусь какой-то другой. Такой уж я родилась. Вот в чем причина. Вот почему они никогда не дадут нам жить вместе в Пальмире. Я женщина, и я не хочу жить иначе. С этих пор я не могу жить иначе... кроме как вместе. Вот так я чувствую.

Она снова заговорила, и он почувствовал ее прикосновение к своей руке.

— Но где-то еще есть такие места, где мы могли бы жить вместе — даже пожениться,— и люди там считали бы меня достаточно белой.

— Нет, уважаемые! Только не я! — быстро ответил он.— Я не мог бы жить нигде на свете, кроме как вот здесь, где я живу со дня рождения. Я боюсь и думать об этом.

— Даже ради меня?

Он покачал головой.

— Только не в чужом месте, далеко отсюда, где я ни души не знаю.

— У меня хватит денег на то, чтобы нам обоим уехать куда угодно и жить там. Тебе не придется беспокоиться насчет денег. Я тебе их все отдам.

— Нет, уважаемые! Только не мне! На всем свете не хватит денег, чтобы оторвать меня отсюда и заставить жить в чужом месте, где я никого не знаю и меня никто не знает.

19

Старожил подошел к печке и стал лицом к Джозине, грея спину и ноги. Она подняла на него глаза, все еще с надеждой и мольбой.

— Если бы ты меня любил так же, как я тебя люблю...

— Я же тебе сказал, что не могу так уехать. Куда бы то ни было. Как раз этого я не могу сделать. Я бы чувствовал себя как заблудившийся пес, который не умеет говорить и не может спросить, где дорога к дому.

— Ведь я тебе помогла бы. Ты знаешь, что помогла бы. Я бы все сделала, чтобы тебе было легче. И мы были бы все время вместе.

Словно боясь поддаться искушению уехать вместе с ней, он решительно покачал головой.

— Я всегда жил вот здесь, в Пальмире, и не смог бы жить где-то в дальнем городе, с чужими людьми. Мне было бы не по себе, оттого что я далеко от дома. Я бы очень боялся — как будто мне и домой больше не вернуться. Будто стоишь перед запертым домом, а ключа у тебя нет, чтобы войти в него. Мой папа был такой же. Он ни разу в жизни не уезжал из дома. Говорил, что боится, как бы не умереть в чужом месте и тогда его не похоронят вместе со всеми другими Ханникатами.

— Хоть раз позабудь ты про своего папу. Я сумела бы тебе помочь, чтобы ты не чувствовал этой боязни. Я знаю, что сумела бы, если б ты мне позволил...

— Не хочу больше про это разговаривать,— грубо сказал он, отходя от нее.— И не хочу слушать твоих разговоров.

Он подошел к верстаку на другой половине комнаты и остановился там, глядя на загроможденный хламом верстак и словно отгоняя мысль о том, чего хотела от него Джозина. Потом подобрал плоскогубцы и отвертки и небрежно швырнул их на мотки проводов и груду радиоламп.

Когда Старожил вернулся к печке, Джозина вытирала слезы, но он сделал вид, будто не понимает, что заставило ее плакать.

— Что сказал тебе Далтон Барроуз нынче утром, когда ты к нему ходила? — резко спросил он после долгого молчания.— Ты мне еще не говорила.

Джозина крепилась, стараясь сдержать слезы.

— Он сказал, что я должна уехать из города... и не возвращаться.

— Поэтому ты и уезжаешь? Потому что Далтон Барроуз тебе велел? — колко спросил он.

— Он адвокат. Ты сам меня послал к нему. И он так сказал.

— Но ты не обязана делать то, что он скажет. Могла бы остаться здесь, если хочешь.

— Я не хочу оставаться. Я хочу уехать.

Отвернувшись в сторону и избегая встретиться с ней взглядом, он уселся перед печкой.

— А что еще говорил Далтон Барроуз?

— Как раз то, чего я ждала.

— Что же это такое?

— Он подозревает, что он мой отец. Я уверена, что он так думает. Вот почему он дал мне денег, чтоб я уехала отсюда и не возвращалась, у меня никогда раньше столько денег не было и даже во сне не снилось. Денег хватит нам с Эллен очень надолго, даже если я не сразу найду работу. Хватит на всех нас, если бы ты тоже поехал. И, кажется, я знаю.

почему он так сделал. Если я останусь здесь, он боится, как бы люди перед выборами не узнали, что у него... такая дочь. Думаю, он меня любит, но только боится...

— Ты ему говорила, что знаешь про то, что он твой отец? Это твоя мать тебе про него рассказала?

— Нет. Для чего бы это? Ничего хорошего из этого не выйдет. Я все-таки осталась бы тем, что я есть. Этого ничем не изменишь. И, по-моему, лучше уж пусть его выберут в конгресс. Он все же останется моим отцом. Этого тоже не изменишь. Теперь я буду им гордиться... и Эллен со временем будет тоже гордиться своим дедушкой. Мне всегда хотелось узнать своего отца, а теперь я его знаю.

Джозина закрыла лицо руками. Она рыдала, всхлипывая, как маленький ребенок. Немного спустя она пригладила свои прямые каштановые волосы и попыталась улыбнуться.

— Я не собиралась так расплакаться,— сказала она со слабой улыбкой,— но не могла удержаться. Должно быть, я заплакала от радости, что ты мне позволил поговорить с тобой и рассказать про отца. Мне надо было кому-нибудь рассказать про него — так лучше всего тебе. Я знала и раньше, кто мой отец, много раз видела его на улице, но никогда раньше он со мной не заговаривал... ни разу в жизни. А теперь заговорил. И назвал меня по имени. Я так обрадовалась, что едва не заплакала, только побоялась. Я всегда буду помнить все, что он говорил мне нынче утром и как он улыбался, глядя на меня. Мне всегда хотелось, чтобы мой отец был именно таким, когда он со мной увидится. Теперь я могу думать о нем и вспоминать его всю свою жизнь. Мне только хотелось бы с ним почаще видеться.

Джозина поднялась со стула.

— Теперь мне пора домой. Больше я не могу оставаться. Но теперь ты знаешь, зачем я тебя дожидалась. Мне нужно было хоть еще раз повидать тебя и рассказать тебе, как я рада, что ты послал меня к моему отцу. За это я всю жизнь буду тебе благодарна.

И, словно пряча от него свое лицо, Джозина повернулась и пошла к двери.

— Погоди минутку, Джозина,— сказал Старожил.— Я пойду провожу тебя. Нехорошо тебе одной быть на улице так поздно ночью.

Погасив свет, они вышли из дому, и Старожил как следует запер дверь. Он не забыл про Клайда Хефлина, помнил и наказ Эла Дидда не выходить на улицу, после того как стемнеет, но он должен был знать наверное, что Джозина благополучно дошла до дому. И, побыв с ней еще хоть короткое время, он все же мог еще питать надежду, что она передумает и останется в городе.

Они дошли молча до конца переулка, миновали пожарное депо и пересекли железнодорожный путь с южной стороны города. В этот час на улицах никого не было видно, и ни в одном из домов по дороге не горел свет. Вместо того чтобы подойти к дому Джозины с улицы, они вошли с переулка черным ходом.

Всю дорогу они шли молча, словно боясь говорить о том, что с ними происходит. («Ты любишь кого-нибудь всем сердцем и живешь с ним долгое время, неважно, в браке или вне брака, а потом один из вас уезжает, и ты сознаешь, что вам уже никогда не быть вместе... да, тяжелее этого чувства ничего быть не может: у тебя отбирают что-то принадлежавшее тебе, такое, что тебе нужно больше всего на свете, и сознаешь, что никогда больше оно к тебе не вернется. Ведь ты видел, как большой мальчишка отнимает у маленького конфеты и съедает их? И если это случалось с тобой в детстве, ты еще и сейчас помнишь, каково тебе было лишаться своей конфеты. Так вот, помножь это чувство на все годы, которые протекли с тех пор, и ты поймешь, как разрывается

сердце от горя, если уходит тот, с кем больше всего не хотелось бы расставаться».) И все еще ничего не было сказано, когда Джозина обняла его и в отчаянии приникла к нему. Он чувствовал влагу слез на ее щеках и дрожь прильнувшего к нему тела.

— Мне так больно, что я уезжаю,— услышал он ее слова.— Я бы сделала все что угодно, лишь бы не уезжать, но другого выхода нет. Ты знаешь, почему я должна уехать — и навсегда. Тут ничем не поможешь. Так уж пришлось. Если бы я осталась, то после этого не нашла бы нигде работы... и они не дали бы нам жить вместе. И я хочу сделать так, как велит мне отец. Но я никогда не забуду... никогда. Я всегда буду помнить про нас, пока я жива, обещаю тебе.

Она медленно разомкнула объятия.

— А ты будешь помнить меня, правда? Всегда? Ну скажи, что будешь.

— Буду помнить, Джозина. Я не смог бы забыть. А если ты вернешься...

— Нет. Лучше не говори. Этого быть не может. Слишком больно думать, что я могла бы... Я никогда не вернусь.— Она опять подошла к нему.— Но если бы мы с тобой уехали куда-нибудь вдвоем... чтобы нам можно было вместе жить...

Она долго стояла перед ним, затаив дыхание, а потом вдруг, словно не в силах дольше терпеть эту муку, повернулась и отворила дверь. Больше не о чем было говорить.

После того как Джозина вошла в дом и затворила за собой дверь, Старожил побрел обратно по переулку, спотыкаясь в темноте и думая, что ему больше не для чего жить. Почти целый год ночь за ночью Джозина была с ним, и казалось, что этому не будет конца, а теперь он знал, что больше никогда ее не увидит. Он медленно брел домой в одиночестве ночи. («Она никогда не говорила мне, кто отец Эллен, а я всегда боялся спросить. Но постоянно об этом думаю... Как-то ночью я шел по железнодорожному полотну... кто-то стоял там... Было очень темно, не разглядеть, кто она такая, а она не хотела говорить, как ее зовут, зато сказала, что она меня дожидалась... А теперь, чем больше я про это думаю, и как про Эллен она со мной говорила, и как просила уехать отсюда вместе с ней и девочкой...»)

■

Было около полуночи, когда Старожил вернулся в Большую Щель. Все уличные фонари горели как будто еще тусклее прежнего, и весь город казался опустевшим и безжизненным. Старожил чувствовал себя таким несчастным, что даже ни разу не вспомнил про Клайда Хефлина, пока не прошел мимо пожарного депо и не свернул в переулок. Даже и тогда у него не было и мысли о страхе, до того он чувствовал себя несчастным.

Медленно шагая по переулку и еще довольно далеко от дома, он заметил, что кто-то сидит на крылечке. Он сразу остановился. У него вдруг задрожали руки от кисти до плеч, и дрожь быстро охватила все тело. В любую минуту он готов был повернуться и броситься бежать со всех ног.

— Это я... Эл Дидд.

Он был уверен, что узнал голос Эла, но страх все еще не проходил.

— Где же ты был, Старожил? Я же тебе велел сидеть дома.

— Захотелось немножко пройтись, Эл.

— Для чего это? Ты сказал, что будешь сидеть дома и запрешь дверь. Во всяком случае, теперь все в порядке. Пошли в дом, там теплее. Мне надо кое-что тебе сказать.

Старожил отпер дверь и зажег свет. Эл подошел к печке и стал греть руки. Он улыбался и был, видимо, доволен.

— Зачем ты опять пришел так поздно? — спросил его Старожил.— Теперь, должно быть, уже полночь.

Эл улыбнулся.

— Старожил, кто-то прикончил его час тому назад,— объявил он и улыбнулся, несомненно улыбнулся.

— Что?

— Это верно. Его прикончили.

— Кого прикончили?

— Клайда Хефлина. Это верно. Никакого сомнения нет. Брэд Грейди проезжал на полицейской машине по переулку за пивной Эда Говарда и нашел его на земле мертвым, как маисовая кочерыжка.

Старожил сел.

— Да верно ли это?

— Верно, как то, что воскресенье бывает раз в неделю. И поверь мне, тот, кто это сделал, действовал не наугад. Он, должно быть, захватил с собой два револьвера, на случай если одного будет мало. Брэд говорит, в Клайде по крайней мере восемь дырок, от головы до пят. Простые дырки от пуль, больше ничего,— не какие-нибудь безобразные ножевые раны или лужи крови. Чище проделать невозможно.

— Кто же это сделал, Эл?

Эл все еще слегка улыбался.

— Никто не знает, а может, и никогда не узнают. Кроме того, кто это сделал, тот болтать не будет. Во всяком случае, оно и лучше, что так вышло. Мы все можем только догадываться, и для этого времени у нас хватит. Это мог быть негр из негритянского квартала, а мог быть и кто угодно из белых. Однако большого значения это не имеет, потому что Клайд Хефлин помер и дело с концом. Могу сказать только, что он сам на это напрашивался — видит бог, напрашивался.

Старожил смотрел на раскаленную печку. Эл уселся в кресло.

— Одно тебе следует знать,— сказал Эл.— Льюк Мосс или кто-нибудь другой из полиции сочтут своим долгом рыскать тут и задавать всякие вопросы. Когда оказывается убитым белый, им приходится производить расследование. Может быть, они захотят узнать, где ты был последние два-три часа. Я помню, был десятый час в начале, когда мы с тобой расстались нынче на углу, и я могу это показать под присягой. Но что произошло потом? Можешь ты им сказать? Есть у тебя свидетель?

— Я был здесь почти все время, только немножко погулял.

Эл наклонился вперед.

— Ведь ты не прогуливался по этому переулку позади пивной Эда Говарда?

— Нет, уважаемые! Только не я!

— Можешь ты доказать все, что тебе придется доказывать, если Льюк Мосс будет задавать слишком много вопросов?

— Я бы мог доказать, но, может, и не захочу. Я бы лучше помолчал на этот счет, если для Льюка Мосса это не так важно. У меня имеются свои причины не упоминать имен.

— Я, кажется, понимаю, что ты хочешь сказать,— Эл кивнул головой.— Каждый человек имеет право сохранять что-то в тайне, хотя бы то, что происходит по ночам. Но все равно, если тебе понадобится свидетель...

Старожил встал и начал прохаживаться взад и вперед перед печкой.

— Ну так как же? — настаивал Эл.

— Я бы не хотел называть имена, что бы там ни случилось, потому что если я их назову, то ей, может быть, помешают завтра уехать из

города, как она собиралась, и тогда ей придется здесь остаться и быть свидетельницей. Они посадили бы ее в тюрьму до тех пор, пока дело не начнет слушаться в суде. Это был бы хороший способ удержать ее здесь, но я не способен устроить такую штуку. Только не Джозине. Это было бы нехорошо. Не могу я с ней так поступить, после того как сам от нее слышал, до чего ей хочется уехать.

— Ну, если ты так чувствуешь...

— Сказать по правде, Эл, это только половина того, что я чувствую. А другая половина в том, что меня тянет уехать с ней, но что-то и удерживает меня, и я просто не могу на это решиться. Каждый раз как мы об этом говорили, я пугался, что придется уехать из дому куда-то в незнакомое место — вот как некоторые пугаются, если залезут куда-нибудь высоко или если их запрут в темном чулане. Придется мне остаться здесь, положиться с этих пор на свое счастье и надеяться на лучшее. Похоже, что таким уж я родился.

— Думаю, мне понятно, почему тебе хочется оставаться у себя дома. Я и сам такой же домосед. Чужой человек, может, этого и не поймет, но я доволен, что сижу вот тут, в Пальмире. Я так понимаю, что быть довольным — самое лучшее в жизни. Все люди, которые из жизни устраивают кавардак, это как раз те, которые никогда не бывают собой довольны.

20

Когда Старожил Ханникат отложил инструменты в сторону и поднялся из-за верстака, осенний пасмурный день только еще перевалил за половину. Починки оставалось достаточно много, и большую часть он обещал сделать еще на прошлой неделе, но сидеть дольше за работой он был не в состоянии. Он гнулся над верстаком с самого утра, с тех пор как сел за работу, и ноги у него затекли, а спина болела. Он пнул ногой кучу хлама на полу и вышел в соседнюю комнату.

Отворив дверцу шкафчика, он бросил один-единственный взгляд на жестянки с бобами и макаронами, и этого было довольно.

— Нет, уважаемые! Только не для меня!— сказал он вслух самому себе.— Будь я проклят, если стану опять есть из этих жестянок!

Старожил захлопнул шкафчик с такой силой, что жестянки на полке загремели. Одного вида этих ярких, желтых с красным жестянок было довольно, чтобы он утвердился в своем решении, и с этой минуты он знал, что ему делать. Он голодал все утро и обходился без еды, пока мог терпеть. Он подумал было о шницелях Эда Говарда, но сказал себе, что даже полная тарелка этих шницелей не утолит того голода, от которого мучительно сжимается его желудок.

Оставив шкафчик в покое, он подошел к умывальному тазу и плеснул водой себе на голову. Потом, глядя на себя в зеркало, висящее на стене, он старательно расчесал и разделил пробором жидкие, песочного цвета волосы и наконец остался доволен своей наружностью. Надев штаны и синюю куртку, затянув пояс еще на одну дырку, он был готов к выходу из дома. Уходя, он равнодушно посмотрел на верстак и подумал, что вряд ли ему захочется когда-нибудь докончить починку разобранных приемников, электрических тостеров и настольных ламп.

Выйдя из дома и заперев дверь на ключ, Старожил пошел гораздо быстрее обычного к концу Большой Щели, а потом побежал дальше по переулку позади Черри-стрит. («Вон опять идет Старожил Ханникат к дому Мэйбл Бауэрс. Всякому хочется угадать, чем на этот раз дело кончится. Верно только то, что на все, что бы ни случилось, можно смотреть

с двух сторон. Одни одобряют Старожила и Мэйбл, потому что из-за них покончили с Клайдом Хефлином. И есть другие, которые осуждают их, потому что из-за них был убит Харви Браун, а Джозине Мэддокс пришлось уехать из города. А, по-моему, надо думать только так, что каждый раз, как случится что-нибудь хорошее, обязательно жди чего-нибудь дурного. Полагаю, остается только признать, что одно без другого не бывает, и надо всеми силами стараться, чтобы хорошее пересилило плохое».)

День был холодный под серым мрачным небом, и похоже было, что еще до сумерек польет осенний дождь. В это время года так и следует ожидать холодных дождей, пронизывающих северных ветров и ночных заморозков. Словно готовясь к внезапному приходу зимних холодов, многие жители города еще днем затопили печи и камины, и тонкое облачко синеватого дыма поднималось над домами и вершинами деревьев.

Всю дорогу по переулку Старожил чуть не бежал. Прежде чем отворить калитку за домом Мэйбл, он остановился отдохнуть и перевести дыхание. Над верхним краем забора он видел мирный султан дыма, выходящий из трубы приземистого кирпичного дома, и задний двор тоже выглядел безмятежно и уютно.

Чем дольше он стоял, глядя на такую приятную и уютную картину, тем больше надеялся, что Мэйбл не станет злиться и не погонит его со двора, прежде чем он сможет объяснить ей по всей правде, зачем пришел. («Вы заметьте, что люди, которые кичатся тем, что они лучше и значительнее Старожила Ханниката, или по крайней мере думают так про себя, больше других стараются скрывать свои недостатки. Вам следует восхищаться Старожилом, потому что он такой, какой есть, и ничем другим быть не претендует. А этого вы не можете сказать про двуличных политиков, которые бывают так благочестивы по воскресеньям, а в остальные дни недели закрепляют за собой голоса и затыкают рты взятками, лишь бы остаться на выборной должности. Эти люди еще в пятом классе школы не знали, как пишется «честность» и «прямота».)

Он отворил калитку, потом старательно прикрыл ее, чтобы ему не влетело за то, что она осталась открытой, и вошел во двор, теперь уже с таким чувством, словно просто возвращается домой, пробыв в центре города несколько часов по делу. Однако, прежде чем идти дальше, он остановился перед мусорной кучей и с любопытством потыкал в нее палкой. Как он и ожидал, ничего стоящего не выкинули сюда за то время, что он пробыл в отсутствии. Он опять подивился, как и в прошлый раз, почему у такой богатой женщины, как Мэйбл, такая неважная мусорная куча. У себя в переулке он видывал помойки куда лучше, включая и его собственную.

По дороге к заднему крыльцу он обвел взглядом весь двор, но не заметил в нем большой перемены. С искривленного тунгового дерева, быть может, сбило ветром еще несколько веток, ива, может быть, склонилась еще ниже к земле, но виноградная лоза провисала так же, как всегда, и почерневшие на дожде деревянные стулья оставались на старых местах. Даже и жесткая трава росла все так же пучками и клоками, и ее все так же не мешало бы скосить.

От земли до площадки крыльца было около десятка деревянных ступенек, и Старожил перепрыгивал их по две зараз.

Добравшись до двери и даже не колеблясь ни минуты, он громко и уверенно постучался несколько раз подряд. Гораздо раньше чем он ожидал, где-то в глубине дома послышался шум, и дверь приоткрылась.

Он видел, что Мэйбл смотрит на него в узкую щель растерянным взглядом, и ждал, что она распахнет дверь настежь. Однако щель не стала шире ни на дюйм. Он придвинулся ближе.

— Здравствуй,— сказал Старожил, широко ухмыляясь, и наклонил голову набок, готовясь выслушать ее ответ.

Последовало долгое молчание, как будто Мэйбл была слишком удивлена и растеряна, чтобы говорить. Она все еще казалась испуганной и взволнованной.

— Здравствуй, Мэйбл,— отважно повторил он, наклоняясь вперед, чтобы лучше разглядеть ее в узкую щель.— Это я — Старожил Ханникат. Ты ведь еще не успела забыть, кто я такой?

Радостная улыбка расплылась у него по всему лицу.

Опять наступило молчание. В это время она приоткрыла дверь еще на несколько дюймов, и он увидел, что она оглядывает его с головы до ног, словно не узнавая. Мэйбл придерживала у горла полинявший халат, и волосы падали космами ей на лицо. Вдруг, не говоря ни слова, она захлопнула дверь, и он ясно улышал, как ключ повернулся в замке. Он попробовал повернуть ручку и открыть дверь, но она была крепко заперта.

— Мэйбл!— позвал он громко, вовсю громыхая дверной ручкой.— Ты же знаешь, кто я такой! Я Старожил Ханникат! Не могла же ты меня забыть!

Он перестал греметь ручкой и внимательно прислушался, но Мэйбл не отзывалась. Ему оставалось только беспомощно стоять перед дверью и придумывать какой-нибудь другой способ попасть в дом.

Шторы на окнах были спущены, и не представлялось никакой возможности заглянуть в комнаты. Он подумывал, уж не обойти ли кругом, к фасаду, выходящему на улицу, может быть, Мэйбл отопрет парадную дверь, но тут же решил, что это только отнимет время. Он упрекал себя за то, что мало поговорил с ней, не сказал еще что-нибудь, пока была возможность, пока она еще не захлопнула перед ним дверь и не заперла ее, но он понимал, что теперь слишком поздно придумывать такое, что хоть сколько-нибудь помогло бы делу. Кроме того, он пришел к Мэйбл совершенно уверенный в том, что она сама будет говорить все время, и приготовился выслушать всю брань и все наставления с ее стороны, лишь бы только войти в дом и съесть приготовленный ею обед.

На крыльце становилось все холоднее, и он дрожал, засовывая руки поглубже в карманы, чтобы согреться. Он чуял уютный запах дыма, когда порывы ветра проносились над крышей, а потом по крыльцу, и по этому запаху понял, что в гостиной у Мэйбл жарко полыхает камин.

И тут он услышал, что в доме торопливо передвигают стулья и со стуком захлопывают ящики комода, и снова начал изо всех сил стучать в дверь. Скоро, заглушая этот шум, послышался громкий стук посуды, второпях составленной в кухонную мойку. К этому времени у него заболели костяшки пальцев на правой руке, и он начал стучать левой.

После всего этого прошло едва несколько минут, как Мэйбл отперла дверь и распахнула ее настежь. На сей раз она уже не выглядела встревоженной и растерянной, а, напротив, была спокойна и безмятежно улыбалась. Она сняла выцветший халат и надела одно из своих новых платьев с цветочками. Волосы были наскоро причесаны и подвязаны розовой ленточкой. На лице у нее оставались пятнышки пудры, которую ей некогда было стереть как следует.

— Здравствуй, Мэйбл,— сказал он живо.— Я уж боялся, что ты меня сперва не узнала. Думал, что ты поэтому не хотела меня пускать.

Она смотрела на него, помаргивая глазами.

— Ну и ну, Старожил Ханникат, а знаешь ли ты, что мне следовало бы сделать?

— Что?

— Взяться хорошенько, да и ругать тебя на чем свет стоит за то, что ты приходишь вот так, стучишься ко мне в дверь и застаешь меня врасплох. Я была поражена как никогда в жизни. Если тебе показалось, что вид у меня немножко удивленный, так именно поэтому.

Мэйбл говорила с ним, и в ее голосе не слышалось ни малейшего гнева. Глаза у нее все так же моргали, и она даже приятно улыбалась ему.

— Ничего не имею против, если побранят немножко,— сказал он.— Я вроде как бы ожидал...

— Я просто никому на свете не решилась бы показаться в этом старом, замурзанном халате. Я иной раз его надеваю во время уборки или пыль стереть, чтобы не пачкать хорошее платье. Ты, должно быть, подумал, что я выгляжу просто ужасно, когда я открыла тебе дверь в первый раз. Страх как обидно, что ты видел меня такой неряхой и растрепой. Мужчина должен отнестись снисходительно, если застанет иной раз женщину в неприбранном виде. Могу только надеяться, что ты не думаешь, будто я всегда такая хожу.

С широкой улыбкой, расплывшейся во все лицо, Старожил осторожно шагнул вперед.

— Ты, верно, хочешь узнать, где твой узел с платьем, что ты оставил, и то самое ружье и удочка? — спросила она, все еще держа дверь распахнутой настежь до отказа.— Я знала, что ты беспокоишься насчет этих вещей. Что ж, сказать тебе по правде, я их не выкинула на улицу, как обещала. Так я до них и не добралась, не знаю уж почему. Это на меня похоже. Во всяком случае, все твои вещи тут, в доме, лежат там же, где ты их оставил. Все в целости и сохранности.

Она вдруг остановилась, озабоченно хмурясь.

— Ну, в чем теперь дело? — встревоженно спросил он.

— Не знаю, что со мной такое. О чем я только думаю. Ты весь дрожишь от холода. Нельзя тебе стоять здесь в такую погоду — еще простудишься насмерть, схватишь воспаление легких. Сию минуту ступай в комнату и грейся у камина. Я только что подложила дров в огонь. Тебе теперь будет тепло и уютно. Входи в дом.

Он живо протиснулся бочком в прихожую.

— Ты, верно, подумал, что я уж совсем негостеприимная,— сказала она, закрывая дверь.

Старожил по пятам за ней проскользнул в гостиную и, очутившись там, подошел прямо к камину. Стоя на каменной плите перед очагом, он нагнулся и согревал руки жаром пылающих дубовых поленьев.

Мэйбл села и, очень довольная, молча ждала, пока он не повернется погреть спину.

— Старожил, прежде чем ты скажешь хоть слово,— заговорила она, когда он взглянул на нее,— я сама должна тебе сказать кое-что от чистого сердца. Да я и нисколько не стыжусь говорить при тебе правду. Это на меня похоже. Я никогда не умела скрывать свои чувства. Вот почему я хочу, чтобы ты знал, что я была ужасно одинока последние дни в этом большом доме. А чувство одиночества всегда заставляет меня думать много и по чистой совести.

Он радостно улыбнулся. Он был уверен, что она говорит не зря, а собирается приготовить отличный обед и пригласить его пообедать. В предвкушении он начал кивать головой, готовый согласиться со всем, что бы ни сказала Мэйбл.

— Не суди меня слишком строго за прошлое,— говорила она серьезно.— Как только я услышала, что Джозина Мэддокс уезжает и никогда больше не вернется, я решила, что́ мне делать. Это на меня похоже. Я сказала себе, что во всей этой беде прежде всего я виновата и что меня и надо осуждать за то, что случилось. Когда ты меня узнаешь получше, ты увидишь, что это на меня похоже.

Старожил слушал, все так же кивая головой.

— А теперь я не хочу, чтобы ты изводился. Я не собираюсь бранить тебя за мои собственные ошибки и недостатки. Это было бы на меня не

похоже. Ну что же, за последние дни я много и по чистой совести думала и решила, что вся беда вышла из-за того, что я напрасно тебя осуждала за все происшедшее, ведь с твоей стороны было вполне естественно похвалить стряпню Джозины, как ты ее похвалил. Надо знать мужчин и их слабости... Ну, а дальше, именно потому я и поняла, что если бы я сама стряпала, то ты бы меня похвалил точно так же и остался бы тут, в моем доме, вместо того чтобы уйти и есть ее стряпню — жареную курицу и пирог с бататами, что она тебе отнесла. Одно только мне в этом не нравится, что она была раздета в то время, когда ты ужинал. Но всем известно, что это уж такая женская манера угождать мужчине. Нет, ты не думай, будто я не знаю, о чем говорю. Я вовсе не дура и уж настолько-то в мужчинах разбираюсь. Все мужчины как две капли воды похожи друг на друга. Все они хотят одного и того же, какие бы с виду они ни были разные. А как дело дойдет до стряпни, так мужчинам больше всего понравится та женщина, чья стряпня им больше придется по вкусу.

— Мой папа мне говаривал, что для мужчины лучше всего та женщина...— начал было Старожил, но Мэйбл остановила его, прежде чем он успел договорить.

— Не прерывай меня, когда я говорю,— сказала она, сурово хмурясь.— Что бы ты ни хотел сказать, все это может подождать своей очереди. А мне нужно тебе докончить про нынешнее утро. Так вот, продолжаю. Сидя тут в таком одиночестве, я обдумала все это по чистой совести и потому позвонила нынче утром Миллеру Хайэту, сейчас же, как только услыхала, что Джозина уезжает, и сказала ему, чтобы ты немедленно ко мне вернулся. Он пообещал, что повидается с тобой и даст тебе знать, как только освободится. Миллер Хайэт всегда был из тех несносных, нерешительных копуш-адвокатов, которые даже марки на письмо не наклеят, не подождав до завтрашнего утра, и я никак не ожидала, что он так быстро обернется и пришлет тебя так скоро. Вот почему я была еще не совсем одета и не приготовилась встретить тебя у дверей. Я думала, что ты придешь гораздо позже. Но все равно, я очень рада, что Миллер Хайэт поторопился сказать тебе.

Старожил только мотал головой.

— Понятия не имею, о чем ты говоришь.

— Понятия не имеешь?

— Для меня это новость.

— Это странно.

— Мне тоже что-то странно.

— Но разве он тебе не сказал?

— Кто? Миллер Хайэт? Миллер Хайэт меня и в глаза не видел. Я сегодня с ним ни разу не встретился.

Мэйбл наклонилась вперед на своем стуле, нервно ломая пальцы.

— Так кто же тебе сказал, Старожил?

— Никто.

— Так как же ты узнал?

— Что узнал, Мэйбл? Я все еще ничего не знаю и ровно ничего не понимаю из того, что ты говоришь. Я знаю только то, что ты мне сейчас сказала, и даже в этом никак не разберусь.

— Так почему же ты сюда пришел?

— Это нетрудно объяснить. Я тебе как-то рассказывал насчет этого. Мой папа говорил, что если мужчина хочет вкусно есть и спать в тепле зимой, когда ночи холодные, то самое лучшее...

— Но как же ты узнал, что я хочу, чтобы ты вернулся?

— Я и не знал наверняка. Все только надеялся, да молился, да испытывал свое счастье. Я был такой голодный все утро, да и до сих пор, что пришлось рискнуть. Мне надоело и опротивело есть холодные чилийские бобы и макароны из консервных банок, да и шницели Эда тоже на-

доели, и я дал себе слово, что будь я бродячая рыжая собака с жестянкой на хвосте, если проглочу хоть один кусок такой еды. И тут я тебя добром вспомнил и затосковал о всех тех вкусных обедах, которые ты готовишь и которых мне не видать. И я просто-напросто решил попытать свое счастье, взял и постучался к тебе с черного хода. Вот и вся разгадка. Я рассчитал, что мое счастье должно опять повернуть в мою сторону, после того как мне не везло последние дни, и что теперь пора испытать его снова, чтобы оно пошло в ход и принесло мне какую-нибудь пользу.

Мэйбл с глубоким вздохом опустилась в кресло. Ее глаза слезливо мигали.

— Никак не могу в себя прийти,— сказала она дрожащим голосом.— Ты в самом деле хочешь сказать, что вернулся потому, что в самом деле хотел вернуться? А не потому, что я за тобой послала?

— Это правда, Мэйбл. Если я когда говорил правду во сне или наяву, так это правда.

Она склонила голову, закрыв руками лицо и вытирая слезы на глазах.

— Ты меня так растрогал, что я даю слово отныне и навсегда называться миссис Старожил Ханникат. Утром я одно время подумывала, не позволишь ли ты мне называть тебя Старичок, но это будет на тебя не похоже. Для тебя самое подходящее имя Старожил. Я никогда больше не буду браниться с тобой и надоедать тебе или приставать, чтобы ты переменил имя на какое-нибудь другое. Теперь я убеждена, что оно и в самом деле счастливое.

— В точности, как мой папа говорил, для меня это действительно счастливое имя,— объявил он, широко ухмыляясь.— Я бы с ним не расстался ни за что на свете. И тебе оно тоже нисколько не повредит.

Мэйбл встала с кресла и подошла к Старожилу, стоявшему у камина. От голодных спазм в желудке он начал вертеться и переминаться с ноги на ногу.

— Мой папа говаривал, что самый верный способ узнать цену женщине — это попробовать ее стряпни. Так вот, мне бы перекусить слегка...

— Я для тебя нынче приготовлю ужин, Старожил,— сказала она, стоя рядом с ним и глядя на него.— Я целый день придумывала, чем бы мне тебя угостить. Будет все, что ты любишь.

Мэйбл прижалась к нему и положила голову ему на плечо.

— Ты не знаешь, как приятно чувствовать, что ты здесь, со мной

— Ну, а как же пироги с бататами? — озабоченно спросил он.— Я вроде как на них рассчитывал, а сейчас, пожалуй, тебе уже некогда будет их испечь.

— Нынче утром я посадила в печь четыре пирога с бататами, сразу после того как позвонила Миллеру Хайэту и послала его за тобой. К ужину они как раз будут холодные, такие, как ты любишь.

Оставив Старожила одного, она отправилась в кухню. Но не дойдя до двери, остановилась и обернулась.

— Старожил Ханникат, я хочу узнать только одно, прежде чем выйду из этой комнаты и сделаю еще хоть один шаг к кухне.

— Что же это такое, Мэйбл?

— Если я оставлю тебя здесь, в доме, и буду стряпать для тебя все, что ты любишь, почем я могу знать, что ты не станешь бегать за этими... за такими девчонками, как Джозина? Я бы умерла от унижения, если б это опять случилось.

Старожил заложил руки за спину, грея их перед жарко пылающими дубовыми поленьями. Широкая улыбка расходилась от углов рта по всему лицу.

— Нет, уважаемые! Только не я! Больше ты меня на этом не поймаешь, Мэйбл. Я, черт возьми, сам об этом позабочусь.

ФАРКАШ ЙОЖЕФ

ОКТЯБРЬ И ВЕНГЕРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Борьба за национальное существование и за общественный прогресс — вот та почва, на которой взросли самые выдающиеся деятели венгерской литературы. Во время великих исторических переломов венгерская литература всегда подхватывала новые веяния, прогрессивные идеи, которые питали ее лучшие произведения.

Известно, что непосредственное влияние Великой Октябрьской социалистической революции в Венгрии было очень велико Вспыхнуло революционное пламя, тлевшее под пеплом во время войны, возникла Венгерская советская республика 1919 года Венгерская литература тех дней, воодушевляемая революционным брожением в стране, в значительной степени подготовила назревавшую демократическую революцию, а большинство писателей, все больше проникаясь ее идеями, заявили о поддержке Советской республики.

Передовые тенденции в венгерской литературе этих лет восходят к литературному движению начала века, отражавшему общественное пробуждение, и прежде всего — к революционной поэзии Эндре Ади.

Империалистическая мировая война, националистическая пропаганда на какое-то время затормозили развитие прогрессивной литературы. Но уже в середине 1916 года сформировался широкий антивоенный фронт, объединивший прогрессивных писателей различных групп и направлений. В поэзии Эндре Ади, в стихотворениях, рассказах, публицистических статьях многих писателей и поэтов тех лет звучало возмущение бессмысленным кровопролитием во имя чужих интересов Венгерские писатели находили опору и поддержку своей позиции в выступлениях передовых зарубежных писателей, в антивоенных протестах Ромена Роллана, Анри Барбюса, Максима Горького, Герберта Уэллса, левых немецких экспрессионистов. По воспоминаниям Дердя Бёлени* на позицию писателей Венгрии оказал влияние манифест Циммервальдской конференции, текст которого уже осенью 1915 года неофициально сообщил в редакцию буржуазно-радикальной газеты «Вилаг» ее швейцарский корреспондент, хотя на страницах газеты манифест мог появиться лишь гораздо позже, в мае 1916 года.

Весной 1917 года, когда мир всколыхнула весть о русской революции, прогрессивные писатели вместе со всем венгерским народом с надеждой обратили свои взоры к России. Они искали тогда ответа на три тесно связанных между собой вопроса: как поскорее покончить с войной, насколько приблизила наступление мира русская революция и какая судьба ждет Венгрию после войны? Удастся ли сбросить австрийское иго и возьмут ли верх демократические силы страны, чтобы осуществить ее революционное переустройство? Наконец, следовало определить отношение к социализму, который стучался

* Видный публицист, критик, автор работ об Эндре Ади.

в ворота всего мира. Все эти вопросы встали уже в феврале 1917 года, но лишь в свете Октябрьской революции прогрессивные писатели Венгрии смогли найти на них реальный ответ.

Консервативные писатели, которые и в дальнейшем остались верными прислужниками политики войны, как ни парадоксально, тоже радовались русской революции, считая, что она повлечет за собой ослабление лагеря противника. Они по-прежнему стояли за монархию и союз с немцами, противясь всяким попыткам демократического переустройства, и, конечно, резко отрицательно относились к идее социализма. Между тем различные группы прогрессивных писателей видели в восстании русского народа предвестие мира, победу демократии. И когда в Венгрии тоже стали поспевать «всходы гнева» — забастовки, массовые демонстрации волной прокатились по стране,— венгерские писатели приветствовали революционные выступления народных масс, видя в них начало национального пробуждения. «Всюду расцветает жизнь»,— писал в одном из своих стихотворений Эндре Ади весной 1917 года, наблюдая революционный подъем в стране. Жигмонд Мориц в статье о новых рассказах Иштвана Темеркеня предсказывал, что скоро придет время, «когда восприятие жизни венгерским народом и сама жизнь полностью преобразуются, «когда не только новые идеи, но и совершенно новое мировоззрение, новая философия опрокинут косный венгерский быт». Фридеш Каринти видел в революции единственное средство прекратить войну, которое спасет больное человечество, в то же время считая, что русская революция будет «иного характера, нежели прежние».

Жени Варнаи в стихотворении «Жизнь! Свобода!» (1917) говорила, что очаг революции из Франции переместился в Россию: «Сегодня русской земле мы раскрываем сердца. И на нее вместе с нами с надеждой взирают истекающие кровью народы Европы...» Геза Дёни — венгерский поэт, попавший в красноярский лагерь для военнопленных, «грустный сын далекого тоскующего народа» — приветствовал русскую революцию в стихотворении «Последний танец», связывая воедино судьбы обеих стран.

Но вскоре оказалось, что надежды были преждевременными и Февральская революция в России не принесла желанного мира. Фельетон Фридеша Каринти «Подстрекатели и апостолы» (март 1917 года) показывает, как велики были надежды передовых венгерских писателей на Ленина и большевиков. Страстные выступления Каринти против поджигателей войны в «апостольских масках миротворцев» и его глубокая симпатия к «крайней рабочей партии» — большевикам, «подстрекающим» к миру, точно выражали общественное настроение в стране. Венгерская печать сочувственно следила за борьбой Ленина и его соратников, которые требовали немедленного заключения мира. В июле 1917 года редактируемая писателем Ференцем Морой газета «Сегеди напло» разъясняла, что цель Ленина — «мир и социализм».

Весть о Великой Октябрьской социалистической революции была воспринята в Венгрии как весть о победе «революции мира». «В России победила революция мира», «Программа нового правительства— незамедлительный мир» — такими заголовками встретили газеты победу Октября. Газета Ференца Моры подчеркивала, что Октябрьская революция отвечает самым глубоким чаяниям венгерского народа: «Февральская революция не принесла тех перемен, которых каждый, кто верит в них, мечтает о революции, от нее ожидал». Правление Керенского характеризовалось «тупым деспотизмом, кровопролитием, угнетением, невыполненными обещаниями и крикливыми речами». «И вот первое слово рабочей и солдатской революции, которое доносится к нам,— уже иное, оно будит новые надежды и смелые ожидания. Эта революция уже не делает разницы между сражающимися нациями; враг лишь тот, кто подстрекает к войне, будь то английский промышленник или немецкий юнкер, а друг — каждый, кто стоит за мир».

Октябрьская революция действительно открыла желанную возможность мира. 11 ноября был получен из России Декрет о мире, а вскоре стало известно, что советское правительство выступило с предложением мира. В начале декабря было заключено первое десятидневное перемирие на русском фронте. Писатель Дюла Круди приветствовал эту попытку установить мир, как возрождение гуманности, и писал, что с надеждой взирает на революционную Россию: «С востока летят белоснежные сказочные птицы; длинноволосые русские мужики в сапогах, как три библейских волхва, отправляются в паломничество к колы-

бели мира». За перемирием последовал еще месяц затишья, а затем в начале марта 1918 года пришла весть о заключении мира в Брест-Литовске.

Брест-Литовский мир был со стороны молодой Советской России огромной жертвой, очень выгодной для Германии и ее союзников. Однако прогрессивные силы всего мира оценили последовательную позицию советского правительства: когда его усилия добиться мира во всем мире оказались безрезультатными, оно путем сепаратного мирного договора вышло из империалистической войны. Поэтому для настроенных против войны венгерских писателей этот мирный договор стал большим событием и еще более привлек их к идеям Октября. Дюла Юхас летом 1918 года (в статье «Наполеоны малые») писал, выражая настроения прогрессивных писателей: «Надеемся, что этот могучий обетованный хаос, который бушует теперь от Петрограда до Владивостока, вдохновит на мир и труд новые силы встающей из праха и крови Европы». Другой поэт, Арпад Тот, весной 1918 года в стихотворении «Перед старым домом» рисовал могучего «нового Человека», ведущего человечество на «чистые вершины лучшей жизни». Как указывает Ласло Кардош в своей книге о нем (1955), «смысл этого стихотворения едва ли можно понять, не соотнеся его с русской революцией». Интересно также отметить, что в это время родилось первое венгерское стихотворение о Ленине. Арпад Пастор в стихотворении «Ленин» (1918) рисовал облик народного вождя, стремящегося к миру:

И когда проклятья летели к небу
И пожиналась кровавая жатва,
Он сказал: не бывать больше крови
и трауру
Ленин! Ленин!

Воздействие русской «революции мира» видно не только в лирических или публицистических произведениях, написанных непосредственно по этому поводу, но и в художественной прозе. В этот период в ней появляется образ русского солдата, наделенного подлинной человечностью. Меняется и изображение венгерских солдат; вместо восхваления «героизма» выражаются симпатии к «врагам» — солдатам-беднякам других национальностей. Очерк Жигмонда Морица «Грамотей» (1918) о русском пленном, читающем Толстого, ясно дает почувствовать это изменившееся отношение к русским. Эде Брестовски в рассказе «Иштван и Иван» изображал общую судьбу русских и венгерских солдат, их страдание и гибель. В новелле Деже Сабо «Ухо» разрабатывалась та же тема: автор не только показывал общность судьбы русского и венгерского крестьянина во время войны, но и подчеркивал, что жизнь каждого у него на родине сходна: оба «вечно задавлены, вечно надрываются», оба «сеют много, а собирают мало». И на войну оба уходят одинаково: с напускной бравадой, хотя сердце обливается кровью. Правда, образы в новелле даны несколько отвлеченно, и это ослабляет впечатление.

Более глубоко эта идея воплотилась в новелле Жигмонда Морица «Иошка Шаму Киш» (1918), которая по содержанию тесно примыкает к блестящему рассказу «Бедные люди», написанному Морицем еще в 1916 году: «Не москали на другом берегу... на другом берегу богачи». В рассказе «Иошка Шаму Киш» изголодавшийся пехотинец, словно следуя этой осознанной им истине, не убивает спящего русского собрата; он берет у него сумку, но когда вместо хлеба находит там вырезанную из дерева игрушечную колыбельку, то кладет ее обратно. Ведь она словно воплощает общую участь русского и венгра, брошенных на фронт, оторванных от своих семей.

Тогда же в венгерской литературе появляются образы русских революционеров. Поэт Лайош Кашшак рисует в своем стихотворении, написанном летом 1917 года, русских революционеров, которые «жадным ухом выслушивают мир» и, преследуемые, подвергаемые гонениям, зажигают перед человечеством свет новых идей. Янош Лекаи в новелле «Санкт-Петербург, 22 февраля 1917 года» передавал напряженную атмосферу кануна революции, выводя типы русских рабочих, которые вступили в борьбу с вооруженной царской гвардией. Эндре Кадар посвятил свой роман «Балалайка» (1918) русским революционерам, которые возвращаются на родину из французской эмиграции.

Говоря о непосредственном влиянии русского революционного движения на венгерскую литературу, необходимо упомянуть поэтов, попавших во время мировой войны в русский плен,— Гезу Дёни, Корнеля Баняи, Кароя Лигети и других, а также революционные газеты на венгерском языке, выходившие в Советской России после Октяб-

ФАРКАШ ИОЖЕФ

ря 1917 года (московская «Социалиш форрадалом», омская «Форрадалом», пензенская «Вилагсабадшаг», самарская «Эбредеш» и т. д.). Геза Дёни в красноярском лагере для военнопленных отказался от своих прежних, прославлявших войну стихов, уверовав в революцию и братство народов. В его поэзии все настойчивей звучит обличение эксплуатации бедного богатым; например, в его стихотворении «Завещание пленного гонведа*», где он говорит о том, как глубока пропасть между графами, епископами и неимущими. Дёни погиб еще до Октября, но идейно и эмоционально его стихотворения, написанные в плену, полны ожидания революционного переворота **

Корнель Баняи, чей сборник стихов вышел в 1918 году в Омске («Рождение и смерть пшеницы»), воспевал Октябрь, раскрепощающий народ. Карой Лигети написал вдохновенное стихотворение, посвященное революции, а осенью 1917 года ушел на фронт с первым сформированным из военнопленных красным батальоном. (Стихи его печатались в омской газете «Форрадалом»; поэт попал позже в плен к белогвардейцам, которые летом 1919 года казнили его.) Проникнутая горячим пафосом «Песнь свободы» Имре Тари воодушевляла венгерских военнопленных, призывая их встать под красное знамя революции. Этих поэтов можно считать непосредственными предшественниками писателей-коммунистов, которые были вынуждены эмигрировать в Советский Союз после падения Венгерской Советской республики 1919 года.

Великая Октябрьская социалистическая революция—как уже видно из сказанного—была для венгерских писателей в первую очередь «революцией мира». Октябрь слил воедино идею мира с идеями свободы и социализма. Проходившая в ноябре 1917 года крупная массовая демонстрация в Будапеште и многие забастовки в 1918 году в знак солидарности с русской пролетарской революцией выдвигали требование коренного переустройства Венгрии. Этот революционный подъем находил живой отклик в литературе. «Ударь же, кулак, свали эту скверную жизнь»,— пишет Эндре Ади, который ждет, когда же поднимутся революционные рати со «спасительным оружием», и в один вздох вкладывает все ожидание израненной страны: «О революции, что же вы медлите?» (стихотворение «Жалоба недовольного юноши»). «Новый лозунг нужен, товарищи,— заявляет Фридеш Каринти.— «Долой резню» — этого мало... Антипод войны — не мир, а *революция идей*». Дюла Юхас в стихотворении «Венгерское лето 1918 года» обращается к грядущей революционной буре. А в одной из своих статей осенью того же года он пишет: «Что нужно делать? Сообща создавать новый социальный строй, лучший мир, другую систему». Лайош Барта в рассказе «Зеленый человек», показывая пробуждение самосознания своего героя — журналиста, дает почувствовать, как далеко зашло разложение буржуазного общества, передает ощущение приближающейся революции.

Важным явлением, сопутствовавшим литературному развитию, было то, что и в мышлении отдельных писателей абстрактно-гуманистического толка начала занимать видное место идея социализма. Так, например, в очерке Маргит Каффки «Глоссы» виден не только страх перед оппортунизмом правых социал-демократических лидеров, но и сочувствие к социализму. Дюла Юхас весной 1918 года утверждает в статье «Карл Маркс»: «Реальная политика рано или поздно будет вынуждена искать счастья для людей на путях, проложенных социалистическими науками». Все это отдельные примеры, но и они убедительно показывают, насколько более радикальной по тону стала прогрессивная венгерская литература после Октября 1917 года. Отблеск идей Октября виден и в том, что все больше писателей отходит от пацифистского осуждения войны, которое было характерно для них год назад, и становится в один ряд с Эндре Ади, предвещавшим революцию. Множится число произведений, воспевающих будущее и осуждающих старый мир; все больше писателей выражает революционные чаяния масс.

Самое глубокое влияние Октября 1917 года проявилось в рабочей литературе, особенно в деятельности революционных социалистических писателей, которые идеи Октябрьской революции объявляли своей программой. Уже в 1915 году начал выходить возглавляемый Кашшаком антимилитаристский журнал «Тетт», который был запрещен в 1916 году, а затем появился под другим названием. Передовые писатели развернули на его страницах анти-

---

* Гонвед — венгерский солдат-пехотинец.

** Его стихи вышли посмертно отдельным сборником под названием «Рабство» (1919).

военную деятельность. Под непосредственным воздействием Великой Октябрьской социалистической революции идейно-эстетические расхождения между сотрудниками журнала, до тех пор скрытые, вышли на поверхность. Четверо писателей — Аладар Комьят, Матяш Дердь, Йожеф Реваи и Йожеф Лендел — покинули журнал. Они собирались создать новый журнал под названием «Тысяча девятьсот семнадцать», уже самим этим названием подчеркивая огромное значение Октября 1917 года, в котором они видели начало новой эры в истории человечества. И хотя революционным социалистическим писателям удалось тогда лишь сформулировать программу журнала, потому что цензура была начеку и запретила его еще до его рождения, сама эта программа — сознательное выступление на стороне пролетарской революции. «1917— это историческая дата русской революции, воплощение величайшей идеи человечества. Из этой идеи исходит и к этой идее приходит программа нашего журнала»,— заявляли писатели-революционеры. Они требовали такой литературы, которая «подводила бы к социальной революции».

Революционные стихи этой группы из-за цензуры увидели свет лишь год спустя, после буржуазно-демократической революции, собранные под заглавием «Освобождение, 1918». До тех пор они распространялись в списках. Точно так же и задуманный ими журнал (под новым названием «Интернационале») появился лишь после создания Венгерской коммунистической партии. И все же эти революционные писатели, уже осенью 1917 года формулируя свою программу, тем самым выступили за размежевание пролетарской литературы с реформизмом. Идеи русского Октября помог создать в венгерской литературе первую партийную в ленинском понимании группу пролетарских писателей.

Осенью 1918 года передовые венгерские писатели восторженно примкнули к победившей в Венгрии буржуазно-демократической революции, а позднее в большинстве своем признали и стремились поддержать советскую власть в своей стране. Венгерская пролетарская революция 1919 года, которая призвала к защите национальной независимости от происков иностранных империалистов и, первая последовав примеру России, открыла перспективы нового общества, еще больше идейно закалила писателей-коммунистов (Аладара Комьята, Йожефа Реваи, Йожефа Лендела). Героическая борьба и высокие идеи Советской республики помогли стать коммунистами таким известным ныне писателям, как Андор Габор, Бела Иллеш, Лайош Надь, Бела Балаж, Лайош Барта.

Произведения, появившиеся за короткое время существования Советской Венгрии и теперь по большей части ставшие общеизвестными*, свидетельствуют о том, что прогрессивные венгерские писатели — хотя некоторые из них и не всегда последовательно — высказывались за Советскую республику. Повинуясь железной логике истории, эти писатели пришли к необходимости *сознательного сближения с революцией.* Идея служения народу, общественному прогрессу — вот типичная позиция писателя в Советской Венгрии. Жигмонд Мориц (в статье «Капитал», 1919) точно объяснил, что привлекло писателей, художников на сторону Советской республики: «Если ты художник, ты не обязан калечить себя из-за людского тщеславия; если ты ученый, тебе не нужно тщетно бороться за кусок хлеба; если ты рабочий, ты не будешь жертвой эксплуатации. Кем бы ты ни был, ты можешь следовать внутренней заповеди своей жизни: быть человеком». И то, что венгерские писатели в 1919 году приняли этот новый «человеческий мир», было плодом идей Великой Октябрьской социалистической революции.

Современная социалистическая — и развивающаяся в социалистическом направлении — венгерская литература восходит к литературе Советской Венгрии, зачинавшейся под путеводной звездой Октября. Конечно, Октябрьскую революцию, литературу Советской Венгрии отделяет от нас уже почти полвека, насыщенные к тому же волнующими, часто трагическими событиями. Современная венгерская социалистическая литература — в том числе творчество таких ее представителей, как Йожеф Лендел, Бела Иллеш и другие, которые начинали свой писательский путь вместе с Октябрем,— сложнее и, естественно, во многом глубже литературы Советской Венгрии

---

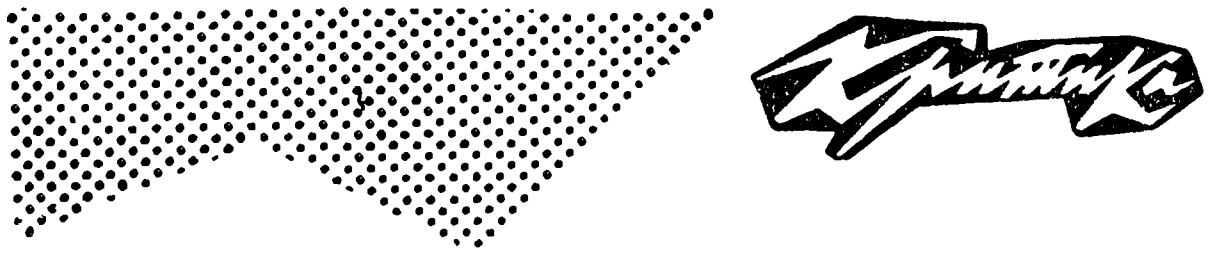
* Объединенные в несколько томов под общим названием «Каждый готовится к новому...», они изданы Издательством Академии наук в Будапеште.

1919 года. Она, если можно так выразиться, взрослее и мудрее.

Передовая венгерская литература 1917—1919 годов выполняла главным образом прямые агитационные задачи — она была согрета искренними гражданскими чувствами, откликалась на животрепещущие проблемы действительности, сознательно стремясь разрешить их в интересах народа, венгерского рабочего класса, который 21 марта 1919 года взял власть в свои руки. Но к глубокому аналитическому изображению человеческой психологии, трудового и воинского героизма в переломную историческую эпоху она тогда еще не подошла, не успела подойти. Современная венгерская литература рисует уже самый процесс пробуждения социалистического сознания народа, зная, что это процесс сложный, порой зигзагообразный, требующий преодоления многих препятствий. Молодой прозаик Эндре Фейеш в романе «Кладбище железного лома», вызвавшем большую дискуссию, изображает, например, трудовую семью, которая — еще сейчас, в современной Венгрии,— живет во власти мещанских представлений. Йожеф Лендел в повести «С начала до конца» и других своих произведениях, коснулся тех трудных испытаний, через которые многим простым честным людям пришлось пройти в годы культа личности. Нечего и говорить, что события контрреволюции 1956 года (и предшествующие ей) породили много произведений, полных глубоких и нелегких раздумий о сложных путях истории (например, роман Йожефа Дарваша «Пьяный дождь»).

Но при этом венгерская литература не становится в позу «разочарования» в жизни (мы не говорим, конечно, о разных экзистенциалистских влияниях, о подражаниях декадансу — есть и такие), не теряет исторической перспективы. Ей — это ясно видно у Й. Лендела, в романе Й. Дарваша, в лучших произведениях поэзии — присуще большое чувство ответственности за настоящее и будущее страны, неотделимое от уверенности в силах своего народа. И в этом глубоко гуманном и оптимистическом чувстве, в сознании единства с народом как раз и заключается прежде всего живая традиция Октября и социалистической венгерской революции в нашей литературе. Потому и обращаются с таким интересом к литературе 1917—1919 годов венгерские читатели, литературоведы, что находят там истоки того чуткого сознания моральной и общественной ответственности за социализм, за судьбы народов, которое владеет писателями сейчас.

г. Будапешт.



Л. СИМОНЯН

ТРУДНЫЕ ПОИСКИ

«Когда началась эта история, которую я намеревался сегодня завершить? — спрашивает Энгельберт Рейнеке, герой романа Пауля Шаллюка.— Где и когда был посеян ветер?.. Он нес запах крови и был красен, как будто кровь разлилась вдоль всего горизонта, и он нес запах пепла, и пепел отца моего осыпал нас и окрасил все лица в пепельный цвет, один это видел, другой был слеп».

Пепел отца... Пепел тысяч отцов и матерей, пепел тысяч юношей и девушек, чьим детям никогда не родиться. Пепел Бухенвальда и Саксенхаузена, пепел Освенцима и Майданека. Все это было. Всего этого не должно быть. Во имя того, чтоб это больше не повторилось, написано много романов на разных языках, в том числе и роман западногерманского писателя Пауля Шаллюка «Энгельберт Рейнеке», который начинает печататься в этом номере журнала.

Кто сеет ветер, пожнет бурю. В правильности этой поговорки немцы на собственном опыте убедились в 1945 году. Тем не менее ветер разрушения и смерти дует снова; его раздувают в Западной Германии, где хозяйничают фашисты старого и нового образца. Протестуя против этого, Пауль Шаллюк написал роман, в котором доказывается, что без ответственности за прошлое нет ответственности за будущее.

Роман ограничен во времени, в нем изображен один день из жизни Энгельберта Рейнеке. Но это такой день, который становится в его судьбе поворотным.

Что происходит в этот день? Никаких внешних событий, только внутренний переворот, обретение внутренней ясности. Чтобы обрести ее, герою романа приходится разобраться в том, что было, и в том, что есть. Энгельберту Рейнеке, погруженному в воспоминания и поглощенному размышлениями, кажется, будто прожитое им время — это многоэтажный лабиринт, по которому он блуждает в поисках выхода.

«На сколько этажей предстояло мне еще взбираться вверх или спускаться вниз? — спрашивает он самого себя.— Без светильника в руке. Без всякой уверенности, что я найду выход. Куда открываются двери? И есть ли они вообще?»

Итак, герой романа Пауля Шаллюка, молодой немец двадцатого века, проживающий в Западной Германии, где вчерашние преступники опекаются сегодняшними властями, ищет путей в завтрашний день. И это настолько трудные поиски, что иногда он впадает в отчаяние.

В западногерманской литературе ищущих героев не так уж мало; все они начинают с того, что во имя будущего требуют расчета с прошлым. Этого требовал еще Бекман, герой пьесы Вольфганга Борхерта «За дверью», которая, кстати сказать, упоминается в романе. Бекман был первым, но не последним.

Энгельберт Рейнеке в романе Пауля Шаллюка обладает преимуществом, которого лишены герои многих других западногерманских книг. У Энгельберта Рейнеке

такой отец, который и пятнадцать лет спустя, после своей смерти, помогает сыну в его трудных поисках; он помогает ему примером собственной жизни.

Образ Леопольда Рейнеке — едва ли не самая крупная удача талантливого писателя. К тому моменту, с которого начинается повествование, Леопольд Рейнеке давным-давно умер: погиб в Бухенвальде от пыток. Но он живет в памяти друзей и врагов: одни его любят, другие ненавидят, для одних он опора, для других он опасность.

Чем же он, этот провинциальный школьный учитель, заслужил бессмертие?

Не противоречит ли образ Леопольда Рейнеке установившейся в Германии литературной традиции, согласно которой немецкие учителя изображались отрицательными персонажами, гротескными фигурами: вспомним хотя бы учителя Гнуса, героя Генриха Манна, учителя Канторека, героя Эриха Марии Ремарка. А ведь эта литературная традиция подсказана самой жизнью: немецкий учитель немало сделал для того, чтобы воспитать школьников в духе милитаризма, шовинизма, фашизма. Но были и иные учителя; Леопольд Рейнеке — один из таких.

Ученики прозвали своего учителя Низачтоком. Выражение, часто им употребляемое и ставшее его прозвищем, означает, что он ни за что, хоть его убей, не примирится с тем, что считает несправедливым. Нет, ни за что! Ученики знают, что их учитель никогда не изменит самому себе. Он остается верен себе и в годы фашизма.

Учитель Низачток — фигура героическая. Но она, эта фигура, не из мрамора или бронзы, а из плоти и крови. Низачток ходит по земле, даже не всегда высоко держит голову, ибо чувствует, что надо было бы делать больше, чем делает он в борьбе против фашизма. И все же Низачток делает очень много: изо дня в день борется за своих учеников, препятствуя их духовному растлению. Конечно, в Германии в ту пору боролись и по-другому: подпольными группами, чаще всего возглавляемыми коммунистами. Ни автор, ни его герой не упоминают об этом. Но писатель убеждает читателя в том, что Леопольд Рейнеке — тоже борец, хоть и борется он по-своему.

В германском фольклоре особое место принадлежит Уленшпигелю. Этот шутник, располагающий неистощимым запасом остроумных выдумок, воплощает в себе не только народный оптимизм, но и народный протест против несправедливости. Притворяясь простачком, бедняк Уленшпигель ловко одурачивает глупых богачей. Его шутки, его смех — это бьющее без промаха оружие, которым он умело пользуется в борьбе с угнетателями.

Леопольд Рейнеке — интеллигент, но в нем, пожалуй, есть что-то от Уленшпигеля: остроумие, умение так носить маску, чтоб глупых вводить в заблуждение, а умным предоставить возможность догадаться о том, что скрыто под маской.

Но Леопольд Рейнеке знает, что не все фашисты глупы. Ему ясно, что его ждет. И все же он верен тому, в чем видит свой долг. В этом-то и заключается его подвиг.

Есть что-то глубоко трагическое — и по-человечески понятное — в том, как Леопольд Рейнеке в последнюю минуту, когда гестаповцы уже во дворе, пытается бежать. Ему бы бежать раньше, но он не бежал раньше: оставался на посту.

Западногерманская литература густо населена людьми, являющимися вольными или невольными соучастниками совершенных фашистами преступлений. Но в ней, как правило, отсутствуют герои антифашистского Сопротивления. Это пробел, который не заполняется и романом Пауля Шаллюка: герой этого романа борется в одиночку. И все же роман обретает особое значение. Ни у Генриха Бёля, ни у Вольфганга Кёппена не найдешь такого героя, который, как Леопольд Рейнеке, всеми силами ума и души противодействовал бы фашизму. И это уже нечто совсем иное, чем пассивное внутреннее сопротивление, это активное действие, такое, за которое расплачиваешься жизнью. Леопольд Рейнеке — единственный в своем роде герой современного западногерманского романа, человек, который погиб, но не сдался фашизму.

Что делать сыну, чтобы быть достойным отца? Этот вопрос ставится и решается на протяжении всего романа.

Вопрос, разумеется, ставится и шире: что делать, чтоб прошлое не повторилось? Энгельберт Рейнеке видит, что оно может повториться. Потому что те же самые люди, которые прямо или косвенно виновны в гибели его отца, те же самые люди, которые прежде были провокаторами и доносчиками, теперь живут как ни в чем не бывало; более того, они травят Энгельберта Рейнеке, как травили Леопольда Рейнеке.

Кто виноват в том, что было? Что делать, чтоб в новые времена не случалось то, что случилось в прежние времена? Многие ро-

маны современных западногерманских писателей ставят эти вопросы. Для Энгельберга Рейнеке, младшего героя Пауля Шаллюка, эти вопросы становятся вопросами жизни: от того, как он на них ответит, зависит то, как он будет жить.

Безнаказанность виновных потрясает Энгельберта Рейнеке, вернувшегося в родной город. Он вдвойне потрясен потому, что среди виновных — учителя; прежде, как и теперь, им доверено воспитание молодежи

«Ничто не прошло»,— говорит Энгельберт Рейнеке. И он готов бежать из родного города, он намерен подвести черту под прошлым, забыть... Но забывать нельзя, забвение преступно. Тот, кто забывает о былых преступлениях и былых ошибках, способствует их повторению.

Хотя Энгельберт Рейнеке с утра до ночи думает о прошлом, роман, названный его именем, посвящен современности. В нем изображена сегодняшняя Западная Германия, та, в которой произошло «экономическое чудо», сотворенное на американские средства.

В жизни Энгельберта Рейнеке есть минута, когда он готов поддаться соблазнам «экономического чуда». Все бросить, стать дельцом, думать только о карьере, в собственной машине подкатывать к дому...

Западногерманские дельцы широко пользуются всем тем, что дает им «экономическое чудо». А немецкий народ расплачивается за это дорогой ценой: над ним нависает угроза третьей мировой войны.

В книге особый интерес представляет образ Герберта Ладегаста, школьного товарища Энгельберта Рейнеке. Этот преуспевающий делец, который, приобретя богатство и положение в обществе, растерял все свои юношеские идеалы, противопоставлен Энгельберту Рейнеке.

Когда-то, в школьные годы, Герберт Ладегаст дрался за Низачтока со своим одноклассником, ярым приверженцем фашизма. Вернувшись в родной город и узнав о трагической гибели любимого учителя, он в исступлении кричал: «Вот когда он был бы нам нужен, дозарезу нужен, говорю я тебе,— нам, жалким, окаянным свиньям».

Но вот проходит время, и Герберт Ладегаст, поднявшийся на гребне «экономического чуда», обретает иной взгляд на вещи: он наверху, а остальное его не касается. Он слишком респектабелен для того, чтобы кричать из-за чего бы то ни было. Самодовольный, самоуверенный, он не говорит, а вещает. «Ты должен наконец забыть это, Энгельберт,— свысока поучает он друга детства и юности,— я имею в виду все это дело с Низачтоком. Я тоже пришел к такому выводу здесь, на заводах Кондора. Думаешь, подобное предприятие могло бы работать, если бы его руководители все еще копались в своем прошлом? Знал бы ты, сколько бывших нацистов занимают у нас руководящие посты Ну и что с того? Дело-то идет, а это главное».

Пауль Шаллюк, таким образом, выявляет весьма существенную закономерность: «экономическое чудо» связано с реставрацией прошлого, а реставрация прошлого связана с «экономическим чудом». Это две стороны одной и той же медали.

То, что это так, а не иначе, подтверждает пример Пауля Верлена Зондермана. Этот человек, по прихоти родителей носящий имя поэта, никогда не знавшего благосостояния, при всех режимах устраивается наилучшим образом. Его ничуть не смущает, что он был фашистом. Делец при Гитлере, делец при Аденауэре, он одновременно олицетворяет собой и прошлое и настоящее Западной Германии. В нем воплощено все то, что ненавистно Энгельберту Рейнеке.

Такие, как Пауль Верлен Зондерман, делают все от них зависящее для того, чтобы благородные люди с честными намерениями чувствовали себя на родине чужими. Энгельберта Рейнеке травят потому, что он напоминает благоденствующим преступникам вроде Пауля Верлена Зондермана об их преступлениях; чтобы развязать травлю, его именуют коммунистом.

Пауль Шаллюк принадлежит к числу тех западногерманских писателей, которые не понимают и не принимают коммунизм. Тем не менее в его романе выражено глубокое возмущение узаконенной в Западной Германии травлей коммунистов.

Итак, молодому немцу, гражданину Федеративной Республики Германии, приходится трудно, если он не хочет идти на сделку с собственной совестью.

Чем же завершаются трудные поиски Энгельберта Рейнеке? Находит ли он то, к чему стремится,— цель жизни, путь в будущее?

Энгельберт Рейнеке с большим душевным волнением вспоминает один из своих разговоров с отцом. Это было тогда, когда над

головой Леопольда Рейнеке сгущались тучи. Чувствуя, что гроза приближается, Энгельберт Рейнеке попытался ее предотвратить. Желая спасти горячо любимого отца, сын советовал ему пойти на компромисс, причем только внешне, не внутренне. Пусть он вступит в национал-социалистскую партию, все поймут, что это для отвода глаз.

А если не все поймут? — спрашивал отец. Если кто-нибудь один не поймет? Если хотя бы один из учеников решит, что учитель не оправдал доверия?

Доверие — это то, без чего, как утверждает писатель, нельзя жить. Ученики доверяли учителю, учитель доверял ученикам. Он знал, что скорее умрет, чем обманет их доверие.

Каждый отвечает перед каждым за все. В этом, в сущности, и заключается завет отца сыну. Завет гуманизма, во имя которого жил и умер Леопольд Рейнеке.

«...Каждый может способствовать тому, чтобы наша земля стала мрачней или светлей»,— сказал он однажды сыну.

Энгельберт Рейнеке ненавидит тьму и любит свет. Но он думает: «Итак, ночь продолжается... ночь тянется очень долго. Никто не знает, когда начнет светать... никто хорошенько не знает, как сделать, чтоб начало светать».

Таким западногерманским писателям, как Генрих Бёль, Пауль Шаллюк, Вольфганг Кёппен и другие, легче ответить на вопрос: «Кто виноват?», чем на вопрос: «Что делать?». И это во многом объясняется тем, что все они ищут иллюзорный третий путь, который проходил бы где-то посредине, не отклоняясь ни вправо, ни влево.

Энгельберт Рейнеке, задыхающийся в той атмосфере, которая господствует в ФРГ, ни разу не вспоминает о существовании ГДР; в этом смысле он похож на героев многих других современных западногерманских романов.

В чем же тут дело? В том, что сторонники «третьего пути», игнорируя исторический факт существования ГДР, создают вокруг себя некую изоляцию, которая делает их положение особенно трудным. Не случайно Генрих Бёль в пьесе «Неуловимые» разрабатывает утопический вариант современной робинзонады: герои пьесы, не желая оставаться в ФРГ, поселяются на каком-то острове, где, живя в мире и дружбе, обучают своих детишек грамоте и молитвам Бёль сам понимает, что ни на каком острове не спрячешься от жизни. Это подтверждается пессимистической концовкой его пьесы.

Если Энгельберт Рейнеке попросту не принимал в расчет факт существования иного немецкого государства по эту сторону Эльбы, то Пауль Шаллюк, к сожалению, зашел дальше: он позволил себе не делающие ему чести выпады против ГДР.

Тем не менее созданный им ранее роман бесспорно принадлежит к числу тех произведений западногерманской литературы, которые вносят ценный вклад в общее дело борьбы против фашизма и войны.

Герой этого романа не сдается. Он остается в родном городе, он остается учителем. Он решает, выполняя отцовский завет, жить так, чтобы отвечать за все, что происходит вокруг. Что он будет делать? Стараться, чтоб на земле стало не темнее, а светлее. Причем стараться не в одиночку, а с друзьями, с единомышленниками.

Никакой конкретной программы действий в романе нет. Ее и не приходится ждать от писателя, которому свойственны иллюзорные представления о путях, ведущих в будущее.

Конечно, гуманизм Пауля Шаллюка стал бы более действенным, если б он рано или поздно сделал то, что в другой стране и в другие годы сделал Ромен Роллан, которого заслуженно именуют «совестью Европы»: перешагнув через предрассудки, вышел на дорогу к новому миру. К сожалению, этот шаг труден не для одного Пауля Шаллюка, он труден для многих его западногерманских и западноевропейских собратьев по перу.

Немец и германская история — такова, в сущности, тема романа Пауля Шаллюка; это, впрочем, можно сказать о любом хорошем современном немецком романе.

Книга Пауля Шаллюка — еще один аргумент в споре с теми, кто утверждает, будто роман отжил свое время. На самом деле роман живет и будет жить. Ибо эпическое начало в литературе соответствует историческому началу в жизни. Роман, сочетающий в себе эпос и лирику, дает писателю возможность связать исторические события и человеческие судьбы. Пауль Шаллюк постоянно пользуется этой возможностью, хотя в его книге, где лирика преобладает над эпосом, отсутствует непосредственное описание исторических событий.

Книга Шаллюка написана в форме сплошного внутреннего монолога, в котором вос-

поминания о прошлом и размышления о настоящем образуют единое целое. Внутренний монолог Энгельберта Рейнеке — это тот самый «поток сознания», воспроизведение которого стало одной из новейших примет модернистской литературы, хотя, вообще говоря, форма внутреннего монолога — вовсе не ее открытие; внутренний монолог впервые открыт и блестяще использован великими мастерами реалистической литературы. Что же касается Пауля Шаллюка, то его роман, при заметном внешнем сходстве с модернистской литературой, тем не менее многим внутренне отличается от нее.

На первый взгляд кажется, будто у погруженного в воспоминания героя Пауля Шаллюка есть что-то общее с героем Марселя Пруста, жившим «в поисках утраченного времени». Однако сходство лишь кажущееся, ибо у героев Пруста и Шаллюка разные представления о том, что такое время. Для Пруста, как и для его последователей не только во Франции, время — это воображаемая нить, на которую нанизываются субъективные ощущения. Для Шаллюка время — это история, переживаемая людьми. Как бы Шаллюк ни углублялся во внутренний мир своих героев, он всегда помнит, что этот внутренний мир существует не сам по себе, а в зависимости от внешних социально-исторических условий; более того, Шаллюк знает, что человек должен определить свое отношение к этим социально-историческим условиям. Время, таким образом, сохраняет в его книге смысл объективной категории. И когда его герой однажды уподобляет время проломленной стене, он вкладывает в это сравнение глубокий смысл: нет и не может быть стены, наглухо отделяющей настоящее от прошлого, нет такой стены, за которой можно было бы спрятаться от ответственности за прошлое. Представление о времени, свойственное Шаллюку, включает в себя представление об исторических взаимосвязях. Это значит, что Шаллюк стремится к реалистическому отображению современной действительности, ибо историзм, если не осознанный, то стихийный, неотъемлем от реалистического метода; антиреалистическим направлениям он чужд.

Воспроизводя «поток сознания» со всеми его быстринами и глубинами, романист не отдается на волю волн. Автор потому не тонет в потоке субъективных ощущений своего героя, что за этими субъективными ощущениями стоит объективная реальность: современная история. Поскольку автор ни на секунду не забывает об этом, «поток сознания», как бы он ни разветвлялся, не выходит из берегов истории.

Внешняя хаотичность воспоминаний и размышлений Энгельберта Рейнеке таит в себе внутренний порядок. Все сводится к тому, чтобы читатель в конечном итоге получил ответы на вопросы: кто виноват? что делать?

То, что читателю приходится — иногда по несколько раз на одной странице — возвращаться из настоящего в прошлое, из прошлого в настоящее, не затрудняет чтения, ибо в этом есть внутренняя логика. О чем бы ни думал Энгельберт Рейнеке, он ищет ответ на мучительные вопросы. Вместе с тем неожиданные переходы от настоящего к прошлому, от прошлого к настоящему обостряют читательский интерес к изображаемому. Едва приоткрывается завеса над прошлым, как обрываются воспоминания и начинаются размышления.

Но еще важнее другое: смещение времен, так часто происходящее в книге, позволяет писателю наглядно показать, что в Западной Германии между настоящим и прошлым слишком много общего. Между ними так много общего, что герой романа одновременно думает и о прежних и о нынешних временах; он мыслит сразу в двух плоскостях, и эти плоскости, наложенные друг на друга, сплошь да рядом совпадают.

Автор «Энгельберта Рейнеке» разделяет с современным западноевропейским критическим реализмом его победы и его поражения.

Главная победа автора «Энгельберта Рейнеке» в том, что он убедительно показал полное несоответствие западногерманской действительности гуманистическим идеалам. Принадлежа к разряду писателей-гуманистов, Пауль Шаллюк мучительно переживает это несоответствие.

Хотя Пауль Шаллюк не признает, что над большей частью земного шара уже взошла заря нового времени, он отвергает зловещую тьму старых времен, мрачная тень которых нависла над Западной Германией. Пауль Шаллюк стремится к свету, и это позволяет надеяться, что он не остановится в трудных поисках путей, идущих к лучшему будущему.

РОМАН, ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО

На встрече писателей Европы в Ленинграде

В начале августа 1963 года в Ленинграде состоялась международная писательская встреча, посвященная проблемам романа. Устроителем ее было Европейское сообщество писателей, пригласившее на расширенную сессию своего руководящего совета видных прозаиков и критиков. На сессии присутствовало, кроме большой делегации советских писателей, 83 зарубежных гостя, в том числе 44 из капиталистических стран и 39 из стран лагеря социализма. В дискуссии, проходившей в ленинградском Доме писателей с 5 по 8 августа, выступило около 50 человек.

Участники сессии единодушно приняли заявление, приветствующее Договор о частичном запрещении ядерных испытаний. Они заявили также протест против произвола франкистских и салазаровских властей, лишивших испанских и португальских писателей возможности приехать на сессию.

После дискуссии в Ленинграде участники сессии посетили Москву, где состоялась заключительная пресс-конференция и большой вечер поэзии, на котором перед читателями выступили зарубежные гости. Руководящий совет Сообщества провел свое очередное рабочее заседание в Ясной Поляне, в священном для писателей доме Льва Толстого. Закончилась сессия памятной для всех принявших в ней участие встречей группы писателей с Н. С. Хрущевым и большой беседой с ним.

Работа сессии широко освещалась в советской печати. Журнал «Иностранная литература» рассказал о ней своим читателям в статье Габора Толнаи, опубликованной в № 9 за 1963 год.

Сегодня мы печатаем в сокращенном изложении материалы ленинградской дискуссии. Выступления ораторов приводятся по живой записи. В тех случаях, когда речь ранее была уже опубликована в советской печати, дается краткое изложение основных ее положений и ссылка на место опубликования.

Статья И. И. Анисимова, печатающаяся в этом номере, подводит некоторые итоги дискуссии.

ДЖУЗЕППЕ УНГАРЕТТИ (Италия).

Открывший сессию президент Европейского сообщества писателей Джузеппе Унгаретти говорил о своем уважении к славным свободолюбивым традициям революционной России, о том большом влиянии, какое оказала на него русская и советская литература.

— Я должен выразить нашу благодарность искусству романа этой страны,— продолжал оратор. Он говорил далее об огромном влиянии, оказанном русским романом на литературу Запада, высказал надежду, что именно это влияние возродит западный роман и вернет ему молодость.

Наше присутствие здесь,— сказал в заключение Джузеппе Унгаретти,— означает, что мы будем работать вместе, чтобы укреплять мир, чтобы спасти человечество, а это значит обеспечить будущее искусству.

(Речь Джузеппе Унгаретти опубликована в «Правде» и «Литературной газете» 6 августа 1963 г.)

М. А. ШОЛОХОВ (СССР).

М. А. Шолохов от имени Союза писателей СССР приветствовал писателей Европы и пожелал им успеха в работе совещания.

— Лично для меня,— сказал М. А. Шолохов,— вопрос о том, «быть или не быть роману», не стоит, так же как перед крестьянином не может встать вопрос — сеять или не сеять хлеб... Может возникнуть вопрос, как получше сделать роман, чтобы он с честью послужил моему народу, моим читателям.— М. А. Шолохов отметил затем значение того обстоятельства, что совещание начинается в день подписания в Москве Договора о запрещении испытаний ядерного оружия.

(Выступление М. А. Шолохова опубликовано в «Правде» и «Литературной газете» 6 августа 1963 г.)

ДЖАНКАРЛО ВИГОРЕЛЛИ (Италия).

Далее выступил с речью генеральный секретарь Сообщества Джанкарло Вигорелли. Он напомнил собравшимся, что Европейское сообщество писателей, мысль о создании которого возникла еще пять лет назад, в разгар «холодной войны», поставило своей целью наладить дружеские связи между писателями Востока и Запада.

— В Сообществе,— подчеркнул Вигорелли,— есть место для писателя-католика и писателя-марксиста, для писателя-либерала и писателя-социалиста. В Сообществе нет места для писателя — фашиста, нациста и расиста. На нашем конгрессе во Флоренции мы провозгласили следующий принцип: «Можно быть не коммунистом, но нельзя быть антикоммунистом. Тот, кто провозглашает себя антикоммунистом, тем самым является фашистом». Вести лодку нашего Сообщества нелегко,— сказал Вигорелли.— Однако в том, что наше утлое суденышко своим бортом почти пришвартовалось к крейсеру «Аврора», мне кажется, можно видеть большой итог нашей работы...

В настоящее время, заявил далее Вигорелли, Европейское сообщество объединяет примерно 1400 писателей из всех стран Европы и получило со стороны ЮНЕСКО признание в качестве международной организации. Сейчас уже начинает серьезно рассматриваться вопрос о создании писательских сообществ в Азии, Африке и Латинской Америке.

Писатель не является политиком в прямом смысле этого слова, продолжал Вигорелли, и Европейское сообщество не является политической организацией. Тем не менее каждый участник этого Сообщества должен поддерживать политику мирного сосуществования между народами и странами с различным социальным строем, провозглашенную и проводимую Н. С. Хрущевым, ибо эта политика обеспечивает мир, а мир есть непременное условие любого человеческого труда, в том числе и труда писательского. А это означает, что писатель обязан своим творчеством выступать в защиту мира и против войны. Означает ли, однако, политика мирного сосуществования сосуществование в области идеологии? Отвечая на этот вопрос, Вигорелли сказал:

— Я хочу здесь быть ясным. В Уставе нашего Сообщества четко обозначено, что, хоть мы относимся с уважением друг к другу, мы все же принадлежим к разным идеологическим лагерям.

Мы хотим стоять неподалеку друг от друга, чтобы сделать возможным диалог, разговор. Но никто не объявлял такой диалог синонимом согласия и успокоенности. Мы встречаемся не для того, чтобы друг друга взаимно переубеждать. Мы здесь для того, чтобы, находясь на различных идейных позициях, искать, исходя из принципов собственной идеологии, путь веры в человека.

Перед тем как начать дискуссию, Джанкарло Вигорелли призвал романистов высказывать свое кредо, а критиков дать панораму литературы своей страны.

К. А. ФЕДИН (СССР).

К. А. Федин начал свое выступление конспективным, по его словам, изложением литературных явлений от начала века до революции 1917 года.

Он отметил, что литературный XIX век утвердил тот тип писателя-реалиста, о котором можно сказать, что он не только писатель, но и «деятель» — человек, вместе с другими людьми строящий не один свой замкнутый мир, а мир общечеловеческий.

— Такой,— подчеркнул К. А. Федин,— была наша традиция в исторической раме от Пушкина и Герцена до Чехова и Горького. Такого рода писателей-деятелей знает также история Запада.— К. А. Федин назвал в этой связи имена Вольтера, Гюго, Роллана, Генриха Манна.

Утверждая далее, что советские писатели дорожат традицией, К. А. Федин в то же время указал на новаторский характер советской литературы:

— С середины двадцатых годов рядом с революционной поэзией, набравшей высоту раньше, поднялся роман — тот новый роман, который затем десятилетия представляет советскую литературу дома и за рубежом. В основе его новизны лежит тематика, почерпнутая из исторического опыта современности. Отношение романиста к форме вытекает из признания ее производности от материала, взятого художником. Форма — не одежда, заготовленная впрок. Так как материал действительности непрестанно движется, то и воплощение его художником в романе, естественно, должно претерпевать изменения.

Любой спор в области эстетики необходимо приводит к столкновению мировоззрений, потому что видение мира только и побуждает романиста избрать тот, а не другой материал для своего произведения. Взгляд на человеческое общество как на разумно организуемый людьми мир отвечает тому, что я нахожу в действительности, и она обогащает меня доказательствами моей правоты. Когда я стал обладателем их, моя работа уже обусловлена природой добытого материала, и я вижу форму, органичную ему. В руках романиста с негативным взглядом на мир оказывается совсем иной материал, диктующий иные приемы обработки. Если человеческое общество — хаос, то как не найти в нем героя ужаса, героя отчаяния и тогда как не возникнуть хаотическому роману?

Широта материала действительности, охватываемого реализмом, не исключает, а предполагает многообразие изобразительных приемов писателя. Реалисты дорожат традицией. Но, признавая неизбежность видоизменений художественной формы в зависимости от фактов исторического процесса, они не втискивают материал новой действительности в старую одежду. Реализм советской литературы мы называем социалистическим. Изменилась жизнь. Революция коснулась всех. Мы — все. И наша литература — литература всех. литература социализма.

Общее развитие нашей литературы,— продолжал оратор,— утверждает «словосмысл», исключая взгляд на слово только как на символ или только как на звук. В социалистическом реализме,— подчеркнул К. А. Федин,— этот смысл — человечность нового мира.

Отвергая обвинение советской литературы в изоляционизме, оратор подчеркнул, что, беря все лучшее, все наиболее плодотворное из зарубежного искусства, мы решительно отказываемся принять знамя традиций романа Джойса, Пруста, Кафки.

— Мы отклоняем это знамя,— сказал К. А. Федин.— Мы не верим, будто в поисках новаторства следует возвратиться к декадансу этой разновидности.

(Выступление К. А. Федина опубликовано в «Литературной газете» 6 августа 1963 г.)

ДУШАН МАТИЧ (Югославия).

Сербский писатель Душан Матич сказал, что он не будет говорить о положении романа в Югославии, а расскажет об одном наблюдении из своей собственной практики.

— Более пятнадцати лет назад я обнаружил в дневнике Софьи Андреевны Толстой примерно такую фразу: «Сегодня Левушка попросил у меня журналы мод для бального туалета Анны». Судя по дате и по всем остальным обстоятельствам, Анна, о которой шла речь,— это героиня романа Толстого «Анна Каренина».

Только хорошо представив себе интеллектуальную, духовную и поэтическую атмосферу той поры (это были тридцатые годы, время, когда в Белграде господствовал сюрреализм), можно понять, с какой саркастической усмешкой ухватился я за эту глубоко искреннюю фразу Софьи Андреевны. Я был тогда готов любой ценой подбирать аргументы против «реализма», доходя даже до педантизма, и этот факт мне ужасно понравился, он попался мне в очень удачный момент, и еще много времени спустя я рассказывал всем желающим, как Толстой одевал свою Анну.

Далее оратор рассказал, что в словах С. А. Толстой он увидел всего-навсего отражение тех «дешевых методов», к которым обычно прибегает писатель-реалист, даже если речь идет о таком гении, как Толстой. Итак, Анна Каренина — тоже

Группа участников сессии (слева направо): президент Европейского сообщества писателей Джузеппе Унгаретти, М. Шолохов, К. Федин.

не более чем восковая кукла, которую Толстой одевал в бумажные платья по моделям парижских журналов мод! Можно ли привести более неотразимый и убийственный аргумент против реалистического романа и против реализма вообще! Таковы были в то время, сказал оратор, его предвзятые взгляды на роман и на реализм, которые сейчас, разумеется, он разделять не может, ибо он от них «излечился» и из них «вырос», а годы, по его словам, исцеляют от многого, хотя иной раз сомнения и предрассудки исчезают чересчур медленно.

— Позднее я увидел весь этот эпизод в другом свете, более простом, более человечном и, мне кажется, более истинном и глубоком,— продолжал свою речь Душан Матич,— ни жизнь, ни истина, ни поэзия — я начал в этом все более убеждаться — никогда не стояли перед дилеммой: следует ли протаскивать их через игольное ушко одной-единственной концепции, пусть даже самой благородной и яркой, или делать их объектом небрежной и непристойной болтовни.

Я постепено вынужден был признать, что речь идет о выборе (подобном выбору между жизнью и смертью) между пуристской концепцией поэзии, да и жизни тоже, и тем, что обычно называют «мелочами» жизни, о выборе между «неизмеримой мощью» жизни и творческого порыва, с одной стороны, и пресловутыми «моментальными снимками» нашей повседневности — с другой.

И то, как поступил Толстой, представляется мне теперь гораздо более простым, более человечным и необходимым, «неизбежным», если воспользоваться выражением Гегеля, а вовсе не поступком мастера, изготовляющего восковые куклы. Выбирая бальный туалет Анны, Толстой, как творец, просто воспроизвел поведение Анны, такое понятное, такое естественное, почти «врожденное» для красивой женщины на пороге великой любви, поведение самой Анны — неважно, реальной или воображаемой, ибо с точки зрения искусства это не играет никакой роли, это одинаково истинно, поскольку сама Анна не существовала до тех пор, пока не вышла совершенно готовая из головы художника. И не Толстой, а именно она сама — но через посредство художника — должна была недели за две до бала обратиться к этим журналам. И вполне могло случиться, и даже должно было случиться так, что она взяла именно те журналы мод, какие Софья Андреевна дала Толстому, и что она выбрала именно тот бальный туалет, какой выбрал для нее в журнале мод Толстой.

Вспомним слова Флобера: «Эмма Бовари — это я».

ДЖАКОМО ДЕБЕНЕДЕТТИ (Италия).

Итальянский философ и критик Джакомо Дебенедетти в начале своего выступления заметил, что он хочет сделать как бы краткое введение в литературную ситуацию современной Италии.

— После 1945 года,— сказал он дальше,— итальянский роман получил широкое распространение, причем не только в Италии, но и во всем мире. Все в той или иной мере знают об этом, и все знают, например, имя Альберто Моравиа. Нам, видевшим, как начиналось творчество этого писателя, может быть, понятнее даже лучше, чем зарубежным читателям, чем интересен этот писатель, которого волнуют все семь грехов человеческих.

Далее Джакомо Дебенедетти дал краткие характеристики некоторым итальянским писателям наших дней — Чезаре Павезе, Элио Витторини, Карло Бернари, Васко Пратолини, Пьеру Паоло Пазолини и др. При этом он сказал, что значительные литературные явления в Италии последнего времени были либо направлены против неореализма, либо находились вне его пределов. Вне пределов неореализма надо рассматривать, например, такого писателя, как Пьер Паоло Пазолини. Обычно говорят, что Пазолини «идет по пути неореализма, чтобы изображать пролетариат». Как любая упрощенная формула, эта формула ошибочна, потому что внешняя сторона дела здесь подменяет анализ по существу. Конечно, в творчестве Пазолини отражено стремление римских пригородов к штурму этого города. Но и римские пригороды, и римский центр становятся у Пазолини символами, и, чтобы понять эти его символы, нужны ключи не социологические, а психологические и моральные. Против неореализма направлена не только сущность, но и сам успех такого романа, как «Леопард» Томази ди Лампедузы, который перевел на итальянский язык международный космополитический светский роман.

— Мне кажется,— продолжал Джакомо Дебенедетти,— что наша литература в настоящее время движется по параболе, очень сходной с той, по которой двигался европейский роман перед возникновением натурализма.

Неореализм находится в наши дни в состоянии упадка — тот самый неореализм, который оказался наиболее насущным направлением в годы после окончания войны и возобновления в Италии демократических порядков. Я не буду здесь останавливаться на своих гипотезах, которыми я мог бы подкрепить это соображение, скажу только, что итальянский романист стоит сегодня перед лицом двух поэтик, двух творческих возможностей: это, во-первых, традиционная поэтика, обеспечивающая ему уверенность в успехе, но не всегда дающая удовлетворение; во-вторых, новый вид прозы, который стремится выдать себя за роман, для того чтобы остаться в традиционных пределах итальянской литературы. Я бы хотел сослаться при этом только на одно произведение — недавно вышедшую книгу Гвидо Пьовене «Фурии», в которой персонажи то соблазняются возможностью стать наконец героями, то отталкивают от себя эту возможность. Книга Гвидо Пьовене — это еще только роман, который нужно написать, блокнот, записная книжка писателя, намеревающегося создать книгу.

РОЖЕ КАЙЮА (Франция).

Роже Кайюа предупредил, что он выскажет только несколько мыслей, появившихся у него под влиянием предыдущих выступлений.

— Начиная с XIX века,— сказал он,— роман становится, безусловно, главным литературным жанром. Он заполняет полки библиотек и читален. И поэтому вполне оправдан юмористический рисунок, который я видел как-то в одном американском журнале. Две домашние хозяйки стирают пыль с книг, которыми уставлена большая библиотека, они повсюду — на стенах, на столах, на стульях, на полу. И одна из них, испуганная этим количеством, которое не перестает увеличиваться, говорит другой, имея в виду писателей: «Не понимаю, чего они так упрямо добиваются?» А они упрямо продолжают писать. Но так как в нашем мире ничто не остается без последствий, каждый в каждом произведении, хочет он этого или нет, берет на себя какую-то моральную ответственность. Можно даже выдвинуть и такую идею, что писатель, кроме того, ответствен и по отношению к природе. «Книга — это смерть дерева»,— сказал однажды Сен-Джон Перс. Не думаю, что это утверждение вызывает слишком большие угрызения совести у писателей — они уверены, что дают что-то новое миру.

Полемизируя с Душаном Матичем и приводя пример «Манон Леско» Прево, Роже Кайюа говорил о том, что мысль романиста не обязательно рождается из подробного описания вещей и предметов. Касаясь роли романа как жанра в современной литературе, Роже Кайюа приходит к выводу, что этот жанр литературы зависит одновременно и от распространения книгопечатания и от определенного ослабления социальных связей:

— Читатель романов уединяется, чтобы насладиться историей, которая даст ему помечтать и которая уничтожает для него реальность. Таков парадокс жанра: роман позволяет жить заимствованной жизнью. Чем он убедительнее, реалистичнее, если хотите, тем больше он отрывает человека от реальности. Он дает ему возможность жить в своем воображении другой жизнью — похожей на реальную или фантастичной — и отвлекает от своей.

Роже Кайюа возражал против причисления Пруста, Джойса и Кафки к декадентской литературе. В заключение он сказал:

— Я не уверен в том, что современный роман будет еще долго существовать. Благодаря кино и телевидению, иллюстрированным журналам, радио, зримые и слуховые образы вновь приобретают свое древнее главенство над печатным текстом. Я не могу предугадывать столь отдаленное будущее. Я хотел только попытаться включить проблемы романа в более широкий контекст.

ЭНГУС УИЛСОН (Англия).

Следующим слово получил романист и драматург Энгус Уилсон. Он анализирует характер творческого процесса, который считает глубоко субъективным, индивидуальным актом, в то же время связанным с социальными, нравственными и психологическими проблемами современности. Энгус Уилсон далее говорил о значении дискуссии о романе для уточнения многих сложных проблем писательского мастерства, для лучшего взаимного уяснения творческих позиций.

(Текст этого выступления Энгуса Уилсона опубликован в «Литературной газете» 13 августа 1963 г.)

ТИБОР ДЕРИ (Венгрия).

— Наша встреча является рабочей встречей специалистов, которые намерены обсудить конкретные вопросы своей профессии. Поэтому я желал бы сказать аудитории, что от меня не следует ожидать политически окрашенной речи и менее всего — политических деклараций, за одним исключением, а именно: я хочу подчеркнуть, что я по-прежнему являюсь социалистом.

Дискуссии об искусстве у меня обычно вызывают большие сомнения насчет права на существование моей собственной писательской деятельности и, более того, насчет права на существование искусства вообще. Но я считаю, что эти сомнения — здоровые сомнения. Я сказал бы, что каждое произведение — это сумма преодоленных сомнений, и чем лучше произведение, тем больше было этих сомнений, тем глубже они были.

Я хотел бы здесь ограничиться одним: дать толчок для размышлений, а это значит поставить некоторые вопросы.

Мой первый вопрос общего порядка сводится к следующему: достаточно ли ясно представляем мы себе воздействие произведения искусства на человека, длительность этого воздействия, его характер и другие его элементы?

Разумеется, нельзя себе представить произведение искусства, которое ничего не утверждает и ничего не отвергает, но я думаю, что те вопросы, которые оно — это произведение — ставит самим фактом своего существования, и являются тем шекспировским зеркалом, в котором весь мир находит свое отражение.

Я ставлю эти вопросы в надежде, что другие найдут на них ответы и таким образом помогут мне преодолеть мою неуверенность.

Воздействие произведения искусства на человека состоит из нескольких пластов, и мне кажется, что мы должны их точно проанализировать, чтобы затем заняться выяснением того, насколько длительно влияние каждого из элементов этого воздействия, в какой мере эти элементы преднамеренно внесены художником в произведение и какова художественная ценность элементов воздействия, внесенных сознательно или бессознательно.

Чтобы пояснить свою мысль, оратор привел несколько примеров. В качестве первого примера Тибор Дери предложил взять какую-либо пьесу или какой-нибудь фильм, где в главной роли выступает более или менее популярная актриса. Не исключено и даже вероятно, что совершенно независимо от содержания фильма или пьесы туалеты этой актрисы, ее дикция, ритм ее движений, отдельные обороты ее речи окажут немалое воздействие на юных зрительниц, войдут в их обиход, и это обстоятельство будет способствовать тому, что наслаждение искусством преобразится в моду. Аналогичные явления, подчеркивает далее оратор, хотя и в меньшем масштабе, можно наблюдать в литературе и живописи. Возникают вопросы: вправе ли мы считать такого рода воздействие воздействием искусства? Такова ли была истинная цель автора? Уменьшает или увеличивает такого рода воздействие литературного произведения сумму его влияния на читателя?

— Я хочу привести здесь другой пример, относящийся к другой области. Представим себе некоего храброго, даже проявившего героизм солдата Икс, рискующего своей жизнью, чтобы спасти во время сражения своего друга. Предположим, что речь идет о битве между англичанами и французами при Азенкуре в 1415 году и что героический поступок солдата описан в небольшой новелле как эпизод сражения. Венгерский, русский, итальянский средний читатель, который не знаком с историей этой битвы и свободен или почти свободен от каких-либо предубеждений, при чтении этой новеллы, конечно если она хорошо написана, будет взволнован, потрясен этим героическим поступком и будет стремиться при подобных обстоятельствах вести себя столь же героически.

Если этот храбрый солдат сражается в рядах англичан, то непредубежденный венгерский или русский читатель непроизвольно перенесет свою симпатию на всю английскую армию, более того, на всю английскую нацию и пожелает победы англичанам. Если мы оденем этого отважного солдата во французскую форму, то симпатии читателей, совершенно ясно, будут на стороне французов и они будут желать победы французам.

Таким образом, мы видим здесь два разных пласта воздействия, которые могут быть точно отграничены. Один пласт — воздействие самого героического поступка — это чисто моральный элемент. Дополнительное воздействие связанное с формой, в которую одет солдат, является вторичным и в свою очередь распадается на различные элементы — политические, исторические и другие.

Вопрос в том, чего добивался автор. Считает ли он главным моральные черты поступка героя или момент политический? Хотел ли он прославить мужество и способность к самопожертвованию — качества, присущие и французам и англичанам,— или же он хотел усилить чувство национального самосознания той или другой стороны? Ведет ли он пропаганду, сознательную или бессознательную, в пользу человеческих добродетелей или же в пользу той или иной нации и ее жизнестойкости? В какой мере эти качества совпадают и какое из них важней для блага человечества?

Я продолжаю бесконечную цепь вопросов. Знает ли художник, который отражает мир с помощью шекспировского зеркала, знает ли он точно, чего он хочет? Анализируя произведение искусства — новеллу,— имея в виду воздействие на читателя, я прихожу к своеобразному выводу. Героический поступок солдата Икс оказывает свое воздействие на непредубежденного читателя независимо от того, какую форму носит солдат, но эта форма без героического поступка лишена какого-либо значения. С чисто художественной точки зрения представляется, что логически моральное воздействие выступает на первый план; все же может случиться, что у английского или французского читателя национальный мотив вызовет гораздо больший отклик, чем гуманистический, и таким образом воздействие менее важного элемента окажется более значительным, чем воздействие более глубоких мотивов.

Я продолжаю задавать вопросы: что же в данном случае произошло? Хороша ли та новелла, в центре которой именно этот герой-одиночка, а не вся битва в целом? А может быть, этот герой, отважный солдат Икс, в конечном счете менее важен, чем то, что даст ему возможность — заметьте, только возможность — совершить свой героический поступок? Если я в наши дни опишу в новелле стычку между неграми и куклукскдановцами, то я, разумеется, недвусмысленно выступлю в защиту негров, и я убежден, что мораль будет на моей стороне, но разве французы и англичане той эпохи также не были убеждены в своем священном праве убивать противников? Солдат Икс совершил подвиг, но если бы английский писатель того времени нарядил солдата Икс во французскую форму (или наоборот), то, возможно, автора новеллы сочли бы изменником отечества. В чем же обязанность писателя? Как ему работать, чтобы добиться именно такого воздействия, к какому он стремится своим интеллектом и инстинктом художника? Как ему поступить, чтобы избежать недоразумений, грозящих ему со всех сторон, в его эпоху и в будущую? Он балансирует на канате, свитом из предубеждений и непонимания, балансирует над пропастью любви и ненависти. Где же место писателя? На стороне слабейшего? Но, может быть, прав сильнейший? Если я выступаю в своем произведении за какой-то один коллектив, то тем самым я выступаю против другого коллектива. Или я выступаю только за себя? Я «завербован» или свободен?

А вот другой ряд вопросов. В какой мере определяет читатель форму художественного произведения? Должно ли оно быть общедоступным? Где пределы общедоступности? Где граница между мною и партнером по диалогу? Воздействие художественного произведения, разумеется, зависит от чувствительности читателя, от его способности к восприятию и сопереживанию. Но знает ли художник с достаточной точностью, для кого он работает? И, наконец, еще один комплекс вопросов: должно ли то воздействие, к которому стремится художник, которое он заранее рассчитал,— должно ли это воздействие влиять на форму художественного произведения? Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что именно по языку произведения, по богатству этого языка легче всего определить, для кого это произведение написано — для большинства или меньшинства. Язык, богатство его, зависит, как мне кажется, от композиции произведения, а не наоборот; поэтому композиция представляется мне одним из важнейших элементов воздействия; оно зависит также от темпа повествования — раскрываю ли я тему без промедления — по законам классического искусства — или же рассматриваю ее в кажущейся неподвижности, как это происходит во французском «новом романе»; в зависимости от этого можно догадаться, для кого мы пишем. Но знает ли это читатель?

И еще один, последний вопрос: не склонны ли мы переоценивать значение темы? Разве тот катарсис, к которому в конечном счете стремится художник, зависит от масштаба темы?

ГВИДО ПЬОВЕНЕ (Италия).

Итальянский писатель Гвидо Пьовене сказал в начале своего выступления, что вопрос о том, как надо писать роман, не может быть исходной точкой дискуссии о романе.

— Это привело бы нас лишь к составлению совершенно произвольных правил. Вернее ставить вопрос иначе: с каким родом реальности, я бы сказал даже натуры,

приходится иметь дело современному роману, что именно он показывает и объясняет в своих произведениях? Сегодняшний романист должен обязательно начинать с наследия великих романистов недавнего прошлого, которые с полной ясностью понимали, что изменилось отношение человека к жизни, а значит, и манера повествования должна измениться. Они это и доказали всем своим творчеством — Достоевский, а потом Пруст, Кафка, Джойс, и каждый из нас может добавить к этим именам еще и другие, следуя своим личным вкусам и симпатиям. Они создали традицию романа, представляющую многообразие формы и свободу ее выбора и вместе с тем властно заставляющую идти вперед, требующую развития, и эта традиция воздвигает барьер между настоящим и прошлым, не позволяющий, как я считаю, возвращаться назад. Герой романа и его психология, фабула, среда, соотношение фактов в пространстве и времени, отношение романиста к материалу его повествования, отражающее отношения между человеком и внешним миром,— все это претерпело у них такие изменения, от которых мы не можем отказываться хотя бы просто потому, что, отказавшись от этих изменений, мы исказим правду.

Мне хочется коснуться некоторых особенностей наследия названных мною выше больших писателей. В первую очередь речь должна идти о том, что после них роман со всей очевидностью предстает перед нами как средство познания, то есть исследования и открытия. Роман становится на место философского произведения, принимает на себя его функции или, выражаясь точнее, дополняет философию своими собственными средствами, принадлежащими одному лишь роману. Я не думаю, что может возникнуть дискуссия по поводу этого обстоятельства. Спор, скорее, идет между теми, кто склоняется к романам с эссеистской установкой или к введению в роман эссеистских элементов, перемежающихся с элементами чисто повествовательными (сторонники такого взгляда утверждают, что критически настроенный романист никогда не сможет высказать всего, что хочет, если будет придерживаться одного лишь метода показа), и последователями принципа, выдвинутого Мерло-Понти: «Романист не должен провозглашать идеи, не должен анализировать характеры, он должен показывать события, происходящие между людьми, показывать, как эти события созревают и взрываются, и делать это таким образом, чтобы каждое изменение в ходе повествования или в выборе перспективы изменяло бы смысл события». В такой позиции содержится не только защита романа как художественного произведения, но и отказ от философских рассуждений, замена их конкретной философией, выраженной в поступке и в языке. В этом смысле некоторые современные романисты согласны с Кафкой. Я лично думаю, что обе эти концепции современного романа вполне закономерны.

Далее оратор сказал, что те писатели, которых можно считать обновителями романа, вместе с тем проявили в своем творчестве небывалое до тех пор моральное и духовное смятение. По мнению Гвидо Пьовене, объясняется это тем, что они предвидели уже новую действительность и, в известной мере отражая ход истории в своих романах, в то же время сожалели о прошлом, с которым были связаны узами симпатии и привычки. Эти мучительные попытки отразить действительность в ее развитии сказались также на языке и стиле романа — в этой области тоже стали вестись судорожные поиски новых средств выражения.

Таким образом, по мнению Гвидо Пьовене, литература, созданная такими писателями, как Пруст, Джойс, Кафка, не только отразила конец одной эпохи со всеми свойственными ей моральными нормами, но и дала одновременно набросок новой эпохи, то есть природы человека сегодняшнего дня.

Рассматривая далее на основе всего сказанного выше проблему так называемого традиционного романа, Гвидо Пьовене высказал мнение, что такой роман, по сути дела, живет отжившими представлениями о действительности и не признает того неоспоримого факта, что действительность меняется. Таким образом, традиционный роман, хотя он и пользуется успехом у читателя, все же нельзя никак назвать правдивым произведением, правдивой литературой. Вот почему удельный вес этого жанра в современной литературе, даже несмотря на успех таких книг, как «Леопард», все время снижается и весьма незначителен. Традиционные романы становится все труднее писать и все ненужнее читать.

Переходя к проблеме отражения в романе современной действительности, Гвидо Пьовене сказал:

— Нет такого ключа, который помог бы проникнуть в действительность, и еще менее мы можем претендовать на то, чтобы найти все ключи сразу. Сегодняшняя действительность абстрактнее, чем прошлая. Люди, с которыми мы в ней встречаемся, менее конкретны, они кажутся нам растворенными в понятиях, в идеях, обретающих почти физическую реальность,— настолько, что мы, так сказать, можем потрогать эти идеи рукой. Я не хочу сказать, что мы более, чем когда-либо, склонны сегодня превращать реальность в абстракцию. Как раз наоборот. Некоторая степень абстракции вполне соответствует непосредственному чувству вещности, воображение обусловлено конкретностью.

Далее оратор перешел к характеристике некоторых других черт современной действительности и ее отражения в литературе. С его точки зрения, одной из таких черт является момент неприятия действительности художником. Взаимоотношения

В зале заседаний.

писателя и действительности весьма суровы и жестки. И подлинно художественное произведение всегда должно правдиво отобразить это.

Многообразие и противоречивость современной действительности делают также невозможным создание, если можно так выразиться, единой и тождественной базы для современной художественной прозы. Современные романисты напоминают малознакомых друг с другом людей, которые пришли в малоизвестную местность по различным тропинкам.

И все-таки современному роману отчетливо свойственно стремление отразить новую действительность во всех ее связях и во всей последовательности, какой бы трудной ни была эта задача. Не слышать этого значит притворяться глухим.

В плане чисто литературном, по мнению Пьовене, современный роман должен ориентироваться не на большие романы XIX века, а на эпические и трагические произведения, лирику поэтов, мифологию.

— Установив,— сказал в заключение Гвидо Пьовене,— что литература является средством познания, мы возвышаем ее, а вместе с тем делаем более трудным определение ее границ, определение специфичных для нее, и только для нее, черт, затрудняем ей возможность избегнуть ассимиляции со стороны науки. Романист больше других сознает все эти трудности.

Л. М. ЛЕОНОВ (СССР).

Л. М. Леонов сказал, что взял слово для того, чтобы вступиться за роман, ибо он отвергает точку зрения, будто роман — устаревшая форма повествования. Он высказал прямо противоположный взгляд на эту проблему:

— Роман — отличное орудие, немало поработавшее в истории культуры. Единственное усовершенствование, которое постигнет его на протяжении ближайшего полувека,— это повышение его мыслительной и образной емкости соответственно текущим приобретениям.

Вообще время от времени в искусстве и раньше возникал круг таких стариковских вопросов: зачем любовь, зачем жизнь, зачем человек?.. Такие вопросы, на мой взгляд, нуждаются не столько в ответах, сколько в сочувствии и даже в диагнозе. Они, как представляется мне, выражают какую-то опасную для мировой культуры степень бессилия перед современностью, отступление перед нею, некую духовную изношенность и, во всяком случае, затухание творческих импульсов.

Л. М. Леонов говорил затем о растленном характере реакционного буржуазного искусства, о распространении этой заразы тления, которую он сравнил с массовым отравлением общественных источников. Он привел в качестве примера такого опошления искусства переложение для джаза одного из светлейших созданий человеческого гения — «Ave Maria».

— За неделю до отъезда в Ленинград я поймал по радио донельзя искалеченную мелодию «Ave», исполняемую на каких-то самых гадких адских инструментах в

синкопических ритмах; не знаю в точности, как называются на Западе эти модные танцевальные корчи, но это было куда похлеще, чем памятный всем «Майн либер Августин» из Достоевского.

Возвращаясь к материалам Эдинбургской конференции писателей, Л. М. Леонов критически отозвался о провозглашенном там праве писателя на создание даже сомнительных книг с самыми живописными и обстоятельными описаниями «наиболее стыдных человеческих изъянов и уродств».

Этому «праву» оратор противопоставил долг писателя задумываться о завтрашнем дне, не изгонять из литературы прекрасную человеческую тему, а утверждать ее, прославлять человека.

— И когда мы осознаем этот наш долг,— сказал Л. М. Леонов,— не возникнет и мысли об устранении романа. Нет, я не верю в искусство, которое начинается с барабанных манифестов. Форму диктует практическая цель художника, гавань назначения, которую всякий серьезный мастер должен предвидеть наперед.

(Выступление Л. М. Леонова опубликовано в «Литературной газете» 8 августа 1963 г.)

РЕНЕ МАЙО (Франция).

Выступивший с речью после Л. М. Леонова генеральный директор ЮНЕСКО Рене Майо передал участникам встречи привет от представляемой им организации и подчеркнул, что в настоящих условиях чрезвычайно важна и ценна всякая возможность для писателей собраться и сопоставить свои мысли, свои точки зрения, иначе говоря — вести диалог.

Далее Рене Майо выразил пожелание, чтобы и в других частях света — Азии, Африке, Латинской Америке — были тоже созданы региональные писательские сообщества и чтобы все они объединились в федерацию, чтобы таким путем легче было выразить чувство интернациональной солидарности деятелей литературы.

Истинным призванием и назначением ЮНЕСКО как организации политической, продолжал Рене Майо, является активная и созидательная деятельность в области воспитания, науки и культуры. Цель же всей этой деятельности может быть охарактеризована следующими словами: защита мира и прав человека.

Рене Майо от лица этой организации выражает свое удовлетворение тем, что писатели, объединяемые Европейским сообществом, никогда не забывают об ответственности, которая лежит на них, как на гражданах и деятелях культуры.

Одновременно Рене Майо с чувством искренней радости подчеркнул, что заключение Договора о запрещении ядерных испытаний в трех средах является поистине событием первостепенного значения, важность которого трудно переоценить.

Имеет ли все вышесказанное какое-либо отношение к проблеме романа? Рене Майо ответил на этот вопрос утвердительно и так пояснил свою точку зрения:

— Из всех современных литературных жанров роман более других способен в настоящее время предоставить писателю возможность выразить свое отношение ко всем событиям современности. Более того — роман дает возможность писателю вмешаться в эту действительность и таким образом выполнить свой долг и свое назначение.

В заключение Рене Майо сказал, что роман есть тот жанр литературы, знакомство с которым, в частности, открывает путь к русской культуре в целом. Мне кажется, это очень хорошо, что вы собрались в этой стране и в этом городе.

БЕРНАР ПЕНГО (Франция).

Следующим получил слово романист и критик Бернар Пенго. По его мнению, основной вопрос дискуссии был высказан тогда, когда шла речь об ответственности писателя и о том, что писатель может свободно выражать все, что ему приходит в голову.

— Говоря несколько упрощенно, французский роман после 1945 года развивался по двум руслам, двум направлениям, образуя, если хотите, две школы, хотя, может быть, слово «школа» звучит в данном случае слишком сильно.

Прежде всего речь идет о той литературе, которая связана с именем Сартра. В последующие годы возникли и восторжествовали другие веяния, называемые обычно «новым романом».

Сразу после войны во Франции сложилось такое положение, при котором между писателями и читателями, между различными слоями общества, между различными политическими тенденциями возникло известное содружество, сотрудничество, доверие, появилась даже надежда преобразовать французское общество. В результате даже писатели, которые держались в стороне от общественной борьбы, оказались

втянутыми в нее. Тогда-то и сложилась теория, которую сформулировал Сартр в первую очередь в своей работе «Что такое литература».

Сартр писал: мы хотим способствовать преобразованию общества, мы хотим, чтобы литература стала вновь такой, какой она всегда должна быть, иными словами, она должна выполнять социальные функции. И он полагал, что литература — вспомогательный инструмент общественного действия, что она призвана быть на стороне людей действия и способствовать успеху их действия. Примерно через пять-шесть лет этот вид литературы, по признанию самого Сартра, не ознаменовавшийся сколько-нибудь крупными достижениями, потерпел неудачу. Тогда-то и начался поворот, который привел к нынешнему положению.

Мне хотелось вкратце сказать об основных причинах такого поворота — политических и социальных. После освобождения Франции, примерно с конца 40-х годов, начался период, когда люди убедились, что страна разделена, как и до войны. Внешняя политическая обстановка снова стала напряженной, надвигалась «холодная война». Позитивные моменты, которые способствовали развитию «завербованной» литературы, исчезли, и писатели, естественно, стали возвращаться на прежние позиции.

Далее оратор говорил о возникновении школы «нового романа», отметил его связь с довоенной литературой (в частности, упомянул о книге Сартра «Тошнота», вышедшей в 1938 году). Он подчеркивает связь школы «нового романа» с Прустом, Джойсом и Кафкой и считает, что эти художники создали ценности, от которых мы никак не можем и не должны отказываться.

— Тут говорили, что члены французской делегации закладывают основы «антиромана». Это — термин Сартра из его предисловия к одной из первых книг Натали Саррот. Я не думаю, что термин «антироман» — вполне правильный термин, потому что антироман — это все-таки тоже роман. Я думаю, что лучше было бы (прошу прощения, так как в этом не уверен) назвать его «предроманом». Хотя сюжет в такой книге полностью не развивается, она тем не менее воссоздает движение, приводящее к созданию романа. Именно этот признак объединяет произведения очень разные, примыкающие к новому роману: Натали Саррот, Алена Роб-Грийе, Клода Симона и др. Они берут сюжеты классического романа и, критикуя условность классического романа, пытаются идти дальше, создают произведения, поначалу кажущиеся странными и представляющие собой нечто вроде романа о романе.

Этот путь весьма интересен, поскольку писатель стремится исключить литературную условность, приблизившись к истинному пониманию мира. И мы знаем также, что в этом поиске есть своя отрицательная сторона: подобная литература далека от политики. Но это объясняется, как я уже говорил, политическими и экономическими причинами, их нужно также учесть. Писатели могут не создавать политических романов, не говорить в своих книгах о политических событиях, сохраняя вместе с тем тесные связи с политической жизнью. Среди произведений новой школы нет книг об Алжире или о приходе к власти де Голля, мы таких книг не знаем, скажем, романа об алжирской войне не существует. Но у различных писателей, в том числе у Сартра или у меня, конечно, имелись возможности, хотя и ограниченные, бороться против алжирской войны. Мы могли выступать с манифестами, один из которых, во всяком случае, получил большое распространение и даже был чреват для нас многими неприятностями. Но в нашем творчестве нам трудно было выступать как политикам.

Я не думаю также,— продолжает Бернар Пенго,— что можно говорить о закономерности подчинения литературы служению каким-то целям. Тибор Дери, заявивший здесь, что он всегда был социалистом, сам сегодня поставил много вопросов, и они не так далеки от тех, какие мы сами задаем. Все эти вопросы как раз и встают перед каждым писателем.

Ссылаясь далее на пример Бальзака, Бернар Пенго заявил, что никто не может сказать, как прозвучит и будет использовано то, что пишется сегодня. Романам, создаваемым с определенной целью и для определенной публики, суждена недолгая жизнь: они умирают обычно вместе со своей эпохой. Писатель должен сочинять, а не наставлять, объяснять, учить, успокаивать. Наоборот, его роль состоит в том, чтобы будить мысль, вызывать удивление, открывать неведомые идеи и даже — шокировать читателя. Он должен помочь читателю осмыслить вымысел, содержащийся в книге.

Говоря о вкладе школы «нового романа» в литературу, Бернар Пенго подчеркнул, что, по его мнению, этой школе нисколько не присущ формализм, как утверждают некоторые критики. Ибо, даже намереваясь написать «нейтральный» роман, роман о вещах, писатель все же не может не отобразить человека, поскольку сознание человека, воспроизводя эти вещи, выявляет свое отношение к миру; здесь источник событий, происходящих в романе.

В то же время, отметил оратор, не следует забывать, что в литературе речь идет о некоей вымышленной реальности, которая лишь представлена читателю как реальность существующая. Отсюда незавершенность образов и бесконечный творческий поиск художника.

Далее Бернар Пенго выразил свое полное несогласие с утверждением, будто сторонники «нового романа» развращают умы, распространяют эротику и т. д. Такого рода взгляды, по мнению оратора, не содействуют серьезной дискуссии, а тем более — подлинному взаимопониманию. А это взаимопонимание рождается на почве

общности интересов. Пользу данной дискуссии оратор видит в том, что участники ее в ходе диалога постепенно осознают, что же объединяет их в общеписательском деле.

— Не может быть, чтобы литература, создаваемая школой «нового романа», вовсе не имела значения, поскольку не имеющей значения литературы вообще не существует. Если литература действительно изображает мир, отраженный в сознании писателя, она не может быть бездарной и никчемной. Та же литература, которая ничего не ищет, и есть литература половинчатая, литература никчемная. Конечно, читателю поначалу может показаться странным произведение того или иного писателя, но в конечном счете все, написанное любым человеком, принадлежит человечеству в целом. То, что я сочиняю, воображаю, другой тоже может вообразить и сочинить, то, о чем пишу я один, когда-нибудь может стать доступным для всех. Вот почему «новый роман», по моему убеждению, имеет свой смысл, располагает возможностями стать достоянием многих, может стать не менее сильным, чем в свое время традиционный роман. У «нового романа» много общего с современной музыкой и живописью Запада, а они ведь тоже в первую очередь стремятся к свободе восприятия зрителя или слушателя. Читатель «нового романа» может точно так же войти в книгу, интерпретировать ее по-своему и придать ей то содержание, какое ему хочется. Мне кажется, очень важно доверять читателю, приглашать его участвовать в создании книги, чтобы он развивал эту книгу и продолжал творческие возможности писателя.

Завтра мы, возможно, убедимся, что пропасть между двумя направлениями французской литературы не так уж глубока и что Сартр был прав, когда, определяя сущность литературы, писал, что литература — это вымышленный образ мира и что для нее необходима свобода человеческого сознания. И, по моему убеждению, каждому писателю, так же как и читателю, нужно предоставить свободу воображения.

РЫШАРД МАТУШЕВСКИЙ (Польша).

— Джанкарло Вигорелли предложил нам, критикам, дать нечто вроде панорамы главных тенденций развития современного романа в своей стране. Это, конечно, потребовало бы много времени, но я хочу только напомнить то, о чем говорил вчера Роже Кайюа и что мне кажется бесспорным. Мне представляется, что действительно каждый писатель должен своим произведением добавить что-то новое в изображение мира, который нас окружает.

Но что значит добавить что-то новое?

Видимо, ни один талантливый писатель не станет писать, как писали его предшественники. В области искусства ничего нельзя достичь повторением. Это бесспорная истина.

Именно этот поиск нового, эта влюбленность в новое заставляют нас очень внимательно следить за тем, что происходит сейчас в области современного романа.

По моему мнению, в развитии современного романа наблюдаются сейчас две основные тенденции. Одна из них, говоря обобщенно,— это реалистическая тенденция (некоторые имеют обыкновение называть ее традиционной). Другую тенденцию труднее определить, она содержит в себе очень много разнообразных черт, которые часто противопоставляют реалистической тенденции; в этой тенденции видят источник всех экспериментов и даже приписывают ей роль монополиста на все оригинальное и новое.

Если речь идет о первой тенденции, то к ней относят все, что родилось из великого наследия романов XIX и начала XX веков,— от романов Бальзака и Толстого до романов Шолохова, Леонова, в известной мере Томаса Манна. Говоря же о другой тенденции, обычно называют имена Пруста, Джойса и Кафки, хотя было бы трудно трактовать все экспериментальные поиски современных писателей, с одной стороны, как продолжение линии психологической или психоаналитической, а с другой стороны, как продолжение влияний и навязчивых представлений трагического одиночки из Праги.

На самом деле все обстоит по-иному.

В чем же заключается проблема? Верно ли, как хотят нас убедить защитники нового любой ценой, что великие течения, называемые реалистическими, действительно больше ничего не могут нам предложить в наш атомный век? Верно ли, с другой стороны, что мы должны отбросить все, что нам предложили те большие писатели, которые вместо того, чтобы изложить нам еще раз политические и социальные проблемы, дают собственное видение мира, часто совершенно индивидуальное и крайне субъективное.

Мне кажется, что если мы будем механически и абстрактно противопоставлять эти общие тенденции, то мы в нашей дискуссии ни к чему не придем.

Я думаю, что сегодня мы можем говорить о всех творческих экспериментах великих писателей XX века от Шолохова и Т. Манна до Джойса и Кафки как о нашем общем достоянии. Они определяют только главные линии развития мировой прозы, в которой мы имеем право выбрать свой собственный путь, не принимая все эти

эксперименты полностью, а принимая только то, что совпадает с нашей личной и общественной позицией, с нашими социальными и моральными убеждениями.

Говоря далее о современной польской литературе, Рышард Матушевский подчеркнул, что, так же как русская литература XIX века и советская литература сегодня, современная польская литература тоже ставит перед собой большие моральные и социальные цели.

— Наша литература связана с историей народа,— сказал оратор,— она в прошлом помогала нам бороться за нашу независимость, затем против фашизма и, наконец, сейчас помогает нам в нашей революционной борьбе за социализм и за победу идей социального прогресса. Все наши традиции в области романа, как и в области поэзии, воспитывают нас в духе «завербованности» политической, социальной и моральной.

Касаясь проблемы формальной структуры произведения, а также удельного веса и значения эксперимента в литературе, оратор напомнил, что жизнь произведению любого жанра и любой формы дает только глубокая связь с действительностью, с историческим и социальным опытом.

— У нас много прозаиков, связанных с реалистическими традициями, отличных рассказчиков, таких, как М. Домбровская, Я. Ивашкевич и многие другие, среди которых не могу не назвать находящихся в зале Е. Путрамента, М. Русинека. У нас есть также писатели,— продолжал оратор,— которые, показав свое искусство в области так называемого традиционного романа, в последнее время ищут новые формы, пытаясь, например, найти нечто среднее между романом и эссе: они пишут романы, которые являются в то же время размышлением о романе, пытаются изобразить то, что называют разрушением личности, показать психологические и философские перспективы понятия времени, рассказать о судьбах человека с помощью метафор или системы философских аллегорий.

Нельзя здесь не назвать такие имена, как Ежи Анджеевский, Тадеуш Бреза,— писателей, которым школа психологического анализа не помешала добиться примечательного результата в создании политического и социального романа, связанного с нашей социалистической действительностью.

Надо вспомнить о Казимеже Брандысе, который в последние годы все отчетливее переходит от традиционно-повествовательной манеры к форме эссе, а также к поискам новых возможностей в художественной прозе.

Я далек от мысли утверждать, что я безразличен к поискам нового. Я хочу лишь выразить сомнение относительно того, действительно ли существуют у нас в Польше две тенденции, о которых часто говорят,— реалистическая и модернистская. Мне кажется, что существует только одна тенденция, которая содержит в себе различные возможности развития: это реалистическая тенденция.

Немногие исключения лишь подтверждают правило.

После войны, когда у нас обсуждалась проблема романа и когда говорилось, что реализм ограничивает фантазию писателей, один из критиков подал идею, которая мне кажется актуальной и сегодня.

Ошибочно думать, что чистое воображение дает нам то, что можно назвать «великой неожиданностью» в литературе. У реалистов исходный пункт обычно одинаков: мир таков, каков он есть, каким мы его видим и ощущаем. Но каждый писатель всегда может найти что-то новое в этом мире. Богатство действительности, нас окружающей, бесконечно. Поэтому объективная неожиданность реализма практически неисчерпаема.

Роман, чтобы сохранить себя как жанр, который останется в литературе, не может быть оторван от всего богатства реального мира, от объективной действительности, физической и социальной. Выходя за пределы этой действительности, он может жить лишь в течение какого-то времени отраженным лунным светом нашего воображения, но раньше или позже рассеется в пустоте. Чтобы оставаться живым, он должен находиться на земле. И хотя это не имеет ничего общего с профессиональными секретами техники романа, писатель может пользоваться совершенно различными способами его создания. Главное — это тесная связь писателя с действительностью. Бегство от действительности невозможно.

ЭНЦО ПАЧИ (Италия).

По мнению итальянского философа Энцо Пачи, роман в наиболее простом значении этого жанра есть история одного персонажа или нескольких персонажей. Роман — это история человека, живущего среди людей.

— Сегодня можно говорить о кризисе романа, и кризис этот мог бы быть определен как известное забвение человека. Становится все более трудным рассказывать историю человека. Трудности, испытываемые романом, таким образом, имеют человеческие истоки.

Речь идет о переходном периоде от одной исторической эпохи в развитии общества к другой исторической эпохе. Кризис может проявиться как трудность уста-

Группа участников сессии (слева направо): Л. Соболев, В. Мери, К. Лайтинен, А. Сурков.

новления связи и взаимоотношений между самими персонажами. Эта трудность в своей основе свидетельствует об отделении человека от общества. Когда это происходит, наступает разрыв.

Энцо Пачи далее подчеркнул значение того, что он называет существованием «позитивной связи между людьми», и затем перешел к рассмотрению значения современного романа в этом аспекте.

С этой точки зрения можно сказать, что современный роман выражает потребность в преодолении изоляции, отчуждения человека. Установление связи между одним человеком и другим — вот истоки, корень всей проблематики современного романа. Персонаж, который существует как единственный персонаж, теряет, утрачивает свое лицо и свою историю. История любого человека есть одновременно также и история других людей.

Таким образом, современный роман тесно связан не только с проблемой индивидуума, но и с проблемой общества.

В романе каждый персонаж есть индивидуум. Но это и тип, потому что в каждом индивидууме есть всеобщность, целостность. Когда происходит смешение индивидуального и всеобщего, персонажи более не различаются; вместе с тем остается верным то положение, что индивидуум представляет тип цельный, всеобщий.

Отсюда оратор сделал вывод: писатель должен уметь видеть, что́ в каждом человеке является всеобщим, но одновременно различать и то, что в человеке является личным, индивидуальным, «отдельным».

Далее Энцо Пачи перешел к вопросу о том, какую роль играют в повествовании вещи, предметы и их взаимоотношения с героями.

— Я могу описывать предметы, вещи, но должен делать это при условии показа функциональной зависимости вещи от персонажа. Он видит вещи и видит не так, как их видит другой. Нам представляется, что вещь в романе находится в функциональной зависимости от персонажа, от человека.

Анализируя далее проблему времени в романе, оратор высказал мнение, что в романе существует время каждого персонажа и общее «романное» время. Единство этих обоих видов времени помогает писателю полнее отразить действительность не только в ее контрастах, но и в ее целостности.

— В заключение можно сказать,— продолжал Энцо Пачи,— что современный роман дает нам возможность ощутить потребность преодоления всего того, что противостоит человеку.

В современном мире есть один факт, который самым абсолютным образом противостоит человеку,— это атомная бомба. Данное обстоятельство настолько серьезно, что оказывает влияние даже на самый подход к оценке судьбы человечества, его будущего. Поэтому кажется естественным, что роман стремится к выражению этого нового положения, а также и то, что он стремится к своему обновлению.

В нашей литературе проблема романа есть проблема призыва, обращенного к преодолению любой ситуации, направленной против человека. Если мы не последуем этому призыву, то не только роман, но и все вообще на земле окажется в состоянии кризиса.

ОВИД КРОХМЭЛНИЧАНУ (Румыния).

Овид Крохмэлничану подверг анализу основные положения эстетики «нового романа» и тенденцию избавить роман от вмешательства со стороны автора, которая породила документальный роман, или роман-исповедь.

По мнению Овида Крохмэлничану, эта тенденция может быть плодотворной лишь в том смысле, что она ведет к более строгому соответствию повествования данной исторической эпохе. Однако основной постулат этого литературного направления представляется ему неприемлемым.

— Под предлогом объективности читателю порой преподносится сумбурный, бессвязный и хаотический материал. Писатель стремится быть столь же равнодушным и невидящим, как и автоматический регистрирующий прибор.

Оратор далее высказал ряд серьезных сомнений в плодотворности исканий школы «нового романа». Он полемизировал с Бернаром Пенго, который доказывал, что в эстетику «нового романа» входит художественный вымысел.

— Приемы «нового романа» не допускают того, что обычно принято называть повествовательным домыслом,— подчеркнул Овид Крохмэлничану.— Сторонники «нового романа» претендуют на роль неких регистрирующих приборов. Автор не допускает со своей стороны размышлений над тем, что он видит, и отказывается от услуг воображения и мышления.

Но ведь литература — это не просто житейский опыт, а человеческий опыт, возведенный в высшую степень путем обобщений. А это, как ни крути, означает осмысление, упорядочение и систематизацию фактов.

Утверждая последовательный реализм, реализм предельной ясности в исследовании общества и внутреннего мира людей, Овид Крохмэлничану отверг ложное представление сторонников «нового романа», будто голый факт в искусстве сам говорит за себя.

Такая посылка, по его мнению, приводит к недооценке творческого воображения.

— Так рождаются,— сказал в заключение Овид Крохмэлничану,— бессюжетные романы, в которых задыхаешься от подробнейших описаний и репортерских деталей. Наше время отвергает подобные бездушные и безличные произведения, которые напоминают безжизненные планеты, осужденные вечно вращаться в мире молчания.

(Выступление Овида Крохмэлничану опубликовано в «Литературной газете» 13 августа 1963 г.)

Б. С. РЮРИКОВ (СССР).

Б. С. Рюриков в своем выступлении коснулся тенденций развития советского романа. Проанализировав наиболее крупные произведения советской литературы последних лет, оратор сказал:

— Советский роман осуществляет проверку человеческих ценностей в нашем обществе с точки зрения социализма. Это новаторский роман, опирающийся на лучшие традиции Толстого, Чехова, Достоевского. Наш роман полемичен, своей объективной логикой он направлен против романа без человека, без истории, без общественной среды и ее развития. Реалистическое изображение действительности оказывается призывом к новой, созидательной работе.

Советский роман развивается с трудностями, с диспропорциями, но в своем развитии идет по восходящей линии и связан с углубленным проникновением в реальный мир, с созданием больших, масштабных характеров. Роман нужен обществу, нужен для больших дел, чтобы дать итог пережитого, звать вперед правдой, силой и красотой.

(Выступление Б. С. Рюрикова опубликовано в «Литературной газете» 8 августа 1963 г.)

ГАНС МАГНУС ЭНЦЕНСБЕРГЕР (ФРГ).

— Нужно не много ума для того, чтобы догадаться, какой опасности мы подвергаемся. Мне кажется, что каждый конгресс подвергается одной опасности, а именно, опасности повторения. Мы все время повторяемся. Происходит это, мне кажется, потому, что все выступающие оперируют определенными понятиями, они находятся в плену этих понятий, и те, кто их слушает, как будто убаюкиваются. Я имею в виду такие понятия, как декаданс, реализм, формализм, а также «новый роман». Все эти слова, как дождь, падают на слушателей и их убаюкивают.

Чтобы найти выход из создавшегося положения и добиться в дальнейшем наибольшей результативности в обсуждении проблемы романа, оратор предложил обсуждать эту проблему в аспекте, который, по его мнению, для всех приемлем и полезен, в аспекте, который мог бы быть применим как к советской, так и к западной литературе.

— Мне кажется,— пояснил далее оратор,— что литературу нужно воспринимать как историографию. Я, таким образом, утверждаю, что литература — это историография человечества. И если мы согласимся с этим положением, то оно, разумеется, будет действительно также и для романа.

В нашем языке слово «история» имеет двоякий смысл: с одной стороны, история — это то, что один другому рассказывает, и вместе с тем история — это описание того, что произошло. Роман всегда имеет дело с тем, что произошло, с прошлым, а не с настоящим. И когда мы говорим о романе как об историографии, то, конечно, это очень удобный для нас тезис, так как он связан с целым комплексом узловых проблем. Романист должен рассказывать историческую правду или даже ряд правд, если можно так выразиться.

История никогда ничего не выдумывает и потому не является литературой. Историки же считают, что литература — это не что иное, как выдумка, и потому она ложна.

Я хочу привести стихотворение Брехта «Вопросы читающего рабочего»:

Кто воздвиг семивратные Фивы?
В книгах названы имена повелителей.
Разве повелители обтесывали камни и сдвигали скалы?
А многократно разрушенный Вавилон
Кто отстраивал каждый раз вновь?
В каких лачугах жили строители солнечной Лимы?
Куда ушли каменщики в тот вечер, когда они закончили кладку китайской стены?
Великий Рим украшен множеством триумфальных арок.
Кто воздвиг их? Над кем торжествовали цезари?

Мне кажется, что история не может ни в коем случае ответить на эти вопросы, потому что история имеет дело с массами, с политическими течениями, со способами производства и т. д. В истории происходит все. Только людей в истории нет (я имею в виду историю как науку). Поэтому история как наука описывает все только с внешней стороны.

Литература не говорит о политических направлениях, об идеологии, о способе производства. Литература говорит о человеке, об интересах тех, кто лишен слова, и здесь речь не только о том, что писатель должен защищать какую-то партию. Нет! Нужно говорить о том, что писатель призван по самой природе своего дарования выражать чаяния народа. Самый смысл литературы в этом заключается.

Далее Ганс Магнус Энценсбергер говорил о том, что марксистская критика, по его мнению, допускает ошибку при оценке того или другого литературного явления, потому что «старается подменить объективные исторические данные положениями партийной программы». Он ссылается на пример Бальзака, которому реакционные политические взгляды не мешали создавать великие произведения, и на пример Мандзони, бывшего аристократом и в то же время создававшего произведения, прогрессивная роль которых неоспорима.

Каковы пути взаимодействия литературы и истории? На этот вопрос, по мнению Ганса Магнуса Энценсбергера, нельзя дать ответ с позиций теоретических — лишь в процессе написания произведения все становится ясным.

Далее оратор говорил о большой внутренней близости между его жизненным опытом и многими книгами таких писателей, как Кафка, Пруст и Джойс, которых он считает писателями-реалистами. Я часто вижу себя, сказал он, в ситуациях, похожих на ситуации в романах Кафки.

С точки зрения Энценсбергера, литература, как и историография, имеет свои внутренние закономерности.

— Мне кажется,— сказал он,— история никогда не была так беспомощна, как при фашизме. И фашизм — это явление, которое мы не можем до конца понять и осознать, и не потому, что мы его не знаем, а потому, что чем больше теорий, чем больше фактов мы собираем, тем более непонятным он для нас становится. И надо сказать, что в этом отношении литература выполняет свой долг, она пишет историю фашизма. Многие немецкие писатели после войны писали о фашизме и приняли участие в этой историографической работе. И мы сделали очень интересные выводы. Я хотел бы сказать о них.

Разговор о фашизме начался сразу же после войны. И надо сказать, что тогда не было фашистских произведений — все произведения были антифашистские. И первые же романы, вышедшие из печати, были романами реалистическими. Но оказалось, что совершенно невозможно, идя по пути такого реализма, по-настоящему представить нашу историю. Это было невозможно. Мы обратились к современным писателям XX века, и не потому, что мы их так любим, а потому, что другого выбора не было. Роман Эриха Марии Ремарка о концентрационном лагере («Искра жизни») построен как все старые хорошие реалистические романы. В этом романе все следует одно за другим и все находится в соответствии: стиль, форма, изложение и т. д. И надо сказать, что хотя роман Ремарка и субъективен, я не верю, что Ремарк сознательно лгал в этом романе. Но я вынужден отметить со всей объективностью, что книга эта лживая.

Спустя несколько лет большим писателям, когда они пытались изобразить историю методами XX века, впервые удалось добиться литературных успехов. Я имею в

виду Кёппена, Грасса и др., и все эти авторы отказались от старых методов, они в какой-то степени ученики Кафки, Брехта и других. Вот почему их романы много значат именно для нашего западногерманского общества.

Я хочу закончить, обращаясь к нашим советским друзьям.

Было бы смешно и неправильно с моей стороны давать какие-то советы, но мне хотелось бы высказать одну надежду. Несмотря на то, что мы в нашей стране очень не сведущи во всем, что касается советской литературы, нам кажется, что мы правильно поняли, как она сейчас развивается. Все понимают, что мы рассчитываем на новый расцвет советской литературы. Первый период расцвета был в 20-х годах, новаторство этой литературы очень важно и значительно. Нам нужна такая литература потому, что история не может писаться одной частью мира, ее должны писать во всем мире. И потому я надеюсь, что и советская литература воспримет все методы подхода к литературе как к историографии, и мне хотелось бы, чтобы советская литература постоянно подвергала пересмотру свои методы. Вот чего я желаю советской литературе и надеюсь, что советская литература сможет адекватными методами описать то, что происходит в нашем веке.

К. М. СИМОНОВ (СССР).

К. М. Симонов отверг точку зрения, будто чувство ответственности писателя перед обществом несовместимо с его стремлением оставаться самим собой. Полемизируя с Роже Кайюа, он сказал:

— Если из-за неточности перевода я не вполне понял нашего друга, то это не меняет существа дела, а лишь меняет адрес, ибо такая тенденция существует, и существует не первый день.

Далее К. М. Симонов изложил свою позицию в этом вопросе.

— Мне кажется,— заявил он,— что для писателя быть самим собой как раз и значит испытывать чувство ответственности перед людьми, среди которых ты живешь и для которых ты пишешь.

Оратор сравнил чувство ответственности писателя с ответственностью пилота, ведущего наполненную множеством людей машину от места взлета до места посадки. Поясняя свою мысль, он говорил, что ни в коем случае не хотел бы сесть в самолет, которым будет управлять человек, считающий, что чувство ответственности перед людьми мешает ему быть самим собой.

— Литература должна идти вместе с народом и ощущать себя его неотъемлемой частью,— продолжал К. М. Симонов,— и если некоторые называют это «завербованностью», то я не вижу причин стесняться этого термина. Да, я против литературы, свободной от ответственности перед человечеством.

(Выступление К. М. Симонова опубликовано в «Литературной газете» 8 августа 1963 г.)

ДЖАНКАРЛО ВИГОРЕЛЛИ (Италия).

— Позвольте мне на несколько минут вспомнить, что я по профессии литературный критик, и на несколько минут забыть, что я генеральный секретарь Сообщества,— иными словами, позвольте мне высказать свои личные суждения по вопросам, которые мы все здесь обсуждаем.

Далее оратор говорил, что для него ценность любого конгресса, который ему поручают организовать, заключается в тех личных контактах, какие удается установить между участвующими в нем писателями. Создание условий, позволяющих вести откровенный разговор, поистине является залогом успеха такого рода начинаний. В Ленинграде эти условия налицо: писатели Запада стараются понять писателей социалистических стран, а последние, в свою очередь, прилагают немало усилий, чтобы лучше разобраться в том, о чем говорят их западные собратья по перу.

— Мы, писатели Запада,— продолжал Джанкарло Вигорелли,— собравшись здесь, выложили на стол свои карты, то есть мы представили нашу культуру и во всех подробностях — наш роман, нашу художественную литературу; мы вызвали в первую шеренгу наших отцов; здесь имеются в виду такие имена: Пруст, Джойс, Кафка. Повторяю, это наши глубоко почитаемые отцы, и культура наша выросла на путях, проложенных этими отцами. Но позвольте мне задать моим западным собратьям такой вопрос: не стали ли со временем наши отцы нашими дедами? Ибо надо констатировать, что при всем глубоком уважении к этим именам, при неизменной признательности ко всем открытиям этих писателей, чье творчество обусловило и продолжает поныне обуславливать нашу культуру,— надо констатировать, что мы, их сыновья в литературе, пришли к настоящему кризису духовных ценностей. Мы пришли к определенному распаду, в котором есть, разумеется, свое критическое зерно, но тем не менее мы пришли к некоему распаду как человеческой личности, так и нашего общества и романа. Выражаясь по-детски просто, я скажу: мы вышли из великого Джойса и пришли, при всем уважении к нему, к маленькому Беккету.

И вот я спрашиваю себя: значит, все-таки существует кризис? И этот кризис существует в творчестве писателей и романистов Запада. Мы имеем полное право расценивать «Улисс» Джойса как один из основополагающих шедевров нашей культуры и нашего романа. Но все готовы объявить во всеуслышание, что «Поминки по Финнегану» — это неоспоримое доказательство провала. Мы дошли до отказа от сюжета, а если пойдем за Беккеттом и дальше, то, может быть, дойдем и до полного молчания.

С другой стороны, все писатели Запада испытывают потребность в общении, в человеческих связях, и в особенности все мы здесь сознаем эту необходимость. Ибо даже те писатели, которые декларируют, что не хотят смешивать проблемы литературы с проблемами общественными, литературу с политикой, сознают, что нельзя оставаться глухими к проблемам современного мира.

Но мы слышали здесь и нечто другое, слышали, как наши коллеги говорили: так называемая «завербованная» литература устарела. Может быть, хоть я в этом и не уверен, устарела литературная формула этой литературы, но мы все равно остаемся «завербованными». Несмотря ни на что и вопреки собственному желанию. Так, наш друг Пенго прямо и недвусмысленно заявил, что даже писатели так называемого «нового романа» в своей личной жизни, в своей нравственной позиции были и остаются «завербованными» и во время войны в Алжире вели себя честно и мужественно. Я говорю это не для того, чтобы смешивать литературу и политику, а для того, чтобы отметить: даже у тех писателей, которые заявляют о своем праве творить — употреблю итальянский термин — «чистую литературу», проявляется известное разделение между человеком и писателем: как люди, они чувствуют необходимость и потребность стоять на определенных позициях.

Я говорю, что у нас есть эта потребность связи с окружающим миром и, несмотря на то что наша литература была и остается литературой человеческого «я», все признают потребность в «другом» и долг перед «другим».

Далее оратор высказал ряд мыслей о советской литературе и литературах социалистических стран.

— Я думаю, что лучший способ понять страну — это открыть книгу и читать. И потому я старался читать — не в подлинниках, а в переводе — как можно больше книг, написанных в Советском Союзе и социалистических странах. И вот, если вы разрешите мне сделать личное признание, я пришел к заключению, что, несмотря на различие языков, несмотря на разницу в литературной технике, несмотря на различие литературных позиций, мы обнаруживаем совпадения, в которых есть весьма симптоматичные черты.

Ознакомившись с произведениями советских писателей за многие годы, начиная с тридцатых годов и кончая послевоенным периодом, оратор, по его словам, обнаружил, что, с точки зрения языка, техники письма, напряженности поисков, разница между этой литературой и литературой Запада не столь уж велика, как принято думать в западных странах. И это может быть отнесено не только к советской литературе, но и к литературе ряда социалистических стран.

— В Советском Союзе,— продолжает Джанкарло Вигорелли,— получила развитие литература, которая, естественно, полностью отличается от нашей; но не думайте, что у нее нет определенных достижений, и эти достижения являются достоянием всей мировой литературы до такой степени, что я осмеливаюсь сказать: мы имеем полное право защищать нашу литературу, но лишь в той мере, в какой мы признаем определенный кризис, определенную обесцененность нашей литературы.

Я не говорю — это было бы риторикой и наивностью,— что мы можем найти разрешение нашего кризиса, приняв некоторые достижения советской литературы, но я думаю, что некоторое противоядие в ней можно было бы найти; например, я убежден, что советская литература смогла сохранить чувства, а у нас на Западе, я знаю, всегда и не случайно боятся слова «чувство». Мы предпочитаем говорить о духовных ценностях, вместо того чтобы говорить о чувствах. Новая советская литература, мне кажется, уже находится на подступах к переходу от чувств к ценностям. Но все же надо признать, что они сумели сохранить и предохранить от разрушения нечто священное. Я имею в виду священное значение человека, священное с точки зрения этики, а не религии.

Высказывая далее несколько критических замечаний по поводу выступления Леонида Леонова, оратор утверждал, что в основе речи Леонида Леонова лежит идея Толстого, чрезмерно сближавшего искусство и мораль.

— У нас, на Западе,— продолжал Джанкарло Вигорелли,— мы уже достигли разрешения этой проблемы, достигли идентичности Искусства и Морали. И если мы действительно имеем право бросить упрек советской литературе, то прежде всего в том, что она не движется к этой идентичности, что в ней остаются моралисты и — а это уже более серьезно — что советские писатели стремятся создавать социальную литературу и элемент социальности у них перекрывает элементы морали. Получается противоречие. А исходя из того факта, что социализм — это новая мораль, естественно, немного смешно слышать, что эта новая мораль — не говорю: совпадает с «Ave Maria»,— но признает свое родство с ней. Замечу в скобках: я христианин и ни-

чего не имею против «Ave Maria», но я уверен, что «Pacem in terris» * стоит выше «Ave Maria».

Далее оратор утверждал, что советская литература прошла три этапа своего развития. Это «литература авангарда», затем литература 1930—1945 годов (Джанкарло Вигорелли подчеркнул, что здесь, с этой трибуны, выступали лучшие представители литературы тех лет и тем самым напомнили, что и в те годы, несмотря на извращения периода культа личности, в литературе было немало достижений).

— Что касается молодой советской литературы,— продолжал Вигорелли,— то здесь выступят два ее представителя — Гранин и Аксенов, которые расскажут о своем опыте. Но главное — они дадут нам возможность немного понять советскую литературу последних лет, ибо все мы вынуждены признать, что, хотя с точки зрения социальной и политической многое изменилось, все же ясно, что советский писатель остается писателем-коммунистом.

В заключение оратор отметил, что современная литература западных стран — по общему убеждению присутствующих — переживает кризис. А такая литература рискует в определенный момент оказаться литературой для избранных.

— Не думайте, что я предложу вам,— сказал далее Джанкарло Вигорелли,— следовать примеру массовой литературы; я хорошо знаю, что настоящие книги начинают с очень узкой аудитории и только спустя годы приобретают более широкую, более массовую аудиторию; но связь с людьми, стремление не быть писателем без контактов, без связей, без общения — это стало для нас потребностью.

Может быть, советская литература и литература некоторых социалистических стран говорит немного устаревшим языком, может быть, писатели там слишком привязаны к определенной старой традиции, может быть, вопреки тому, что их наука так современна (я говорю не о технике, а о науке), несмотря на то, что их достижения в области социальной являются революционными для всех людей во всем мире,— их литература отчасти остается вне того поистине нового, что есть в социализме.

Но, с другой стороны, мы тоже испытываем кризис, кризис, ставящий нас перед теми же трудностями, и главный смысл диалога в том, чтобы констатировать: несмотря на все различия между нами, проблема остается общей, и состоит она в необходимости связи друг с другом. И тут мне кажется, что великое достижение литературы социалистических стран заключается в том, что главное в ней это человек, что, может быть, с чрезмерным упорством, но все же сохраняется в ней чувство взаимосвязи. В отсутствии всего этого советская литература и литература социалистических стран имеет право упрекнуть нас, ибо, несмотря на то, что в ту минуту, когда писатель оказывается перед листом чистой бумаги, он выступает прежде всего как индивидуалист, едва только страница написана, она становится средством общения, средством связи с другими людьми; каждая такая страница есть диалог, поиск.

И хотя, по мнению Джанкарло Вигорелли, не всякое общение может быть плодотворным, встреча в Ленинграде предназначена для того, чтобы убедить писателей Запада: каждая литература всегда ищет другую и может ее найти.

РОЖЕ КАЙЮА (Франция).

Предупредив, что целью этого его выступления является лишь внесение фактического исправления, оратор заявил:

— Говоря о том, что я отрицаю ответственность писателя, Константин Симонов приписал мне мысли, которые в какой-то мере противоположны моим. Правда, Константин Симонов оговорился, что он не уверен, точно ли был сделан перевод моих слов. Именно такое недоразумение и произошло. Я, как вы знаете, говорил слишком быстро, и переводчики, вероятно, за мной не поспевали. Это моя, а не их вина, и я прошу их извинить меня за то, что ввел их в ошибку и дал повод для недоразумения. Поскольку, однако, ошибаться в данном случае может не один Симонов, но и другие, слушавшие русский перевод моего выступления, я считаю нужным в нескольких словах изложить свою точку зрения и сказать, что не только в позавчерашней речи я выступал сторонником ответственности писателя. Я выступал за это во всех своих книгах без исключения. В частности, я написал книгу, которая называется «Вавилон». В ней я анализировал и определял не одну, а многие виды ответственности писателя, и прежде всего его ответственность за язык, за мастерство, его ответственность перед тем, что я назвал бы «лучшим в человеке». Так же, как Константину Симонову, мне не хотелось бы садиться в самолет, управляемый пилотом, который заявлял бы о том, что он не чувствует ответственности, и кичился бы этим. Я предпочитаю пилота, хорошо знающего свое дело, и, признаться, опасался бы такого пилота, который без конца говорил бы об общественном благе и о счастье народов. Я, пожалуй, посоветовал бы ему просто-напросто заняться политикой. А доверился бы я скорее пилоту, который добросовестно и умело выполняет свои обязанности, знает свою машину, умеет ею управлять, подобно тому, как писатель обладает профессиональным умением, владеет языком, владеет своим искусством.

---

* «Мир на земле» — так озаглавлена энциклика папы Иоанна XXIII.

Точно так же я доверяю писателю, который прежде всего занят своим писательским ремеслом и озабочен профессиональными вопросами и который думает также о лучшем в человеке. Ибо, поскольку ему, как и всякому художнику — впрочем, это относится ко всем людям,— полностью досталось все наследие человечества, вся сокровищница человеческой культуры, я думаю, что главная его ответственность и первейший его долг, как и любого художника, состоит в том, чтобы передать эту сокровищницу другим, постаравшись хотя бы чуточку ее обогатить.

ПАУЛЬ ВИНС (ГДР).

Немецкий поэт и публицист Пауль Винс сказал, что его всегда интересовали различные писательские темпераменты, различная манера браться за работу.

— Об этом здесь говорил Леонид Леонов, упомянув в начале своей горячей речи о писателях, которые приступают к работе, как Геркулес в свое время приступал к своим подвигам. А Тибор Дери упоминал здесь о совершенно другом, противоположном темпераменте, проявляющемся в работе. Хотя я и очень люблю «Русский лес», но должен признать, что тот «рабочий темперамент», о котором говорил Дери, присущ и мне, а именно: я приступаю к работе с большой неуверенностью в мыслях и чувствах, очень критически относясь к себе и полный сомнений в направлении моей работы и в себе самом.

Наш западногерманский друг Энценсбергер сказал, что он часто оказывается в жизни в зловещих ситуациях, которые напоминают ему ситуации Кафки. Ну, иногда это случается и со мной, и, скажу по совести, что-то в этом роде я ощутил на нашей встрече, когда Энценсбергер говорил о «загадке» фашизма. С ним я хотел бы дружески поспорить.

Сегодня ночью мне приснился сон, загадочный сон, который я хотел бы вам рассказать. Извините меня, если я задам вам загадки! Но прежде я должен поделиться с вами двумя воспоминаниями, двумя фактами из моей жизни.

Первый факт. В концентрационном лагере, где я находился в 1944 году, был эсэсовец Зульцер, состоявший в охране. Этот Зульцер когда-то работал учителем, и у него были две специальности. Первая заключалась в том что время от времени он говорил нам: «Разве вы не хотите стать послушными собачками? Ну-ка, станьте послушными собачками!» И он заставлял людей слизывать языком пыль с его сапог. Это была, так сказать, его «чисто моральная» специальность.

Позвольте мне сделать одно отступление, поскольку наш друг Джанкарло Виго-релли утверждал — сочувственно, но с некоторым критическим подтекстом,— что для социалистических писателей достоинство человека есть нечто священное, некий предмет культа. Когда люди оказывались в подобной ситуации, в концлагере, во власти какого-нибудь Зульцера, совершенно бессильные, им открывались две возможности (собачьи) — и только одна человеческая. Можно было превратиться в собаку, и хотя продолжать еще существовать и мыслить, но дать сломить себя, отказаться от своего человеческого достоинства, вести себя по отношению к извергу Зульцеру как собака. Это было возможно! Еще страшнее, можно было до такой степени превратиться в собаку, чтобы видеть мир — как в одном из рассказов Кафки — словно с собачьей точки зрения, ничего больше не понимать и испытывать собачьи чувства. В этом случае Зульцер становился загадкой, а собственное бессилие — «мистической данностью», с которой послушной собачке морально приходилось мириться. Но, разумеется, и там существовала единственно достойная человека и реалистическая возможность, а именно — смотреть в лицо самой страшной действительности, собрать воедино свою ненависть, сберечь свою любовь, бороться, то есть быть человеком!

У этого эсэсовца, который когда-то работал учителем, помимо «чисто моральной» специальности была еще «чисто физическая». В лагере был гимнастический зал; он приводил туда заключенных, подвешивал их на шведской стенке, затем прохаживался взад-вперед и ударял их — одного кулаком, другого коленом, по половым органам.. А когда люди кричали и корчились от боли, Зульцер обычно напевал «старинную немецкую народную песню» (как он ее называл) — слегка измененную гейневскую «Лорелею»:

Не знаю, что это значит,
Что скорбью *ты* смущен...

А вот второй факт, который вам следует знать, чтобы мой сон стал понятен вам, как и мне: в лагере, пока его не убили, жил тринадцатилетний мальчик цыган, долговязый, худой, белокурый мальчик. Цыган, но такой же белокурый, как Энценсбергер. Цвет волос не меняет дела. Так или иначе, фашисты «научно» доказали, что он цыган, и убили мальчишку.

Теперь о моем сне. Итак, сегодня ночью мне приснилось следующее: стою я у себя в номере перед зеркалом, смотрю на себя — кажется, я причесывался, сейчас точно не помню — и вдруг замечаю, что мое отражение в зеркале делает совсем не те движения, что я... Я говорю ему: «Брось эти штуки, ведь ты — это я, мое отражение, и только!» А оно отвечает: «Ты так думаешь? — смеется

и говорит: — Зеркало — не стена. Хочешь, я выйду к тебе? Сделать это?» Я иронически говорю: «Попробуй, братец!» И тут мое отражение выскакивает из зеркала, оказывается рядом со мной, и вот мы уже идем по Ленинграду, по набережной Невы, рядом со мной — маленький цыган, мой белокурый братишка...

Мы гуляем по набережной, моему маленькому брату весело, он несется впереди меня, выделывая всевозможные курбеты, легкий, как перышко. И вот мы приходим на то место, где похоронено много ленинградцев; сквозь траву и землю у себя под ногами мы видим мертвецов. А мой братишка озорничает все больше и больше, порхает и кувыркается в воздухе. Я думаю: «Надо прервать, прервать этот сон!» — и вижу кругом мертвецов. А он порхает вокруг бронзовой женщины — вокруг памятника матери-родине — и напевает:

Я знаю, что это значит,
Что скорбью *ты* смущен...

Великая скорбь овладевает мною, я силюсь проснуться. А мой брат все поет и веселится... Он поет песенку, похожую на ту, что твердит злой карлик в старинной немецкой сказке, только перефразируя ее: «Ах, не знают там и тут, как фашизм у нас зовут! Фашизм — загадка, которой еще никто как следует не разгадал...»

Сны всегда трудно разгадывать. Я надеюсь, вы понимаете, зачем я рассказал вам этот сон.

Собственно говоря, я собирался спорить с нашим уважаемым Роже Кайюа. Я хорошо его понял, но я не согласен с тем, как он трактует историю романа.

Но я ограничу себя и перейду к самому существенному, к основному вопросу, который он поставил: почему мы, писатели, все еще хотим писать. Это очень важный вопрос. Он процитировал здесь слова о том, что «книга — это смерть дерева». Мы при всех обстоятельствах хотим, чтобы жизнь продолжалась, пусть мир изменяется, пусть мы изменяем его, а он — нас, и пусть деревья тоже продолжают зеленеть и цвести. И в этом причина, почему мы хотим кое-что «добавить» к жизни, а именно — книги. Ибо как раз мы, живущие в Германии, знаем, что вместе с сожжением книг начинается нечто куда страшнее смерти дерева — смерть миллионов людей и истребление целых народов. В этом вопросе мы едины с Роже Кайюа.

Далее Пауль Винс говорит, что он не согласен с постановкой вопроса Тибором Дери и не рассматривает противоречия творчества как трагически неразрешимые — их всегда решала и продолжает решать сама жизнь.

— В чувстве ответственности заложены противоречия и единство нашей литературной работы, с одной стороны, и нашей морали, нашего поведения в жизни, как людей, живущих в мире среди множества своих собратьев, с другой.

Мы должны говорить правду. Тургенев однажды написал своему другу: задача романиста заключается в одном — говорить правду точно и страстно. Он писал это в свою эпоху. В наше время я не могу писать в манере Тургенева, но я не могу писать и так, как писал Кафка, который является нашим братом. И тем не менее я должен говорить и писать правду. Когда речь идет о социалистическом реализме, я понимаю под этим вот что — говорить правду точно и страстно. Это не легко, но именно это мы и обязаны делать. Это требование, которое мы должны выполнить; вопрос, на который мы должны ответить. Он всегда стоит перед нашей писательской совестью: что есть правда, что есть справедливость, что есть человечность? И снова и снова должны мы давать ответ. Было бы недостойно человека, недостойно писателя здесь, сегодня уклоняться от этого вопроса. Мы не вправе еще раз умыть руки, как Понтий Пилат!

В заключение оратор коснулся взаимоотношения писателя и читателя, путей их взаимной связи.

— Я не мог бы точно ответить,— говорил он,— кем я ощущаю себя в большей степени — писателем или читателем. Мы должны находиться там, где находятся наши читатели, то есть — в гуще жизни, мы должны — подхватывая образ, созданный Симоновым и Роже Кайюа,— жить и работать, как пилот самолета, знающий свое дело. Впрочем, я не видел бы вреда в том, если бы пилот нашей «Люфтганзы», в чьем самолете я вскоре полечу обратно в Берлин, оказался бы вместе с тем, ну, скажем, депутатом нашей Народной палаты. Почему бы и нет?

УИЛЬЯМ ГОЛДИНГ (Англия).

Выступивший следующим английский романист Уильям Голдинг предупредил, что намерен сказать лишь несколько слов, ибо считает короткие речи наиболее плодотворными для хода дискуссии. Затем он сказал:

— Я не критик и не могу разбирать чужие книги и с большим сомнением отношусь к той странной линии рассуждений, согласно которой одна книга якобы возникает из другой. Я же могу только кратко рассказать, что, по моему мнению, заставляет меня писать.

Я начал писать поздно, и это было для меня трудным шагом, хотя в некотором смысле я родился писателем. Вот уже пятьдесят лет во мне растет определенное

убеждение — факты жизни заставляют меня думать, что человечество поражено болезнью. Я имею в виду не человечество с большой буквы, я имею в виду тех людей, с которыми сталкиваюсь.

На протяжении моей жизни я не раз бывал потрясен и оглушен, узнавая, что́ мы, люди, можем проделывать друг с другом. Я хочу тут оговориться, что многие из вас знают это гораздо лучше меня и на собственном опыте. Но разрешите мне только сказать, что о многом, происходившем во время войны, я стараюсь не думать, иначе я ощущаю физическую боль. И раз я убеждаюсь, что человечеству больно, это и занимает все мои мысли. Я ищу эту болезнь и нахожу ее в самом доступном для меня месте — в себе самом. Я узнаю в этом часть нашей общей человеческой натуры, которую мы должны понять, иначе ее невозможно будет держать под контролем. Вот поэтому я и пишу со всей страстностью, на какую только способен, и говорю людям: «Смотрите, смотрите, смотрите: вот ка́кова она, как я ее вижу, природа самого опасного из всех животных — человека». И это, мне кажется, благороднейшая задача — писатель ставит диагноз болезни, и это столь же высокий долг, как долг врача.

Для этого нужны две вещи: сострадание, сочувствие к другим людям и еще — непреклонность, то есть решимость сказать то, что ты хочешь сказать, что бы с тобой потом ни случилось.

Д. А. ГРАНИН (СССР).

Д. А. Гранин говорил о новых требованиях к роману, которые предъявляет наше время, о новых возможностях, которые оно открывает.

— Среди прочих примет,— сказал он,— наше время отличается значением, которое приобрела сейчас наука. Фигура ученого впервые обрела для всех героический смысл.

Оратор высказал мнение, что этот новый герой будет завоевывать все большие литературные пространства.

— Дело в том,— подчеркнул Д. А. Гранин,— что в фигуре современного ученого воплотилось наглядно проявление творческого начала. В жизни нашего общества творческое начало занимает все большее место. Человек, занятый творчеством, по-иному видит мир и будущее. На этом основана, мне кажется, одна из наших надежд на взаимопонимание.

Творчество ученого,— продолжал Д. А. Гранин,— разумеется, лишь одна из форм творческого отношения к жизни, лишь один из ракурсов действительности.

Развивая это положение, оратор связал творческое начало с рациональным мышлением. Утверждая разум как одну из движущих сил в литературе, он отверг культ иррационализма, считая его одной из трудностей и опасностей, которые писатель должен преодолеть в своей работе. Д. А. Гранин выразил свое решительное несогласие с теми, кто заявляет, будто фашизм — это нечто иррациональное, непознанное, загадочное.

— Я не могу этого принять,— заявил Д. А. Гранин.— Когда я воевал, я отлично понимал, с чем мы боремся, и когда мы сегодня боремся с фашизмом, я должен знать, что это такое.

(Выступление Д. А. Гранина опубликовано в «Литературной газете» 15 августа 1963 г.)

АЛЕН РОБ-ГРИЙЕ (Франция).

— Мне хотелось бы сказать о своем недоумении, о недоумении многих моих французских и западных коллег в связи с тем, что мы слышали здесь за время пребывания в Ленинграде. Тут было произнесено много речей, показавшихся нам весьма разумными. Это речи итальянцев и немцев, некоторые речи французов. Однако выступления многих из наших советских коллег удивили нас тем что в них мы обнаружили нападки. ну, скажем, по адресу Пруста, или Кафки, или, если говорить о нашем времени, по адресу французского «нового романа», нападки, к которым мы уже привыкли у себя дома.

Мы поистине поражены тем, что здесь, в стране революции, нам предъявляются те же самые обвинения, какие мы слышим со стороны французской буржуазной критики. Я говорю не о том, что нас здесь и там обвиняют, а о том, что обвиняют нас, прибегая к одинаковой аргументации. Так, например, защита традиционного романа в качестве средства, якобы и сегодня еще пригодного для художественного отображения мира, кажется нам обманом, который вовсе не удивителен, когда он выходит из-под пера французских буржуазных критиков, ибо совершенно естественно, что они пытаются отстоять гибнущие буржуазные ценности; но тот же обман поражает, когда он выходит из-под пера или звучит из уст революционных писателей этой страны.

Возможно, наши коллеги недооценивают значение художественной формы. Всякий раз создается впечатление, что противники «нового романа» пренебрегают тем, что они называют формой. Они ведут речь об идее произведения, а затем, переходя к его форме, то есть к тому, как оно написано, говорят об этом, как о чем-то второстепенном, малозначительном, побочном. В конечном-то счете можно представить себе большого писателя, который плохо пишет, но движим при этом благородными намерениями и который изображает предметы возвышенные, чистые и высоконравственные. Правда, надо сказать, что в истории большие писатели всегда хорошо писали, и именно благодаря форме своих произведений они и были большими писателями, даже если их политические и социальные идеи оказывались ущербными, как, например, у Пруста или порою у Достоевского, а в более позднее время во Франции у Луи-Фердинана Селина.

Во Франции и вообще на Западе, по крайней мере в кругу передовых критиков, принято считать, что ответственность писателя не в том, что он рассказывает, а в том, каким образом он об этом рассказывает.

Для подтверждения этой своей мысли Ален Роб-Грийе сослался на роман Альбера Камю «Чужой», в котором автор, по его мнению, раскрывает свой внутренний мир не столько с помощью рассказа об убийстве араба французом в Алжире, сколько посредством использования такой весьма необычной грамматической формы, как сложное прошедшее время (passé composé).

— Во Франции,— продолжает Ален Роб-Грийе,— не в среде буржуазной, а, напротив, в среде революционной критики, мы привыкли считать, что форма романа XIX века, образцом которой для Франции в целом может служить творчество Бальзака, вполне отвечала приходу к власти буржуазии. Именно в эпоху, когда французская буржуазия одержала победу и навязала свои вкусы, казавшиеся незыблемыми, французский роман XIX века достиг своего апогея, и все серьезные историки литературы во Франции не могут не видеть тесной связи между бальзаковской формой романа и приходом буржуазии к власти. Поэтому, как я уже говорил вначале, нет ничего удивительного в том, что французские буржуазные критики отчаянно цепляются за эту традиционную форму именно для того, чтобы попытаться отстоять ценности буржуазии, которой они хотели бы любой ценой обеспечить будущее.

Но до чего же удивительно слышать те же самые аргументы со стороны тех, кто в политическом мире вел борьбу против буржуазии и кто в значительной степени одержал над нею верх! Разве не пора признать, что эта форма романа, эти ценности XIX века нуждаются в замене? Однако вы спросите меня: чем же их следует заменить? Поскольку вами эти ценности отвергаются, скажете вы, то какие, спрашивается, ценности вами признаются? И вот тут наша позиция покажется вам уязвимой. Между тем нам она, в известном смысле, представляется достаточно сильной: дело в том, что мы не знаем, каковы эти ценности. Я думаю, что пишем мы как раз для того, чтобы эти ценности обнаружить.

Коренное отличие, по-видимому, разделяющее сторонников того, что здесь несколько обобщенно и неопределенно называли реализмом и что я лично назвал бы социалистическим реализмом, и сторонников «нового романа» — если пользоваться столь же общим и неопределенным термином,— по-моему, заключается в следующем: писатели социалистического реализма ограничиваются только теми ценностями— политическими, социальными, моральными,— какие им уже известны, в то время как мы — я смею надеяться — стремимся открыть новые ценности.

Вот почему сравнение с самолетом, которое привел Симонов, показалось нам таким странным. Вряд ли уместно рассматривать литературу как средство транспорта. Разумеется, летчик который берет пассажиров на одном аэродроме, чтобы доставить их на другой, должен точно знать, куда он идет. А потому лежащую на нем ответственность никак нельзя сравнивать с ответственностью писателя, ибо писатель как раз и не знает, куда он идет. Возможно, он для того и пишет, чтобы попытаться узнать, почему и куда он идет. И когда меня спрашивают, зачем вы пишете, я могу ответить только одно: я пишу, чтобы попытаться узнать, почему мне хочется писать.

ИРЖИ ГАЕК (Чехословакия).

— Вот уже по крайней мере сорок лет люди во всем мире с неутомимой настойчивостью спрашивают себя, верно ли, что роман переживает кризис, и не находится ли он на пределе возможностей своего развития, не устарел ли он? Тем не менее, окинув взором эти сорок лет, мы не можем избавиться от впечатления, что, вопреки упорному скептицизму некоторых, роман не только не перестал существовать, но что до самых последних дней он продолжает занимать во всех больших литературах мира важное место.

Как раз на протяжении этих четырех десятилетий в области романа были созданы произведения, наиболее полно выражающие нашу эпоху перед лицом будущего. Из всех имен, какие тут можно было бы привести, я назову по крайней мере

несколько, с моей точки зрения наиболее бесспорных: Шолохов и Хемингуэй, Томас Манн и Ромен Роллан, Франц Кафка и Ярослав Гашек, Горький и Стейнбек, Бёль, Арагон, Камю, Моравиа, Леонов. Если, несмотря на это, так часто все же говорят о кризисе романа, то одна из причин, вероятно, в том, что на протяжении сорока лет роман значительно изменился. Он чрезвычайно дифференцировался, и нередко о нем судят, исходя из критериев, не соответствующих его эволюции. Что касается его социальной роли, духовной потребности в нем, осмысления им жизни современного человечества, то здесь, напротив, значение романа в мировой литературе в наши дни увеличивается. Литература, как таковая, не ставит нас перед необходимостью отказаться даже сегодня — именно сегодня! — от задачи выразить всю совокупность нашей эпохи, раскрыть ее связи и смысл ее противоречий, охватить во всем объеме непрерывно расширяющееся пространство и непрерывно сокращающееся время, в рамках которых разворачиваются наиболее важные события современной истории, в рамках которых вершатся судьбы человечества.

Только роман способен выразить всю эту концентрацию, все это усложнение действительности, вызванные нашей эпохой социальных и технических революций, выразить непрерывно растущее число связей современного человека, порождаемых условиями его жизни. Учитывая все это, можно сказать, что сейчас роман приобретает новое значение и что на него возложена социальная ответственность. Не только потому, что роман технически способен вобрать в себя большое количество жизненного материала, но в первую очередь потому, что главная его задача — искать самые противоречивые отношения, аспекты действительности и во всем ее многообразии открывать единство.

Далее Иржи Гаек отметил, что о «кризисе» романа можно говорить лишь там, где в литературе утверждаются скептицизм, убеждение в непознаваемости действительности, где доказывается, что существование человека бессмысленно, абсурдно. Впрочем, и появление писателей, не стоящих на позициях абсолютного скепсиса, но вместе с тем отказывающихся от всякой социальной ответственности и видящих свое назначение в том, чтобы описывать разрозненные элементы жизни, тоже свидетельствует о кризисе романа.

— Разумеется,— продолжал он,— я испытываю уважение к некоторым авторам, разделяющим эстетику французского «нового романа», в той мере, в какой речь идет о глубоком изучении некоторых типических внутренних состояний человека, об его отчуждении в условиях современной капиталистической цивилизации. Я весьма серьезно отношусь к их усилиям определить и демистифицировать мир; в то же время нельзя не констатировать, что они исходят из априорного отказа осмыслить различные факты современной жизни, выявить их взаимосвязи.

В свете этого вывода оратор резко критически охарактеризовал творческие позиции Алена Роб-Грийе и пришел к выводу, что они представляют собой полное отрицание какого бы то ни было смысла жизни и как следствие знаменуют собой новую волну вторжения ирреальности и метафизики в художественный образ действительности.

— В современном романе на Западе,— говорит Иржи Гаек,— есть немало подлинно гуманистических направлений, гораздо более близких нам, чем «новый роман».

Далее Иржи Гаек подчеркнул, что в социалистических странах проблемы развития романа носят совершенно иной характер. В этих странах, по его мнению, о кризисе романа можно говорить лишь как об одном из идеологических последствий культа личности.

— Стоит только социалистическому роману отказаться от настоящего поиска связей между элементами жизни, от индивидуальной попытки объяснить действительность, попытки, возникающей из глубоко личного сознания писателя, из всего того, что писатель знает об обществе, о нашей эпохе, о человеке,— и он сразу же теряет какое бы то ни было реальное значение для социалистического общества,— продолжал оратор.— Культ личности замедлил развитие социалистического романа в разных странах на разное время. Основа для сегодняшнего развития романа заложена не только в его героическом периоде 20—30-х годов, но прежде всего в самом характере социалистического общества, в мировом революционном движении, освобождающемся от всех искажений, порожденных культом личности.

Социалистическая проза во всем мире находится сегодня не только в процессе обновления некоторых основополагающих ценностей, на какое-то время утерянных или сниженных, но и на пороге новых преображений и новых задач, как уже сказал здесь мой друг Даниил Гранин. Если несколько лет назад для романа в почти любой литературе — в том числе и нашей — было характерно тяготение к внешней занимательности сюжета, то ныне чехословацкая литература как будто бы свидетельствует об обратном: во всех прозаических жанрах назревают необходимые условия для нового синтеза романа.

По мнению Иржи Гаека, современная социалистическая проза, в том числе и роман, развивается сейчас в двух направлениях. Приводя слова писателя Георгия Березко о том, что в советской литературе сейчас существует стремление одновременно и расширить и углубить образ эпохи, общества, человека, Иржи Гаек отме-

тил, что тенденция расширения и тенденция углубления не противоречат друг другу, а, наоборот, диалектически взаимно обусловлены. Подобного рода явление, подчеркнул оратор, наблюдается сейчас и в литературе Чехословакии. В результате вновь появились в изображении судьбы человека те трагические масштабы, какие характерны для творчества Горького и Шолохова. Причем трагическая сторона жизни толкуется не как застывший в своей неизменности факт, а как призыв к героической борьбе.

Переходя к проблеме изобразительных средств, Иржи Гаек сказал:

— В противоположность эстетике «нового романа» для нас проблема состоит не в том, чтобы любой ценой отрицать все выразительные средства так называемого традиционного романа. Мы согласны с мнением Хуана Гойтисоло, считающего, что до тех пор, пока он искал только оригинальную форму, ему приходилось жертвовать достоверностью ситуаций и персонажей в своих произведениях. «Теперь я думаю,— говорит этот выдающийся испанский романист,— что тема неизбежно обуславливает технику».

Мы тоже убеждены в этом и именно поэтому не можем отрицать того факта, что меняющийся характер современной действительности, все перемены в области человеческих чувств ставят перед романом в условиях нынешнего индустриального общества XX века проблему новых выразительных средств. Вот почему следует бороться со всякого рода консерватизмом и одновременно с наивным модернистским догматизмом, который воображает, будто проблема новых выразительных средств полностью разрешается тем, что автор социалистического романа ведет повествование от первого лица и вводит внутренний монолог, без которого в современной прозе невозможно написать ни строчки, если только мы не хотим отказаться от нашей репутации открывателей сияющих горизонтов.

По мнению Иржи Гаека, характер развития прозы за последние годы в Чехословакии ни в коем случае не доказывает ни правоты консерваторов и традиционалистов, ни правоты догматиков-модернистов. В качестве примера оратор сослался на такие военные романы словацких писателей, как «Мертвые не поют» Рудольфа Яшика и «Живые и мертвые» Владимира Минача, а также на новеллу чешского писателя Ладислава Бублика «Позвоночник». Соответствующие примеры, по мнению оратора, можно найти и в литературе других социалистических стран.

— Масштабы романа, беспрестанно развивающегося в двух направлениях — вширь и вглубь, по вертикали и по горизонтали,— требуют упорных поисков новых средств художественного выражения, поисков в области неизведанного,— сказал Иржи Гаек.

К числу таких средств он относит и средства, заимствованные из других областей искусства, и средства, связанные с традициями гораздо более старыми, чем литературные традиции XIX века.

— Опыт социалистического романа,— продолжал Иржи Гаек,— дает достаточно богатые примеры, подтверждающие точку зрения Эрнста Фишера, опирающуюся, впрочем, на художественное кредо Брехта, точку зрения, согласно которой в литературе не существует ни буржуазной, ни пролетарской, ни капиталистической, ни социалистической художественной формы, а существует социалистическая мысль, желание, воля творить вместе с социалистическим обществом такой мир, который уничтожит отчуждение человека, создаст мир благосостояния и разума, свободы и гуманности.

В заключение скажу, что всякие безапелляционные и канонические прогнозы могут лишь затруднить процесс синтеза романа, особенно те прогнозы, которые совершенно не считаются с возможностями новых литературных форм, предвидят возврат к тем историческим формам, какие были обусловлены совсем другими обстоятельствами. Однако это уже новая проблема, которая настоятельно требует проведения серьезной международной дискуссии.

КЕЙТ О'БРАЙАН (Ирландия).

Ирландская романистка Кейт О'Брайан начала с заявления, что ее выступление будет очень кратким.

— Ответственность романиста невероятно велика, потому что он стремится к тому, чтобы его читали миллионы, и эту ответственность он ни с кем не может разделить. То, что он пишет,— его личный долг. Тот широкий и опасный мост, который, как сказал Сантаяна, лежит между предметом заданным и предметом выраженным, он должен перейти один. Он должен пройти его в одиночестве. Нам всем знаком этот путь, описанный Сантаяной, и его опасности, и его разочарования. Мы все его испробовали и сейчас идем по нему. Мы хорошо знаем наши обязательства, и поэтому самое важное — чтобы нам позволили без инструкций извне завершить наш труд. Мы взрослые люди, в своем большинстве мы не душевнобольные. Мы сами выбрали свою трудную работу и просим только, чтобы нам дали возможность самим нести за нее творческую ответственность взрослых людей. В мире, который требует теперь всех возможных свобод, в мире, который отвергает былые запреты и религии, романист не только имеет право сам решать, как

ему поступить, как и всякий другой человек, но он теперь наделен сложным долгом: ведь если его читают, он должен убедиться, что создает в образах абсолютную истину из истинной чистоты своих мыслей, и ему приходится решать эту проблему наедине с собой. И я считаю, что в это никто не должен вмешиваться. По мере того как другие авторитеты падают с пьедестала, оказываются банкротами, он, романист, может обрести опасную значительность. Но он должен — по самой природе своего дара,— он должен один осмыслить, чего требует от него эта значительность, эта ответственность. Мир, который может читать его, а может и не читать, должен пойти на риск и довериться его вдохновению и нравственному авторитету. У нас, в Ирландии, сейчас работают очень молодые романисты в области романа действия. У них есть вещи смелые, вроде тех, которые создаются сейчас в Испании, и о двух-трех из них мир, несомненно, услышит; им еще только пошел третий десяток — тем, кого я имею в виду,— но они очень серьезны и разумны. Им приходится считаться с цензурой в Ирландии, очень глупой и очень нелепой. Некоторые их вещи очень горьки — это резкая критика социальных отношений, сильная и необходимая. Некоторые из таких произведений чрезвычайно насыщены образами и написаны со всей страстностью традиционной ирландской манеры. Но сейчас я хочу сказать вот что: романист должен иметь право на свободу в своем вдохновении и нравственной необходимости; он несет ответственность перед самим собой, перед своей писательской совестью и, наконец, перед своими читателями.

И. Г. ЭРЕНБУРГ (СССР).

И. Г. Эренбург с удовлетворением сказал, что не видит в зале защитников литературы, проникнутой антигуманизмом, пренебрежением к человеку.

Он отметил те важные проблемы, в отношении которых присутствующие на совещании писатели придерживаются общих или схожих точек зрения.

— Мне кажется,— сказал он,— мы могли бы установить то, с чем мы все согласны. Например, все мы сходимся на том, что писатели должны в романе отстаивать человеческие ценности.

Мы все против «холодной войны», против «железного занавеса». Мы все стремимся к миру, хотим расширить контакты друг с другом, лучше друг друга понять.

К этому же ряду И. Г. Эренбург относит и проблему ответственности писателя, подчеркивая, что, по его мнению, все присутствующие на совещании в итоге считают себя ответственными перед читателями.

Говоря далее об отношении к творчеству таких писателей Запада, как Джойс и Кафка, И. Г. Эренбург высказал мнение, что их следует рассматривать как историческое явление.

И. Г. Эренбург выразил свое несогласие с некоторыми положениями в речах участников дискуссии.

— Энценсбергер в пылу полемики приписал марксизму то, что относится к вульгаризации марксизма. Он сказал неточно о том, как можно показать внутренний мир фашистов.

Отмечая далее, что сторонники французского «нового романа» работают бескорыстно, их намерения субъективно честны, И. Г. Эренбург в то же время заявил, что считает ошибочными эстетические взгляды этой литературной школы.

(Выступление И. Г. Эренбурга опубликовано в «Литературной газете» 13 августа 1963 г.)

Л. Н. НОВИЧЕНКО (СССР).

Л. Н. Новиченко посвятил свое выступление проблеме развития советского романа как романа многонационального, создаваемого на многих языках народов СССР.

— Одна из самых примечательных черт нашей литературной жизни,— отметил оратор,— это именно возмужание романа не только в тех национальных литературах, где он и раньше имел внушительную историю, а и в тех, где он совсем недавно сеялся и выращивался, можно сказать, на целине.

Приведя несколько примеров крупных произведений казахской, киргизской, дагестанской литературы, Л. Н. Новиченко подчеркнул, что успехи большой прозы в национальных советских литературах были бы непонятны без учета той роли, какую играет интенсивное и многогранное общение этих литератур между собой. Он решительно отверг точку зрения, будто за расцветом советской литературы 20-х годов следовал период упадка и застоя.

Л. Н. Новиченко солидаризировался с Джанкарло Вигорелли, который в своем выступлении ответил на подобные утверждения, указав, что на Западе мало знают советскую литературу 30-х годов и для объективного суждения с ней нужно лучше познакомиться. Однако в другом вопросе Джанкарло Вигорелли, по мнению Л. Н. Новиченко, сам впал в заблуждение, несколько односторонне характеризуя дух советской литературы и многие ее важнейшие явления.

— Я не могу, например, согласиться,— сказал оратор,— с тем, что вся наша литература (а не отдельные ее произведения) консервативна и отстала по художественной форме. Я не могу согласиться с утверждением о всеобщем «морализаторском» характере советской литературы.

Возвращаясь затем к основной мысли своего выступления, Л. Н. Новиченко подчеркнул мировое значение опыта развития советского многонационального романа.

(Выступление Л. Н. Новиченко опубликовано в «Литературной газете» 13 августа 1963 г.)

ГАБОР ТОЛНАИ (Венгрия).

— В своем выступлении я хотел бы остановиться на некоторых итогах развития нашей литературы за последние пять-шесть лет. Из всех жанров прозы наиболее распространен в Венгрии короткий роман — этот термин соответствует термину «повесть». У нас очень мало было новелл, особенно хороших. Еще и сегодня среди венгерских писателей жанр повести является наиболее предпочтительным. Вместе с тем за последние годы как старые, так и молодые писатели опубликовали интересные рассказы. За последнее время появились также и большие по размерам романы.

Романы эти,— подчеркнул далее оратор,— посвящены анализу венгерской действительности. Время действия довольно разнообразно: это и годы между двумя войнами, и период освобождения Венгрии от ига фашизма, и сегодняшний день страны, строящей социализм. Основная черта современной венгерской литературы это, если можно так выразиться, социалистическая пристрастность писателя, или, пользуясь термином, который здесь не раз употреблялся, его «завербованность».

Каким путем отдельные люди, а также и целые общественные группы, самые различные по своим взглядам и своему происхождению, приходят на «строительную площадку» социалистического общества, чтобы принять активное участие в этом вдохновляющем процессе,— такова проблема, стоящая в центре внимания наших писателей сегодня. Один из наиболее типичных конфликтов нашей литературы сейчас состоит в сопоставлении тех, кто творит нынешнюю действительность социалистического общества, столь богатую возможностями и перспективами, с теми, кто не признает этой действительности.

Венгерские писатели вступили на литературный путь создания полноценного образа коммуниста в литературе,— продолжал Габор Толнаи.— Образ коммуниста в сегодняшней венгерской литературе — это не образ героя, который не знает никаких трудностей, никаких сложных проблем, как то было во времена господства догматизма; это человек, стремящийся преодолеть ошибки прошлого и собственные недостатки, чтобы возможно успешнее решить стоящие перед ним задачи.

Здоровая атмосфера, господствующая в современной литературной жизни Венгрии, способствует тому, что не только писатели-коммунисты, но и авторы, не состоящие в партии, тоже освещают в своих книгах эти проблемы в социалистическом духе.

Особенно ясно и четко писатели возвышают свой голос против фашизма и угрозы его возрождения, против войны и в защиту мира. Во многих книгах видно стремление художника слова вызвать у читателя чувство отвращения к войне со всеми ее бедствиями.

— Наши писатели,— сказал далее Габор Толнаи,— стремятся помочь развитию общественного сознания в духе социализма. Но, продолжая традиции своих предшественников, они в своих книгах изображают нового человека и тем самым обновляют самих себя. Писатель-индивидуалист, типичный для буржуазного периода нашей жизни, все более исчезает из литературы.

Общество наращивает свою силу прежде всего в процессе созидания. Вот почему творчество писателя интересно в той мере, в какой он наряду с другими моральными проблемами показывает свою концепцию морали труда.

Это одна из проблем, наиболее широко обсуждаемых нашими молодыми писателями. В своих произведениях они ведут острую борьбу за социалистическую мораль, в написанных ими книгах ярко горит пламя неодолимого желания способствовать созданию нового типа человека, живущего во имя торжества идеалов нового.

Этот новый тип человека показан не в абстрактной манере, а в процессе становления, в тесной связи с современной действительностью. Это тип человека, живущего в борьбе, и пульс у него 120 ударов в минуту, как сказал один из наших молодых поэтов.

В заключение Габор Толнаи отметил, что он пытался очень коротко и суммарно охарактеризовать наиболее типичные черты современной венгерской литературы. И он не сомневается, что эта литература, представленная сегодня такими известными именами, как Йожеф Дарваш, Пал Сабо, Петер Вереш и другие, а также многообещающей молодежью, уже заявившей о себе полным голосом, добьется новых и очень знаменательных успехов.

БЕРНАРД УОЛЛ (Англия).

Английский критик Бернард Уолл оговорился, что он не располагает большим материалом для выступления. Выразив свое согласие с Энгусом Уилсоном и Уильямом Голдингом, говорившими о сложности писательского мастерства, он сказал, что хочет коснуться лишь одного вопроса.

— Мне хотелось,— подчеркнул он,— выразить здесь то, о чем говорилось в замечательных беседах, которые мы вели в неофициальной обстановке с нашими советскими хозяевами. У нас были удивительные разговоры, и я чувствовал, что мы действительно общаемся друг с другом, несмотря на раздражающий языковой барьер, несмотря на то, что мы всегда разговариваем с кем-то с помощью еще кого-то другого. Но я глубоко чувствую, что мы все-таки понимаем друг друга, как люди, живущие в мире, сознающие свою ответственность и старающиеся спасти его. Но слушая здесь речи, я подумал, что между нами, с Запада и, в частности англичанами, и теми, кто проживает в Советском Союзе, существует «взаимное непонимание» относительно книг. Это тот вопрос, который я бы назвал, пожалуй, нравственной цензурой. Я с увлечением слушал господина Леонида Леонова — его речь, на которую, по-моему, ссылались многие из нас. Он указывал в очень сильных выражениях и с явным негодованием на некоторые стороны жизни Запада, которые у меня, как и у него, вызывают отвращение: реклама, стриптиз, ну и прочее в том же роде. Но, разумеется, мы приехали сюда не для того, чтобы говорить об этом. Однако это наводит меня на мысль об очень важном вопросе, по которому, я чувствую, мы можем разойтись во взглядах: о роли романиста, о том, является ли романист учителем, пророком или он пишет под влиянием внутренней потребности, как считаю я, чтобы выразить себя, и при этом тем самым выражает тот меняющийся мир, в котором мы живем. Я хочу сказать, что английский романист выразит этот меняющийся мир в английском романе, а французский романист — в «новом романе»; они, каждый по-своему, выразят один и тот же предмет, отразят то, что происходит с нами всеми. Эта взаимосвязь — не взаимосвязь поучения, а взаимосвязь своего рода самоотражения, соотношения между состоянием человечества и писателя, которые отражают одно другое, словно два бесконечно отражающих друг друга зеркала.

Далее, развивая мысль о том, что романист «выражает мир, как он есть», Бернард Уолл отстаивал право писателя на создание произведений, которые могут быть сочтены безнравственными. В частности, он взял под защиту роман Владимира Набокова «Лолита», утверждая, что безусловная непристойность этой книги искупается ее художественными достоинствами.

В заключение Бернард Уолл отметил, что встреча была плодотворной и способствовала сближению писателей между собой.

— Мы сблизились гораздо теснее в наших беседах, и не столько с нашими французскими друзьями, которые ведь наши ближайшие соседи и с которыми мы достаточно беседуем, но главное — с нашими русскими хозяевами, которым мы все глубоко благодарны.

ИЛИАД ВЕНЕЗИС (Греция).

По мнению греческого романиста Илиада Венезиса, после трех дней дискуссий и метания стрел одними романистами в других цель встречи представляется более ясной.

— Мы собрались в этом замечательном городе не для того, чтобы принимать решения, не для того, чтобы навязывать друг другу наши точки зрения, не для того, чтобы сражаться с идеями. Ясно, что каждый из присутствующих здесь писателей уедет со своим собственным представлением о романе и его судьбах. Он уедет и будет продолжать писать так, как ему нравится. Но в то же время в часы одиночества каждый из нас, быть может, задумается над искренностью и твердостью убеждений, высказанных противоположной стороной. И тогда он вступит в диалог с самим собой, в тот единственный диалог, который что-то решает.

Именно возникновение этого диалога с самим собою и служит подтверждением того, что наша встреча была полезной.

Далее Илиад Венезис сформулировал основные проблемы, вокруг которых, по его мнению, шла дискуссия. Одна из этих проблем, затрагивающих и современный роман, заключается в том, что в нашу эпоху сверхскоростей, спутников и космических полетов соотношение человека и вселенной коренным образом изменилось. Меняются масштабы и методы оценки не только явлений, но и человеческих чувств. А все это не может не отразиться на литературе, если иметь в виду и темы, и форму художественных произведений.

— Современному роману придется отказаться от велеречивости, от многословия,— продолжал оратор.— Образность приучила современного человека к зрительным ощущениям. Поэтому анализ психологического состояния человека, его чувств и душевных движений оказывается сегодня чересчур громоздким, и от него следует отка-

заться. Тем самым мы придем к более простым средствам, при использовании которых слово станет незаменимым, а пользозание эпитетами, утяжеляющими фразу своей излишней декоративностью, будет сведено до минимума. Лаконизм классических греческих текстов мог бы послужить здесь образцом.

Несколько лет назад мы, греки, сделали попытку, получившую всемирный резонанс: мы попытались возродить в древнем театре Эпидавра античную драму. Прошли столетия, а между тем в текстах, которые произносят актеры, невозможно опустить ни единой фразы, ибо каждое слово в них подобно частичке живого организма.

Современный роман будет, по существу, хроникой нашей эпохи. Вот почему он будет носить в основном эпический характер. В связи с этим личность утрачивает свое былое значение в интересах целого. Детали исчезают. Современная поэзия может быть малодоступной и заумной, как и современная живопись,— они не рассчитаны на широкую публику. Но роман, в наши дни занимающий место эпопеи, не может идти подобными путями, не разрушая себя как литературный жанр.

ПАНТЕЛЕЙ ЗАРЕВ (Болгария).

— С этой высокой трибуны европейской творческой ищущей мысли мы услышали слова досады и, если хотите, слова отрицания заслуг и достоинств старого романа.

В то же время были высказаны и мудрые, теплые слова благодарности роману — великому труженику и помощнику человечества в его попытках найти ответ на основные вопросы бытия. Прозвучала и мысль об острой потребности в искусстве романа и сегодня, а также убеждение, что роман будет нам сопутствовать и в новых, еще предстоящих нам усилиях, направленных на достижение добра и красоты. Зачем скрывать? Нам, приехавшим из Болгарии, вторая точка зрения ближе, она больше соответствует нашим убеждениям, нашему творческому чувству и нашей национальной потребности. Речь идет о жанре, который сделал многое для духовного обогащения современной цивилизации. Сегодня он ведет за собой художественную мысль так же, как в античные времена ее вела драма. Роман называли то хроникой времени, то изящной и занимательной историей нравов. В действительности же его внутреннее содержание является гораздо более сложным и глубоким.

Первая и основная функция романа — это исследование и познание общества. В этой сфере ни один из жанров не может с ним соперничать. Он — самый верный и самый придирчивый социолог и психолог. Он глубоко проникает в святая святых характера, он исследует человеческую душу, превращаясь в скромного, но мудрого нашего Вергилия, не прикрываясь в то же время обветшалой маской проповедника.

В своей внутренней творческой эволюции роман использовал богатые и разнообразные открытия других жанров; он расширил поле своего зрения и глубоко проник в диалектику души, разглядел добро и зло, возвышенное и обыкновенное. Он отразил величие и противоречия современной цивилизации. С ростом его роли и значения умножаются и его художественные тайны.

Сегодня перед романом снова и по-новому ставится основная проблема: взаимодействие общества и личности. Он исследует и направляет эти взаимоотношения. В этом состоит, и с точки зрения художественной, и с точки зрения проблематики, его первооткрывательство. В этом и новаторство романа. Так, роман помогает нам перейти от вчерашнего к завтрашнему дню цивилизации, от старого к новому миру. В этом диалектическом процессе роман сохраняет вечную преемственность культуры, от Бальзака и Стендаля, от Толстого и Достоевского, от Томаса Манна, Хемингуэя, Фолкнера, Моравиа до творческих открытий в художественном мышлении Фадеева и Шолохова, Федина и Леонова, Лакснесса и Арагона. Классический роман XIX века обязывает нас идти вперед; он говорит «нет» ленивой мысли, почившей в лоне традиции. Жизнь, провозглашающая новые истины в глубоких социальных преобразованиях XX века, вливает в роман новое содержание, требует новых форм. Но означает ли это, что форма должна сделаться самоцелью, подчинившись утомленному и пресыщенному вкусу? Кризис романа, проявляющийся кое-где после бурного восхождения, есть кризис содержания, кризис гуманистических позиций художника. Так рождается парадокс, когда некоторые приверженцы теории кризиса романа утверждают, что социальный и психологический роман это «закрытая форма», в то время как роман узкоиндивидуальных, болезненных, угнетающих, герметически замкнутых в себе переживаний — «форма открытая».

В сущности, эти понятия следовало бы поменять местами. Узколичное и интимное, поток сознания подменяет главное, основное в характере. Форма, в которой начинает заглушаться голос жизни, которая принижает человеческое в человеке, отрывает его от общества и во многих случаях сознательно противопоставляет его этому обществу, приводит в результате к отчаянию и безнадежности.

Такой тип романа теряет одно из качеств жанра — полифоничность. Эстетическое содержание обедняется, так как личность утрачивает связь с многообразием жизни, общества, природы. Мы наблюдаем, как жанр распадается на первичные элементы: одни гипертрофируются, а другие вовсе исчезают. Именно в этом смысле угрожающе всплывает мысль о кризисе.

Что касается современного реалистического романа, то он полифоничен и использует в некоторых случаях для воссоздания характера самые современные приемы. В социалистическом обществе он находит пути и возможности дальнейшего развития, раскрывает полноценно и многосторонне личность. В конфликтах и проблемах социалистического мира кроются источники его жизнеспособности. В этом мы могли бы убедиться, следя за явлениями болгарской литературы в период после освобождения страны от фашизма. Этот могучий жанр занял сейчас ведущее место.

Роман Димитра Димова «Табак» исследует столкновения сильных характеров в эпико-драматической форме. Роман Емелиана Станева «Иван Кондарев» изучает глубины национальной психологии. Реалистическая хроника Георгия Караславова «Обыкновенные люди», а также историческая летопись «Железный светильник» Димитра Талева написаны в духе традиций реализма. В романе Андрея Гуляшки «Ведрово» в предметно-психологическом ракурсе предстает жизнь современного села.

Борис Полевой и Эрвин Штриттматтер в Ленинграде в дни работы сессии.

Широкую картину формирования нового сознания рабочего класса дает роман Камена Калчева «Семья ткачей».

Роман «Мужчины» молодого беллетриста Георгия Маркова — попытка с помощью динамической композиции и экспрессивной трактовки детали еще более выпукло вылепить образы современников.

В этих различных по стилю произведениях воплощены проблемы нашего времени, и потому они вызывают интерес литературной общественности и народа.

Интерес этот проявляется не только к содержанию и форме произведения, но и к личности художника. Восприняв социальное, психологическое, этическое и эстетическое в сюжете произведения и образах героев, читатель уносит в своей душе обаяние личности художника.

Рассматривая далее проблему творческой личности художника и ее отражения в литературе, Пантелей Зарев подчеркнул, что эта проблема особенно весома и актуальна в гуманистической, реалистической литературе. Что касается тех произведений, где автор занят лишь собой, выключаясь из окружающего его мира, то в таких случаях эта проблема — если говорить откровенно — теряет свою актуальность.

— Новаторское овладение содержанием и формой — вот источник силы и внутренней убедительности романа,— продолжал далее оратор.— Современный роман стремится к лаконизму, к устранению описательности и вводит новую трактовку интеллектуально-психологической детали. В ходе этого процесса нарастает философско-этическое звучание романа. Однако оно не является единственным и абсолютным. Иногда динамика жизни требует избрания новых жанровых средств, стилевой многоструйности и многоплановости социалистического романа. Огромная читательская аудитория своими различными эстетическими устремлениями питает богатство и разнообразие его стилей. Никогда в истории нашей национальной литературы роман не вызывал такого жадного интереса.

Не о кризисе романа следует говорить, а о подъеме этого возглавляющего литературу жанра в современную эпоху.

ИВАН ЛАЛИЧ (Югославия).

Сербский писатель Иван Лалич посвятил свое выступление роману Иво Андрича «Проклятый двор».

— В этой замечательной по глубине книге, состоящей всего из каких-нибудь ста с лишним страниц, я усматриваю одну из важнейших идей, какие были высказаны романистом за последние несколько десятилетий, высказаны для читателя, для современного человека нашей стремительной эпохи. Позвольте мне полностью отождествить себя с этим безымянным и в то же время совершенно реальным читателем. Его тень постоянно стоит, склонившись за спиной писателя, когда он сидит за чистым листом бумаги, она присутствует даже тогда, когда писатель не хочет это присутствие осознать. Это читатель ставит на чистом листе свой невидимый и не-

стираемый знак, свидетельство своей любознательности, своего невысказанного желания однажды взять в руки законченное произведение.

Далее Иван Лалич перешел к разбору содержания «Проклятого двора», который он считает одним из лучших романов современности.

«Проклятый двор» — это история арестантского поселения в Турции. Оно состоит из низких строений, соединенных сплошной стеной. Между строениями расположен огромный двор, полностью отрезанный от внешнего мира. Над ним только небо. Среди заключенных есть люди, уже осужденные или еще находящиеся под следствием. Они согнаны сюда со всех концов страны и принадлежат к самым различным слоям населения, большую часть времени арестанты проводят во дворе, слоняясь вдоль его ограды, и сам двор этот становится как бы центром некоей микрогалактики.

По мере развертывания повествования в этом планетарии человеческих судеб постепенно возникают фигуры персонажей огромного трагического масштаба. Находясь в самом пекле этого «проклятого двора», люди раскрываются глубоко и неожиданно, утверждая при этом самих себя, свое человеческое достоинство.

«Проклятый двор» Иво Андрича, сказал Иван Лалич, открывает перед читателем огромные возможности романа как мифологии современного человека. Мифологии, смысл которой будет состоять в том, чтобы в лаконичной форме напоминать человеку о многообразии его жизни и борьбы во времени и пространстве и вместе с тем — о его возможностях, его опыте, его трагизме и красоте.

— Итак, я, читатель,— заключил оратор,— выбираю современный роман как мифологию человека в космосе, я выбираю роман, ибо он дает возможность более широкой, более полной, а следовательно, более реальной жизни.

В. А. АКСЕНОВ (СССР).

Как и многие другие выступавшие, В. А. Аксенов сразу же отверг утверждение о якобы существующем кризисе романа.

— Несмотря на телевидение, радио, кино, иллюстрированные еженедельники, роман продолжает пользоваться популярностью у огромной массы людей,— сказал оратор.— Секрет кроется в том,— продолжал он,— что гражданственность и социальность — неотъемлемые качества классической русской и советской литературы.

Говоря затем о творчестве молодых советских романистов, В. А. Аксенов подчеркнул, что он сам и его товарищи опираются на достижения предшествовавших писательских поколений. Он не приемлет позицию тех литераторов, которые, твердя как заклинание «модерн! модерн! модерн!», пытаются воздвигать «хемингуэевские айсберги» на мелководье, где по щиколотку.

Переходя к современному роману на Западе, В. А. Аксенов остановился на двух таких важных, по его мнению, понятиях, как персонаж и сюжет. Понятие «персонаж» равносильно понятию человека в романе, подчеркнул он. Зачем же писать роман, если не существует особых качеств личности, ее неповторимого характера, особенностей ее судьбы?

Сюжет В. А. Аксенов называл костяком романа, имея вместе с тем в виду непрерывное развитие действия, основанное на внутреннем драматизме, на внутреннем напряжении.

В. А. Аксенов окончил свою речь полемикой с теми романистами, кто на встрече в Эдинбурге отстаивал право писателя не участвовать в «борьбе за спасение цивилизации».

— Я,— сказал он,— был бы счастлив, если бы хоть самую малость смог принести помощь людям в этой борьбе.

(Речь В А Аксенова опубликована в «Литературной газете» 27 августа 1963 г.)

КАЙ ЛАЙТИНЕН (Финляндия).

Финский писатель Кай Лайтинен сказал, что он хочет поделиться некоторыми своими мыслями о книгах и читателях.

— Подчеркиваю: все эти размышления носят глубоко личный характер и опираются на мой опыт критика и читателя. С моей точки зрения, литература не похожа на религию, где каждый должен совершать одни и те же обряды определенным образом. Другими словами, существуют различные книги и различные читатели, и читатели должны иметь возможность выбирать книги по своему вкусу.

Далее Кай Лайтинен говорил о многообразии возможностей, какие заключает в себе литература, в частности — реализм.

— Достаточно,— продолжал он,— вспомнить русских классиков, что особенно уместно в этом чудесном городе, который мы узнали благодаря русской классической литературе. Так называемая современная литература открывает множество возмож-

ностей, различных точек зрения, различных художественных и нравственных решений. Ее ни в коем случае нельзя рассматривать как единое целое, как монолит. Если мы так поступим, если мы будем безудержно обобщать, мы совершим ошибку. Было бы также ошибочно думать, что социалистический реализм — это нечто монолитное, закрывающее возможности для различных художественных решений. Новое интересное поколение русских писателей, чей представитель Аксенов сегодня выступал перед нами, продемонстрировало, что оно идет своими путями и нашло свои каналы.

Кай Лайтинен затем подверг анализу характер современной читательской аудитории, подчеркивая, что ее характер постоянно меняется.

Он объяснил это несхожестью опыта. Молодое поколение не знает, например, испытаний прошлой войны, которые оказали решающее влияние на старшее поколение. По мнению Лайтинена, читательская аудитория коренным образом меняется примерно за двадцать лет, точно так же как и отдельный, так называемый неискушенный читатель. Кай Лайтинен высказал убеждение, что можно научиться понимать современную литературу, как и произведения любой другой литературной школы.

Оратор далее выдвинул точку зрения, что число читателей книги не всегда является главным. В качестве примера он привел творчество финского писателя Вольтера Кильпи, малоизвестного не только за пределами Финляндии, но и в самой стране.

— Его называют финским Джойсом,— продолжал Кай Лайтинен,— и действительно, он создал объемистый и очень сложный роман, в котором на 900 страницах описывается период в 3—4 года, причем язык книги очень своеобразен, изобилует длинными периодами, которые напоминают манеру Томаса Манна. Произведения Кильпи никогда не были особенно популярными. Он, по существу, писал для «счастливых избранных», как говорил Стендаль. Но, с другой стороны, у Кильпи всегда были свои читатели, люди с широкими взглядами, активно проникавшие в замысел писателя. Они любили творчество Кильпи и высоко ценили его книги. Таким образом, влияние этого писателя не исчезает, это узенький, но неиссякаемый ручеек. В то же время есть писатели, сразу завоевывающие шумную популярность. Но книги их уже через несколько лет оказываются совершенно забытыми.

Я поэтому считаю, что вопрос о количестве читателей вовсе не простой вопрос: существуют писатели двух названных мною типов, а между этими двумя полярными точками — множество других авторов, в разной степени популярных и любимых.

Заключительную часть своего выступления Кай Лайтинен посвятил праву писателя на эксперимент.

— Ученые исследуют природу, посылая в небо спутники,— сказал он,— почему же мы не можем делать то же самое с помощью наших романов? Ведь таким образом наше представление о мире станет глубже и богаче. Авторы таких романов — исследователи человеческой души и общества, и поэтому, с моей точки зрения, они имеют право на эксперимент. Для меня современный роман — Джойс, Кафка, Фолкнер, Роб-Грийе — нечто волнующее и возбуждающее мысль. Когда я читаю такие книги, я испытываю чувство, схожее с чувством путешественника, исследующего неведомые страны. Роб-Грийе сказал здесь, что пишет для того, чтобы узнать, к чему это его приведет. Я читаю многие современные романы по этой же самой причине — хочу знать, куда они меня приведут, куда мы все идем, ибо эти книги открывают новые пути.

Называя себя скромным оптимистом в отношении современного романа, Кай Лайтинен сказал, что этот роман дал ему возможность испытать необычные чувства, стимулировал глубокие переживания. Но ценность романа, по мнению оратора, не только в этом. Современный роман ценен еще и потому, что он говорит о противоречиях, присущих каждому человеку, и раскрывает стоящие перед ним проблемы.

— Как можно отвергать эту главную задачу всякой литературы? Такой роман — это форма творческой активности человека, и поэтому мы, друзья «нового романа», верящие в широкие возможности новых поисков в области языка, верящие в эксперимент, верим также и в возможности человека.

ГАНС КОХ (ГДР).

Немецкий философ и критик Ганс Кох сказал, что он хочет говорить только по одному вопросу — о том, как роман может бороться против фашизма, как он может помочь духовному преодолению фашизма.

— На братском кладбище в Ленинграде, где похоронено более 600 тысяч жертв фашистской блокады, писатели обоих германских государств записали сегодня в книгу отзывов этого памятного места обязательство сделать все, что в их силах, чтобы на немецкой земле никогда больше не была развязана война против Советского Союза. Под этой записью значатся, в числе других, имена Бруно Апица, который провел в фашистском концлагере более десяти лет, и Ганса Магнуса Энценсбергера, которому к концу войны было шестнадцать лет.

Слева направо Михай Бенюк, Ганс Кох, Эмма Бенюк, Микола Бажан.

Здесь возникла общность — возникло нечто такое, что нас объединяет и касается нас всех. В рамках этого общего стремления мы можем и должны спорить о путях и возможностях, которыми располагаем мы, писатели.

Я не хочу снова говорить здесь о возможности или невозможности «разгадки» фашизма. Об этом уже было сказано все, что нужно.

Но я хотел бы подчеркнуть, что боевое разоблачение фашизма в немецком романе началось отнюдь не после 1945 года, как здесь говорили. Именно в этом отношении прогрессивная немецкая литература имеет замечательные традиции. Корни ее восходят к роману Генриха Манна «Верноподданный»; их можно обнаружить в произведениях Томаса Манна — напомню только новеллу «Марио и волшебник» — и в значительном цикле романов Арнольда Цвейга «Большая война белых людей». Мы находим эту традицию и в творчестве Лиона Фейхтвангера. Все это замечательная реалистическая литература; в ней воплощены лучшие традиции борьбы против тех исторических тенденций, которые привели Германию к фашизму.

В годы господства фашизма в Германии эти традиции особенно четко проявились в немецкой литературе социалистического реализма, первыми значительными достижениями которой были «Испытание» Вилли Бределя и «Седьмой крест» Анны Зегерс.

Далее Ганс Кох подчеркнул, что в современной литературе ГДР эти славные традиции нашли достойное продолжение. Он называет, в частности, романы Бруно Апица «Голый среди волков» и Дитера Нолля «Приключения Вернера Хольта».

— Период фашизма и борьбы против него был одновременно периодом сурового испытания литературных методов,— отметил далее Ганс Кох.— По-моему, метод написания романа нельзя отделять от позиции пишущего. А разве, например, метод Кафки, который нам здесь рекомендовали в качестве образца, не связан самым тесным образом с позицией беспомощной, беззащитной жертвы бесчеловечного для этой жертвы, непостижимого мира? Может ли подобная позиция и подобный метод действенно способствовать уничтожению фашизма в общественной жизни и в душах людей? Я этого не думаю. Мы стоим на позициях **борьбы** против фашизма и войн, и реалистический метод, метод социалистического реализма в немецкой литературе, как выражение этой позиции, выдержал в период фашизма тяжелейшее историческое испытание. В той же мере он оправдал себя и после 1945 года — и в литературе, и в жизни.

Есть ли тому доказательства, существуют ли критерии для проверки? Это не голословные утверждения — их можно доказать. Воздействие литературы, помогающей изменять людей, проявляется в социальной действительности нашей республики.

В качестве примера оратор сослался на такой факт, как распространение романа Апица в количестве полутора миллионов экземпляров. Это означает, что книга волнует миллионы людей. Разве такой факт не свидетельствует о жизнеспособности реалистического романа?

Позвольте мне в заключение выразить от имени делегации Германской Демократической Республики нашу радость по поводу того, что здесь, в Ленинграде, в социалистическом Советском Союзе, мы смогли впервые по-настоящему участвовать

в работе Европейского сообщества писателей. Наша поездка во Флоренцию не состоялась, хотя итальянское правительство и готово было дать нам визы, по вине нарушающего международное право Бюро путешествий в Западном Берлине. Здесь, в Ленинграде, мы еще раз выражаем свою благодарность членам Европейского сообщества писателей, которые единодушно заявили протест против этих нелепых дискриминационных мер. Мы и в дальнейшем рассчитываем на их поддержку и надеемся, что в будущем сможем участвовать в работе Сообщества, в какой бы стране оно ни собиралось.

И. И. АНИСИМОВ (СССР).

И. И. Анисимов анализировал в своей речи основные моменты развернувшейся дискуссии. С его точки зрения, таких моментов два. Это, с одной стороны, социалистическое понимание человека, проникнутое уверенностью в его силах и безграничности его возможностей. Оно мажорно и отвергает мрак одиночества и отчаяние, так часто нависающее над западным романом нашего времени.

— Именно в силу такого нашего понимания назначения человека,— продолжал оратор,— понимание, которое принято связывать с Кафкой и Джойсом (мы относимся к книгам этих авторов как к определенным историческим ценностям, не собираясь ни в коей мере преуменьшать их значение), нам кажется неприемлемым.

Переходя ко второму пункту спора — вопросу о традициях,— И. И. Анисимов отверг обвинения советской литературы в старомодности:

— Мы очень чутки к новому во всем — и в области литературной формы,— но мы требуем от новаторства несколько большего, чем Бернар Пенго, который, выступая в дискуссии, так сердился на тех, кто не восторгается «новым романом».

Бернар Пенго, как указал И. И. Анисимов, игнорировал такие произведения современной французской литературы, как книги Андре Стиля, в частности его роман о войне в Алжире.

И. И. Анисимов далее отметил, что новаторство формы — явление столь же масштабное, как и новаторство содержания.

— Оно должно быть целеустремленным,— сказал он,— и помогать решению очень крупных задач раскрытия новой действительности, понимания нового человека нашего времени.

— Зашла речь об отцах того литературного направления, к которому многие из присутствующих западных авторов себя причисляют. Это Пруст, Джойс, Кафка. Ну что ж! У нас другие отцы, и прежде всего — Горький, имя которого для нас священно. Кроме того, в Западной Европе у нас тоже найдутся отцы, о которых иногда забывают.

Полемизируя с рядом утверждений Джанкарло Вигорелли, И. И. Анисимов выразил свое согласие с его мыслью о том, что нелепо игнорировать наличие в Европе социалистических литератур и что одной из главных задач Европейского сообщества писателей является взаимное узнавание литератур социалистического и капиталистического мира.

Часть своего выступления И. И. Анисимов посвятил разбору статьи французского критика Альбереса о романе. Он сказал, что считает ошибочной схему Альбереса, который рассматривает европейский роман последних лет как «новый плутовской роман» и к тому же полностью игнорирует факт существования социалистических литератур. И. И. Анисимов показал, что Альберес — как и многие другие буржуазные критики — пытается игнорировать передовую литературу современности. Он ввел в обсуждение также статью Энгуса Уилсона «Зло в английском романе», поддерживая ряд положений этой статьи.

Подводя итог сказанному, И. И. Анисимов пришел к выводу, что баланс современного романа — положительный.

(Выступление И. И. Анисимова опубликовано в «Литературной газете» 10 августа 1963 г.)

НАТАЛИ САРРОТ (Франция).

— Здесь было произнесено много речей. Было сделано много докладов; некоторые из них настолько совпадали с моими ощущениями, что мне казалось, будто я слышу почти слово в слово все, что собиралась сказать сама. Были доклады глубокие и сложные; в них рассматривались в самых различных аспектах многие вопросы — например, в выступлениях Гвидо Пьовене или Бернара Пенго,— и мне казалось, что я уже ничего не смогу добавить, настолько я была с ними согласна. Поэтому я ограничусь всего несколькими замечаниями.

По мнению Натали Саррот, участникам дискуссии не всегда удавалось «услышать друг друга». Особенно отчетливо это проявлялось тогда, когда речь шла о таком понятии, как действительность.

— Мне кажется, что участники дискуссии, произносившие это слово, по-разному понимали его,— продолжала она.— Что касается меня, я считаю, что для писателя слово «действительность» имеет два значения. Для писателя существует два рода действительности. Есть действительность видимая — та, в которой он живет, в которой он действует, в которой живут все люди вокруг него, та действительность, которая видна с первого взгляда и которую может увидеть каждый. Именно эта действительность как раз не является субстанцией романа.

Существует нечто невидимое, к чему стремится каждый писатель, невидимое, совсем не похожее на ту видимую реальность, в которую он погружен.

Случалось в истории литературы, случается и сейчас, что, основываясь на этой видимой действительности, избирая ее своим отправным пунктом, писатель создает мир новый, мир невидимый; благодаря этому отправному пункту, благодаря этому материалу он участвует в решении социальных проблем своего времени, создает «завербованное» произведение.

Но может случиться и так, что отправные моменты его творчества не связаны ни с социальными конфликтами, ни с общественной борьбой, ни вообще с окружающей его видимой действительностью. Он может оказаться перед лицом чего-то такого, что не имеет ничего общего со всеми этими вещами, оказаться перед лицом такой действительности, в которой он чувствует себя одиноким, куда не может проникнуть вместе с ним ни одна живая душа, перед лицом такой действительности, которая изолирует и отделяет его от других людей. Мне кажется, что никакой нравственный приказ не в силах заставить его обратиться к той или иной форме действительности. Свойственная ему манера постижения мира «сливается», по выражению Сезанна, с самыми глубокими корнями его существа, она погружена в область подсознательного, и просто невозможно заранее сказать: «Я буду выражать такую-то или такую-то форму действительности». Поэтому, когда писателю доведется встретить нечто такое, что покажется ему единственным в своем роде и что, по его мнению, он видит первым из людей, никому не дано войти вслед за ним в этот мир. Он обязан сам создать орудия, создать формы, которые позволят ему охватить эту действительность. Он не может в этот момент искать помощи у тех, кто привык воспринимать мир каким-то определенным образом. Он обязан сам создать все инструменты, он охвачен в этот момент сомнением, о котором нам говорил Тибор Дери, и он спрашивает себя, прав он или нет, он не может ждать ни от кого ни помощи, ни совета. И если ему удается создать нечто в этом роде, он обычно сталкивается со всеобщим и яростным сопротивлением; это сопротивление неизбежно, поскольку люди привыкли жить в видимом мире, и притом — произведениями прошлого, жить в этом видимом мире, где им так удобно и спокойно и где всякий новый элемент, все эти частички, а порой и глыбы неведомого мешают, разрушая замкнутый мирок, в котором они привыкли нежиться. Они сопротивляются всеми силами.

Далее Натали Саррот говорила о том, как непримиримо реагировали великие писатели прошлого на такого рода косные позиции читателей. По мнению Бодлера, наступательная сила произведения должна быть так же велика, как сила сопротивления миллионов людей. Благодаря именно этой наступательной силе, благодаря проявленному ими мужеству и динамизму великие писатели прошлого сумели, пронзая очевидное, отразить неведомую реальность, что и делает их творения бессмертными.

— Таким образом, мне кажется,— продолжала Натали Саррот,— что литература, как всякое искусство,— это непрерывное изменение, что всегда существует движение от известного к неизвестному, неизвестное включается в известное, мало-помалу становясь банальной реальностью. Формы, в которых это неизвестное выражено, находят подражателей и поэтому становятся формами обычными, формами академическими, и, естественно, появляются писатели, которые стремятся имеющимися у них силами вырваться из этих форм, иначе говоря, существует постоянное движение противодействия традиции, можно даже сказать, что существует «традиционная» борьба против традиции.

Далее Натали Саррот сказала, что к течению, которое принято называть «новым романом», относят обычно писателей, часто весьма не похожих друг на друга. Если в конечном счете этих писателей что-то и связывает, то это убежденность в необходимости очень большой свободы в выборе формы. Представители школы «нового романа» единодушно считают также, что три таких писателя, как Джойс Пруст и Кафка, совершили подлинный переворот в литературе и что последствия этого переворота необратимы. Однако идти по открытому ими пути вовсе не значит механически использовать открытые ими приемы. Это было бы неправильно, как неправильно ориентировать современную литературу на традиции и стиль литературы XVIII и XIX веков.

— Должна сказать,— заметила в заключение своей речи Натали Саррот,— что для французских писателей, когда они чувствуют, что из-за поисков новых путей они немного отдаляются от публики, такая жертва не очень велика, ибо мы обращаемся к исключительно узким читательским кругам и у нас очень мало шансов дойти до широкой публики.

ЭНГУС УИЛСОН (Англия).

Отметив, что он выступает с изложением точки зрения английской группы участников сессии по поводу имевшей место дискуссии, Энгус Уилсон далее сказал:

— В Англии я трачу много времени, убеждая англичан и, в частности, писателей, быть менее провинциальными, менее замкнутыми в своем мирке, уговариваю их больше интересоваться литературой континента. И вот здесь, на этой сессии, мне порой бывало грустно, потому что мы слышали упоминание многих великих имен — много раз здесь называли имена Бальзака и Стендаля, Достоевского и Толстого, Фолкнера и Хемингуэя. Сейчас я назову некоторых других великих умерших писателей: Ричардсон, Филдинг, Вальтер Скотт, Джейн Остин, Теккерей, Диккенс, Мередит, Харди, сестры Бронте, Джеймс, Конрад, Вирджиния Вулф, Лоуренс. Это далеко не все великие умершие писатели Англии. Я был бы очень рад, если бы на наших заседаниях услышал упоминание одного-двух из этих имен. Мы тогда бы не чувствовали себя в такой мере островитянами — хотя мы, конечно, островитяне,— и во всяком случае, нам тогда не казалось бы, что эта сессия — остров, отделенный от нас морем. Прошу принять этот мой маленький шовинистический протест.

А теперь еще кое-что о сессии. До вчерашнего дня я ощущал известное разочарование и огорчение. А потом я услышал речь Василия Аксенова, которая мне показалась значительной. Он говорил языком, понятным мне.

Но перед его выступлением нам, англичанам, казалось, что нас ставят перед альтернативой — только одной из всего богатейшего мира литературы. Либо мы должны придерживаться социалистического реализма — у нас в Англии есть много хороших писателей-реалистов, но только, по-моему, мало кто из них согласится принять те викторианские нормы, нормы литературы XIX века, которые кое-кто из советских писателей старшего поколения считает неотъемлемыми от реализма. Если же мы не будем придерживаться социалистического реализма, то перед нами в таком случае окажется один-единственный путь — путь «нового романа». Такова альтернатива. Мне это не представляется разумным. Я полагаю, что нет такого английского писателя, которому это может показаться разумным.

Далее Энгус Уилсон говорил, что ложное представление о реалистическом романе прошлого ведет сторонников «нового романа» к тому, что они создают столь же ложное представление о литературе будущего. Не делая различий между Бальзаком, Диккенсом, Достоевским, Лагерлеф и Прустом, Роб-Грийе и его коллеги запутывают вопрос.

— Ведь если к нам придет ребенок,— продолжает Энгус Уилсон,— и спросит, что такое кенгуру, и волки, и мыши, и свиньи, и жирафы, то вряд ли вопрос будет исчерпан ответом, что они — млекопитающие, хотя это, несомненно, справедливо. Однако этого недостаточно. И недостаточно рассматривать роман XIX века как нечто единое, нечто целое, своего рода монолит — ведь если вы так рассматриваете роман прошлого, то, разумеется, таким же вам представится и роман будущего. Ведь если в XIX веке существовал только один вид романа, в таком случае, разумеется, в будущем может существовать тоже только один вид романа — «новый роман». Но нам, англичанам, придется отвергнуть это, так же как нам приходится отвергать многое из того, что советские писатели старшего поколения говорили о социалистическом реализме.

Я хочу закончить свое выступление кратким обзором того, что мы в Англии пытаемся делать в области романа. У нас есть писатели вроде Алана Силлитоу — реалиста, чьи романы сильно окрашены влиянием лирической поэзии. У нас есть Уильям Голдинг, который недавно выступал перед вами, он написал четыре аллегории, возродил этот жанр. По моему убеждению, две из них принадлежат к лучшим книгам, появившимся в мире после войны. У нас есть Айрис Мердок, которая в своих последних книгах пытается превратить роман в нечто напоминающее социальную комедию, поставленную в театре. У нас есть Генри Грин и Айви Комптон-Беннет, превратившие роман в диалог. У нас есть писатели вроде Ч. П. Сноу, которые обратились к детективному сюжету, чтобы трактовать его в серьезном плане; у нас есть писатели вроде Грэхема Грина, которые использовали приключенческий сюжет и придали ему новую глубину. У нас есть и романисты совсем иного склада. Это создает различия, это создает многообразие. И если, как я убежден, цель романа заключается в том, чтобы отражать человеческую жизнь в ее полноте, то в таком случае мы, несомненно, достигнем этого в большей степени, если создадим разнообразие, чем если будем провозглашать, что существует лишь один-единственный путь, отлучая от литературы всех, кто от него отклоняется.

ДЖАКОМО ДЕБЕНЕДЕТТИ (Италия).

— Среди интересных мыслей, которые мы слышали здесь,— сказал Дебенедетти,— меня особенно привлекает одна, развитая в выступлении Даниила Гранина. Речь идет о взаимоотношении современного романа и современной науки.

Этой темы коснулся также в своем сообщении наш чехословацкий коллега, и именно об этом в своем коротком выступлении в первый день пытался говорить я.

На мой взгляд, процесс развития итальянского романа сходен с процессом развития французского романа, о котором говорил здесь Бернар Пенго. Итальянский неореализм аналогичен так называемой «завербованной» литературе во Франции. В последние годы мы тоже стали свидетелями конца неореализма, на смену которому пришли разнообразные литературные эксперименты. Я думаю, что это явление можно объяснить. Анализируя связь между личными переживаниями человека, порождаемыми окружающей средой, и общественными проблемами, порождаемыми социальной структурой общества, американский социолог Райт Миллз говорит об особом даре «социологического воображения», позволяющего писателю представить взаимозависимость между судьбой человека и ходом истории, между личными и социальными проблемами, что в конечном счете и составляет картину современного общества.

Я думаю, что не ошибусь, если скажу: «социологическое воображение», каким его описал Райт Миллз, действительно является основным качеством романистов-неореалистов и представителей «завербованной» литературы. Но оно предполагает возможность и наличие обусловленности между индивидуальными переживаниями человека и общественными проблемами, которая для нас, представителей западного мира, была мыслима только в послевоенный период, в эпоху больших надежд. Неокапитализм породил разрыв между личностью и обществом, между жизнью человека и ходом истории. Появился новый тип романиста, который занимается не столько исследованием действительности, сколько исследованием самого себя. Начался новый период, период романа о романе, когда писатель вплотную подошел к описанию проблемы создания романа в современных условиях.

Я привел в своем первом выступлении несколько примеров, иллюстрирующих эту стадию развития романа. Некоторые из них совпадают с примерами, данными Бернаром Пенго. Но существует еще один фактор, безусловно влияющий на развитие романа,— появление нового ви́дения мира благодаря развитию науки, особенно ядерной физики, о чем говорил в своем выступлении Даниил Гранин.

Далее оратор говорит об аналогии, существующей между методами современной науки и методами современной литературы, в частности методами создания современного романа.

— Романист прошлого,— развивает свою мысль Дебенедетти,— вел себя как человек, принимающий механистическое объяснение мира, управляемого определенными законами. Поэтому он брал на себя ответственность за все, о чем он рассказывал, как за единственно возможное. Современный романист, как нам кажется, склоняется скорее к идее «моря возможностей», если пользоваться выражением, бытующим в современной физике, он может лишь констатировать движение неких частиц и атомов, которым уподобляются персонажи романа, вступающие во взаимодействие только потому, что среди бесчисленных возможностей того, что эти частицы и атомы никогда не встретятся, существует вероятность, что столкновение произойдет. В романе «Скука» Моравиа как бы говорит нам: такая вероятность действительно существует, и я вам даю несколько примеров, свидетельствующих о том, как это могло произойти и действительно произошло.

В социалистических странах, где нет разлада, по крайней мере такого глубокого, как на Западе, между личностью и обществом, реализм еще возможен. У нас, при сложившемся порядке вещей, традиционный роман немыслим. Но появилось новое ви́дение мира, открытое наукой, и оно в равной мере характерно и для социалистических стран, и для стран капиталистического Запада. И хотя роман, развивающийся в различных социальных условиях, отражает два больших качественно различных мира, существующих на земле, возможность общего метода исследования действительности и человека во всех его проявлениях объединяет в какой-то степени романистов всех стран.

ДЖОН ЛЕМАН (Англия).

— Я должен извиниться за то, что выступаю перед вами. Я не считаю себя романистом. Правда, я написал один роман, но кто не писал романов? Мне это особенно хорошо известно, потому что я двадцать пять лет был издателем. Я просто немного поэт и критик. А может быть, я просто безработный редактор. Но все годы своей работы в области литературы я очень много думал о романе и сделал для себя некоторые выводы. Все, что я слышал на этой конференции, только подтвердило, на мой взгляд, правильность этих выводов.

Во-первых, не существует никаких правил создания романа, за исключением тех, которые возникают в процессе развития произведения, пока автор над ним работает. Во-вторых, не существует никаких школ, это просто изобретение журналистов, и даже таких журналистов, которые сами к тому же прекрасные писатели, а им-то это уж вроде бы совсем не к лицу.

Реализма, как такового, не существует. Есть только различные степени нереализма. Не существует необходимой, обязательной связи романа с политикой, социологией или чем-нибудь еще, за исключением той связи, какая естественно и неизбежно возникает из самой личности писателя и окружающих его условий. И когда книга написана, она выходит из-под контроля. Никто не может влиять на воздействие своего произведения. В этой связи мне хотелось бы вернуться к тому, что сказал Тибор Дери в своей чрезвычайно интересной речи. Он описал воображаемый роман, посвященный битве при Азенкуре. Собственно говоря, Шекспир уже написал несколько пьес, завершающихся битвой при Азенкуре, и героем заключительной пьесы он сделал Генриха V. Из слов Тибора Дери можно заключить, что все симпатии Шекспира должны быть отданы Генриху V, раз он сделал его своим героем. Однако дело обстоит далеко не так просто, потому что, прочитав эти пьесы, мы не помним героя — мы помним труса, Фальстафа. И здесь, мне кажется, мы вновь подходим к тому вопросу об ответственности, о котором мы так много говорили. Раз вы не можете быть уверены в воздействии своего произведения, на мой взгляд, следует проявлять большую осторожность, говоря об ответственности. Разумеется, как сказал Роже Кайюа, художник должен сознавать свою ответственность; само собой разумеется, что это необходимое условие. Но не таит ли в себе ответственность, взятая вообще, довольно ханжеской предпосылки собственного превосходства? Писатели в первую очередь должны быть внутренне скромными, в этом я глубоко убежден. В конце-то концов, что это значит — быть художником? Человек, по-моему, становится художником потому, что у него свое видение мира. Он видит его чуть-чуть не так, как другие люди, как его предшественники, и хочет показать другим именно это различие, как только что говорила Натали Саррот.

Мне кажется, однако, что на этой сессии очень мало говорилось о языке. Еще недостаточно обладать этим видением и стараться передать его старыми способами. Важно не только то, **что** говорится, но и **как** говорится. Ни одно произведение не может стать по-настоящему великим, если в нем не будет не только нового взгляда на мир, но и нового языка и подхода к материалу. И в этой связи мне представляется довольно многозначительным то, что сейчас происходит в Англии с очень древней юмористической и сатирической традицией. Именно в этой традиции мы, по-моему, с 1930 года можем заметить наиболее значительные эксперименты и попытки обновить подход к материалу, обновить диалог, обновить язык — я имею в виду произведения Эвлина Во, Грэхема Грина, чьи «романы для развлекательного чтения» я причисляю к лучшим его книгам. Я имею в виду новеллы В. С. Притчета, произведения Энгуса Уилсона и писателей младшего поколения — Кингсли Эмиса, Джона Уэйна и других, которых вы знаете. Как поэт, признаюсь, что сам я предпочитаю романы, содержащие определенный поэтический элемент, романы, в которых преобладает воображение, в которых слова значат больше, чем они говорят: традицию Пруста, Бунина и Вирджинии Вулф. Можно найти много примеров и среди живой литературы наших дней. Как сказал Энгус Уилсон, выдающийся пример — это Уильям Голдинг, и мне еще хотелось бы упомянуть двух писательниц: Элизабет Боуэн и (прошу извинения) мою сестру Розамонд Леман. И меня, как только что говорил Энгус Уилсон, поражает, когда я думаю о совокупности современной английской литературы, ее огромнейшее разнообразие — разнообразие в творческом подходе и эксперименте. И это подводит меня к тому, что я хотел сказать в заключение.

Далее Джон Леман говорил о том, что есть люди, неверно представляющие себе смысл и задачи Европейского сообщества писателей.

— Мне иногда кажется,— продолжает он,— что кое-кто смотрит на его деятельность как на футбольный матч между Востоком и Западом. Я убежден, что это не так. Европейское сообщество — это нечто гораздо большее. Это вовсе не футбольное состязание. Это сообщество, где писатели многих стран могут встретиться с писателями многих других стран. Порой мне кажется, что мы в Англии понимаем русских лучше, чем французов. И если мы можем разговаривать здесь с французами, а итальянцы — с поляками, а испанцы — с чехами, то, значит, сообщество оправдывает свое существование. Его цель не в том, чтобы противопоставить нас, на Западе, Востоку. Нет, это нечто гораздо более сложное и нужное — перекрестное оплодотворение мысли, взаимное стимулирование идей, чтобы мог родиться новый роман, такой, какого мы еще пока не в силах себе представить.

В. Г. МАЧАВАРИАНИ (СССР).

Грузинский писатель В. Г. Мачавариани в своем выступлении кратко остановился на некоторых моментах прошедшей дискуссии.

В частности, он говорил о том, как, по его мнению, следует трактовать в романе проблему личности и ее судьбы в современном мире.

— Вы ставите вопрос о судьбе человека, брошенного в этот мир,— сказал В. Г. Мачавариани, обращаясь к Натали Саррот.— Мы очень много думаем о судьбе человека. Если речь идет о дерзании, по-моему, никто в мире не дерзает пока больше, чем дерзает русский советский человек.

В. Г. Мачавариани подчеркнул, что познание внутреннего мира человека — процесс, неотделимый от его реальных связей с внешним миром. В этом — и простота и сложность задачи романиста. Оратор говорил затем об ответственности писателя, поддерживая точку зрения на этот вопрос, высказанную К. М. Симоновым.

Оценивая в заключение результаты работы сессии, В. Г. Мачавариани с удовлетворением отметил, что встреча была успешной.

— Мы выяснили взаимные позиции,— сказал он.— Такие встречи необходимы, мы никогда не будем отказываться от них, наоборот, мы будем проводить их все чаще на основе взаимного понимания и уважения.

ГАНС ВЕРНЕР РИХТЕР (ФРГ).

— Я хотел бы сказать несколько слов о происходящем здесь литературном споре. Он представляется мне спором из-за старых шляп. Я не имею ничего против споров о шляпах. Можно, разумеется, спорить из-за шляп даже в историческом плане, но, по-моему, для этого вовсе не нужно было приезжать в Ленинград.

Кафка, Музиль, Джойс, Пруст — все это уже история литературы, и я не вполне понимаю позицию некоторых моих коллег. Что касается меня, то я разделяю взгляды французской делегации. Я не слышал выступления Натали Саррот, но это и не нужно было — ведь я читал ее книги и склоняюсь к ее мнению.

Меня расспрашивали о «Группе 47». Это объединение немецких писателей. Очень трудно изложить позиции этой группы, у нее нет какой-либо программы, но я полагаю, что эти писатели близки устремлениям французских писателей.

Далее Ганс Вернер Рихтер заявил, что он желал бы, чтобы русские писатели скорей вышли в своем развитии за пределы социалистического реализма, и хотел бы, чтобы им была дана возможность сделать это.

В заключение Ганс Вернер Рихтер сказал, что вначале провал встречи казался ему неизбежным. Теперь же, к концу дискуссии, он видит ее неоспоримый успех.

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ (СССР).

А. Т. Твардовский в начале выступления подчеркнул свою искреннюю заинтересованность в проблемах современного романа не только с позиций читателя, но и редактора одного из литературных журналов. Он решительно отверг все утверждения, будто роман изжил себя или находится в состоянии кризиса.

Ссылаясь на примеры из русской классической литературы, А. Т. Твардовский говорил о том, что роман постоянно претерпевал и, очевидно, будет в дальнейшем претерпевать различные изменения, но тем не менее останется одним из ведущих жанров литературы.

С точки зрения оратора, собравшиеся в Ленинграде писатели вполне могут найти общий язык по вопросу, который обсуждается, ибо все без исключения выступавшие, говоря о романе как о литературном жанре, утверждали, что в основе, в главном жизненном фокусе этого жанра находится человеческая душа, человек.

По мнению А. Т. Твардовского, особенно важным условием создания сколько-нибудь значительного произведения является осознание художником того, что он — первооткрыватель и может сказать людям нечто известное лишь ему одному.

(Речь А. Т. Твардовского опубликована в «Литературной газете» 10 августа 1963 г.)

ДЖАНКАРЛО ВИГОРЕЛЛИ (Италия).

Прежде чем предоставить слово следующему оратору, Джанкарло Вигорелли выразил уверенность в том, что обмен мнениями за «круглым столом» был успешным.

— Естественно, каждый писатель, когда он высказывает свои идеи не из честолюбия, а из стремления сказать правду, верит в правду своих идей. Это закономерно. Но верно и то, что ни один писатель не имеет права представлять нам свои идеи как нечто привилегированное, и мы доказали это в наших спорах. Даже при идеологическом единстве у наших друзей из Советского Союза и других социалистических стран есть много очень серьезных исканий; с другой стороны, ясно, что на Западе есть разные позиции. Мы говорили здесь, что Пруст, Джойс и Кафка — наши отцы, и я, может быть, не совсем верно сказал, что они стали уже нашими дедушками, то есть что они не разрешили всех наших проблем, а, напротив, поставили перед нами определенные проблемы. Я заявляю — это мое личное мнение,— что я не считаю «новый роман» ключом к решению ни проблемы романа, ни проблем человека, совсем напротив. Я от себя повторю то, что сказал Джон Леман: я скорее на стороне советских друзей, чем наших французских коллег при всем уважении к ним.

Я думаю, что на Западе должны наконец начать действительно прислушиваться к тому, что делают в социалистических странах. Не для того, чтобы мы стали социалистами в литературе или в других областях жизни, но потому, что для свободного обмена мнениями необходимо преодолеть невежество, разрешите мне употребить это слово, может быть слишком резкое,— наше невежество по отношению к тому, что происходит в литературе этих стран. К счастью, на Западе появляется все больше переводов, и обмен мнениями со дня на день будет происходить все проще и легче.

ЖАН-ПОЛЬ САРТР (Франция).

— Вот уже шестнадцать лет, как я не пишу романов, поэтому за развернувшейся здесь дискуссией я следил с живейшим интересом, но без особой увлеченности. Именно это и позволяет мне высказать свои впечатления чисто свидетельского характера. Вы знаете, что, когда собрание такого рода не совсем удается, обычно говорят: «Но по крайней мере завязались личные контакты» — имеются в виду встречи в кулуарах. Ну что ж, нужно признать, что такие контакты здесь были. Многие из нас, приехавших с Запада, познакомились со многими из вас, представителями Востока; но этим не исчерпывается значение встречи, и я могу сказать, в каком отношении, на мой взгляд, состоявшийся здесь диалог, несмотря на многие трудности, следует рассматривать как успех.

Вместе с тем следует отметить и ряд отрицательных моментов. Прежде всего огромное многообразие точек зрения, особенно среди представителей Запада. Невероятно трудно назвать такого человека, который в состоянии, например, ответить тем или иным советским писателям от имени всех, кто пишет на Западе романы. Одни отвечали одно, другие — другое; и те, и другие представляли ограниченные группы. Наконец, и об этом тоже надо напомнить, некоторые из наших советских друзей выступили с отказом от дискуссии.

Я думаю,— заявил далее Жан-Поль Сартр,— что проблемы, которые выкристаллизовались в результате общего обмена мнений, должны отныне явиться предметом обсуждения иного рода, в более узком кругу. Первая из этих проблем, освещенная прежде всего в выступлении Натали Саррот, заключается в том, что мы, представители обеих сторон, не являемся людьми вольными в выборе своего положения, не являемся писателями, которые сами могли бы избрать для себя публику по своему вкусу, мы, мол, выбрали для себя небольшой круг читателей, а писатели социалистических стран, например,— широкую публику. Нет, мы — писатели, которые вынуждены считаться с тем фактом, что широкая публика пока еще не находится в нашем распоряжении и что для того, чтобы до нее добраться, нам нужно использовать возможности, находящиеся в руках буржуазии. У нас в настоящее время издаются великолепные серии, например «карманные книги»; они стоят очень дешево, и теперь их читает все более и более широкая публика, можно сказать, что их читают массы. Но в этих сериях публикуются только произведения, удостоенные премии, а это сразу отстраняет от участия в этих изданиях большинство писателей, так что, в конце концов, мы имеем право доступа к массам только в том случае, если мы понравились господствующей элите. Это одно из наиболее крупных наших противоречий. И если мы все же доходим до масс, в этом нет ни нашей вины, ни нашей заслуги, это просто факт; так же, как фактом вашей действительности является то, что вы непосредственно обращаетесь к массам; очевидно также, что, когда мы начинаем говорить с буржуазией, наше отношение к ней не может быть таким же, каким является ваше отношение к вашим читателям, с которыми вы находитесь в полном идейном согласии. Только помня обо всем этом, можно вести серьезную дискуссию о проблеме романа. Это — первое.

Вторым важным пунктом, который, по мнению Жан-Поля Сартра, весьма отчетливо затрагивался во всех выступлениях, является проблема взаимоотношения романа и действительности, а следовательно, и проблема того, что же такое сама действительность.

— В этом зале,— продолжал Сартр,— не найдется ни одного романиста, который не хотел бы говорить о действительности. Мы слышали, как Натали Саррот утверждала здесь, что она стремится говорить о действительности. Но в этом плане, в связи с ее мыслью о том, что эту действительность нужно открывать — и я с ней согласен,— в какой-то момент ей грозила, как мне кажется, опасность быть понятой в идеалистическом смысле, потому что она говорила о создании действительности. Значит, вторая проблема такова: создавать, или отражать, или открывать? Впрочем, здесь нет противоречия: можно великолепнейшим образом открывать создавая, но все это требует объяснения. С другой стороны, слушая некоторые выступления, можно было заключить, что социалистический реализм требует лишь отражения действительности. Но не следует также забывать, что речь идет о романах, то есть о творениях человеческого разума. Другими словами, та же самая проблема как бы выворачивается наизнанку. Нам могут сказать: вы идеалисты, потому что вы ищете истину или реальность, которая не является первоначальной данностью; но можно ответить на это: не забывайте, что создаваемое вами — вымысел, значит, по существу вы — лжецы, такие же лжецы, как и мы. Всякий писатель — лжец: он лжет для того, чтобы сказать правду, но

того факта, что он лжет, забывать не следует. А вот об этом-то здесь и не говорилось. Он лжет, потому что он говорит: «Было пять часов вечера. Мадам имярек вышла погулять». Это неправда. Не было пяти часов вечера, она не выходила погулять, потому что ее вообще не существует.

Наконец, в связи с этим я хотел бы отметить также, что здесь была поставлена такая проблема, как проблема ценностей. Было сказано с этой трибуны (мне кажется, это говорил Роб-Грийе, и в этом плане, я думаю, он был прав), что многие из противников «нового романа» исходят из ценностей, уже созданных, исходят из того, что лишь эти, уже созданные ценности следует отражать, словно мир был раз навсегда создан, завершен и потом оставалось только его описывать. Но я не думаю, чтобы таковы были принципы социалистического реализма. И я процитирую слова человека, который сейчас у писателей не очень-то на хорошем счету,— процитирую Жданова. В самом деле, то, что утверждал Жданов, можно подвергать критике с самых различных сторон. Но когда он пишет, что социалистический реализм должен рассматривать настоящее сквозь призму будущего,— он высказывает нечто весьма серьезное. Если предположить, что будущее существует в таких же незыблемых очертаниях, как и настоящее, тогда это ужасно, это сковывает писателя, и я боюсь, что Жданов именно так это и понимал. Но если считать, что будущее — это развитие, которое можно рассматривать пусть оптимистически, но все же как развитие в условиях нам неведомых, и, следовательно, если брать вещи такими, какими они впоследствии станут, или такими, какими они станут в результате воздействия на них причин, о которых мы и не догадываемся,— тогда это и будет постоянным спором с настоящим во имя будущего. Вот почему не отмирает критическая функция литературы: она нужна, даже если смотреть на жизнь с самых оптимистических позиций, и здесь, пожалуй, делали слишком большой упор на положительную сторону литературы и недостаточно говорили о том, что она критически отражает мир. Во всяком случае, вот еще одна проблема, проблема открытия романистом этих ценностей, и она, на мой взгляд, является проблемой, которая позволяет, после наших предварительных бесед, расчистивших почву, вести дальнейшую дискуссию.

Я думаю также, что существует еще одна проблема, которая была здесь лишь поверхностно затронута,— проблема «декаданса», если использовать терминологию наших друзей. Когда нам говорят о Прусте, о Джойсе, о Кафке как о писателях-декадентах, очень часто оказывается, что их просто не читали. Однако проблема не в этом. Подлинная проблема, на обсуждении которой нужно настаивать,— проблема идеологическая. Либо воспринимать марксизм абсолютно наивно и упрощенно, и тогда можно утверждать: такое-то общество находится в состоянии упадка, значит, писатели, его отражающие, тоже находятся в упадке. При таком рассуждении крупнейшим декадентом эпохи царизма окажется, видимо, Горький. Либо утверждать: общество, находящееся в состоянии упадка, выдвигает перед писателем новые проблемы, терзает писателя, ставит в мучительные условия и его сознание, и его творческую деятельность. В противном случае откуда взялись бы в обществе, переживающем упадок, прогрессивные писатели? Таким образом, мы должны сейчас рассматривать вопрос диалектически: общество, в рамках которого существует художник, формирует его — оно обуславливает характер его творчества. Но мы совершенно не обязаны при этом неизбежно рассматривать этого художника как декадента; напротив, он может быть увлечен новым обществом и, именно борясь против собственных противоречий, он может выработать такие формы и идеи, которые будут служить освобожденному обществу. Следовательно, искать нужно в этом плане, иначе нам останется только твердить: «Я люблю Пруста», «Я не люблю Пруста»,— но это пустые слова. Подлинная проблема такова: что вы понимаете под «упадком романа»? Является ли этот упадок отражением социального упадка и есть ли диалектическая связь между социальным индифферентизмом и романом? Если здесь нет диалектической связи, тогда я вообще не знаю, где же проявляется диалектика. Может быть, нигде.

В заключение Жан-Поль Сартр коснулся проблемы, которую он, по его собственному признанию, считает главной: проблемы ответственности писателя, проблемы отношения человека к человеку. Анализируя различные точки зрения, Жан-Поль Сартр приходит к следующему выводу:

— Писатель ответствен перед обществом, которое создало его, и перед другими людьми, которые созданы тем же обществом. Тут говорили о том, что мы все несем ответственность, но здесь ответственность организованная, а у нас нет — или наоборот: у нас она организованная, а у вас нет; то есть на Западе, по сути дела, существует тип индивидуальной, распыленной ответственности. Вы знаете, что социализм заботится о раскрытии всего человечного в человеке, и я предполагаю, что он заботится и об ответственности. В этом плане и следует вести разговор. Нельзя вести спор так: нет ответственности, есть ответственность. Нужно говорить: ответственность есть, но она такая-то и такая-то.

Считая, что вопрос надо ставить только так и что именно так он и был поставлен, Жан-Поль Сартр подвел итог всему им сказанному:

— Мы — продукт общества, следовательно, мы должны друг друга признать и выслушать в той мере, в какой мы сейчас можем и имеем что-то сказать. В настоящий момент, вы сами это видите, не так уж важно, является ли литература, как принято

На вечере поэзии. Выступает Д. Унгаретти, крайний справа — Джанкарло Вигорелли.

говорить, «завербованной» или не является; она неизбежно является таковой. Как сказал Леонид Леонов, через сто лет на Земле будут жить одиннадцать миллиардов человек, но ведь это факт, что нам грозит гибель от атомной войны, если мы не продолжим наших усилий, чтобы ей помешать. Это менее оптимистично, чем представляете себе дело вы, но это тоже законная точка зрения, и она означает не то, что писатель должен регулярно и в определенной заданной форме писать об атомной войне, но что невозможно человеку, над которым висит угроза погибнуть, как крысе, при атомном взрыве, невозможно искренне и бездумно писать стихи о птичках. Необходимо, чтобы в его творчестве получила отражение его эпоха — в разнообразных масштабах и в любой форме.

Вот несколько вопросов, по которым, как мне кажется, мы могли бы если и не прийти к согласию — этого не стоит и желать, потому что необходим спор,— то, во всяком случае, искренне спорить, выявляя наши мнения до конца.

Расценивая в этом свете состоявшуюся встречу, оратор сказал, что считает ее прелюдией будущих дискуссий.

А. А. СУРКОВ (СССР).

Последним по поручению президиума выступил А. А. Сурков. Он сравнил работу сообщества с длинной дорогой.

— Мне кажется,— сказал он,— что в итоге нашего совещания мы подошли ближе друг к другу, что наши контакты станут еще более тесными.

А. А. Сурков далее кратко коснулся спорных моментов прошедшей дискуссии. Он отметил как очень важное то обстоятельство, что точки зрения участников спора были изложены ясно и последовательно, оппоненты хорошо поняли друг друга.

— Мы заканчиваем сегодня разговор,— продолжал оратор.— Мы разъезжаемся и сможем подумать о том, что мы здесь говорили, откинув шелуху пустословия и запальчивости, иногда возникавших в нашей дискуссии, сможем поразмыслить, чтобы вернуться к этому разговору. Мне представляется, что такие встречи помогают нам уяснить духовную и эстетическую сущность наших позиций.

— Как отмечали участники ленинградской встречи после ее окончания, никто не предполагал, что в ходе дискуссии будет достигнуто единодушие по спорным вопросам. Эта встреча была только началом разговора, споры еще будут продолжаться.

По многим проблемам, затронутым в дискуссии, журнал «Иностранная литература» неоднократно высказывал свою точку зрения. Так, например, на протяжении 1963 года о значении нравственной позиции писателя и роли активного, жизнеутверждающего гуманизма (вопрос, вызвавший большие споры на ленинградской встрече) можно прочесть

в статьях И. Анисимова «Актуальность гуманизма» (№ 4), Б. Рюрикова «Реальный гуманизм» (№ 6); о роли партийности в реалистическом творчестве современных писателей — в статьях В. Щербины «Идейность и реализм (№ 8), М. Новикова «Непреложный эстетический принцип нашей эпохи» (№ 9); вопрос об «авангардном» искусстве и месте художника в обществе освещается в полемических заметках К. Наумова «Уравнения господина Поджоли» (№ 7), враждебность декадентского понимания искусства реалистическому методу — в статье Д. Затонского «О внешнем сходстве и принципиальном различии» (№ 7); о школе «нового романа» в статье С. Великовского «На холостом ходу» (№ 1) и т. д. О творчестве Кафки можно прочесть в статье Д. Затонского «Смерть и рождение Франца Кафки» в № 2 за 1959 год.

Журнал «Иностранная литература» предполагает в дальнейшем продолжить на своих страницах разговор об актуальных вопросах романа, этого ведущего жанра современной литературы.

И. АНИСИМОВ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДИАЛОГ О СОВРЕМЕННОМ РОМАНЕ

1

Да, это был именно диалог. И несмотря на то, что в обсуждении глубоко заинтересовавшей всех проблемы принимали участие писатели очень разные, все же чем дальше, тем больше становилось очевидным, что сталкиваются две позиции, два отношения к проблемам современного романа и, шире,— современной литературы. Встреча писателей социалистического мира и определенной части писателей западных стран в этом смысле представляла большой интерес. Она сделала очень ясным и убедительным сопоставление двух эстетических концепций.

Стороны не ставили перед собой задачи достигнуть единомыслия. Это было бы недостижимой целью. Но зато встреча бесспорно содействовала углублению взаимопонимания, уточнению эстетических позиций, и в этом был ее смысл.

Четырехдневное обсуждение проблем современного романа со всеми иногда драматическими перипетиями развертывалось постепенно; постепенно выявлялись два противоположных мнения по ряду важнейших вопросов.

Темой обсуждения был современный роман, и, естественно, прежде всего обнаруживались не только разные подходы к искусству романа, но и разные цели, которых добиваются авторы романов. Представители социалистической литературы развернули очень убедительную и увлекательную концепцию романа, участвующего в переустройстве современной действительности, в создании новых человеческих и социальных ценностей, романа конструктивного в самом прямом смысле этого слова.

Наряду с этим, во множестве оттенков и мелких различий, была развернута концепция романа с нарушенными социальными связями, романа, в котором отражается современный духовный распад, свойственный буржуазному обществу. В таком романе центр тяжести смещается от содержания к форме, а понятие формы приобретает самодовлеющий и поэтому неизбежно уродливый характер.

Если не опасаться высоких слов, можно было бы сказать, что поиски романа человеческой гармонии и цельности противостояли стремлению создать роман ущербности, дисгармонический роман.

Позиция социалистического реализма в общем балансе обсуждения оказалась более импонирующей, более внушительной, открывающей бóльшие перспективы, чем та, которая предлагалась сторонниками противной точки зрения или точек зрения.

Натали Саррот в своем очень тщательно подготовленном выступлении попыталась подвергнуть сомнению убедительность одного из очень важных в эстетике социалистического реализма положений — утверждения связи между литературой и действительностью. Хотя было совершенно ясно, что социалистическое понимание

действительности в высшей степени активно и всегда содержит требование глубокого и всестороннего ее раскрытия, Натали Саррот с недоверием отнеслась к тому, что говорилось об этом во время диалога, и предложила свою, на наш взгляд, очень бедную теорию двух действительностей — общедоступной, «поверхностной», и другой действительности, которая постижима только для художника. Можно поблагодарить Натали Саррот за искренность. Она прямо сказала, что, с ее точки зрения, речь идет не о мире, а о мирках действительности, не о масштабах огромной социальной драмы нашего времени, а об обособленных существованиях, чье внутреннее состояние можно постигнуть при помощи особо рафинированных приемов психологического прозрения.

Школа «нового романа» пыталась наступать. Трудно сказать, каковы были ожидания писателей, примыкающих к этому направлению, но итог был бесспорно не в их пользу. И не по той только причине, что «школа» подверглась очень серьезной критике. «Школа», собственно говоря, не могла выставить достаточно убедительных, веских аргументов в пользу своих эстетических принципов.

Не произвело большого впечатления и выступление одного из лидеров «школы» Алена Роб-Грийе, который говорил о том, что роман Бальзака — это девятнадцатый век и что он уже умер вместе со своим веком, а в двадцатом веке должен быть другой роман, не похожий на романы Бальзака.

Конечно, роман двадцатого века имеет свой облик. Но почему он должен быть похож на романы Роб-Грийе или Саррот, а не на социалистический роман, как мы глубоко убеждены!

С обидой Роб-Грийе говорил о том, что социалистическая критика не принимает «нового романа», что аргументы, которые он услышал в Ленинграде, не отличаются от аргументов, с помощью которых его атакует реакционная французская критика. Это уже было невежливо.

Хотя полемика с Роб-Грийе велась все время в очень уважительном тоне, каждому из участников было ясно, что внешняя корректность не сглаживает и не уменьшает очень серьезных расхождений.

Хорошо известно, что Роб-Грийе не раз противопоставлял свое, в общем мало перспективное, кредо социалистическому реализму. Он писал, например, о том, что «социалистическому реализму не нужны поиски художественной формы», что социалистический реализм «избегает всяких новшеств в области художественной формы», и... «ему больше всего подходит буржуазная форма выражения».

Что касается «нового романа», то, по мнению Роб-Грийе, это целый переворот в современной литературе. Однако, сопоставляя произведения Роб-Грийе с его декларациями, нельзя не увидеть того, что эти произведения не очень значимы.

2

На таком собрании, как ленинградская встреча писателей, естественно, возник вопрос, что же внесла в современную литературу школа «нового романа»!

Конечно, произведения эти представляют интересный объект для изучения. Два года назад такая авторитетная организация, как Association Internationale des Etudes Françaises, слушала на своем годичном собрании доклад Мишеля Бютора, которого некоторые называют главой «школы». «Новый роман» получил, таким образом, академическое признание. Но что, собственно, внес он в развитие жанра! Преобразование формы, не обусловленное ни новым содержанием, ни большими социальными идеями, как и следовало ожидать, не дало значительных результатов.

Не является случайным, что романы Роб-Грийе перенасыщены описаниями вещей и движение жизни остается где-то за пределами романа. Путь, избираемый Роб-Грийе, приводит к таким произведениям, как «Прошлым летом в Мариенбаде», в котором люди превращаются в манекены. Вся утонченная «геометричность» этого романа и фильма, сделанного по нему Аленом Рене, не может скрыть опустошенности этой художественной концепции.

Натали Саррот не проявляет никакого интереса к вещам, ее внимание целиком сосредоточено в плоскости психологии. Однако безразличие к человеческим судьбам, которое едва ли можно мотивировать тем, что описываемый Саррот мирок страшно узок, столь же ощутимо, как и в произведениях Роб-Грийе. В ее только что опубликованном романе «Золотые плоды» нет людей. Он так же «геометричен», как и романы Роб-Грийе, и в конечном итоге представляет собой лишь сложную загадку, которую вы в конце концов разгадаете, если у вас на это хватит терпения.

Нам кажется, что психологические абстракции Саррот похожи на предметные абстракции Роб-Грийе.

Равнодушие к человеку, которое свойственно «новому роману», холодное оцепенение, которым все здесь охвачено, исключает ответный человеческий отклик. Вакуум остается вакуумом. Если это «школа», то в ней нельзя научиться проникновению в человеческую душу. А ведь это остается главной целью романа.

По-видимому, школа «нового романа» приблизилась к тому моменту своей истории, когда настало время подсчитать, сколько же золотых плодов она принесла. Опасаюсь, что урожай не велик.

В защиту «нового романа» выступил Бернар Пенго. Он попытался обосновать претензию на главенствующую роль этого направления в современной французской литературе. Он это сделал в чисто метафизической манере и совершенно оставил в стороне дислокацию борющихся направлений и групп в современной литературе. В частности, он полностью игнорировал неугодные ему течения в литературе Франции, имеющие первостепенное значение.

Широко известно, что в этой стране с ее богатой революционной традицией существует большая литература, связанная с борьбой народных масс за социальную справедливость, с коммунистическим движением. Одним из значительнейших писателей современной Франции, неоспоримо, является Арагон, оказывающий своим творчеством глубокое воздействие не только во Франции, но и во всем мире.

Бернар Пенго обходит это молчанием, он ничего не говорит и о многочисленных подлинно прогрессивных писателях, группирующихся вокруг журналов «Эроп» и «Нувель критик», а также «Леттр франсез».

Если даже они ему неприятны, то как историк, роль которого он пытался исполнить, он должен был о них говорить.

Не удивительно, что многие из его заявлений повисли в воздухе. Например, он сказал, что во Франции не существует романа об алжирской войне, хотя в зале присутствовал Андре Стиль, написавший такой роман.

Как потом выяснилось, Пенго и Стиль впервые встретились в Ленинграде. Границы направлений, видимо, обозначены в Париже непроницаемыми перегородками, и Бернар Пенго должен был сознаться, что он и не подозревал о существовании романа А. Стиля «Обвал». Трудно сказать, понравится ли ему этот роман, когда он его прочтет, вернувшись в Париж, ведь роман не соответствует эстетической и политической концепции Пенго.

Очень убедительно говорил о несостоятельности теории и практики «нового романа» Овид Крохмэлничану. Одна за другой, под воздействием его аргументированной речи, распадались иллюзии, которыми окружают себя сторонники «школы», и открывались зияющие пустоты, которые нечем заполнить и которые означали, что это совсем недавно возникшее литературное направление уже не оправдывает себя.

Против «нового романа» высказался и Энгус Уилсон. Многие говорившие о «новом романе» не оказали этому направлению поддержки. Таким образом, сложился вывод, что школа «нового романа» не находит общего языка с прогрессивным литературным движением современности.

В своем очень эксцентричном выступлении Ганс Вернер Рихтер попытался поддержать школу «нового романа», но не нашел хоть сколько-нибудь серьезных аргументов в обоснование собственной точки зрения. Пришлось заменить аргументацию сомнительным каламбуром о старых шляпах. Необоснованным осталось и сделанное наспех сближение «нового романа» с западногерманской «Группой 47», к которой он сам принадлежит. Получилось, что, сам того не ожидая, Ганс Вернер Рихтер обнажил иллюзорность и зыбкость позиций «нового романа».

3

С большой горячностью обсуждалась историко-литературная проблема традиций.

Сторона, не принимающая социалистической концепции, все время подчеркивала, что ее святынями являются Пруст, Джойс, Кафка. В общем, это не показалось противоестественным и вполне соответствовало тому погружению в разорванное сознание, которое считают важнейшей задачей творчества в окружающем их мире капиталистического абсурда многие выступавшие в Ленинграде западные писатели. Не удивила и мысль, что они лишь последователи, а не первооткрыватели.

Представители социалистических литератур заявили о неприемлемости для них подобной ориентации, подчеркивая, что историческое значение Пруста, Джойса, Кафки они не оспаривают и видят его прежде всего в том, что их творчеством был начат путь современного литературного распада. Социалистическая литература, литература созидающая, борющаяся, всем своим существованием противостоит влиянию такого рода учителей.

С большой запальчивостью нас пытались убедить в том, что мы себя чего-то лишаем, занимая такую позицию, что мы обрекаем себя на старомодность, предпочитая реалистическую классику этой «классике» современного распада.

Жан-Поль Сартр, который выступил на последнем заседании, в основном принимает советскую концепцию современной буржуазной культуры как декадентской и не находит аргументов против этой концепции. Тем не менее он считает нужным вступить в дискуссию с советскими писателями, которые якобы не придают значения тому, что в недрах декадентской культуры современного буржуазного мира живут и борются прогрессивные силы, которые нельзя смешивать с декадентской культурой.

И это говорится в адрес социалистических писателей, которые вооружены теорией двух культур, созданной Лениным, теорией, которая так глубоко вскрывает внутренние противоречия между господствующей буржуазной культурой и возникающими в ее сфере демократическими и социалистическими элементами культуры.

Вообще проблема традиций приобрела во время обсуждения большую остроту. Писатели, которые считают своими «духовными отцами» Пруста, Джойса и Кафку, весьма скептически относятся к подлинной классике всемирной литературы.

Социалистическая «сторона» показала, что речь идет о преемственности, о связи социалистической культуры со всем богатством культуры прошлого, о диалектике этой преемственности, исключающей подражание.

Существующая в буржуазном мире мода на ценности, которые обесцениваются в самый короткий срок, есть признак духовного упадка. Подлинное развитие культуры совершается всегда на основе законов преемственности, и социалистическое отношение к ценностям прошлого объясняется отнюдь не «традиционностью» или «старомодностью», а именно подлинным пониманием новаторства.

Проблема социалистического реализма не сходила с повестки дня. Это и был водораздел двух направлений, двух эстетических концепций. Об этом свидетельствовали нападки на социалистический реализм сторонников школы «нового романа», Энгуса Уилсона и других английских участников обсуждения. Оба западногерманских представителя сочли необходимым подчеркнуть свое отрицательное отношение к социалистическому реализму и даже рекомендовать, чтобы советские писатели «поскорее вышли в своем развитии за пределы социалистического реализма» (Ганс Вернер Рихтер), чтобы «советская литература постоянно подвергала пересмотру свои методы» (Ганс Магнус Энценсбергер). В этих формулах с полной откровенностью была выражена претензия некоторых участников ленинградской встречи отвергнуть авторитет социалистического реализма.

Впрочем, атаки не имели фронтального характера. Не было ни одного всесторонне мотивированного, подлинно значительного выступления против социалистического реализма. Вместе с тем постоянно подчеркивалась неприемлемость социалистического реализма для того или иного приехавшего в Ленинград западного писателя, что содействовало размежеванию противостоящих художественных концепций. Это было размежевание сторон, стремящихся лучше понять друг друга, но это не означало, что оно было хоть сколько-нибудь нечетким.

Важно отметить, что ощутимая убедительность аргументов писателей социалистических стран произвела должное впечатление. И когда в речи Жан-Поля Сартра мы услышали, что такая важнейшая особенность эстетики социалистического реализма, как изображение действительности настоящего в свете будущего — об этом знаменитом требовании Горького Сартр не упомянул, он предпочел сослаться на слова А. А. Жданова,— признается убедительной и весьма импонирующей, то это был серьезный результат продолжительного диалога.

Хотя Сартр сделал много оговорок, как бы признаваясь в том, что ему нелегко прийти к подобному выводу, это благоприятный симптом. Конечно, не следует предполагать, что число сторонников социалистического реализма среди западных гостей Ленинграда возрастет, но то, что сила эстетики социалистического реализма выдержала очень придирчивое испытание,— это бесспорно.

С самого начала возникла и приобрела большое значение проблема ответственности писателя, получившая гораздо более сложное и глубокое раскрытие, чем представляли себе многие из говоривших на эту тему.

Для социалистической стороны это в высшей степени ясно и прямо поставленный вопрос ответственности писателя перед народом. Он включает всю сложность прав и обязанностей, охватываемых этим понятием.

Другое дело — писатель, который не ощущает своей связи с народом. Здесь возникают различные вариации, с которыми мы и познакомились в Ленинграде. Роже Кайюа, например, считает более правильным говорить об ответственности перед «лучшим в человеке». Поддержав его, некоторые говорили, что существует только ответственность перед самим собой.

Жан-Поль Сартр пытался подвести черту под наметившимся расхождением и сделал это, на наш взгляд, не очень точно. Он говорил о том, что в мире социализма проблема ответственности стоит более ясно, чем в мире капитализма, где человек вынужден слишком часто оставаться наедине с самим собой и где, как он отмечает, существует известная распыленность ответственности.

Это правильно лишь отчасти и снова возвращает нас к тому, в чем несправедливо упрекал социалистическую сторону Сартр, когда утверждал, что мы не различаем среди декадентской культуры прогрессивных элементов, борющихся за новое, за социальную справедливость.

В этой борьбе, достигающей в условиях капитализма исключительной остроты, и может быть найден тот критерий, которым измеряется ответственность писателя. Если писатель далек от этой борьбы, если он руководствуется только микромасштабами, о которых так изящно говорила Натали Саррот, то и ответственность также

останется в конце концов микроответственностью. Собственно, об этом же говорил и Ганс Магнус Энценсбергер. И его рассуждения о том, что «фашизм — это явление, которое мы не можем до конца понять и осознать», и выдвигаемое им понимание литературы как историографии, «имеющей дело с тем, что произошло, с прошлым а не настоящим», содержат в себе попытку оправдания безответственности.

Но существует возможность и в условиях буржуазного мира стать прогрессивным общественным деятелем и принять на себя всю полноту человеческой ответственности. Вот о чем идет речь, и выступление Роже Кайюа, специально посвященное вопросу об ответственности писателя, показалось не вполне отвечающим той серьезнейшей проблеме, которая была поднята.

5

Если даже ограничиться сказанным по поводу ленинградского обсуждения проблем современного романа, то можно представить атмосферу этого обсуждения, атмосферу искренности, порой горячности, атмосферу требовательности, стремления довести заинтересовавшие всех мысли до наиболее точного и ясного выражения.

Это был диалог двух сторон, которые встретились для очень важного и откровенного разговора.

Что же это за «стороны»!

«Стороне» социалистической была свойственна большая духовная сплоченность, творческое разнообразие интонаций, широта понимания возникавших в ходе диалога вопросов. Вместе с тем выступления советских писателей и писателей других социалистических стран были в высшей степени открытыми, они отличались ясностью, не избегали сложностей, но избегали игры словами, красивостей. Это были выступления, сделанные с серьезной целью.

Другая «сторона», участвовавшая в диалоге,— определенная часть писателей современной Европы, которая откалывается от капитализма, но еще не решается вступить с ним в прямую схватку. Она еще многими нитями связана с духовной культурой этого отвергаемого ею капиталистического мира и разделяет еще множество предрассудков по отношению к социалистической идеологии.

Как бы далеки порой ни были взгляды писателей на проблемы современного романа и всей современной литературы, все же оказалось в высшей степени целесообразной и интересной и обнадеживающей возможность диалога людей, искренне заинтересованных в том, чтобы современная Европа имела свою большую литературу.

В высшей степени проницательную оценку результатов ленинградской встречи мы нашли у Джакомо Дебенедетти:

«На ленинградской встрече писателей были представлены две позиции: с одной стороны — приверженцы социалистического реализма и с другой — приверженцы различных форм западного экспериментализма. Чего можно было ожидать от сопоставления этих двух позиций! Было бы легкомысленным надеяться, что к концу встречи писатели социалистического реализма откажутся от «культа» традиций и образцов девятнадцатого века, который ему приписывают западные критики, и что со своей стороны сторонники западного экспериментализма заявят об отказе от декаданса, в котором обвиняют их критики и читатели из социалистических стран.

Ход диалога преподнес сюрприз — по крайней мере нам, представителям Запада, которые, к сожалению, недостаточно знакомы с романами и повестями писателей социалистических стран.

Мы увидели, что сегодня роман в социалистических странах обогащается более сложными, более интимными и психологически глубокими оттенками. Авторы подходят к человеку, сознавая всю сложность жизни и чувствуя себя свободными от заранее принятого намерения живописать судьбы только положительных героев. Социалистический реализм сегодня — явление более всеобъемлющее и более современное, чем это представляется слишком поверхностным западным судьям.

Чтобы быть искренним, нужно признать, что в состоявшемся диалоге именно западный экспериментализм выглядел догматическим в настойчивом утверждении собственного права на «антидогматизм», на «проникновение в неизведанное» и т. п.».

К этому свидетельству нечего прибавить. «Стороны», встретившиеся в Ленинграде, по-разному представляют себе назначение, характер и облик большой литературы, но они одинаково хотят, чтобы эта большая литература существовала и противостояла бы варварству фашизма и расизма, антикоммунистической истерии.

Это и есть база, на которой держится Европейское сообщество писателей. Думается, что на работу этой еще молодой организации ленинградский диалог не может не оказать большого воздействия. Прежде всего возможно ожидать расширения его влияния. Ведь в Ленинграде не были представлены все направления прогрессивной литературы Франции и Англии. Революционное крыло прогрессивной французской литературы пока не принимает участия в Европейском сообществе писателей и мы не видели в Ленинграде Арагона, а Стиль присутствовал лишь в качестве

наблюдателя. Не видели мы в Ленинграде и многих известнейших прогрессивных писателей Англии, начиная с Ч. П. Сноу. Несомненно, что в дальнейшем Европейское сообщество должно включать в себя эти силы, если оно хочет выполнить большую историческую задачу, которая перед ним стоит.

6

На ленинградской встрече никто не ставил перед собой цели подвести итоги всей дискуссии. Собственно, в этом и не было надобности, поскольку четырехдневное обсуждение сделало вполне ясным контраст двух эстетических концепций. Можно было еще раз подчеркнуть этот весьма убедительный логический вывод из оживленного обсуждения проблем современного романа. Но это было бы повторением того, что уже ясно.

Поэтому выступление Джанкарло Вигорелли тоже не было попыткой подвести итог. В своей речи генеральный секретарь Сообщества широко пользовался противопоставлением «мы» и «вы», считая, что оно уже приобрело вполне отчетливые очертания и вошло в обиход.

«Вы» — это писатели социалистического мира, и здесь для Джанкарло Вигорелли все ясно и точно.

Что же касается «мы», к которым причисляет себя Джанкарло Вигорелли, то весь ход ленинградского обсуждения показал, что это довольно сложный конгломерат индивидуальностей, к которому вполне подходит термин, возникавший не раз,— «распыленность».

Выше уже говорилось, в чем заключается распыленность писателей, собравшихся в Ленинграде. Они «выламываются» из капитализма, пользуясь горьковским выражением, но еще далеки от революционного отношения к капитализму. В этой внутренней противоречивости кроется и запутанность их представлений о современном романе.

Джанкарло Вигорелли прямо поставил вопрос о литературно-эстетическом происхождении тех взглядов, которые защищает он и все те, кого он называет «мы». Пруст, Джойс, Кафка — это «наши глубоко почитаемые отцы, и культура наша выросла на путях, проложенных этими отцами».

Социалистическая «сторона» неоднократно разъясняла свое отношение к Кафке. Например, об этом точно и верно говорил Ганс Кох: «Разве, например, метод Кафки, который нам здесь рекомендовали в качестве образца, не связан самым тесным образом с позицией беспомощной, беззащитной жертвы бесчеловечного, и для этой жертвы непостижимого, мира! Может ли подобная позиция и подобный метод действительно способствовать уничтожению фашизма!»

Нельзя было не считаться с такой убедительной аргументацией, означающей, что традиции Кафки или Джойса неприемлемы для нас и непригодны для писателя, выступающего как социалистический деятель, стремящегося своим творчеством участвовать в изменении современного мира.

У советских писателей другие отцы, которые другому нас учили, учили нас борьбе и действию, и по этой причине священно для нас имя Горького. На Западе литература двадцатого века тоже знает великих писателей, которые учили и учат борьбе и действию и которые, к сожалению, сейчас забыты теми, от чьего лица говорил Джанкарло Вигорелли.

Впрочем, он как бы сам колебался в решении важнейшего вопроса, каким путем должна идти современная литература, и откровенно говорил: «Мы, их сыновья, в литературе пришли к настоящему кризису духовных ценностей. Мы пришли к определенному распаду... как человеческой личности, так и нашего общества и романа».

Джанкарло Вигорелли видит результат наглядно проявляющегося кризиса в том, что от Джойса декадентская литература идет к измельчанию: «Мы вышли от великого Джойса и пришли... к маленькому Беккету». Такова эволюция современного романа, по мнению Вигорелли.

Это правда, но более жестокая, чем ему кажется, потому что от Джойса к Беккету ведет прямой путь и возникновение Беккета является логическим и неизбежным развитием того, что заложено в Джойсе.

Очень важным в выступлении Джанкарло Вигорелли было признание, что социалистическая литература сохранила величайшие ценности, которые утрачены современной западной литературой (то есть литературой модернистской).

Что это за ценности! Прежде всего это чувство, глубокое и подлинное человеческое переживание. Оно «каким-то чудом» удерживается в романах советских и других социалистических писателей и в то же время исчезло полностью из романов Запада, того Запада, представителем которого считает себя Вигорелли.

За этим следует еще одно, более важное признание. Оказывается, советская литература сохранила «священное значение человека». Да, это правда. Большая правда. И если бы сделаны были из нее все надлежащие выводы, то можно было бы во всем остальном солидаризироваться с Джанкарло Вигорелли.

Но он еще не делает этих напрашивающихся выводов и от признания высоких гуманистических достоинств советской литературы переходит к упрекам, мимо которых нельзя пройти. Прежде всего это упреки в избытке моральности. Вигорелли кажется, что литература, от имени которой он говорит и глубочайший кризис которой он сам признает, достигла некоей «идентичности искусства и морали», а «советская литература не движется к этой идентичности».

Естественно, что по этому поводу сразу же возникла полемика. Советская сторона подчеркивала, что она действительно придает огромное значение моральной основе литературы и что реалистическая традиция, связанная с именем Толстого, действительно близка советской литературе и мы гордимся этой традицией. И не только у Толстого, но и у всей великой русской литературы девятнадцатого столетия мы учились понимать высокое назначение литературы.

Другой упрек, который делает социалистической литературе Вигорелли, это упрек в старомодности, в том, что эта литература «говорит немного устаревшим языком» и «может быть, писатели там слишком привязаны к определенной старой традиции».

Приходится сомневаться, что это заявление сделано на основе действительно глубокого знания советской литературы. Скорее, это результат неполного представления о том, что пишется в Советском Союзе и других социалистических странах, потому что наше новаторство, чуждое иррациональности, модернистской изощренности, вместе с тем необычайно много нового вносит в опыт всемирной литературы, расширяя возможности всеобъемлющего реалистического изображения.

Джанкарло Вигорелли считает даже, что наша «литература отчасти остается вне того поистине нового, что есть в социализме»,— иными словами, реализм наш, собственно, даже не социалистический, поскольку он не в состоянии уловить то новое, что возникло и возникает в процессе социализма.

Это заявление коллега Вигорелли ничем не подкреплял, это его личное мнение. Но ему придется менять это мнение, как только сам он поглубже вникнет в эстетический опыт советской литературы. Он собирается много заниматься этими вопросами, и нам кажется, что полемизировать с его поспешным заявлением нет смысла.

Откровенная и горячая речь Вигорелли вызвала много откликов и в выступлениях писателей с трибуны и в оживленных кулуарных спорах. Она содействовала взаимопониманию двух сторон, участвовавших в ленинградском диалоге.

Еще раз каждый мог представить себе, в чем был смысл диалога, почему диалог был таким страстным и как постепенно вводившиеся в действие аргументы все шире раздвигали рамки обсуждения.

Очень, очень был нужен этот ленинградский диалог, который, несомненно, по-служит дальнейшему развитию прогрессивных сил всемирной литературы.

Хосе Вентурелли.

Фото Освальдо Саласа

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО За рубежом

ХУАН МАРИНЕЛЬО

КУБИНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ХОСЕ ВЕНТУРЕЛЛИ

Из многих счастливых достижений нашей революции мне хотелось бы отметить одно — дружескую солидарность с нами лучших представителей творческой интеллигенции Латинской Америки. Эта солидарность — вернейшее доказательство того, что настоящие деятели культуры тесно связали себя с судьбами народа. Здесь особо надо сказать о творчестве Хосе Вентурелли.

Выдающийся чилийский художник Хосе Вентурелли ныне переживает самый щедрый, самый счастливый период своей творческой жизни. Однако, принимая во внимание его талант и присущее ему чувство ответственности, можно ожидать, что он еще превзойдет себя. Но и то, что им уже создано,— прекрасно в своем богатстве и многогранности.

Работая на революционной Кубе, он как бы обогнул свой мыс Доброй Надежды, познакомился с океанскими глубинами, где таится столько чудес. С великого корабля, идущего под всеми парусами,— с нашего острова,— мы приветствуем его успехи. Мы отдаем себе отчет в том, что пребывание на Кубе помогло ему смело пуститься в далекое плавание.

О таланте и о достижениях этого подлинного и большого художника — нашего нынешнего гостя и неизменного друга — можно говорить и писать очень много. Мы уверены, что на американском континенте ныне немного художников, равных Хосе Вентурелли по силе дарования. В его творчестве нашло свое отражение виденное им во время долгих путешествий по пустынным пространствам Чили, знакомство с богатой культурой Европы, посещение обширного и могучего Советского Союза и встреча с

На этих страницах и на вклейке публикуются фрагменты и эскиз величественной фрески чилийского художника Хосе Вентурелли, посвященной кубинской революции.

древним самобытным искусством Китая. И конечно в его творчестве выражено нечто общечеловеческое — то, что пережил человек, познавший удары судьбы, прошедший трудный путь.

В большом искусстве происходит то же, что и в природе, где даже нагромождения скал хранят следы минувшего времени. Чем больше скрещивается на кристалле лучей, тем ярче и сильнее он играет... Лучи света скрещиваются и на нашем острове, состязаясь в яркости, и в отблеске их играет многогранное искусство Хосе Вентурелли.

Когда я вглядываюсь в произведения художника, я понимаю и раскрываю моего Вентурелли: пути его странствований и его возвращение, его поиски и противоречия, положительное и отрицательное начала в его творчестве.

Я вспоминаю его гравюры — четко вырисованные и страстные, рожденные «яростью и идеей». Гравюры, исполненные нежного чувства и боевые, красноречивые и сдержанные, вдохновляют, призывают к борьбе. Оптимизм непобедимой жизни исходит даже от тех гравюр, где изображены рабочие, погибшие у входа в шахту или на площади Бульнес в чилийской столице. В этих его произведениях ощущается стойкость мужественного чилийского народа, непоколебимого, бесстрашного даже под дулом винтовок и в то же время мягкого, даже нежного.

В своих воинствующих гравюрах Вентурелли создал искусство непосредственного и эмоционального отражения окружающего, он показал нам, как художник может необычайно правдиво передать глубины скорби трудовых людей.

Обладая большим талантом и опытом, Вентурелли пробует себя в монументальной, стенной живописи. Его первые работы в этой области находятся в университете Сантьяго, в Чили. Он создает большое полотно, пишет «Знамена мира». В композиции этой его работы чувствуется сила и размах; центральные фигуры монументальны и органичны; форма отвечает замыслу. Таким образом, еще один монументалист родился в Латинской Америке. И если ранее казалось, что Мексика — цитадель монументальной живописи, то сегодня ясно, что и другие латиноамериканские страны будут состязаться с ней.

■

Хосе Вентурелли написал большую, величественную фреску, на которой запечатлен герой кубинской революции, легендарный Камило Сьенфуэгос.

Уже своими масштабами фреска подчеркивает значение революционного выступления во главе с Фиделем Кастро, значение этого выступления для всей Латинской Америки. Очень удачно, что фигура героя битвы при Ягуахае, Камило Сьенфуэгоса, возвышается в центре обширного фриза. Он воплощал в себе страстный порыв и безграничное самопожертвование кубинского народа, его веру в грядущую победу. Полководец из Ласа-Вильяс своими исключительными человеческими качествами выделялся среди борцов революции.

Свою кубинскую фреску Вентурелли посвящает герою, который как бы возрождается в произведении художника. С фрески нас приветствуют люди из народа. Нет ни обожествления, ни культа личности, но во всей исходящей от фрески спокойной уверенности, во всем ее многообразии чувствуется присутствие Фиделя Кастро, ощущается деятельность боевого вождя, которая в сердцах будит лучшие чувства и великую энергию.

Достоинство композиции заключается в том, что здесь умело и динамично уравновешены образ одного человека и народ, составляющий с ним единое целое.

...На фоне пейзажа, спокойного, молчаливого,— Камило Сьенфуэгос. Он идет навстречу нашей Америке, новой,— в его облике выра-

«Латиноамериканский характер фрески подчеркивается пластически».

«Изображение страданий угнетенных по-прежнему присуще творчеству Вентурелли, но на Кубе он явился свидетелем грандиозной победы, одержанной в рукопашном бою».

жена решимость народа, который самоотверженно вступил в тяжелую борьбу.

Латиноамериканский характер фрески подчеркивается пластически. Люди выписаны в движении. Вон там — лицо молодого улыбающегося бойца, а далее — задумчивое лицо много испытавшего в жизни мужчины, широким уверенным шагом идет женщина. Самой что ни на есть кубинской является фреска Вентурел-

ли, которую можно смело назвать гимном революции.

Истинно новым и удивительным в этом смелом революционном гимне представляется игра цвета. Наши мощные, напоенные солнцем цветовые гаммы сливаются в могучей симфонии, и фриз будто излучает радость. Это ощущение зрителя — результат удивительного мастерства художника.

■

Не всякий раз величие какого-либо политического события находит соответствующее отражение в искусстве. Очевидно, что художнику нужен какой-то особый стимул, чтобы во всей полноте воспроизвести, интерпретировать то или иное явление.

В кубинской фреске Вентурелли органически сливаются суть явления и его художественное толкование. И если мы можем с достаточным основанием считать, что это — выдающееся произведение художника, то не только потому, что речь идет о последней работе уже зрелого мастера — ему исполнилось 38 лет,— но и потому, что он черпал вдохновение в теме неоспоримой исторической важности.

Но еще недостаточно обладать творческими возможностями, чтобы суметь их применить. Необходимо, чтобы художник мог синтезировать реальные факты в каком-то новом сочетании, осмыслить их эстетически. Мне всегда казалось, что от этого зависит, сможет ли художник прийти к счастливому или к неудачному решению, а его произведение станет выдающимся или неудавшимся. В данном случае художник сумел разобраться во всей сложности проблемы и смог ее верно истолковать, отсюда — высокие достоинства его работы.

Роспись Вентурелли отражает и запечатлевает факт современной истории, событие, находящееся в процессе развития, эпизод, где участвуют живые, активно действующие люди, которых мы узнаем по их жестам и облику,— мужчины и женщины из плоти и крови, уже ставшие неотделимыми элементами нашей национальной жизни.

Во фреске, посвященной Камило Сьенфуэгосу, художник воссоздает историю, однако его история — это не сценическое воспроизведение. Здесь нет фотографически точного изображения, но нет и отрыва от реальности — все изображено в рамках действительно происшедшего исторического события. Это достигнуто благодаря глубокому политическому и эстетическому сознанию, осмыслению художника. Естественно, что столь гармоничная и жизненная композиция прежде не могла быть создана: эта совокупность целей, деяний, действий неотделима от дней героических свершений. Каждая фигура картины состоит из множества наслаивающихся реальных деталей. Это не какой-то «магический» реализм, а реализм социалистический, правдивый, ибо он достоверен и глубок. Это композиция, рожденная великой освободительной борьбой, сплотившей миллионы людей, загоревшихся одной и той же идеей. Можно было бы заметить, что нечто похожее мы встречаем в росписях лучших мексиканских монументалистов. Но тут же мы не можем не прийти к выводу: когда художник пишет о революции, уже исчерпавшей себя, все обстоит иначе.

В грандиозных фресках, созданных художниками-монументалистами Мексики, талант и своеобразие которых неоспоримы, воспроизведены события прошлых дней, вследствие чего авто-

«Верность трудовому народу помогла Вентурелли вложить в это произведение свою душу, выразить свои надежды».

Хосе Вентурелли. Национальный герой Кубы Камило Сьенфуэгос (фрагмент фрески)

Хосе Вентурелли. Партизаны Сьерры—Маэста (фрагмент фрески).

Хосе Вентурелли. Народ поднимается на борьбу (фрагмент фрески).

«Здесь он увидел народ, выходящий из мрака бездны навстречу свету».

рам этих фресок зачастую приходится обращаться к символике либо к воссозданию массы портретов знаменитых персонажей, без какой-либо конкретной цели. Иное дело — фреска Вентурелли. К счастью, она вдохновлена боевым настоящим, революцией в действии. Поэтому выразительные средства произведения соответствуют его идее, раскрывают сегодняшние задачи революции. Эта созидательная, устремленная в будущее идея придает фреске, посвященной Камило, новую суть. В ней словно бьется пульс современности. Не умирает, не может умереть то, что родилось в великом стремлении, в чаяниях многих.

■

Когда мы говорили с Вентурелли о его последней работе, он заметил: «Я видел, я — свидетель того, как на смену одному обществу приходит другое. Я знаком, таким образом, в известной степени с тем, над чем работаю, и я не беспристрастен. Моя живопись — часть личного опыта, приобретенного в определенное время и в определенном обществе. Опыт рождает самосознание, политические убеждения. В своей живописи я стремлюсь, насколько могу, отобразить действительность».

Роспись, посвященная Сьенфуэгосу, служит подтверждением всего сказанного Вентурелли. Эта фреска — свидетельство рождения нового общества.

Верность трудовому народу помогла Вентурелли вложить в это произведение свою душу, выразить свои надежды. Приход к новой работе не был, да и не мог быть легким. Пабло Неруда, великий соотечественник и большой друг Вентурелли, очень глубоко и очень хорошо определил путь совершенствования художника *.

Поэт, создавший «Всеобщую песнь», вспоминает, что было время, когда его товарищ «не видел ничего, кроме траура и воронов»... Вентурелли, по словам Неруды, тогда смотрел в бездну и думал о кончине: «Он как бы говорит: мы умрем, народы, мы не вынесем тяжести всех этих жестокостей, мы уже не можем существовать»... Но вот жизнь показала ему другую сторону медали, и все изменилось, заулыбалось... Он уже больше не смотрит в бездну. Неруда добавляет: «Зрелость приходит на смену его измученным образам; действие — это мать надежды».

Пребывание Вентурелли на Кубе подтвердило слова великого барда Америки.

Изображение страданий угнетенных по-прежнему присуще творчеству Вентурелли, но на Кубе он явился свидетелем грандиозной победы, одержанной народом в бою. Здесь он увидел народ, выходящий из мрака бездны навстречу свету. Надежду, как всегда это бывает, принесли земные чудеса великой победоносной революции.

С кубинской фрески, где он изобразил и себя, наш друг смотрит на свою землю, суровую и холодную, смотрит на горные цепи и сказочные реки юга. Сильным мужественным голосом художника, сознающего свой долг, он имеет право сказать соотечественникам из двадцати стран — а он плоть от их плоти,— чтобы они поднялись, ибо действие — это мать надежды, а наша действительность — их мечта!

Нас не может не радовать, что наша кубинская революция и ее великий сын Камило Сьенфуэгос стали источником вдохновения для выдающегося художника нашего времени.

---

* См. статью Пабло Неруды «Хосе Вентурелли», опубликованную в «Иностранной литературе» № 6, 1958.

НАШ ДРУГ АЛИ САРДАР ДЖАФРИ

К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Великое множество людей сидит прямо на траве, потому что им не хватило места под навесом. Но они не жалуются на это. Вечер жаркий, пропитанный всеми запахами тропических рощ, трав и цветов. В сиянии золотого медового месяца, в напряженной тишине тысячи слушателей жадно впитывают каждое слово молодых и старых поэтов, страстно переживают строки стихов, произносимые тонкими мастерами с необыкновенным искусством. Строки то несутся, как звон золотых подков, то стелются, как поле под ветром, то гремят грозовыми раскатами, то набегают, как волны, то становятся песней, слова которой подхватывают присутствующие.

Это длится долгими часами. Такое своеобразное поэтическое состязание, которое на языке урду называется «мушаирой», известно с давних пор.

Мушаиры популярны, потому что тысячи людей, которым недоступны поэтические сборники, тысячи неграмотных любителей поэзии могут на них после трудового дня встретиться с поэтами своей страны, услышать поэтическое слово, горячую песню о родине, о борьбе народа за будущее, о жизни, о молодости, о любви

Мушаиры собирают до двадцати пяти тысяч человек и продолжаются с вечера до утра Даже короткий рассказ может иметь успех у строгого судьи — народа Так Кришан Чандар раз одержал победу над поэтами, получив пальму первенства на поэтической мушаире в Бомбее Но люди, часами жадно внемлющие стихам, не безмолвны Они аплодируют, кричат от восторга, повторяют вслух понравившиеся строки или громко выражают свой протест, свое недовольство и могут гневно, свистками прогнать поэта, в котором они усмотрели только стихотворного фокусника или защитника реакции

Но вот отовсюду несутся бурные возгласы одобрения, радостные восклицания — неутомимые слушатели требуют повторить прочитанное, скандируют имя любимого поэта Это имя: Али Сардар Джафри.

Он великолепен. Его строгое, скульптурное лицо дышит энергией, упорством, бесстрашием Его глаза расширены, он смотрит сквозь ночь, его движения свободны, и стихи, которые он читает, как будто только что родились, и он читает их так, словно должен перекрыть гул моря. Но они сами как волны, которые то тихо стелются по глубокому песку, то грохочут, разбиваясь о скалы, то звучат, как доносящиеся из глубины темных ночных лесов или из мрачных стен ночных тюрем голоса человеческого страдания и крики мести.

Али Сардар Джафри в своей аудитории. Перед ним народ, который он так любит, народ, который стремится в будущее, для которого слово поэта, песня поэта — откровение, призыв к действию, утешение, напоминание о тех богатствах, что лежат накопленные веками в народной душе.

Джафри рожден для того, чтобы говорить тысячам и тысячам, миллионам, говорить стихами, прозой, пьесами о жизни и о борьбе за национальную независимость, за дружбу народов, за лучшее будущее для всех.

Еще с юности, когда он учился в Алигархском университете, он вошел в группу студентов-патриотов и с тех пор принадлежит высокому делу, высокому призванию. Он сам неутомим, как труженики, создающие богатство Индии, он проходит, как и они, сквозь тягостные, большие испытания. Их сердца бьются рядом. Поэтому

так ценит народ своего сына — поэта, чье творчество проникнуто мужеством и нежностью, призывом к борьбе, стремлением идти по трудной дороге жизни, не поступаясь своей суровой принципиальностью, не поддаваясь минутным соблазнам.

Он верен, он предан всем существом любви к жизни, к свободе, к людям. И народ платит ему тем же. Он известен и любим.

В 1949 году проходила Всеиндийская конференция прогрессивных писателей, на которой Джафри не мог присутствовать, так как сидел в тюрьме. Вечером, когда кончили приветствовать гостей, Кришан Чандар поднялся с места и сказал «Остался еще один человек Хотя его нет среди нас, но его взгляд обращен к нам сквозь железные прутья тюремной решетки. Друзья! Пусть наши аплодисменты грянут с такой силой, чтобы звук их разорвал стены тюрем и дошел до Сардара!»

Все поле, на котором проходило заседание, содрогнулось от небывалой по силе овации

Али Сардар Джафри заслужил эту любовь и уважение. Патриот, революционер, борец за мир, он неистощим в своей писательской и общественной работе.

Первая книга стихов Джафри называлась «Полет». В ней было стихотворение, посвященное героической обороне Севастополя в Отечественной войне. Джафри — старый друг Советского Союза.

В сборниках стихов «Каменная стена», «Азия пробуждается», в поэме «Привет новому миру», в книге «Звезда мира» он выступает писателем законченного мировоззрения, певцом борющегося и побеждающего человечества.

О языке своих поэтических произведений он сам говорит вполне точно и ясно «Язык служит обществу орудием, с помощью которого мысли и чувства одного человека становятся понятными другому человеку, и потому язык зависит от мыслей, чувств и потребностей общества. Моя поэзия — не для избранных, а для народа. Поэтому я приложил все усилия к тому, чтобы моя поэзия была понятна как можно большему числу людей, чтобы она была понятна работающим на заводах и фабриках рабочим и пашущим землю крестьянам.

...Прекрасный мир, о котором в течение веков мечтало человечество, мир, запечатленный в песнях, сказках и былинах, создан в Советском Союзе, и это воплощение мечты прекраснее, чем сама мечта».

Много стихов посвятил Джафри советским людям, их великим делам, их исторической борьбе против фашизма, против империализма, за мир во всем мире.

Его пьеса «Чья кровь?» написана в дни, когда японский империализм угрожал границам Индии, и в некоторых кругах страны существовало мнение, будто оккупация Индии японцами избавит ее от английских империалистов. Эта пьеса, разоблачившая японских реакционеров и «пятую колонну», имела большой, справедливый успех.

Таким же правдивым, неподкупным писателем выступает Али Сардар Джафри и в своей прозе, в двух сборниках рассказов: «Прибежище» и «Смерть солдата».

У Али Сардара Джафри есть превосходный рассказ. Он назван по прозвищу девушки, его героини, «Чахру-капитан».

В этой девушке, которую несет бешеный поток жизни, есть что-то от горьковской Мальвы, от героини лермонтовского рассказа «Тамань». Чахру-капитан нарисована автором так впечатляюще, что, и закрыв глаза, вы видите ее фигуру на фоне бушующего моря, видите ее в лодке, подброшенной страшной силой прибоя, слышите ее гневные и гордые слова: «Мне хочется, чтобы кто-нибудь поднял этот мир повыше и потом бросил».

В ней живет дух народа, который не может загрязнить никакой пришелец в белом шлеме; в ней живет здоровье народа, которому сродни и эта могучая природа и эти могучие силы моря, земли и неба. С этой силой сопротивления не управиться ни пришлым, ни местным деспотам

Такой рассказ мог быть написан именно писателем-революционером, который не боится врагов и преследований, которого не сломят ни тюрьма, ни лишения.

Нашему другу Али Сардару Джафри исполняется пятьдесят лет. Он полон сил и веры в жизнь. Он свидетель того, что Индия не только страна, полная безмолвных памятников древних культур, молчащих гробниц и мертвых городов, подобных Фатихпурсикри или пещерам Элефанты и Эллоры; это и страна, на земле которой дымят трубы новых заводов, есть Бхилаи — воплощение советско-индийской дружбы и мирного сотрудничества, есть великие начатые работы, вроде плотины Бхакра — Нангал и новой столицы Пенджаба — Чандигарха.

Мы уверены, что Али Сардар Джафри еще много даст выдающихся произведений своей великой родине.

Мы связаны с народами Индии узами большой искренней дружбы Никакие Гималаи со своими ледяными вершинами не являются больше препятствием между нашими странами

Все шире, все глубже узнаем мы индийскую литературу. И в этой радости узнавания мы сердечно сдружились с иными замечательными талантами, чьи имена стали широко известны и в нашей стране.

Вот почему от всего сердца мы приветствуем сегодня нашего большого друга, блестящего писателя и поэта — Али Сардара Джафри в большой день его жизни и писательской деятельности!

Николай Тихонов

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Назым Хикмет. Романтика. Перевод с турецкого Л. Старостова. «Знамя» №№ 4—5, 1963.

НАЗЫМ ХИКМЕТ — ПЕВЕЦ ЧЕЛОВЕКА

Каждый любимый тобою город пробуждает воспоминание о человеке, который как бы слит с этим городом, вписан в его пейзаж. Когда думаешь о Москве, вспоминаешь Маяковского, о Париже — Поля Вайян-Кутюрье, о Стамбуле — Назыма Хикмета.

Этих людей уже нет. Но в моей памяти они слиты с домами, улицами, площадями городов, которые я назвал.

Стамбул — это город Хикмета. Он нежно любил Стамбул. Не экзотику его, совсем не то, что пленяло Лоти и Фаррера, но шум Стамбула, гортанные голоса, заглушаемые пронзительными гудками автомобилей, протяжный вой пароходов на Босфоре, уличную суматоху, потоки людей и машин на мосту через Золотой рог и полуденную грустную тишину под сводами древних мечетей в старом Стамбуле.

Любил вековые каштаны Стамбула, те самые, о которых писал:

В Париже,
может быть, и сейчас расцветает каштан,
отец всех парижских каштанов,
из Стамбула, с Босфора, пересаженный
в землю Парижа
Жив ли он? Я не знаю.
Если жив, ему больше двухсот.
Я хотел бы поцеловать его руку.

Перевод Б. Слуцкого

Так писать о Стамбуле мог только поэт, влюбленный в этот город, простившийся с ним надолго.

Оказалось, что навсегда.

Когда я читал автобиографический роман Хикмета «Романтика», перед моими глазами был Стамбул 1925 года, того самого года, когда на мосту уже запретили продавать коммунистическую газету «Орак-Чекир» («Серп и молот»). Тогда еще я не знал Хикмета, знакомство произошло только через восемь лет, там же, в Стамбуле. Но 1925 год и Стамбул того времени, каким я его видел,— своего рода комментарий к автобиографическому роману Хикмета.

Галата... Хамалы — грузчики в лохмотьях. Портовые кабаки. В переулках — как бы магазины с витринами, но за стеклом сидят полуголые женщины и призывно стучат наперстками в стекло.

Еще не прошло пяти лет с той поры, когда три визы — английская, французская и итальянская — разрешали пребывание в этом городе, когда тыл белой армии барона Врангеля осел в Стамбуле и там сразу появилось три тысячи ресторанов, игорных домов, кабаре, когда Гран рю де Пера (теперь улица Независимости) говорила, спорила, бранилась на шести языках. На знаменитой лестнице из порта Галаты в город стояли русские, продавая все, что успели увезти из Крыма: самовары, ордена, ковры, фарфор, дарохранительницы,— все покупалось и продавалось на франки, фунты, доллары; и на этот рынок, словно тучи мух, налетели покупатели, снимая с несчастных и голодных людей нательные кресты, обручальные кольца — чем только ни торговали в кофейнях Стамбула!

Здесь еще долго чувствовалась атмосфера султанской, продажной, покоренной империалистами Запада Турции. И никому не было дела до голодающих носильщиков, грузивших уголь в порту, до нищих или безработных, спящих зимой под мокрым снегом. Таким увидел Стамбул Назым Хикмет, возвратившийся из Страны Советов в 1928 году, поэт, которому на родине предстояли долгие годы тюрьмы.

В начале 20-х годов поэт и его товарищи боролись за независимость Турции. И вот интервенты разбиты, и только развалины на набережной Измира напоминают о войне за независимость. Нет султана, повелителя правоверных, и халифа, религиозного вождя. Турция — республика. Но разве покончено с нищетой, разве не тот же безысходный мрак в деревнях, безграничная власть ростовщика, болезни, темнота, голод... И могла ли молодежь, искренне и самоотверженно сражавшаяся за Республику, смириться и принять такую республику, где преуспевали компрадоры, где наживали

политический капитал ловкие интриганы? Что изменилось в стенах вилл на Скутарийском берегу Босфора?

И молодежь, давно обратившая взоры на Север, помнившая, что оттуда, из Москвы, пришла помощь в дни, когда народ сражался за независимость, эта молодежь устремилась в Москву. Из Москвы по всему Востоку распространялись идеи социализма. В России победила социалистическая революция. Назым и его товарищи отправляются в Москву. Там — Коммунистический университет трудящихся Востока, там спорят о мировой революции, изучают Маркса и Ленина, и, приезжая в Баку, на берега Каспия, они видят, как в Советском Азербайджане воплощена в жизнь мечта народов Востока.

Назым Хикмет в «Романтике» рассказывает о том времени, о себе, о своих друзьях. Начало двадцатых годов предстает перед читателем. Это Москва Ленина, первомайская Москва, когда на улицах звучит на многих языках «Интернационал», Москва, где все люди равны, где в стихах и прозе славят социалистическую революцию. Здесь, в Москве, молодые люди, Ахмед и Керим, узнают любовь. Русские девушки Аннушка и Маруся полюбили их не только за молодость и нежные чувства, но и потому, что знали: счастье их будет недолговечным.

Ахмед — в нем мы узнаем черты характера самого Назыма — и его друг Керим отдают себя борьбе ради счастья и свободы соотечественников. Молодые люди знали, что их ждет на родине — там фанатики из «Общества охраны святынь» готовы были разорвать в клочья «врагов ислама», там их ожидала участь Субхи и пятнадцати его товарищей, погибших от рук убийц на траверзе Сермене в Черном море.

«Что ждет меня и Керима на родине!.. Романтика! Кто знает, быть может, очень мучительная, кровавая. Та же романтика, что и у красного партизана, скачущего на коне. Куда мчится всадник? Чаще всего к смерти. Но для того, чтобы жить еще лучше, еще справедливее, еще полнее». Так выглядит романтика в описании Назыма Хикмета. Совесть вынуждает всадника мчаться навстречу гибели. Но у романтика впереди светлая цель: он жертвует собой ради того, чтобы освободить крестьянина от гнета ростовщиков, рабочего от гнета фабриканта, весь народ от религиозного фанатизма. Долог и мучителен путь к этой цели. Какое мужество надо иметь, чтобы не свернуть с прямого пути! И разве не было отступников среди этой молодежи?

Молодые люди любили жизнь и умели ее ценить. Хотелось жить Исмаилу, которого верно и нежно любила его молодая жена Нериман. Но каким недолгим было их счастье, считанные дни, пролетевшие как миг для Исмаила, между камерой военной тюрьмы и полицейским участком в Стамбуле, где на стене рядом с портретом главы государства висело орудие пытки «флака». Казалось, что могла сделать, какие устои могла поколебать листовка, отпечатанная на старой пишущей машинке? Но не эта листовка, а сама судьба молодых революционеров — Зии, Исмаила, Керима — останется в памяти народа. Их жизнь воодушевит новые поколения борцов, которые придут им на смену.

Вот что происходило на берегах Босфора, в Стамбуле, когда я увидел в сиянии полуденного солнца этот прекраснейший город, пестрые толпы на улице Независимости — тогда она еще называлась Пера. Как будто никому не было дела до того, что творилось в мрачных тюремных камерах и в полицейских участках.

Мне хочется отвлечься от последнего романа Хикмета и рассказать о некоторых встречах с ним. В том же Стамбуле, в 1933 году, я встретил Назыма Хикмета. Он был признанным поэтом и не только среди молодых людей — журналистов стамбульских газет. Восьмидесятилетний поэт, которого считали турецким Расином, дипломат, помнивший времена Бисмарка, времена султанов Абдула Гамида и Абдула Меджида, сочинявший трагедии о халифах Гранады, назвал мне имя Назыма Хикмета — надежды турецкой поэзии.

Я обращаюсь к своим записям 1933 года и читаю: «Самое приятное в беседе со старым поэтом было то, что он не отрицал нового, что он отдавал должное таланту и темпераменту революционного поэта Назыма Хикмета. В этом признании права молодежи на искания и новую мысль, в этом признании поэта новой эпохи поэтом-классиком была мудрость и понимание духа времени».

После этого с нетерпением ждал я встречи с Хикметом.

Она произошла в кабинете Эртогрула Мухсина — режиссера театра Даруль Бедаи. Шла пьеса Шиллера «Коварство и любовь», и было радостно увидеть на сцене турецких актеров, играющих в духе студии Художественного театра, хотя тогда еще не говорили о системе Станиславского так много, как сейчас. Эртогрул Мухсин некоторое время жил у нас и многое воспринял у нашего театра, он наш доброжелатель и друг.

Я вновь обращаюсь к старым записям.

«Режиссер Эртогрул Мухсин и поэт Назым Хикмет сидели в комнатке, увешанной фотографиями... Голос поэта как бы заполнял комнатку. Я слышал дважды этот голос во всю его силу... Ритм и содержание стихов были близки нам, помнившим Маяковского начала революции, порой не было необходимости в переводе. Мы понимали смысл и чувствовали ритм стихов Назыма Хикмета, проникнутых боевым духом новой эпохи человечества.

А, может быть, еще потому нас радовали эти стихи, что в них говорилось о Каспии и прибое каспийских волн, и это было приятно слушать на берегах Босфора...»

Хикмету было около тридцати лет, но он казался совсем юным: золотистая шевелюра, широкие плечи, рослая статная фигура — все привлекало к нему внимание. Мы говорили

по-французски, тогда он еще не вполне владел русским языком. Решили вместе отправиться в Кадыкей, отдаленный район Стамбула, где жила знакомая молодая женщина-литератор, работавшая в одном стамбульском издательстве. Это был незабываемый вечер в скромной тесной квартире, и опять Хикмет читал стихи. С нами были молодые люди — кто знает, может быть, это об их судьбе рассказал потом Хикмет в «Романтике».

Такими были эти встречи в Стамбуле тридцать лет назад. В те вечера, когда говорили о поэзии, когда слушали стихи, как-то не приходила в голову мысль о том, что ожидает Хикмета. А ожидали его долгие годы тюрьмы.

Цикл стихов из тюрьмы — мужественный, исполненный гордости и человеческого достоинства. Одно из стихотворений называется «Байрам Оглу»:

В тюрьме я. Но сердце мое не в плену,
а там, где солнце и небо чистое.
Сегодня я вспомнил Байрам Оглу,
товарища моего, коммуниста

Перевод И. Печенева

Хикмет говорит о товарище, руки которого связаны и над ним издевается враг. Но в глазах Байрам Оглу не мольба, не страх, а любовь к людям. Хикмет в турецкой тюрьме. Что такое турецкая тюрьма, трудно себе вообразить, настолько это мрачно, безнадежно, бесчеловечно Здесь даже мужественный человек теряет самообладание И вот в такой тюрьме проходили лучшие годы поэта, и все же он писал:

Не вешай головы, надежды не теряй,
И стену не сверли отсутствующим
взглядом
Встань! Подойди к окну,
Взгляни — в цвету твой край
И ночь красива, точно море рядом.

Обращение узника к жене поражает глубиной чувства и верой в будущее:

Твой болен сын. Твой муж в тюрьме
Согнулись
Твои так много вынесшие плечи,
И голова, уставшая от дум,
Упала на измученные руки ..
Твоя судьба — всей Турции судьба,
Но знаю я: от тяжких дней к счастливым
Страна моя придет ..

Когда после долгих лет заключения Хикмету удалось вырваться из Турции, Москва встретила его как любимого сына, которым гордились не только лучшие из лучших его соотечественников, но люди разных наций, его единомышленники — интернационалисты.

Перед моими глазами — встреча поэта с москвичами в Зеленом театре Парка культуры имени Горького под открытым небом Море голов, тысячи сверкающих глаз, гром приветствий Хикмет стоит на эстраде, склонив светловолосую голову, смахивая набегающие слезы. И вдруг все смолкает, мертвая тишина, и лишь слышится его голос, в котором столько задушевности и теплоты когда он благодарит за эту полную любви и радости встречу.

Сколько таких встреч было у советских людей с поэтом!

Теперь хочется рассказать еще о некоторых других встречах с Хикметом, рассказать хотя бы о беседе, которая была у нас после того, как я в третий раз вернулся из Турции, в 1957 году.

Он вдруг посветлел лицом, протянул руки и воскликнул:

— Вы были в Стамбуле? В моем Стамбуле? Расскажите...

Мы почти не говорили о политическом положении Турции. Назым лучше меня знал, что представляет собой жестокий, реакционный, продажный режим Мендереса. Мы говорили о судьбе народа, о людях, о тех, кто помнит и любит своего поэта. Я нисколько не покривил душой, когда сказал Хикмету, что творчество его влияет на турецкую поэзию. Его не забывали: в одном доме я видел его портрет, в другом мне с возмущением сообщили, что жена Хикмета и его сын живут под неусыпным наблюдением полиции. Одни спрашивали меня о Назыме Хикмете без всякой задней мысли, но были и такие, кто пытался выведать как можно больше подробностей, прощупать, не пытается ли гость пропагандировать поэзию поэта-коммуниста. Я отвечал, что редко вижу поэта и сожалею об этом. Кстати, это была чистая правда.

— И я тоже сожалею,— со своей чудесной улыбкой сказал Хикмет,— но вы занимаетесь турецкой прозой, пожалуйста, спрашивайте меня, я хочу быть вам полезен.

И в самом деле он помогал мне в работе над вступительным словом к роману Решада Нури Гюнтекина «Птичка певчая» и роману «Возвращение десяти тысяч» Самима Коджагеза Он обратил наше внимание на реалистические, полные горечи рассказы Орхана Ханчерлиоглу «Мир тьмы» — о турецких батраках-сезонниках, умирающих на дорогах от истощения и малярии.

Он говорил о том, как трудно турецким прозаикам-реалистам жить и работать... Но это был разговор в другой раз, а после моего возвращения из Турции мы вместе совершали воображаемую прогулку. Широко открытыми глазами он смотрел в пространство и как бы видел вонзающиеся в небо минареты Айя София, узкие гористые улочки старого Стамбула, цветущий миндаль, зеленеющие склоны, он вновь переживал весну на берегах Босфора. Все его интересовало: маленький ресторан на Египетском базаре — из окна второго этажа виден мост через Золотой рог, знаменитый мост, где когда-то в либеральные времена молодежь продавала газету «Орак-Чекир», а сборщики, как и сто лет назад, собирали плату с пешеходов за переход моста и проезд по мосту экипажей, позднее автомобилей.

Не берут теперь платы за переход моста и не продают газету с запретным названием.

Назым слушал, вспоминал курьезы старого быта, но его больно задевало другое — рассказы об убогих деревнях Анатолии, где глинобитные хижины с зияющими дырами вместо окон и дверей, где волки — вечные враги пастухов — перебегают автостраду из Анкары в Измир, где женщины работают под палящим солнцем, в то время как их

мужья проводят в кофейнях долгие часы безделья.

Теперь, вспоминая этот разговор, я думаю, что странствия Назыма по городам Европы и за океан не могли ему заменить возвращения в Турцию, куда путь ему был заказан.

Мы знаем, как много он работал, знаем его пьесы, своеобразные и глубокие по мысли, его поэму «Солома волос, ресниц синева .» — эти поэтические очерки, образы городов, которые он посетил. Здесь и многострадальная, поднявшаяся из пепла Варшава и Париж, где

Жизни кусок в Сену я уронил
с моста Сен-Мишель.

И Гавана

Глаза их мужчин блестят.
Тела их девушек трепещут, как только
губы девушек
касаются слова «Свобода»
А старики вытаскивают из колодца ведро
самых лучших
воспоминаний и пьют по глоточку

Перевод Б. Слуцкого

И еще один город, который Хикмет не называет. «Этот город разрушен, потому что послал солдат своих разрушать города другие».

И, конечно, Москва и Советская страна.

Березы встречают меня зимой
под Москвой в Переделкино
благородные, скромные
Березы считаются русскими, как тополя
считаются турецкими.
.. А в Измире тополя
выбегают на поля.

Перевод М. Павловой

В этом путешествии Назым Хикмет, самоотверженный и неутомимый борец за мир на земле, только однажды вспоминает испытания, выпавшие на его долю,— небо, которое было для него закрыто в тюремной камере. Он страстно хотел видеть

...небосвод, на который смотрел Андрей,
лежа
на Бородинском поле.
. . . . . .
Донеслись голоса...
не с небесного свода — с тюремного
дворика,
опять надзиратели бьют кого-то...

Перевод М Павловой

Да, это быт его родины, жестокий быт, когда люди, живущие близ полицейского участка Каракол, не спят по ночам, потому что слышат вопли избиваемых. И, чтобы не было этого страшного быта, не было бедняков, умирающих на дорогах, для этого жил, страдал, создавал свои стихи Назым Хикмет.

Однажды он рассказывал, как в молодости, в Москве, он выступал на вечере поэзии вместе с Маяковским. Назым должен был читать стихи на турецком языке, он очень боялся провала, боялся потому, что в зале никто не знал турецкого языка. Маяковский, положив ему на плечо свою большую руку, сказал:

— Турок! Не бойся.

И Хикмет не боялся. Он не боялся говорить правду на своем поэтическом языке. И голос его звучал вдохновенно и сильно, проникая через границы, сквозь плотно закрытые двери университетских аудиторий в Стамбуле и Анкаре.

Впервые турецкий поэт достиг славы далеко за пределами своей родины — преграды, которые ставил перед поэзией Хикмета язык, рушились. Даже несовершенные переводы давали представление о своеобразных, мощных образах его стихов, о полете его свободной мысли, о том, как сильно и страстно билось сердце поэта.

Он мог бы еще жить и жить, если бы не годы тюрьмы, если бы не то, как откликалось его сердце на страдания его народа. Даже в тюрьме Назым не впадал в отчаяние, он неустанно работал, в тюрьме он перевел две книги шедевра Толстого «Война и мир».

Он вышел на свободу с болезнью сердца, он мог бы продлить свою жизнь, если бы жил в покое. Но так жить он не мог, он слишком любил людей и жизнь. И смерть его настигла внезапно, в обычном беге его трудовых будней.

Во всех концах света болью отозвалась горестная весть о кончине Назыма Хикмета. Во всех концах... Только из одной страны мы не услышали голоса горя — его родины. Но молчание печати не означало, что Назым забыт. В укромных уголках со слезами на глазах неизвестные молодые люди перечитывают его стихи. В глубине души даже те, кто считал себя его противником, понимают, что Турция потеряла своего великого поэта-новатора.

Его смерть оплакивал в Гаване его верный друг Николас Гильен, в Чили — Пабло Неруда.

«Зачем ты умер, Назым? Что нам делать без твоих песен? Найдем ли мы другой такой родник?» — воскликнул Пабло Неруда.

Писатель Махмед Дакруб из Ливана назвал Назыма «певцом человека»: «Словно добрый рыбак, вытаскивал он своим неводом серебристых рыбок из мирового океана, чтобы с детской радостью раздавать их беднякам, труженикам, ученым, рассказчикам, революционерам и голодным».

Теперь вспомним то, о чем говорил сам Назым:

«Поэт, естественно, такой же человек, как и все другие. Однако у него есть возможность не только конкретно осмыслить действительность, но и почувствовать ее аромат. Когда-то еще Энгельс сказал, что поэты чувствуют аромат будущего. Именно эта их способность может оказать влияние на человека и на общество».

И потому он был певцом человека. И потому он любил жизнь и мечтал прожить еще хотя бы пять лет, потому что «жизнь — прекрасная вещь, братишка!» — пишет он в своем последнем, автобиографическом романе. Так кончается «Романтика», романтика борьбы во имя человека.

Хикмет чувствовал аромат будущего, и это будущее для него и для всех людей — коммунизм.

ЛЕВ НИКУЛИН

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Manuel Navarro Luna. Obra Poética. La Habana, Ediciones Union, 1963.

СЕРДЦЕ — С КУБОЙ

Сборник выдающегося кубинского поэта Мануэля Наварро Луны не случайно назван «Поэтический груд» — в этом томе, выпущенном недавно Союзом писателей и деятелей искусств Кубы, собраны произведения из книг, выходивших на протяжении почти сорокалетнего творческого пути поэта. Поэт всегда был вместе с народом, разделял с ним минуты горя и радости, героизма и гнева. Сегодня кубинский народ узнает себя в произведениях Мануэля Наварро Луны. Я — сам поэт, и я не знаю более высокой чести для художника, чем эта.

Наш семидесятилетний поэт, вступивший в ряды Коммунистической партии Кубы более тридцати лет назад, никогда не был в стороне от политических и культурных событий своей родины. До победы революции, будучи юристом, он выступал в защиту рабочих и крестьян. Двери дома в городе Мачсанильо, в течение многих лет служившего кровом для Наварро Луны, были всегда открыты для тех, кто нуждался в помощи, в дружеской поддержке. Путь в этот дом хорошо знали многие выдающиеся писатели не только латиноамериканского континента Этот дом был родным и для молодых поэтов, которых Наварро Луна неизменно поддерживал и направлял. Теперь Мануэль Наварро Луна живет в Гаване, в доме, находящемся напротив Национального университета. Каждый день в четыре часа утра он начинает работать. Он пишет стихи и поэмы Из-под его пера выходят и статьи для печати, радио и телевидения. Он выступает на самые различные темы и прежде всего по насущным вопросам нашей революции. Его подпись можно встретить и под репортажем, и под очерком, и под рассказом. Совсем недавно в журнале «Верде оливо» он открыл рубрику «Молодые кубинские поэты», посвященную новым талантам. В нашу эпоху, эпоху великих социальных преобразований, каждый истинный поэт должен быть воодушевлен идеями борьбы за справедливость, за правду жизни в искусстве. И, по мнению Мануэля Наварро Луны, тем прекраснее произведение, чем полнее оно отражает повседневную жизнь народа. По его убеждению, книга в сегодняшней борьбе так же важна, как оружие.

Читая стихотворения, написанные Наварро Луной три десятка лет назад, ощущаешь всю поэтическую силу его протеста против трагической действительности Кубы того времени, страны, изнемогавшей под гнетом «домашней» реакции и чужеземного империализма. Его поэзия призывала рабочих и крестьян к борьбе за завоевание политической и экономической власти, помогала людям жить и бороться. Это были пророческие стихи, стихи, рожденные в безнадежности и утверждавшие надежду.

Я не забуду, как в конце сороковых годов чтение произведений Наварро Луны вселяло в нас веру, воодушевляло нас. Еще совсем юные, мы видели, как кровавый диктатор Батиста страшными преступлениями стремится укрепить свой режим. Но и в черную годину не смолк голос Наварро Луны. Нет. Его голос становился все более громким, суровым, гневным. В то время мы зачитывались его стихами, горевшими мятежным духом. Наварро Луна клеймил предательство и равнодушие. Человек, не признающий разочарований, пессимизма, горечи, он требовал от нас энергии, оптимизма, веры в жизнь. И мы были полны этой веры. В три раза старше нас, молодых поэтов, собиравшихся в его доме, он, казалось, не знал усталости. Да разве знает он усталость сейчас, когда — худощавый и очень подвижной для своих семидесяти лет — он бывает и на партийных собраниях, и на беседах, проводимых на фабриках, и на народных фермах, и на встречах со студентами?

Я не буду останавливаться на характерных чертах поэтического творчества Наварро Луны. О них, на мой взгляд, хорошо и верно сказал советский критик Юрий Дашкевич в статье, опубликованной в журнале «Иностранная литература» *. Я вспомнил об этой статье не случайно — переведенная в Гаване на испанский язык, она сопровождает антологию «Поэтический труд».

---

* См. «Иностранную литературу» № 4, 1962 г.

Мне хочется сказать о другом. Возможно, многие из тех, кто сегодня на Кубе читает и повторяет боевые, революционные стихи Наварро Луны, не могут правильно определить, сколь велико его значение в кубинской литературе. Многие наши поэты активно участвовали в революции, иные отдали за нее жизнь. Но всех ли этих поэтов можно назвать революционерами и в творчестве? Ведь были среди них и такие, кто в декадентских строфах тщетно пытался охватить все величие событий. Творчество этих поэтов входит в явное противоречие с их революционной деятельностью.

Поэзия Владимира Маяковского, его горячий и непосредственный стих рождены Октябрьской революцией. Великая Октябрьская революция наполняет внутренним содержанием и оттачивает стих Маяковского. И поэзия Мануэля Наварро Луны — я могу сказать это с полным правом — рождена кубинской революцией.

В начале своего творческого пути Наварро Луна не избежал влияния господствовавших в то время на Кубе литературных школ, которые по сути своей не были ему «родными». В ту пору он был очень молод и плыл по течению. Но прошло немного времени, и Мануэль Наварро Луна написал книгу, явившуюся отказом от прежних форм, прежних влияний. Этой книгой была «Борозда» (1928). Молодой Наварро Луна вступил в экспериментальный мир передового искусства века, где александрийским стихам и красивостям нечего было делать. Это был только первый шаг — первый, однако решительный и бесповоротный. Никто на Кубе не был так отважен тогда, как он, в стремлении к новаторству. Правда, во многом это было стремление к новому в области формы.

Но Наварро Луна понял, что кроме жонглирования словом, насилия над образами и воображением есть вещи, о которых нельзя забывать. Стихи, созданные в новаторских поэтических битвах, надо было насытить человеческим теплом, тем более что в то время человеческая судьба ставилась на карту.

Книга «Биение и волна» (1929) была создана им, чтобы поставить и разрешить этот вопрос. Это одна из больших книг нашей поэзии и одно из знаменательных свидетельств нашего времени. В ней — все достоинства творчества Наварро Луны: блестящая форма, подчиненная великой идее.

1936 год. «Раненая земля». Эта книга была задумана как продолжение «Биения и волны». Поэт берет слово, чтобы заклеймить вековую несправедливость по отношению к эксплуатируемым крестьянам и возвестить наступление тех времен, когда

> Цвет земли станет цветом мотыг...
> запах земли станет запахом мотыг...
> биение земли отразится в перестуке
> мотыг...

В «Мамбисских одах» — сборнике стихотворений (1926—1960 гг.), посвященных борьбе кубинского народа,— Наварро Луна обращается к истории своей родины, останавливаясь на тех событиях и людях, которые могут служить примером, уроком. Вся Куба с ее освободительной борьбой в прошлом и ее свободой в настоящем отражена здесь. Это поэзия, непосредственно обращенная к людям.

Так, ищущий и многогранный, находящийся всегда в процессе обновления и всегда верный делу своей жизни, Мануэль Наварро Луна остается поэтом наших дней.

С юношеским пылом продолжает он борьбу. Перед нами — отнюдь не отягощенный бременем прожитых лет, стремящийся к покою человек. Нет! Сегодня активнее, чем когда-либо прежде, выступает Мануэль Наварро Луна в первых рядах борьбы, и никакие ветры не могут заставить его свернуть с пути.

ЭБЕРТО ПАДИЛЬЯ

г. Гавана

КНИГА В БОЕВОМ СТРОЮ

О Барбюсе написано очень много и очень мало. Много, потому что ему посвящены десятки книг, тысячи статей. Мало, потому что до настоящего времени многие вопросы его творчества еще ждут своего исследователя. В известной мере эти пробелы восполняет труд чешского ученого Владимира Бретта «Анри Барбюс. Его путь к ясности, его движение «Кларте».

Как видно из заглавия, книга состоит из двух частей: в одной из них освещается путь Барбюса от первых произведений к вершинам творчества, романам «Огонь» и «Ясность», в другой — история созданного Барбюсом международного объединения писателей «Кларте». Книга написана на основе огромного количества фактических данных, знакомит с документами, ранее не опубликованными.

Анализируя творчество раннего Барбюса, автор книги впервые в научной литературе останавливается так полно на его эстетических взглядах. Молодой Барбюс, критик и театральный обозреватель, еще связан с многочисленными предрассудками, всей атмосферой литературной жизни «конца века» («цель писателя — служение Красоте»). Но уже тогда, на рубеже веков, Барбюс проявляет самый живой интерес к мастерам французского социального романа — Золя, Мопассану, которого он считает «реалистом из реалистов». В театральных рецензиях Барбюса отчетливо выступает антибуржуазная направленность. Так, пороки промышлен-

Vladimir Brett. Henri Barbusse. Sa marche vers la clarté, son mouvement Clarté Prague, Editions de l'Académie Tchécoslovaque des Sciences, 1963.

ника Дюпона (герой пьесы Эжена Брие «Дочери г-на Дюпона») рассматриваются как характерные черты буржуазного класса. Для Барбюса театр — источник социального опыта, школа общественного воспитания.

Тщательно прослеживает В. Бретт историю создания романа «Огонь», исследует те фактические события, которые легли в основу повествования. Однако нам трудно согласиться с В Бреттом, когда он относит «Огонь» к очерковой литературе.

Романы «Огонь» и «Ясность» анализируются в общей перспективе развития французской демократической литературы. Это помогает исследователю сделать принципиальной важности вывод: «Огонь» и «Ясность» — «первые произведения социалистического реализма во Франции, его краеугольные камни»

Большой интерес представляет раздел книги, посвященный движению «Кларте». Известно значение этого движения, та высокая оценка, которую давал ему В. И. Ленин Но история «Кларте» почти не изучена. Работа Владимира Бретта — серьезный шаг в этом направлении.

Группа «Кларте» возникла в майские дни 1919 года, на гребне революционной волны, охватившей Францию, весь мир после Великой Октябрьской революции. Естественно, что организаторы «Кларте» видели одну из своих главных задач в защите молодой Советской республики. «Кларте» и русская революция» — так называется одна из глав книги Бретта. Здесь и в других главах собраны многочисленные отклики передовых французских писателей — А. Франса и Р. Роллана, А. Барбюса и Р Лефевра, Поля Вайян-Кутюрье и Жан-Ришара Блока — на Октябрьскую революцию, выступления в ее поддержку. Крайне интересен анализ вышедшей в Париже брошюры «В честь Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в связи с ее второй годовщиной».

Группа «Кларте» какое-то время объединяла лучших представителей мировой литературы, выступавших против войны и жаждавших переустройства общества на социалистических началах. Одна из важных заслуг Владимира Бретта в том, что он с документами в руках показывает: в 1919—1921 годах под лозунгами «Кларте» возникло и успешно действовало широкое движение прогрессивно настроенной интеллигенции. Тираж газеты «Кларте» достигал 20 000 экземпляров. Секции «Кларте» действовали во многих городах Франции. Автор книги характеризует международный размах движения, рассказывает о создании и судьбах групп «Кларте» в Англии, Германии, Австрии, Бельгии, Голландии, Швейцарии, Италии, Испании, Португалии, скандинавских странах, Соединенных Штатах Америки, Мексике, на Кубе, в Бразилии, Египте, Палестине, Турции и других странах Большой интерес представляет тщательно разработанная В. Бреттом история движения «Кларте» в Чехословакии, где его участниками были крупнейшие писатели — Станислав Костка Нейман и Иозеф Гора, Иван Ольбрахт и Франя Шрамек.

Историю «Кларте» нельзя понять без пристального внимания к тому спору с пацифистами, который вели Барбюс, Лефевр, Вайян-Кутюрье. Широко известна полемика Барбюса с Ромэном Ролланом в 1921—1922 годах. Из исследования Бретта явствует, что спор с Ролланом начался с момента основания «Кларте». Поддерживая идею о необходимости объединения прогрессивно настроенной интеллигенции, Роллан возражал против состава группы, ее методов. Уже в июне 1919 года сторонники Роллана (Шарль Вильдрак, Леон Верт, Жорж Шеневьер, Леон Базальжет и др.) вышли из группы. В конце 1919 и в начале 1920 года в связи с подготовкой международного конгресса интеллигенции в Берне различные точки зрения на его цели и программу были высказаны Барбюсом, с одной стороны, Ролланом и Дюамелем — с другой. В письме Раймону Лефевру (30 января 1920 года) Барбюс подчеркивал: «...надо решительно, безоговорочно броситься в самую гущу революционной борьбы». Этот свой важнейший тезис Барбюс и обосновывал в развернувшейся в следующем году полемике с Ролланом, защищавшим в то время позицию «над схваткой». В дальнейшем, как известно, взгляды Роллана и Барбюса сблизились.

В споре с Ролланом Барбюсу удалось отстоять свою правоту, но в самом движении «Кларте» появилась другая, еще более серьезная опасность: руководство группы было захвачено сектантски настроенными элементами. Владимир Бретт убедительно

показывает, какую пагубную роль сыграла линия раскольников и догматиков, прикрывавшихся громкой революционной фразой здесь и воинствующий отказ от классического наследства (кампания в связи со смертью Анатоля Франса), и травля «писателей-попутчиков», и наконец открытый разрыв с Французской коммунистической партией, переход на антисоветские позиции. Новая редакция «Кларте» (Барбюс окончательно порвал с ней в начале 1924 года) скатилась в троцкистское болото. Поучительный урок, не потерявший своего значения и в наши дни.

Книга Владимира Бретта, опубликованная в Чехословакии на французском языке, не просто еще одна — пусть интересная — работа о великом французском писателе. Эта боевая, подлинно партийная книга участвует в идеологической борьбе, которая идет сегодня.

Ф. НАРКИРЬЕР

Ives Berger. Le Sud. Roman. Paris, Bernard Grasset Editeur, 1962.

«ПОИСКИ» ИВА БЕРЖЕ

Недавняя встреча писателей в Ленинграде снова привлекла внимание литературной общественности к проблемам развития современного романа. Точно ли этот ведущий жанр современной литературы переживает на Западе глубокий кризис, как утверждают многие (главным образом, французские) критики и литературоведы? Точно ли «обновление» романа должно пойти по линии поисков новой формы, как считают сторонники «нового романа», например, Ален Роб-Грийе, Натали Саррот, Бернар Пенго, которых мы слышали на трибуне ленинградской встречи?

Мы скорее склонны согласиться с мнением другого французского критика — Франсуа Нурисье, который выступил в мае 1963 года в буржуазном еженедельнике «Нувель литтерер» (статья его была затем перепечатана в «Юманите») с утверждением, что роман переживает «кризис содержания», что французским романистам «нечего больше сказать», что у них нет сюжетов, ибо они *«повернулись спиной к кардинальным проблемам нашей эпохи.*

Отнюдь не распространяя этого утверждения на всю современную французскую литературу, мы хотели бы привести в качестве примера один из романов, отмеченных крупной литературной премией «Фемина» за 1962 год, а именно — роман «Юг», принадлежащий перу молодого автора Ива Берже. Нам представляется чрезвычайно симптоматичным не только самый роман, но и эстетическая концепция автора, так же как и полемика, развернувшаяся вокруг него во французской печати.

Так, например, Доменик Фернандес в еженедельнике «Экспресс» захлебывается в похвалах молодому лауреату, объявляя, что его книга обладает «необычайной силой, красотой и богатством», что за ее «четкими и ясными образами» открывается «мир грез и мифов», что романист «ввел новую проблематику языка» и что в литературе «прозвучал голос, которого уже нельзя заглушить». Говоря о героях романа — брате и сестре, которые становятся любовниками,— автор статьи, нимало не смущаясь, называет их «последними могиканами любви» (именно так и называется его статья).

Более сдержанную оценку роману дает Ан Вилелор в еженедельнике «Леттр франсез», справедливо замечая, что героиня романа хоть и является студенткой медицинского факультета, но ничто в ее языке, образе жизни и манерах не выдает ее повседневных занятий. Трудно представить ее характер, ибо «персонажи не являются настоящими существами из плоти и крови, это символы, предлоги для размышлений». Ан Вилелор отмечает и то немаловажное обстоятельство, что в романе «Юг», действие которого происходит в 1956 и 1958 годах, полностью отсутствует даже самое слабое эхо «современного мира», как, например, алжирская война, или атомные испытания, или завоевание космоса и т. д.

Наконец известный французский литератор Пьер-Анри Симон, выступающий в статье с характерным названием «Самочувствие французского романа неважное» (газета «Монд»), высказывается еще более негативно: он считает, что автор «Юга» «сочиняет невероятную историю» и что замысел его романа «весь надуманно-интеллектуальный». Пьер-Анри Симон не отрицает искусства автора «распластать и растянуть до бесконечности фразу, если речь идет о тоске по непреходящему времени, или сжать и разорвать ее, когда он пишет о поисках счастья в данную минуту». Все это «сфабриковано довольно хитро, но сфабриковано в голове»,— замечает П.-А. Симон. Что же касается героев романа, которых одни критики называют «символами», а другие — как мы видели — «могиканами любви», то здесь Пьер-Анри Симон придерживается своего мнения: «Несчастье в том, что символы в лице брата и сестры спят в одной кровати и что слишком много страниц отведено дотошному эротизму, усложненному кровосмешением,—

шедевр дурного вкуса!» — заявляет он достаточно красноречиво.

Нельзя не согласиться с Пьером-Анри Симоном. Полностью надуманная, искусственная ситуация: отец и сын, живущие в современной Франции, но живущие одновременно в выдуманном, идеальном мире, который существовал якобы в южноамериканском штате Виргиния приблизительно в 1842 году, когда, по мысли отца, там еще не произошло индустриального переворота и когда в полном согласии между собою там разгуливали свободные индейцы, экзотические бизоны и лисицы. Не имея возможности вернуть этот обетованный рай, навсегда утерянный человечеством, отец героя пытается уйти от всего современного: он отказывается от телефонов, от машин и автобусов, употребляя для выездов старую кобылу, впряженную в двуколку, и сына он воспитывает в полной изоляции от всего окружающего мира.

Живая действительность только один раз проскальзывает в повествовании Ива Берже, когда мы неожиданно узнаем, что отец рассказчика, работающий деревенским нотариусом близ Авиньона, оставался мэром в своей деревне во время немецкой оккупации Франции. Когда после изгнания немцев он предстает перед судом и его спрашивают, почему он не отказался от выполнения обязанностей мэра при немцах, он отвечает, что причиной тому были... ружья. никому иному жители деревни не согласились бы сдать свои охотничьи ружья; только для него они сделали это.

Тут читатель, знающий героическую эпопею французского Сопротивления, молниеносно представит себе, что ружья нужны были для партизан, для защиты отечества, для каких-нибудь героических акций — нет, ничего похожего. Ружья, оказывается, нужно было отобрать у людей для того, чтобы они с голодухи не пострелляли лесных птиц, которые напоминают отцу свободных обитателей его возлюбленной Виргинии. Итак, спасти птиц—это и есть единственная эмоция, которая связана у отца (и, видимо. у автора романа!) с бурными и трагическими событиями второй мировой войны.

Когда сын этого человека подрастает и отец вынужден послать его для продолжения образования в город, где уже несколько лет учится старшая дочь,— нас снова поражает искусственная изоляция, в которой живут эти молодые люди. Особенно мальчик, у которого нет ни друзей, ни просто товарищей, ни любимых учителей, никакого интереса к жизни школы или предметам, которые он изучает. Он продолжает увлекаться древнеиндейскими наречиями и пишет книгу о себе, об отце и сестре, которых опять-таки помещает в мифическую Виргинию 1842 года. (Тут-то и разворачивается хитроумное словесное мастерство Ива Берже, о котором упоминает Пьер-Анри Симон: бесконечно длинные фразы на целые страницы своеобразная магия слов, которым приписывается самодовлеющее значение и которые, по мысли автора, должны останавливать время.) Тогда сестра рассказчика, тщетно пытавшаяся развлечь брата с помощью алкоголя, студенческих оргий или загородных прогулок, во время которых они оба с отвращением шарахались от «толпы», не находит ничего лучшего, как предложить ему свое тело, и, таким образом, дальнейшее обучение брата «науке жизни» происходит уже в постели.

Нельзя не отметить поразительную аморальность героев Ива Берже. В романе «Юг» ни у сестры, ни у брата кровосмешение не вызывает ни горечи, ни хотя бы мало-мальски серьезных размышлений, как будто речь идет о совершенно естественном деле или даже о доблестном самопожертвовании сестры. К нашему изумлению, некоторые французские критики именно так и объясняют ее поступок, говоря, что в борьбе с прошлым, с «властью слов», сестра «привлекает все, что есть в ней самого живого, потому-то она и отдается брату» (!)

Знаменательно к тому же, что этой чересчур нежной сестрице нечего противопоставить патриархальным фантазиям отца и брата, кроме довольно убогой богемной жизни, которую ведет молодежь ее круга, занятая (во всяком случае на страницах книги) пустой болтовней да откровенными любовными забавами. Никаких высоких идей и чувствований не содержится в этой якобы «современной» жизни, которой сестра предлагает заменить утопии брата. Эта жалкая игра, естественно, кончается полным крахом: он остается в своей излюбленной Виргинии.

В один прекрасный день, потребовав, чтобы брат прочел ей книгу, которую он пишет, сестра обнаруживает, что там нет и следов подлинной действительности, нет, например, никаких рабов в рабовладельческой Виргинии 1842 года.

А ведь — любопытное сопоставление! — именно 1842 годом датируется поездка в Америку великого английского романиста Диккенса, который с таким возмущением писал об американских рабовладельцах в своих «Американских заметках» (вспомним многочисленные объявления о беглых рабах, столь поразившие его в странах американского континента). Но романист нашего времени Ив Берже воинственно утверждает отсутствие рабов в идеальной Виргинии 1842 года, его интересуют здесь «только цвета осени», так же как в оккупированной Франции его заинтересовали одни только птицы!

Этой явственной эстетской тенденции романа «Юг» вполне соответствуют и литературные взгляды автора, откровенно и не без кокетства высказанные им в интервью, которые он дал еженедельникам «Экспресс» и «Фигаро литтерер». Оказывается, Ив Берже мечтает «жить в покое, в мире тишины, где все прекрасно». Этот мир он и изобразил в вымышленной Виргинии 1842 года. Ибо, с его точки зрения, все больше людей испытывает «тоску по прошлому». Оказывается также, что писатель — существо разорванное, лишенное внутреннего единства: сам он, например, любит город, но «тщательно» культивирует в себе «тоску

по сельской жизни — это очень полезно для здоровья человека 1962 года». При этом нам преподносится старый-престарый реакционно-романтический тезис—индустриальный прогресс «гибелен для человека». Наконец, третий пункт, который столь же воинственно отстаивает Ив Берже,— это то, что он пишет «только для себя, не думая о читателе «Юг» — книга замкнутая, герметическая . Это литература для литературы». В другом месте он прибавляет, что «литература дает ему возможность оторваться от действительности, уйти далеко отсюда, на планету, которая называется литературой».

Оставив в стороне эти обветшавшие лохмотья старых эстетских теорий, выдаваемые за «открытия», поставим только один существенный вопрос: о каком кризисе романа можно говорить, если судить по «Югу» Ива Берже? Дело, очевидно, не в форме романа — она, как мы видим, вполне отвечает тому содержанию, которое хотел вложить в свою книгу автор. Дело в *нарочитом, сознательном* уходе от современности, от больших проблем, от подлинной действительности, которая окружает нас в середине XX века. И если таковы книги, премированные во Франции как лучшие произведения литературного года, то здесь действительно можно говорить о подлинном кризисе романа — *содержания* романа, а отнюдь не его формы.

К счастью, мы знаем, что Ив Берже и те, кто поднимает его на щит, не определяют лица французского романа. В противовес этому нарочитому отрыву от жизни общества, в противовес этому бегству на отдаленную «планету», которая называется литературой,— есть во Франции богатая традиция реалистического романа, утверждающая боевую, серьезную, действенную литературу, обращающуюся к самым жгучим вопросам современности. Это прежде всего антивоенный и антифашистский роман, это также и тот роман, который пытается философски осмыслить активную позицию личности в сложном, полном острых противоречий современном мире.

Нельзя не вспомнить и об антиколониальном романе современной Франции, который возник как ответ на грязную колониальную войну во Вьетнаме, особенно в Алжире. С его помощью многие французские романисты внесли свою долю гневного протеста против колониализма и войны. Все эти факты заставляют нас оптимистически смотреть на развитие французского романа, который — мы смеем надеяться — в лице лучших своих представителей всегда будет продолжать славные традиции французской литературы, утверждавшей активное, воинственное вмешательство в жизнь общества.

ЕЛ. ЕВНИНА

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Откликаясь на вышедший в Рио-де-Жанейро сборник «Поэтическая антология Владимира Маяковского» в переводе и с предисловием бразильского поэта Эмилиу Карреры Герры, критик Освалдину Маркес опубликовал в журнале «Лейтура» статью «Эмилиу Каррера Герра и Владимир Маяковский». «Из всех поэтов современности,— пишет Освалдину Маркес,— нашего Эмилиу Карреру Герру увлек несравненный советский поэт Владимир Маяковский, в котором Каррера Герра увидел как бы своего брата, друга детства. Можно сказать, что в течение многих лет бразильский поэт шел рука об руку с гениальным певцом Революции. Эмилиу Каррера Герра постигал тайны русского языка, чтобы читать в оригинале Маяковского. Издание поэтического сборника Маяковского — заслуживающий высокой оценки вклад издательства «Лейтура» в нашу национальную культуру — подтверждает, насколько близок был для Эмилиу Карреры Герры великий русский. Каррера Герра не только написал его великолепную биографию, которая сейчас стала достоянием наших читателей, он образцово перевел на наш язык его наиболее известные произведения... Мы предвещаем бразильскому Маяковскому самую широкую популярность среди подлинных любителей настоящей поэзии».

Трилогию Алексея Толстого «Хождение по мукам» (на испанском языке — «Сумерки и рассвет России») выпустило кубинское государственное издательство «Импрента насьональ де Куба». «В своей примечательнейшей трилогии,— пишет в журнале «Боэмия» критик Рохелио Луис Бравет,— великий советский романист Алексей Толстой знакомит нас с внутренним процессом Революции. Он показывает, что́ это величайшее историческое событие означало для судеб людей, принадлежащих к самым разным социальным слоям, людей самых разных взглядов, самых противоречивых целей. Алексей Толстой, мастер повествования и знаток человеческой психологии, рисует потрясающую картину великой русской революции 1917 года во всей ее широте и глубине... Уже не говоря об исключительной литературной ценности произведения Алексея Толстого, страницы его романа представляют для кубинского читателя важный исторический урок». Отмечая, что существование Советского Союза и других социалистических стран в значительной мере помогло кубинскому народу совершить революцию, автор рецензии пишет: «Когда мы испытываем какие-нибудь трудности или временные недостатки, пусть нам послужит стимулом память о том, насколько невероятно трудно было

Кюстендилский театр (Болгария) поставил пьесу Л. Шейнина «Игра без правил». На снимке: сцена из спектакля.

(Журнал «Театр»)

ликвидировать в России — сорок шесть лет назад — старый режим несправедливости и преступлений и создать первое в мире социалистическое государство».

«Трудно разделить творчество Якуба Коласа на периоды,— пишет рецензент журнала «Литературни новини», сообщая о выходе в свет в переводе на болгарский язык двух сборников стихов поэта (в издательствах «Народна култура» и «Блгарски писател»).— Несмотря на разнообразие тематики, вся его поэзия представляет собой нечто неделимое. Некоторые стихотворения напоминают главы большой поэмы о Белоруссии. Поэт идет по следам событий: революция 1905 года, Октябрь, становление советской власти после победы революции и гражданской войны... Но это только одна сторона творчества Коласа. В каждом своем произведении он связывает исторические события с общечеловеческими проблемами».

Роман Константина Федина «Костер» вышел в издательстве «Ауфбау» (ГДР). Обозреватель журнала «Бёрзенблатт фюр ден дейчен бухханделъ» называет трилогию, окончанием которой является «Костер», «вершиной творчества писателя».

Повесть Александра Чаковского «Свет далекой звезды» вышла в издательстве «Культур унд фортшритт» (ГДР). «На фоне событий пятидесятых годов,— пишет рецензент «Бёрзенблатт фюр ден дейчен бухханделъ»,— известный советский писатель воссоздает привлекательный образ смелой женщины-патриотки, честно и самоотверженно выполняющей свой долг перед родиной».

В издательстве «Культур унд фортшритт» (ГДР) вышли два рассказа Константина Симонова под общим названием «На юге».

Стихи Ильи Сельвинского разных лет опубликованы недавно в польском еженедельнике «Культура» в переводах Влодзимежа Слободника и Габриэля Карского.

Парижское издательство Сёй выпустило роман Владимира Тендрякова «За бегущим днем» в переводе на французский язык Лили Дени.

Повесть Владимира Солоухина «Капля росы» в переводе Робера Филиппона выпущена французским издательством Сток.

Повесть Александра Бека «Несколько дней» выпустило пражское издательство «Наше войско». Рецензент еженедельника «Литерарни новины» пишет, что эта повесть — продолжение «Волоколамского шоссе» (в чешском переводе названа «За нами Москва») — раскрывает высокие моральные качества советских людей, до последнего дыхания защищавших столицу своей родины.

Повесть Григория Бакланова «Мертвые сраму не имут» вышла, как сообщает еженедельник «Литерарни новины», в издательстве «Ческословенски списователъ» в переводе Яна Забраны.

«Главная удача Липатова в том, что он сумел дать богатый, яркий, колоритный образ нашего современника. Писатель хорошо знает своих героев и показывает простого человека без искусственного пафоса, с большой теплотой, с глубокой и искренней любовью»,— пишет рецензент софийского двухнедельника «Литературни новини», сообщая о выходе повести Виля Липатова «Тальвег» в переводе на болгарский язык Е. Хаджиевой.

Венгерский журнал «Надьвилаг» опубликовал роман Леонида Первомайского «Дикий мед», а также стихи Расула Гамзатова, Андрея Вознесенского и Виктора Бокова.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРИЯ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ... БЫВШИМ ГИТЛЕРОВЦАМ

«Присуждение литературной премии имени Петера Розеггера бывшему гитлеровскому «уполномоченному по делам культуры в области Штейермарк» некоему доктору Иозефу Папеш вызвало обоснованное изумление австрийской общественности»,— пишет обозреватель газеты «Фольксштимме».

По сообщению выходящей в Граце газеты «Вархейт», оказывается, что земельные власти Штейермарка уже не впервые вручают ежегодную литературную премию имени уроженца этой области Петера Розеггера бывшим нацистам и современным австрийским неофашистам. Так, в 1961 году эта премия была присуждена некоему Бруно Брему, бывшему сторонник у третьего рейха.

Интересно, что «лауреат» 1963 года Папеш, как свидетельствует литературный справочник Кюршнера, ничем не представлен в австрийской литературе. Написанные в угоду нацистам посредственные рассказики в прошлом и вышедшая десять лет назад книжонка «Европа все еще смеется», в которую Папеш втиснул заимствованные из других изданий сомнительные анекдоты,— вот и все его творчество. Зато ныне Папеш сотрудничает в ежемесячном журнале «Аула», издаваемом союзом так называемых «свободных» студентов. Направление этому «ежемесячнику» дают бывшие нацисты и гитлеровские генералы, все еще прославляющие проигранную фашистами войну.

Видимо, за «собрание сочинений» в этом журнале Папеш и удостоен премии.

Как пишет «Вархейт», присуждение литературных премий бывшим гитлеровцам и их последователям представляет собой оскорбительный вызов честным австрийским поэтам и прозаикам.

«ОТКРЫТИЕ» Д-РА ХАСЕЛЬБАХА

«Теперь мы знаем, кто виновен в том, что бульварную литературу читают больше, чем хорошие книги»,— пишет газета «Фольксштимме». «Виновников» нашел профессор, доктор Гаральд Хасельбах, который, выступая по радио с докладом о «бульварной литературе», безапелляционно заявил, что во всем виновата... «молодежь и простые рабочие».

Как ни старался профессор Хасельбах одурачить радиослушателей, доказывая, что виновниками широкой продажи бульварных книжонок являются молодые австрийцы и уж конечно «простые рабочие», продолжает «Фольксштимме», каждый понял, что это — попытка найти удобную отговорку. Всем известно, что на каждом углу по дешевке и беспрепятственно продается бульварный хлам. Он свободно ввозится и распространяется, тогда как продажа хороших книг связана для австрийских книготорговцев со многими трудностями. Причем же здесь молодежь и «простые рабочие»? Не честнее ли было бы со стороны профессора сказать радиослушателям, что тяга к бульварному хламу является следствием потери вкуса к настоящей художественной литературе и что растлевающую роль в этом играет пошлость западного кино, телевидения и радио.

ЧТО СМОТРЯТ АВСТРИЙЦЫ В КИНО

«В течение последнего года в Австрии было выпущено семнадцать художественных фильмов. Если эти 17 отечественных фильмов сравнить с 467 фильмами, ввезенными за последний год в Австрию из-за границы, то каждому станет ясно, сколь ничтожен удельный вес австрийской кинопромышленности»,— комментирует прогрессивная австрийская печать. За это время Австрия получила 201 фильм из США, из Франции — 91, из Западной Германии — 69 фильмов. Зато ввозу фильмов из стран социалистического лагеря, как отмечает печать, чинятся всевозможнейшие препятствия, и австрийцы практически лишены возможности их видеть.

В Зальцбурге недавно была устроена выставка произведений одного из молодых австрийских художников — графика и скульптора Альфреда Хрдлики. Критик газеты «Фольксштимме» пишет: «Интересен творческий путь художника. Начав с увлечения абстрактным искусством, Альфред Хрдлика ныне обращается к конкретным образам. Чем больше он изучает жизнь, тем больше стремится к реализму. Художник ищет и находит реалистические средства изображения в своих скульптурах и гравюрах Его последние композиции рассказывают о людях, о событиях в истории человечества» На снимке: скульптура Альфреда Хрдлики «Орфей».

(Газета «Фольксштимме»)

АЛЖИР

«НАДЕЖДА И СЛОВО»

Так назван сборник стихов алжирских поэтов, вышедший в парижском издательстве Сегер. Сборник включает более восьмидесяти произведений. «Это своего рода антология алжирской поэзии времен войны»,— пишет рецензент еженедельника «Леттр франсез». Перед читателем развертывается панорама борьбы и победы алжирского народа. Имена некоторых поэтов уже известны читателю, произведения других публикуются впервые.

Поэма Жана Амруша, помещенная в первой части сборника, повествует о жизни алжирского народа до освободительной войны, когда у алжирцев было отнято все — родина, язык, земля предков; колонизаторы оставили алжирцам лишь страдания и голод. Здесь же помещены стихи Анри Креа, Катеба Ясина, Нордина Тидафи, Тевфика Фареса, Жана Сенака, посвященные этой же теме.

Вторая часть книги открывается текстом алжирского национального гимна. Поэты, имена которых прежде не были известны,— Буалем Теби, Надя Гендуз, Малика О'Лахсен, Хосин Бузахер, Абдельхамид Бетар, Мохаммед Аун и Лаада Флиси,— рассказывают в стихах о войне, которую они пережили.

Война за независимость, продолжает рецензент, способствовала появлению «случайных» поэтов, которые, быть может, никогда больше не напишут ни одной строчки, но это не снижает силы эмоционального воздействия их произведений на читателя. Один из таких примеров — двадцатичетырехлетняя Лейла Джабали. В декабре 1957 года она описала в стихах все пережитое ею в тюрьме Барбаросса. Волнующая поэма Лейлы Джабали помещена в разделе «Пытки». Она напечатана рядом со стихами Нордина Тидафи, Башира Хадж Али, Жана Сенака и Малека Хаддада.

В разделе «Воспоминания» собраны более зрелые и совершенные произведения, поскольку у их авторов уже было время осмыслить революционные свершения народа. Здесь напечатаны не издававшиеся ранее стихи Мохаммеда Диба, в которых содержатся раздумья о войне и о великих переменах в жизни родины. Заканчивается этот раздел «Клятвой» Башира Хадж Али, которая, по словам рецензента «Леттр франсез», должна заставить французских читателей о многом подумать. Башир Хадж Али заявляет в этом стихотворении, что несмотря на все пережитое у алжирцев нет ненависти к французскому народу.

Раздел «Свобода» — гимн освобождению. В этом разделе, посвященном новому Алжиру, напечатаны произведения лучших поэтов наших дней.

ПРЕМИЯ КАТЕБУ ЯСИНУ

Международное жюри под председательством мэра итальянского города Флоренции Джорджо Ла Пиры присудило алжирскому писателю Катебу Ясину премию Жана Амруша.

В связи с этим Пьер Дэкс пишет в еженедельнике «Леттр франсез»: «Присуждение Катебу Ясину премии Жана Амруша не нашло отклика в парижской печати... Мне кажется, что в данном случае речь идет не просто о присуждении одной из тысячи ежегодных литературных премий. Прежде всего, это — премия имени Жана Амруша. Международное жюри, собравшееся во Флоренции, не случайно выбрало именно Катеба Ясина. Катеб Ясин посвятил свое творчество, свой талант делу борьбы алжирского народа за свободу и независимость. После завоевания алжирским народом национальной независимости Ясин всегда поднимал свой голос в защиту великих идей свободы и справедливости, очевидно считая, что это — долг писателя алжирского Сопротивления. Как раз в момент присуждения ему премии Катеб Ясин обратился с призывом прекратить казни

Катеб Ясин.

(Еженедельник «Летр франсез»)

демократов в Ираке и войну против курдского народа.

Жюри наградило писателя, который, по примеру Жана Амруша, борется за установление взаимопонимания между народами и за уважение человеческого достоинства».

ТРИ ФИЛЬМА ЛАКДАРА АМИНЫ

Режиссер Лакдар Амина, автор трех короткометражных фильмов, показывающих жизнь молодой республики, в беседе с корреспондентом газеты «Альже репюбликэн» сообщил:

— Главная наша проблема — отражать в кино жизнь нашей республики, правду. Например, в фильме об уборке урожая «Июльские обещания» мы стремились доказать нашим зрителям, что все зависит от них самих, от трудовых рук народа. В фильме «Еще раз» мы хотели показать народу, который столько выстрадал, что теперь, завоевав свободу, он может построить новую счастливую жизнь. Фильм «Свет для всех» говорит о серьезной проблеме—трудоустройстве слепых...

На вопрос, какую роль, по мнению режиссера, призвано сыграть искусство кино в новом Алжире, он ответил:

— Что касается художественных картин, я полагаю, что в нашей истории можно почерпнуть много интересных тем. На этих материалах можно сделать фильмы героические, гуманистические — такие, которые явятся вкладом в нашу культуру. Я категорически выступаю против западных фильмов на африканские темы. Актуальные, злободневные проблемы в них всегда затушеваны—эти фильмы ничего не говорят народу, перенесшему тяжелую борьбу за свое освобождение.

Корреспондент газеты спросил, находится ли сам Лакдар Амина под влиянием кого-либо из зарубежных мастеров кино.

— Я учился в институте кинематографии в Праге. Мне близко по духу творчество мастеров советского кино — Чухрая и Бондарчука, а также югославских и итальянских кинематографистов,— ответил Лакдар Амина.

Лакдар Амина (слева) во время съемок фильма «Винтовки свободы»

(Газета «Альже репюбликэн»)

АНГЛИЯ

ЦЕНЗУРА ПРОТИВ ШОНА О'КЕЙСИ

Цензура в Англии вновь проявила «сверхбдительность». Она занята скрупулезными поисками «криминальных» строк в произведениях одного из выдающихся современных писателей — Шона О'Кейси.

Главный цензор обрушился на пьесу Шона О'Кейси «Фигаро в ночи», которую режиссер Алан Симпсон включил в репертуар фестиваля ирландских комедийных спектаклей. Цензорским карандашом пьеса была беспощадно изуродована. По словам театрального обозревателя газеты «Дейли уоркер» Майка Майсона, в таком виде пьесу ставить нельзя.

МЕСТЬ СИЛЬВИИ МАРШАЛЛ

В городе Джерси была устроена выставка современной живописи. Устроители выставки, отбирая экспонаты, отдавали предпочтение, во-первых, произведениям абстракционистов, во-вторых, титулованным авторам. Герцогиня Лидская, сэр Фрэнсис Кук и другие высокопоставленные особы беспрепятственно экспонировали там свои произведения, а молодым художникам реалистического направления, в том числе Сильвии Маршалл, указали на дверь.

Все шло своим чередом: публика посещала выставку.

Английская компания грампластинок «Арго рикорд компани» и издательство Оксфордского университета приступили к выпуску поэтической антологии, в которую войдет более шестидесяти долгоиграющих пластинок. Антология отразит творчество наиболее ярких представителей английской поэзии от Чосера до Китса. Каждому из поэтов-классиков будет посвящена одна или две пластинки. В первую серию пластинок вошли записи произведений Байрона, Китса, Вордсворта, Браунинга, Теннисона и Попа в исполнении крупнейших актеров Англии.

(Журнал «Букс энд букмен»)

сторож внимательно следил за тем, чтобы какую-нибудь картину не украли, однако он не заметил, что один экспонат... прибавился! Украдкой повешенная кем-то абстрактная «картина» была нисколько не хуже других, ей подобных.

Каково же было удивление жюри, когда при закрытии выставки Сильвия Маршалл публично объявила, что она незаметно вывесила кусок холста, о который обычно вытирает кисти!

Ценители абстрактного «искусства» опростоволосились: они даже не заметили «подвоха»...

ПЛАНЫ ЛОУРЕНСА ОЛИВЬЕ

Нынешний год в театральной жизни Англии, как сообщает печать, отмечен активной деятельностью Лоуренса Оливье, являющегося одновременно и директором Чичестерского фестивального театра и руководителем первого в Англии Национального театра с постоянной труппой. Национальный театр, по словам обозревателя еженедельника «Нэйшн», «это — надежда Англии».

На втором Чичестерском театральном фестивале, проходившем нынешним летом, были показаны три пьесы: «Святая Иоанна» Бернарда Шоу, «Дядя Ваня» А. П. Чехова и сатирическая пьеса молодого английского драматурга Джона Ардена «Осел из работного дома».

Небольшой провинциальный городок Чичестер, в семидесяти километрах от Лондона, с населением всего в двадцать тысяч человек, по мнению Лоуренса Оливье, может стать, благодаря ежегодным театральным фестивалям, одним из международных театральных центров. Первый театральный фестиваль, организованный Оливье, был проведен там в прошлом году.

Интересны планы Национального театра на ближайшее будущее. Нынешний сезон театр открывает «Гамлетом» с Питером О'Тулом в роли Гамлета, в спектакле участвует также известный советскому зрителю актер Майкл Рэдгрейв. Театр поставит одну из пьес Ибсена, а также «Андорру» Макса Фриша и «Филоктета» Софокла. На сезон будущего года в планы театра включены «Мамаша Кураж» Бертольта Брехта и «Сенная лихорадка» Ноэла Кауарда. Весной наступающего года театр покажет «Отелло» с Лоуренсом Оливье в главной роли.

Следует, однако, напомнить, что Национальный театр существует пока лишь организационно и творчески — иными словами, имеется труппа, и театру наконец стали выплачивать правительственную субсидию. Однако строительство здания театра еще не начато и труппа играет в помещении «Олд вик». В фунда-

---

В Лондоне поставлена музыкальная комедия «Записки Пикквика» Либретто комедии написано Вольфом Манковицем, который использовал эпизоды диккенсовского романа, рисующие пребывание Пикквика в тюрьме. Высоко оценивая постановку, критик английского журнала «Тиэтр уорлд» особо отмечает игру Гарри Секумба, исполняющего роль мистера Пикквика, и Тедди Грина, исполнителя роли Сэма Уэллера (на снимке).

(Журнал «Тиэтр уорлд»)

На открытии Чичестерского театрального фестиваля была показана «Святая Иоанна» Бернарда Шоу, которая сразу привлекла внимание критики и зрителей. Печать выделяет исполнение главной роли актрисой Джоан Плоурайт (на снимке).

(Журнал «Тиэтр уорлд»)

мент будущего здания заложен только один символический кирпич на южном берегу Темзы.

БОЛГАРИЯ

«ПОЭЗИЯ ЮНОШЕСКОЙ ВОСТОРЖЕННОСТИ»

Так охарактеризовал критик Атанас Свиленов в журнале «Септември» первую книгу стихов Недялко Йорданова «Все изведаем». Лирический голос Йорданова, по словам критика, выделяется своей юношеской простотой и отсутствием театрального позерства.

Поэт-дебютант уехал из столицы в далекий провинциальный городок Малко-Тырново, где он ныне учительствует. Недялко Йорданова сердечно встречают на литературных вечерах. Он пишет о силе любви, о радости открытий, о вере в жизнь и светлое будущее. «Однако романтическая восторженность поэта не отвлеченна,— продолжает критик,— она связана с действительностью, с нашей жизнью, что придает поэзии Йорданова общественное звучание. В его стихах мы видим не только автора, но и духовный мир целого поколения, к которому принадлежит и молодой поэт».

НОВЫЙ КИНОЦЕНТР

В Софии, на склоне горы Витоши, открыт новый национальный киноцентр, который позволит одновременно вести съемки восьми-десяти фильмов при общем выпуске более двадцати фильмов в год.

В речи на открытии киноцентра секретарь ЦК БКП Митко Григоров сделал обзор развития болгарской кинематографии. Касаясь сотрудничества советских и болгарских киноработников, он сказал: «Наш народ видит ныне в советском киноискусстве олицетворение высокогуманных коммунистических принципов — искусство во имя мира, социального прогресса, благоденствия трудящихся. Поэтому наш народ и коммунистическая партия дают болгарскому киноискусству наказ: как и до сих пор, идти рука об руку с советским киноискусством в общей борьбе за победу коммунизма».

РОМАН О РЕВОЛЮЦИОНЕРАХ

Эпиграфом к недавно вышедшей из печати третьей части «Обыкновенных людей» Георгия Караславова поставлено высказывание Георгия Димитрова: «Основным законом социалистов-«тесняков» было полное подчинение личной жизни, личных интересов, личной воли партийца интересам и воле пролетарской партии». «К изображению этого кристального источника наистрожайшего революционного самоконтроля, абсолютной моральной чистоты и пленительной человечности,— пишет критик еженедельника «Литературен фронт»,— Караславов приступает с глубоким волнением, как к самой дорогой святыне».

В центре третьей части «Обыкновенных людей» образ социалиста-«тесняка» Илкова. Писатель изображает Илкова обыкновенным человеком, когда он возглавляет демонстрации и железнодорожную стачку в провинциальном городке в 1919 году, когда он работает в селе. И, возможно именно этот «обыкновенный» и строгий стиль, полностью очищенный от всяких беллетристических украшений, и помогает, по словам критика, читателю преодолеть предвзятое мнение о каком-то исключительном, почти нечеловеческом фанатизме социалистов-«тесняков».

В образах Илкова и работницы Ольги, которая вырастает в талантливого организатора, Караславов ищет прежде всего реальные человеческие черты революционера-коммуниста.

«Появление третьей части «Обыкновенных людей»,— продолжает критик еженедельника «Литературен фронт»,— несомненно дает новый стимул обсуждению вопросов литературы и искусства. А в связи с ленинградским симпозиумом писателей Европы можно сказать, что решением основных идейно-художественных задач, своим реалистическим стилем «Обыкновенные люди» выражают точку зрения болгарского писателя на сущность, призвание и будущее романа».

ПИШЕТ БОЖИДАР БОЖИЛОВ

«Партия и народ поставили перед нами ответственную задачу. И все мы, солдаты партии, снова и снова идем в атаку. Алое знамя непримиримой идейности реет над нами и ведет нас вперед,— пишет Божидар Божилов на страницах двухнедельника «Литературни новини».

Божилов рассказывает о своих новых книгах и творческих планах. «Каталог чувств» — таково название недавно вышедшей книги Божилова. «Разве можно вместить даже самые элементарные человеческие чувства в графы каталога?—спрашивает писатель.— Моя книга названа так по задуманным мною циклам стихов».

Божидар Божилов.

(Журнал «Литературни новини»)

Божилов работает также над книгой «Мужественный ритм», а кроме того — над отдельным изданием пьес «Посещение прошлого» и «Пробный брак Анни», которые уже ставились на сценах многих театров страны. «Но одну пьесу я еще вижу только в воображении,— продолжает писатель.— Она, возможно, выйдет под названием «Незабываемая ночь».

БРИТАНСКАЯ ГВИАНА

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО — НАРОДУ

Истоки народной драматургии Британской Гвианы уходят в далекое прошлое. В театрализованных представлениях народ искусно отразил свои традиции и перемены, происходившие на протяжении многих веков в общественной жизни страны, протест против рабской зависимости от чужеземцев, мечты о счастливой жизни.

Колонизаторы приложили немало усилий к тому, чтобы заставить гвианцев забыть о своих культурных традициях, однако им не удалось окончательно убить в народе любовь к своему культурному наследию.

Недавно в Британской Гвиане было создано театральное общество «Гвиана фолк плэйерс», во главе которого стал широко известный в стране деятель театра Сесиль Нобрег.

Это общество, как отмечает местная газета «Санди грэфик», ставит своей целью показ пьес драматургов Британской Гвианы и Вест-Индии. Со своими спектаклями общество предполагает выступать по всей стране. Первые постановки «Гвиана фолк плэйерс» уже снискали горячую признательность зрителей.

По мнению обозревателя газеты «Санди грэфик», своими постановками театральное общество вносит большой вклад в развитие гвианской культуры.

ВЕНГРИЯ

АНТОЛОГИЯ МОЛОДЫХ

Эту книгу в строгом синем переплете с лаконичным заглавием «Ясность и взыскательность» в книжных магазинах Будапешта достать невозможно: она разошлась мгновенно. Нынешняя антология,— четвертая по счету, вышедшая в стране после освобождения от фашизма. Примечателен ее авторский состав. Антология представляет читателю тридцать одного поэта, большинство этих имен до сих пор были известны лишь по газетам и журналам.

Произведения признанных мастеров поэзии, таких как Габор Гараи и Михай Ваци, перемежаются со стихами совсем молодых поэтов: Ференца Буды, Андраша Нергеша и Юдит Тот, первые сборники которых недавно появились или только готовятся к печати.

Характерная черта этой «молодой» антологии — подавляющая часть ее авторов работает на производстве, участвует в создании материальных ценностей. Отсюда неприятие ими отвлеченного и абстрактного, страстные поиски точного смысла и художественной емкости слова.

«Выход в свет каждой новой поэтической антологии,— пишет критик Иштван Фене в газете «Непсабадшаг»,— всегда встречается как праздник венгерской поэзии. Не обманулись мы в своих ожиданиях и на этот раз: идейная зрелость, новаторство, поэтическое мастерство — вот что принесла эта книга».

ГАНА

СТРАНА НУЖДАЕТСЯ В ХОРОШИХ ФИЛЬМАХ

Газета «Ганиен таймс» за последнее время опубликовала много писем своих читателей, проявляющих горячую заинтересованность в том, чтобы с экранов страны навсегда сошли низкопробные зарубежные фильмы, проповедующие чуждую мораль.

Характерно письмо читательницы Х. В. Эдвардс из города Кумаси.

Отмечая, что в настоящее время большинство фильмов, демонстрирующихся в стране, приходит из США, автор письма, опубликованного под названием «Гана нуждается в хороших фильмах», подчеркивает, что по своему уровню они весьма низки. Американские и другие западные кинофирмы присылают в Африку лишь такие фильмы, которые не имеют спроса в их собственных странах.

«Насколько мне известно,— пишет Эдвардс,— все товары, включая и фильмы, которые привозятся и продаются на африканском континенте, приходят сюда под девизом западных промышленников и бизнесменов: «Для африканцев все сойдет».

Х. В. Эдвардс критикует большинство американских фильмов за выраженную в них идеологию насилия, расизма, антикоммунизма и войны и считает, что подобные идеи, распространяемые фильмами США, враждебны ганскому народу, строящему новую жизнь.

В Восточной Европе, подчеркивает Х. В. Эдвардс, особенно в Советском Союзе, а также в Чехословакии, Польше, Румынии и других странах, создано много за-

мечательных фильмов, доступных ганскому зрителю. Автор письма требует показа этих фильмов на экранах Ганы.

ГДР

ТРУД ПО МАРКСИСТСКОЙ ЭСТЕТИКЕ

Одним из значительных исследований в области современного литературоведения газета «Нейес Дейчланд» называет выпущенный берлинским издательством «Диц» труд молодого ученого, профессора Ганса Коха «Марксизм и эстетика». (См. рецензию в «Иностранной литературе» № 7, 1963.)

Газета опубликовала статью члена-корреспондента Академии наук Чехословацкой республики доктора Пауля Реймана об этой книге. Заслуга Ганса Коха, по мнению рецензента, состоит не только в том, что из произведений Маркса, Энгельса и Ленина он выбрал и изложил суждения по вопросам эстетики, но и сумел проанализировать современные, актуальные вопросы борьбы за новое социалистическое искусство и культуру с точки зрения классиков марксизма-ленинизма.

Заключительную главу своего труда Ганс Кох посвятил теме «В. И. Ленин о партийности искусства». Партийность в литературе автор рассматривает как исходный пункт нового этапа марксистской теории эстетики.

«Труд Ганса Коха,— пишет Пауль Рейман,— показал возможность поставить на твердый теоретический базис борьбу за новую, социалистическую ориентацию в литературе и искусстве».

ЛИРИКА ВАЛЬТЕРА ВЕРНЕРА

Томик новых стихотворений Вальтера Вернера «В песнях рожденный» недавно вышел в издательстве «Мителъдейчер ферлаг» (Галле).

Литературный обозреватель еженедельника «Зоннтаг» пишет: «Вальтер Вернер обладает искусством выразить политическую тенденцию эпохи с помощью небольшого факта...» Его стихотворение «Каштаны из Карловых Вар» служит тому хорошим примером. Чешский ребенок подарил каштаны немцу — и этот факт звучит у Вернера символом крепкой дружбы между двумя миролюбивыми народами.

По словам обозревателя, стихи Вальтера Вернера отточены, в них видна кропотливая работа поэта над каждой строчкой. Его лирические стихи из болгарского цикла «Солнечный берег», равно как и стихи, описывающие природу родной Тюрингии, живы и красочны, полны настоящего и глубокого чувства.

Есть и другая сторона лирики Вальтера Вернера. Тематику своих стихов поэт всегда увязывает с повседневной жизнью людей. Сын безземельного крестьянина. Вернер написал томик стихов о близких ему проблемах социалистической деревни. Свою новую книгу, над которой он сейчас работает, автор назвал «Моя деревня, мой мир и я». Как справедливо отмечалось на недавней конференции Союза немецких писателей, Вальтеру Вернеру в поэме «Человек становится зримым» удалось на примере собственного жизненного пути отразить многообразие и противоречия процесса рождения новой жизни. Его поэма, опубликованная три года назад, не просто автобиография.

«В лирике Вальтера Вернера повседневная жизнь становится поэзией, потому что поэт видит будни через призму жизнеутверждающих идей»,— заключает обозреватель «Зоннтаг».

Издательство «Диц» выпустило книги «Август Бебель Биография» и «Письма Бебелю». Обе эти книги показывают, в частности, тесную дружбу между Фридрихом Энгельсом и Августом Бебелем Газета «Нейес Дейчланд» воспроизвела этот фотоснимок из книги «Август Бебель Биография». На снимке изображены Фридрих Энгельс вместе с Кларой Цеткин, Августом Бебелем и его женой Юлией в 1893 году в Цюрихе.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ГЕРОЙ В ФИЛЬМЕ

«В споры об образе положительного героя нашего времени вмешался телевизионный фильм «Новатор»... Можно без преувеличения сказать, что в образе Ганнеса Фрёлиха, председателя процветающего сельскохозяйственного кооператива, пришедшего на помощь отстающему, реалистически показан один из тех, кто создает новое общество»,—пишет рецензент газеты «Нейес

Киноактер Фридо Зольтер — исполнитель главной роли в телевизионном фильме «Новатор».

(Еженедельник «Вохенпост»)

Дейчланд» в связи с премьерой на телевидении ГДР этого фильма.

«Новатор» поставлен по сценарию, написанному тремя авторами: писателем Герхардом Бодейтом, главным редактором лейпцигской «Фольксцейтунг» Зигурдом Дараком и сотрудником аппарата ЦК СЕПГ Бруно Вагнером. Как пишет «Нейес Дейчланд», авторы хорошо знают условия развития современной деревни в республике, и это способствовало созданию жизненно правдивого и увлекательного фильма.

Весь свой богатый опыт хозяйственника нового типа и воспитателя людей в духе коллективизма Ганнес Фрёлих использует для того, чтобы изменить отношение к труду членов отстающего кооператива, поднять экономический потенциал пришедшего в упадок хозяйства. И он добивается своего. Но это стоит Фрёлиху повседневного упорного труда, нелегкой борьбы по воспитанию сознания отсталых членов кооператива. Помощь этому кооперативу Ганнес Фрёлих оказал в ущерб своим личным интересам, преследуя высокую общественную цель. По словам обозревателя еженедельника «Вохенпост», режиссер Герхард Резпондек создал фильм, достойный эпохи утверждения социализма в ГДР.

ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН

ЖАЛКИЕ ПОТУГИ СЕНАТОРА АРНДТА

«Культурсенатор» Западного Берлина Арндт (СДП), разразившись по телевидению очередным истерическим выпадом против ГДР, демагогически заявил: «Томас и Генрих Манны, Тухольский, Гейне и другие писатели в Германской Демократической Республике, как и в нацистские времена, запрещены, а их произведения сожжены».

Абсурдность этого заявления политического деятеля «фронтового города» доказательств не требует. Но желая показать разительный контраст между действительностью и тупоумной ложью, демократический еженедельник «Вохенпост» знакомит читателей с той огромной работой, которую ведет учрежденный при Академии наук ГДР архив Томаса Манна.

«Такие пропагандисты «холодной войны», как западноберлинский сенатор Арндт, боятся гуманизма Томаса Манна,— пишет еженедельник «Вохенпост».— Они снова и снова будут бледнеть и закатывать истерики при воспоминании о том, что в 1944 году в статье «Судьба и назначение» Томас Манн писал: «...будущее принадлежит коммунизму... Мир, в котором будут жить наши дети и внуки... трудно себе представить без коммунистических отношений, то есть без основной идеи всеобщего права на обладание благами земли, без права на работу и без обязательного труда для всех».

ГЛОБКЕ ОТ ЛИТЕРАТУРЫ

«Боевая группа Зибурга — литературная правительственная партия вче-

Под этой карикатурой, изображающей заседание городского совета в Аугсбурге, кельнский журнал «Форвертс» поместил следующую подпись: «Никакой аллеи имени Брехта, никакого переулка его имени! Но, как культурная нация, мы чувствуем себя обязанными великому сыну нашего города — Бертольту Брехту и считаем нужным вывесить пусть маленькую, но ценную мемориальную доску!» (На доске, которую держит председательствующий, написано «Великому сыну нашего города Бертольту Брехту»).

рашнего и сегодняшнего дня» — так озаглавлена статья в ежемесячнике «Культура и общество», издаваемом в Западной Германии демократическим союзом прогрессивной интеллигенции — «Культурбундом».

В статье дается характеристика тем пособникам нацистской системы, которые и ныне стоят на первой линии антикоммунизма в литературе и прессе боннского государства.

Во главе этого списка журнал ставит имя сотрудника газеты «Франкфуртер альгемейне цейтунг» Фридриха Зибурга, бывшего дипломата из министерства Риббентропа и литературного «толкователя» нацистской политики экспансии, а сегодня «придворного певца» боннского режима.

«Немногим известно, что у нас есть Глобке от литературы... В первую очередь подразумевается господин Зибург... Тот факт, что люди вроде Зибурга сегодня вновь играют главную роль в западногерманской литературе и прессе, является столь же скандальным, как и существование статс-секретаря по имени Глобке... Как в ведомственных учреждениях Западной Германии работают маленькие глобке, так и в западногерманских редакциях и издательствах существуют маленькие зибурги».

Несмотря на различие областей, в которых работают маленькие глобке и зибурги, отмечается в статье, их объединяют одни политические мысли и дела. И те и другие, разыгрывая из себя демократов, на деле придерживаются антилиберальных, антиреспубликанских и антисоциалистических принципов. И те и другие страстно поддерживают идеологический крестовый поход против коммунизма, принципиально согласны с агрессивной политикой НАТО и требуют атомного вооружения бундесвера. И, наконец, их объединяет беспощадная клеветническая травля групп и отдельных лиц, стоящих в оппозиции к политике антикоммунизма. Своей главной мишенью глобке-зибурги в последнее время избрали так называемую «левую интеллигенцию».

В заключении статьи говорится: «Колонна Зибурга марширует по тому же пути войны и поражения, на который уже два раза бросали наш народ. В третий раз мы этого не пережили бы. Мы полагаем, что настало время заставить профессиональных антикоммунистов, наемных писак «холодной» и «горячей» войны и неисправимых нацистов от литературы и прессы раз и навсегда покончить со своим ремеслом».

ИНДИЯ

РАССКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Делийское издательство «Мактаба» опубликовало сборник коротких рассказов для детей «Коза Абу Кхана». Автор книги — вице-президент Индии Закир Хуссейн. Иллюстрации выполнены крупнейшим современным индийским художником Сатишем Гуджралом.

Индийская газета «Стейтсмен» сообщает, что в торжественной обстановке, в присутствии видных ученых и писателей страны книга была преподнесена в подарок ее автору.

НОВЫЙ ФИЛЬМ БИМАЛА РОЯ

Значительной удачей считает индийская критика новую работу крупнейшего продюсера-режиссера Бимала Роя. Фильм «Узница» поставлен по рассказу известного бенгальского прозаика Джарасандха. Писателю пришлось некоторое время работать тюремным инспектором, и он использует в своем произведении достоверный материал.

Сюжет весьма несложен. Дочь сельского почтмейстера, жизнерадостная молодая девушка вынуждена совершить убийство. И вот она за решеткой. Картина знакомит зрителя с прошлым героини, с жизнью в тюрьме. После освобождения девушка стоит перед выбором нового жизненного пути. Талант и мастерство позволили большому художнику превратить этот незамысловатый сюжет в «патетический рассказ о горестной судьбе Кальяни»,— пишет критик газеты «Бхарат джоти». Фильм создан «на уровне высоких реалистических традиций... Великолепно играют актеры, органически вплетены в действие музыка и песни, но своим успехом картина обязана прежде всего режиссеру и опера-

Кадр из фильма Бимала Роя «Узница». Исполнительница главной роли — актриса Нутан.

(Журнал «Филмфэр»)

тору»,— заявляет рецензент журнала «Филмфэр».

Главную роль исполняет талантливая актриса Нутан. «Глубоко трогает созданный ею образ. Нутан — великолепный пример зрелого сценического мастерства»,— пишет о ней критика. Достойными партнерами ее выступают и все остальные члены актерского коллектива.

ИСТОРИЯ ИНДИЙСКОГО ИСКУССТВА

Новая монография «Эпоха и образ», посвященная истории индийского искусства, вышла в столичном издательстве «Элайд паблишерз».

Рецензент индийской газеты «Стейтсмен» указывает, что автор книги Динкар Каушик собрал в своей работе весьма обширный материал. Исследователь рассматривает развитие индийской культуры не изолированно, а во взаимосвязи с другими величайшими культурами мира.

ИСПАНИЯ

ГОВОРИТ МАРКОС АНА

— Двадцать три года тюрьмы... Я забыл очертания вещей, их цвет и запах. Я писал слова: «море», «поле», «лес», но не мог себе представить, как выглядит дерево... В тюрьме я часто думал о доме, в котором мне хотелось бы жить на свободе,— доме без дверей и без замков, открытом для ветра, солнца и людей. Я слишком много лет слышал звон ключей и звук запирающего дверь замка,— говорит Маркос Ана, испанский поэт-коммунист, двадцать три года просидевший во франкистском застенке, корреспонденту гаванского журнала «Куба» Дарио Кармоне. Поэт рассказывает, почему он избрал псевдонимом Маркос Ана.

— Маркос — имя моего отца, погибшего под пулеметным огнем итальянских фашистских самолетов. Аной звали мою мать, которая умерла от разрыва сердца, получив извещение о том, что мне подписан смертный приговор. Я унаследовал их имена.

Маркос Ана
(Журнал «Куба»)

Маркос Ана был посажен в тюрьму, когда ему было 18 лет, и вышел из нее на 41 году жизни.

— В 1954 году, в тюрьме, мне в руки попался томик стихов Антонио Мачадо,— продолжает далее Маркос Ана,—некоторое время спустя я начал сам писать стихи. Но мои представления о реальном мире потускнели, я забыл, какова жизнь за тюремной стеной, иссякли запасы воспоминаний... Однако я смог писать о своих товарищах, об их несгибаемой воле и непокоренном духе, я мог послать миру весть о нас, я мог обратиться к международной человеческой солидарности, теплая, вселяющая надежду волна которой уже докатилась до нас. Я писал по ночам, тайком, кое-как замаскировав слабый свет коптилки. Однажды я написал такие стихи:

Когда откроются глаза,
Когда пробудятся ключи,
Я спрячу голос свой в
ботинок...

Эти строки дали повод некоторым критикам утверждать, что я пишу сюрреалистические стихи. Но то, что я писал, было чистой правдой, абсолютным реализмом. Речь шла о ботинке, куда я прятал — в тюремной камере — свои новые стихи.

Общественное мнение пробило толстые стены франкистской тюрьмы. Власти вынуждены были освободить Маркоса Ану.

— Отныне моя жизнь будет посвящена тем, кто томится за решеткой,— заявил поэт.— Я не успокоюсь, пока хоть один из моих товарищей останется там, в застенке, изолированный от мира только потому, что он боролся за справедливость.

«Голосом узников Испании» назвал поэта Дарио Кармона. От имени полит-

На таких листках Маркос Ана писал стихи в тюрьме
(Журнал «Куба»)

заключенных Испании Маркос Ана выступал в Париже, Лондоне и Москве, его слушали жители Италии, Швейцарии, Голландии, Бельгии и Кубы.

— Отсюда, с Кубы,— говорит Маркос Ана,— я думаю поехать в Европу, а затем в Мексику, Уругвай, Чили и Бразилию. Я хочу, чтобы Латинская Америка услышала голос томящихся испанских антифашистов.

Несколько дней спустя в одном из своих выступлений в Праге Маркос Ана заявил: «Легче умереть за Кубу, чем жить вдали от нее».

ИТАЛИЯ

О ТВОРЧЕСТВЕ МОРАВИА

Итальянское издательство Фельтринелли совместно с французским издательством Галлимар выпустило сборник, посвященный творчеству Альберто Моравиа.

Книга открывается несколькими фотографиями Моравиа, статьями о нем, авторы которых стремятся обрисовать писателя в личном плане, и короткой его автобиографией. Затем следует основной текст книги— подробный критический очерк творчества Моравиа, принадлежащий перу Оресте дель Буоно, составителю сборника. В сборник входит также краткое изложение сюжетов основных произведений Моравиа, подборка наиболее характерных отрывков из его романов, рассказов и киносценариев, а также обширная библиография.

Некоторое удивление, по словам критика журнала «Чинема нуове», вызывает включение в этот интересный сборник таких материалов, как набор цитат из произведений Моравиа, рассчитанный, вероятно, на тех, кто считает излишним читать сами произведения, двух интервью писателя, носящих чисто светский характер, а также нескольких наспех собранных и слишком кратких высказываний других писателей и критиков о Моравиа.

Сборник заключает текст ватиканского декрета, заносящего все произведения Моравиа в индекс запрещенных книг.

В ТРУДНЫЕ ГОДЫ

Имя Лоренцы Маццетти хорошо знакомо итальянскому читателю — молодая писательница приобрела известность как автор романа «Рушатся небеса».

Одной из особенностей этого автобиографического, проникнутого антифашистским духом произведения является то, что повествование о детях — двух маленьких девочках-сестрах — ведется «детским» языком. Кончается роман страшной сценой расправы гитлеровцев с дядей девочек — антифашистом.

Новый роман Маццетти «В сердцах» является продолжением первого и охватывает период ранней юности героинь, только что оставивших за плечами детство и войну с ее ужасами. О жизни сестер-подростков, юность которых проходит в трудные послевоенные годы, о пробуждении в них чувства первой любви, об их школьных делах и заботах писательница старается рассказать языком подростков. Книга написана очень живо, с неподдельной искренностью, с тонким юмором, глубоко психологична, хотя порой несколько сентиментальна. Итальянская критика тепло встретила новый роман Маццетти, свидетельствующий о росте ее писательской зрелости.

КУБА

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР О СЕБЕ

Тридцать лет назад вышел из печати первый роман Алехо Карпентьера «Экуэ Ямба-О». В беседе с корреспондентом гаванского журнала «Боэмия» выдающийся кубинский писатель, автор завоевавшей популярность у советского читателя повести «Царство земное», рассказал о себе и своем творчестве.

Сын французского архитектора, прибывшего на Кубу вскоре после провозглашения республики, и уроженки России, в юности переселившейся в Гавану, Алехо Карпентьер начал писать еще в детстве. «В одиннадцать лет я уже написал детективный роман,— рассказывает он,— а, кроме того, подражая Сальгари, сочинил приключенческую повесть. В семнадцать лет опубликовал свою первую статью в мало кому известной газетке «Дискусьон», однако мне тогда, разумеется, казалось, что мои идеи изменят мир...»

Девятнадцатилетним юношей Карпентьер входит в демократическое объединение писателей и деятелей культуры — «Группа меньшинства», в которой участвовали и будущие руководители кубинских коммунистов Рубен Мартинес Вильена и Хуан Маринельо. В 1927 году диктатура Мачадо бросает Алехо Карпентьера в тюрьму по обвинению в «заговоре против безопасности государства». В начале следующего года он уезжает в Париж в качестве корреспондента кубинской печати. После одиннадцатилетнего пребывания во Франции он вернулся на родину уже как автор романа «Экуэ Ямба-О», принесшего ему литературную славу. После поездки на Гаити Карпентьер начинает работать над повестью «Царство земное», отрывки из первой главы которой появились в «Гасета дель Карибе», которую в 1943 году издавал Николас Гильен. Работу над этой повестью Карпентьер завершил в Венесуэле.

По свежим впечатлениям от поездки по венесуэльской тропической сельве — в районе верхнего течения Ориноко — он пишет свой второй роман «Затихшие шаги», законченный в 1947 году.

На вопрос корреспондента о тринадцатилетнем «молчании» писателя — между «Экуэ Ямба-О» и «Затихшими шагами» — Карпентьер ответил:

— В течение этих лет я написал еще два романа. Оба они закончены, но

Алехо Карпентьер.
(Журнал «Боэмия»)

публиковать их я пока не собираюсь. В одном из них — «Рассеявшийся клан» — показано неудавшееся выступление революционной оппозиции «Ветераны и патриоты» и падение диктатуры Мачадо. В качестве главных героев — под другими именами — выведены поэт и революционер Рубен Мартинес Вильена и композитор Гарсиа Катурла. Однако, мне кажется, в этом романе я еще не нашел нужной формы изложения, и мне думается, что я никогда не кончу «шлифовать» это произведение, хотя кое-что из него уже перекочевало в мои другие книги. С началом этого романа, кстати, сходно начало моей последней книги — исторического романа «Век просвещения». В силу тех же причин я не публикую и этот роман. В эти «вакуумные» годы я работал главным образом над книгой «Музыка на Кубе».

Отвечая на вопрос корреспондента, какой совет писатель мог бы дать молодым литераторам, Алехо Карпентьер, недавно избранный президентом кубинского ПЭН-клуба, заявил:

— Пусть пробуют свои силы во всех литературных жанрах, чтобы определить неподходящие для себя и отказаться от них. Кое-кто, скажем, стремится писать прозой и стихом, однако с успехом может выступать лишь в одном из этих жанров... Я также пытался писать стихи, но пришел к выводу, что у меня нет поэтического дара, это не моя область. Мой искренний совет молодым — больше работать. Научиться писать можно только тогда, когда пишешь.

Журнал «Боэмия» сообщает, что многие деятели культуры намереваются выдвинуть кандидатуру Алехо Карпентьера на Нобелевскую премию по литературе. По данным журнала, только во Франции появилось семь изданий «Царства земного» и двенадцать изданий «Затихших шагов»; недавно в парижском издательстве Галлимар увидел свет новый роман Карпентьера — «Век просвещения» на французском языке. Произведения писателя издавались на восемнадцати иностранных языках.

«ЭСТЕТИКА И РЕВОЛЮЦИЯ»

В издательстве Союза писателей и деятелей искусств Кубы «Уньон» вышел труд «Эстетика и революция» виднейшего кубинского литературоведа Хосе Антонио Портуондо, который известен советскому читателю по его «Историческому очерку кубинской литературы», изданному в Советском Союзе.

В свою новую книгу Хосе Антонио Портуондо, ныне занимающий пост ректора университета Ориэнте в Сантьяго де Куба, включил работы разных лет.

ЛИВАН

«ПИСЬМА К ВНУЧКЕ»

Так называется новая книга известного прогрессивного ливанского писателя доктора Жоржа Ханны. Это произведение Ханны, как сообщает журнал «Аль-Адиб», навеяно его впечатлениями от последней поездки в Советский Союз.

ПОВЕСТЬ О ДЕРЕВНЕ

Писатель Наим Бутанус выпустил повесть «Лесной великан». По сообщению ливанской печати, эта повесть, где талантливо рисуется жизнь ливанской деревни, нашла большой отклик среди читателей.

НИГЕРИЯ

«СОВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ АФРИКИ»

Под таким названием вышел из печати сборник, составленный известными специалистами в области африканской литературы Улли Байером и Джеральдом Муром.

В сборник включены стихи поэтов четырнадцати африканских стран. Особенно богато и разнообразно представлено в нем творчество нигерийских поэтов, да это и неудивительно: составители сборника сами живут в Нигерии.

Отмечая, что сборник явился полезным введением в африканскую поэзию, еженедельник «Коммент» вместе с тем высказывает ряд критических замечаний в адрес его составителей. Рамки сборника ограничены стихами, написанными лишь на европейских языках, распространенных в Африке. Более того, в погоне за произведениями высокого уровня Улли Байер и Джеральд Мур пренебрегли многими стихотворениями, в техническом отношении менее совершенными по сравнению с включенными в сборник, но в которых зато гораздо более отчетливо и достоверно слышится голос современной Африки. Так, например, в сборник вошло тринадцать стихотворений нигерийского поэта Кристофера Окигбо и только одно небольшое стихотворение видного поэта и общественного деятеля Анголы Агостинью Нету. «Коммент» отмечает, что в сборнике отсутствуют стихи ангольских поэтов Мариу Андради и Вириату да Круш, а также героя Африки Патриса Лумумбы.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

СТИХИ РАБОЧЕГО ПОЭТА

Газета «Пиплз войс» приветствует выход в свет сборника «Избранные стихотворения» известного новозеландского поэта Р. А. К. Мейсона, жизнь и творчество которого тесно связаны с рабочим классом.

В сборник вошло ставшее широко известным в Новой Зеландии и в других странах стихотворение «Будьте прокляты, очи Макартура», в котором автор с гневом говорит об американском генерале, палаче корейского народа. Уже одно это, по мнению газеты, может определить успех всего сборника, однако в него вошло немало и других значительных произведений поэта.

Газета считает, что стихи Мейсона должен прочесть каждый, кто интересуется новозеландской поэзией.

ОАР

НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ 1952 ГОДА

Журнал «Аль-Адиб» опубликовал пространную рецензию на новый роман египетского писателя Ахмада Хусейна аль-Мухами «Азхар», названный так по имени одной из главных героинь. Рецензент высоко оценивает новый роман, подчеркивая, что автору удалось дать широкую и достоверную картину жизни в Египте на протяжении пятидесяти лет, предшествовавших революции 1952 года. В романе показано, как постепенно в египетском обществе рушатся старые традиции и предрассудки, как передовая часть этого общества — в особенности молодежь — приходит к мысли о необходимости революционных преобразований в стране.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ МАХФУЗА НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕВИЗОРА

За последние годы в ОАР большое распространение получило телевидение. Телецентр в Каире часто показывает инсценировки по произведениям египетских писателей, пьесы популярных авторов, пишущих специально для телевидения. Недавно каирское телевидение показало инсценировку по роману крупнейшего современного египетского писателя Нагиба Махфуза «Хан аль-Халили». Подготовлена также инсценировка по его другому роману — «Переулок аль-Мидакк».

ПАКИСТАН

УДАЧА МОЛОДОГО РЕЖИССЕРА

«Подавляющее большинство пакистанских фильмов — это чисто развлекательная продукция»,— пишет известный актер индийского кино Балрадж Сахни в журнале «Филмфэр». Однако, говорит он, во время последнего посещения Пакистана ему довелось посмотреть картину, которая произвела на него глубокое впечатление. Речь идет о первой работе молодого режиссера и сценариста Риаза Шахеда «Дом свекра».

Фильм повествует о жизни простых людей, знакомит с ними в их обычной обстановке, причем художник не делает ни малейшей попытки приукрасить действительность. Картина целиком заснята на узких и грязных улочках и тупиках старого Лахора. Оператору Файязу принадлежит не меньшая заслуга в успехе фильма, чем режиссеру. Изобретательность оператора, выдумка, умение привлечь внимание зрителя к самому важному и необычайная выразительность кадров напоминают картины мастера реалистического кино Сатьяджита Рая.

История, развертывающаяся на экране, проста и трогательна. Герой, роль которого превосходно исполняет актер Алауддин,—трубач оркестра. Чуть ли не через день музыканты играют на свадьбах. Герой тоже мечтает найти себе жену. Но трагедия заключается в том, что бедность не позволяет ему сделать это. Его постоянно обманывают, и все его попытки найти хорошую невесту кончаются крахом.

Наконец трубач, его приятели и знакомые приходят к выводу, что все их неудачи — результат их разъединения, нет дружбы между ними, один не помогает другому. В фильме показано, что поступки и поведение героев объясняются не столько недостатками их характера, сколько социальными условиями, в которых они живут.

Кадр из фильма «Дом свекра». Артист Алауддин, исполняющий главную роль.

(Журнал «Филмфэр»)

Балрадж Сахни указывает на явное влияние итальянского неореализма, которое ощущается в фильме.

ПОЛЬША

ПИСАТЕЛИ ОДОБРЯЮТ

На XIII Пленуме ЦК Польской объединенной рабочей партии обсуждались идеологические вопросы, в том числе положение в литературе и искусстве. После пленума появились многочисленные статьи в ежедневной печати, еженедельниках и журналах, в которых деятели литературы и искусства Польши одобряют и поддерживают решения Пленума.

Обо всем этом пишет в одном из последних номеров «Твурчость» главный редактор журнала писатель Ярослав Ивашкевич. Из многочисленных высказываний деятелей культуры по этому вопросу Ивашкевич выбрал слова писателя молодого поколения Богдана Чешко, который, по его мнению, выражает думы большинства польских писателей: «Мне хотелось бы, чтобы практика осуществления задач, которые перед творческими работниками и деятелями культурного фронта поставил последний Пленум, во всем соответствовала его тону... Тону, полному достоинства, спокойствия и искренней заботы о том трудно измеримом, но важном общественном благе, каким являются идеи социализма».

Ивашкевич подчеркивает, что польская литература глубоко оптимистична. Польских писателей объединяет великая и благородная цель — борьба за мир. «Без борьбы за мир,— заявляет писатель,— не могут существовать ни оптимизм, ни сама литература... И именно эта борьба за подлинный мир, которая объединяет всех людей доброй воли на свете, дает нам возможность более широко взглянуть на значение и задачи литературы и даже на всю европейскую культуру, в которой польская культура играет немаловажную роль».

ОСВЕНЦИМСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Международный Освенцимский комитет после нескольких лет подготовительной работы выпустил альбом «КЛ Аушвиц» («Концентрационный лагерь Освенцим»), содержащий многочисленные документальные материалы. В нем собраны несколько десятков фотографий из истории гитлеровского лагеря смерти. Некоторые снимки публикуются впервые. Пояснения и подписи сделаны на трех языках: английском, французском и немецком. Графическое оформление издания выполнено хранителем Освенцимского музея, бывшим узником фашистских концлагерей Ежи Брандхубером.

«Альбом представляет собой еще одно убедительное доказательство преступлений, совершенных в годы гитлеровской оккупации на маленьком клочке земли в междуречье Вислы и Солы, в КЛ Аушвиц и Биркенау, где погибло более четырех миллионов человек»,— пишет рецензент газеты «Трибуна люду».

РУМЫНИЯ

По известному советским читателям роману Титуса Поповича «Чужой» снимается двухсерийный фильм под тем же названием. Здесь мы публикуем кадр из первой серии фильма, выпущенного на экраны Румынии.

(Еженедельник «Контемпоранул»)

США

«ВЕЕТ ВЕТЕР СВОБОДЫ»

Таково название популярной сейчас в США песни, в которой выражен протест против сегрегации негров. В течение лишь одной недели, сообщает печать, пластинка с записью этой боевой песни, сочиненной неизвестным автором в тюрьме — после очередной схватки с полицией,—была распродана в количестве трехсот тысяч экземпляров.

В этой песне говорится:

Прислушайся к ветру, мой друг,
И тогда услышишь ты вдруг,
Что веет над нами ветер свободы...

Очень популярна песня «Псы Алабамы», исполняющаяся на концертах, в нью-йоркских ночных клубах и по телевидению. Ее автор, певец негритянского фольклора Том Пэкстон недавно заявил: «Я всей душой надеюсь, что через год ее уже не придется петь».

МАККАРТИ... НА ЭКРАНЕ

Покойный сенатор от штата Висконсин Маккарти, как известно, мог соперничать с Геббельсом в области дезинформации и удушения гражданских свобод.

Кинорежиссер Эмиль де Антонио создал фильм «Порядок дня», в котором с большим искусством смонтированы фрагменты из бесчисленных кинохроник и телевизионных фильмов, показывавших выступления пресловутого сенатора-мракобеса.

«Искусство монтажа Эмиля де Антонио,— пишет нью-йоркский корреспондент еженедельника «Обзёрвер», высоко оценивающий этот фильм,— определило успех «Порядка дня». Фильм насыщен и острой сатирой и глубоким драматизмом».

Эмиль де Антонио, пишет корреспондент, сознательно не сделал к этому фильму никаких комментариев. Кадры, показывающие один за другим беснующегося в ядовитой злобе «охотника за ведьмами», красноречивы сами по себе и вызывают у зрителей попеременно хохот

и возмущение, слезы и стыд за то, что такое могло случиться в двадцатом веке.

Неудивительно, что главный подручный Маккарти Рой Кон заявил о своем намерении протестовать против показа фильма «Порядок дня».

Особую актуальность этот фильм приобретает в дни дикого разгула в США «бешеных» — идейных наследников Маккарти — во главе с Барри Голдуотером, одним из возможных кандидатов в президенты от республиканской партии на выборах будущего года.

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ ДЖЕЙМСА БОЛДУИНА

Джеймс Болдуин — один из ведущих молодых писателей США. Он принимает активное участие в движении за предоставление неграм гражданских прав и полного фактического равенства.

Недавно газеты «Нью-Йорк таймс» и «Нью-Йорк геральд трибюн» опубликовали интервью с писателем о его творческих планах. Болдуин сообщил, что он заканчивает пьесу «Блюз для мистера Чарли», которую рассчитывает увидеть на сцене в предстоящем сезоне. Действие пьесы происходит в небольшом городке на американском Юге, сюжет развертывается вокруг убийства молодого негра. Дело об убийстве разбирается в двух инстанциях: в негритянской церкви и в официальном суде.

Болдуин сообщил корреспондентам, что в его планах новый роман под названием «Завтрашний день принесет нам дождь». События романа разворачиваются вскоре после отмены рабства в США и завершаются в двадцатые годы нашего века. «Это мой первый политический роман»,— сказал писатель. Главные действующие лица — художник и негритянский лидер.

Болдуин поделился также своим намерением написать книгу очерков-памфлетов на различные темы, объединенные общим названием «Зверь на площадке для игр». Сюда войдут очерки об образовании в Америке, о жилищном строительстве, об отношении молодежи к семье и любви, литературные портреты некоторых видных современных негритянских лидеров, в том числе Мартина Лютера Кинга.

Писатель намерен снова посетить Африку, где он уже пробыл однажды шесть недель. «Чтобы написать когда-нибудь книгу об Африке,— сказал Болдуин,— я должен изучить ее ближе и внимательнее».

Спенсер Трейси (слева) и Стэнли Крамер во время съемок фильма «Мир безумен, безумен, безумен, безумен»

(Газета «Либерасьон»)

СНОВА СТЭНЛИ КРАМЕР И СПЕНСЕР ТРЕЙСИ

Сочетание этих двух имен — выдающегося режиссера и знаменитого актера — сразу вызывает в памяти названия нескольких высокохудожественных фильмов, последний из которых, «Нюрнбергский процесс», демонстрировался с большим успехом вне конкурса на Московском международном кинофестивале этого года.

Новая работа Стэнли Крамера и Спенсера Трейси — сатирическая комедия, сделанная для широкоформатного экрана.

По сообщениям печати, эта кинокомедия, которой дано название «Мир безумен, безумен, безумен, безумен», длится около четырех часов. В ней заняты многие видные комедийные актеры, в том числе даже такой известный артист немого кино, как Бэстер Китон. Фильм сделан по сценарию английского писателя Уильяма Роуза и ставит целью раскрыть уродливость и глубочайшую коррупцию современного буржуазного общества, безудержную погоню за деньгами, жестокость людей во взаимоотношениях друг с другом.

Сюжет фильма таков: преступник, отсидевший шестнадцать лет в тюрьме, по выходе на свободу кончает жизнь самоубийством. Перед этим он рассказывает случайным слушателям, где зарыл клад, из-за которого отбывал тюремное наказание. Это — завязка фильма. На ней Крамер и создал фильм — притчу о жадности, стяжательстве и стремлении к наживе.

ФРАНЦИЯ

ПРОТИВ АТОМНЫХ ИСПЫТАНИЙ

В Сент-Этьене театр, руководимый Жаном Дасте, познакомил французскую публику с пьесой Габриэля Кузена «Драма Фукуриу-Мару». Вначале пьеса была показана в различных кварталах Сент-Этьена, затем в Париже и в других городах Франции.

В основу пьесы положены события, происшедшие весной 1954 года и связанные с американскими испытаниями водородной бомбы в Тихом океане. Выпавшие радиоактивные осадки оказались смертельными для нескольких японских рыбаков...

...Молодая японская девушка Мацуяма и рыбак Урашима любят друг друга. Но Мацуяма отказывается связать свою судьбу с любимым — бомба, сброшенная американцами на Нагасаки, обезобразила ее лицо. Урашима уходит в море, а некоторое время спустя возвращается в родной город больным: он пострадал от экспериментального взрыва американской водородной бомбы. Однако здоровье молодого человека постепенно улучшается. Окрыленная надеждой на выздоровление любимого, Мацуяма ложится в больницу, где ей делают пластическую операцию... С радостно бьющимся сердцем возвращается она домой. На улицах веселое оживление: народ отмечает традиционный праздник весны. Но что это? Похоронная процессия? Да, сегодня хоронят ее любимого. Не дожил он до ее возвращения. Мацуяма в отчаянии, она хочет умереть. Однако праздничная толпа увлекает ее, она не одинока, она нужна людям... Пьеса заканчивается гимном миру, который поет толпа.

Пьесу «Драма Фукуриу-Мару» хотел в свое время поставить в ТНП Жерар Филип, но смерть помешала ему осуществить это намерение.

Сцена из спектакля «Драма Фукуриу-Мару» в театре Сент-Этьена

(Газета «Юманите»)

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

«АФРИКАНСКИЕ ПЕСНИ»

Недавно вышедший из печати сборник рассказов молодого южно-африканского писателя Ричарда Райва «Африканские песни» привлек к себе внимание читателей Южно-Африканской Республики и других стран.

Ричард Райв

(Газета «Трибюн»)

По мнению прогрессивной критики, в своих рассказах тридцатидвухлетнему писателю удалось в художественной форме отразить сущность трагедии коренного населения Южной Африки, показать бесчеловечность политики апартеида, проводимой правящими кругами ЮАР, все разгорающуюся ненависть народов к этой расистской политике.

Автору близки и понятны переживания его героев: он сам родился и вырос в трущобах гетто для «цветных».

Как отмечает в своей рецензии на сборник прогрессивная австралийская газета «Трибюн», эта маленькая книга захватывает читателя и будит в его сердце решимость сделать все от него зависящее, чтобы добиться свободы и равенства не только для угнетенного населения Южной Африки, но и для австралийских аборигенов.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ВЕСЕЛИН АНДРЕЕВ (род. в 1918 г.) — болгарский писатель, боевой соратник поэтов, чьи стихи опубликованы в этом номере. Автор сборников стихов «Партизанские песни» («Партизански песни», 1947), «В Лопянском лесу» («В Лопянската гора», 1947), «Есть на свете Москва» («Има на света Москва», 1951), «Партизанский подарок» («Партизански подарък», 1959).

БЕНДИЛИ МОЛОКВУ — BENDILI MOLOKWU (род. в 1934 г.) — нигерийский поэт.

Стихотворение «Ветер Африки» получено от автора в рукописи.

ПАУЛЬ ШАЛЛЮК — PAUL SCHALLÜK (род. в 1922 г.) — западногерманский писатель, входит в «Группу 47». Ему принадлежат несколько пьес для радио, романы «Если бы можно было перестать лгать» («Wehn man aufhören könnte zu lügen», 1951), «Прибытие в 00.12» («Ankunft null Uhr zwölf», 1953), «Невидимые ворота» («Die unsichtbare Pforte», 1954), сборник рассказов «Белые флаги в апреле» («Weisse Fahnen im April», 1955) и другие произведения. Роман «Энгельберт Рейнеке» («Engelbert Reineke») вышел в 1959 году.

ФАРКАШ ЙОЖЕФ — JOSZEF FARKAS (род. в 1921 г.) — венгерский литературовед, сотрудник Института литературы венгерской Академии наук. Автор литературоведческой работы о венгерской литературе в период перед первой мировой войной «Несемся в революцию («Rohanunk a forradalomba», 1957).

Статья «Октябрь и венгерская литература» получена в рукописи.

ХУАН МАРИНЕЛЬО — JUAN MARINELLO (род. в 1898 г.) — кубинский писатель. Автор книг: «Поэт Хосе Марти» («El Poeta Jose Marti», 1928), «Культура и мир» («La cultura y la paz», 1952), «Империализм и социализм» («Imperialismo y socialismo», 1954), «Американские размышления» («Meditacion americana», 1959).

Публикуемая статья была напечатана в журнале «Куба».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, С. А. ДАНГУЛОВ (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Б. И. РОЗЕНЦВЕЙГ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художеств. редактор **М. М. Милославский.** Технический редактор **В. Л. Шачнев.**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 00204. Сдано в производство 30/VIII-63 г. Подписано к печати 12/XI-63 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9,0 бум. л.; печ. л 24,66+1 вкл. Зак. 1620.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70391

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЖУРНАЛ «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ПЕЧАТАЕТ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ РАЗНЫХ СТРАН — РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, СТИХИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ, СЦЕНАРИИ; ШИРОКО ЗНАКОМИТ ЧИТАТЕЛЕЙ С НОВИНКАМИ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

В журнале регулярно публикуются статьи, посвященные важнейшим проблемам развития зарубежных литератур, материалы о творчестве писателей разных стран. На страницах журнала систематически рецензируются новые книги иностранных авторов, вышедшие как за рубежом, так и в нашей стране.

Зарубежные и советские писатели, общественные деятели, деятели культуры, науки и искусства выступают в журнале по важнейшим вопросам международной жизни, со статьями о значительных явлениях театра, кино и изобразительного искусства.

В разделе **«Из месяца в месяц»** журнал широко информирует читателей о событиях культурной жизни за рубежом.

Журнал иллюстрируется.

В 1964 году редакция намерена напечатать следующие произведения:

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ
«Глазами клоуна» (Роман)
ЁСИЭ ХОТТА
«Отсчитывая от нуля» (Роман)
КРИСТА ВОЛЬФ
«Разделенное небо» (Повесть)
Д. ГАЛЛШИК и И. ПРАЖАК
«Бомба для Гейдриха» (Документальная повесть)
ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ
«Честь и слава» (Главы из романа)
ЮЛИАН КОВАЛЕЦ
«К земле приписанный» (Повесть)
РИНГ ЛАРДНЕР-младший
«Искус Оуэна Мюира» (Роман)
Р. К. НАРАЙАН
«Людоед в Мальгуди» (Роман)
ВАСКО ПРАТОЛИНИ
«Торжество разума» (Роман)
ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ
Рассказы
МАКС ШУЛЬЦ
«Мы не пыль на ветру» (Роман)

Редакция предполагает опубликовать также новые произведения

ЖОРЖИ АМАДУ, ЛУИ АРАГОНА, МИХАЯ БЕНЮКА, НИКОЛАСА ГИЛЬЕНА, ГАБОРА ГОДЫ, ХУАНА ГОЙТИСОЛО, ГРЭХЕМА ГРИНА, МУХАММЕДА ДИБА, ЯНА ДРДЫ, ФРИДРИХА ДЮРРЕНМАТТА, АННЫ ЗЕГЕРС, ДЮЛЫ ИЙЕША, АЛЕХО КАРПЕНТЬЕРА, САЛЬВАТОРЕ КВАЗИМОДО, ШОНА О'КЕЙСИ, ХАЛЛДОРА ЛАКСНЕССА, МИХАИЛА ЛАЛИЧА, МАРТТИ ЛАРНИ, КАРЛО ЛЕВИ, КАРЛОСА АУГУСТО ЛЕОНА, ДЖЕКА ЛИНДСЕЯ, МАНУЭЛЯ НАВАРРО ЛУНЫ, ХУАНА МАРИНЕЛЬО, НАГИБА МАХФУЗА, ЛАЙОША МЕШТЕРХАЗИ, ВЛАДИМИРА МИНАЧА, ЛАДИСЛАВА МНЯЧКО, ЯНА МЮРДАЛЯ, НГУЕН ДИНЬ ТХИ, ПАБЛО НЕРУДЫ, ДИТЕРА НОЛЛЯ, ДЖЕЙМСА ОЛДРИДЖА, ДЖОНА ОСБОРНА, ЯНА ОТЧЕНАШЕКА, ВИКТОРА РИДА, УИЛЬЯМА САРОЯНА, ЖАН-ПОЛЯ САРТРА, ЖОРЖА СИМЕНОНА, ДЖОНА СТЕЙНБЕКА, АНДРЕ СТИЛЯ, ЛЮДМИЛА СТОЯНОВА, ДЖУЗЕППЕ УНГАРЕТТИ, ФАИЗА АХМАДА ФАИЗА, КАРЛОСА ФУЭНТЕСА, ЖАН-ПЬЕРА ШАБРОЛЯ, АРНОЛЬДА ЦВЕЙГА, КАТЕБА ЯСИНА и других зарубежных писателей и поэтов.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ОТДЕЛАМИ «СОЮЗПЕЧАТИ», ОТДЕЛЕНИЯМИ СВЯЗИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ ПЕЧАТИ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА 1964 ГОД:

НА ГОД — 9 руб. 60 коп.
НА 6 МЕС.— 4 руб. 80 коп.
НА 3 МЕС.— 2 руб. 40 коп.